

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА РУССКОЙ КЛАССИКИ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Петр Павлович Ершов

Конек-горбунок

Избранные произведения и письма

Одной возвышенной жизни храмъ
И сладкихъ чувствъ благоуханныхъ
Курильни сердца фимiамъ.
Надежды чистаго елея
Лампада дней была полна
И все отрадно все свѣтлѣе
[illegible] считала [illegible] она.
[illegible]
[illegible] любви [illegible]
[illegible]
[illegible]
И днемъ и ночью оно съ тоской
Чего-то ищетъ [illegible] гробами
И растетъ пепелъ гробовой
И плачетъ горькими слезами.

Шуми, Дунай, шуми во мракѣ непо[годы]
Прiятенъ для меня сей странный шумъ
Люблю смотрѣть твои плещущiя воды
И слышать стонъ глухой угрюмыхъ волнъ
При блескѣ молнiи — душа моя свѣтлѣетъ
И мысль кровавая при трескѣ грома [illegible]
Смущенье совѣсти въ душѣ моей слабѣетъ
А властолюбiе, — сей идолъ мой — молчитъ
Волненье бурное обманчивой стихiи
Дунай! шумнаго величественный видъ, —
Мнѣ ясно говоритъ о милой мнѣ Россiи
О славномъ Кiевѣ — мнѣ много говоритъ.
И вижу предъ собой Славянъ непобѣдимыхъ
Съ ихъ дикой храбростью [illegible] твердою [illegible]
И слышу голосъ [illegible] родимыхъ
И теремъ княжескiй стоитъ передо мной
Но что мнѣ слышится?.. Кому даю я обѣтъ
До гроба вѣрности своей не измѣнить?
Да будутъ прокляты презрѣнья клевр[illegible]
Да будетъ проклятъ [illegible]

К 190-летию со дня рождения П. П. Ершова




Лит. А. Мюнстера В.О. 2 л 7.

ПЕТР ПАВЛОВИЧ

ЕРШОВ

КОНЕК-ГОРБУНОК

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПИСЬМА

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 — русский язык и литература





Москва 2005

ББК 84(2Рос = Рус) 1–4
УДК 82(470) + 821.161.1

Руководители издательского проекта *А. Я. Дегтярев, М. В. Дегтярев*
Заместитель руководителя издательского проекта *В. В. Милюков*
Авторы проекта и научные редакторы *В. Н. Аношкина, В. П. Зверев*
Литературный редактор-организатор *А. Н. Панкова*

Составление, подготовка текстов, вступительная статья и примечания *В. П. Зверева*

Рецензенты тома: *кафедра русской литературы Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова (зав. кафедрой – доктор филологических наук, профессор Л. И. Шевцова); доктор филологических наук, профессор Т. К. Батурова*

Ершов П. П.

Е 80 Конек-Горбунок: Избранные произведения и письма / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. В. П. Зверева. – М.: Парад; БИБКОМ, 2005. – 624 с.: ил.

ISBN 5-8061-0058-8

Петр Павлович Ершов (1815–1869) занимает видное место среди классиков русской литературы XIX века. Неувядаема его слава как автора сказки «Конек-Горбунок», однако современному читателю мало знакомы или совсем неизвестны его замечательные произведения других жанров: поэмы, драматургические сочинения, эпиграммы, цикл рассказов «Осенние вечера». Предлагаемое издание впервые дает возможность познакомиться и изучить многогранное творчество Ершова. В книгу также включены письма поэта, в которых он предстает как литературный и общественный деятель.

ББК 84(2Рос = Рус) 1–4
УДК 82(470) + 821.161.1

ISBN 5-8061-0058-8

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Дорогой читатель! *«Новая библиотека русской классики: обязательный экземпляр»* — это многотомное собрание отечественной классической литературы, охватывающее в основном произведения, которые обязан освоить за период своего обучения в высшем учебном заведении будущий специалист-словесник. Состав библиотеки отражает те сочинения, о которых идет речь в учебниках и учебных программах по истории русской литературы.

Обращаясь к литературному прошлому в новом тысячелетии — к публикации классических произведений и их осмыслению, — составители стремятся сохранить преемственные связи и в то же время по-новому взглянуть на общепризнанные образцы словесного творчества.

К сожалению, в современном массовом книжном производстве издание произведений классической литературы является преимущественно репродуктивным: воспроизводятся прежние публикации без учета изменившейся ситуации, связанной со снятием идеологической и атеистической цензуры, а также с возможностями и достижениями современной текстологии, использованием архивных рукописных источников.

Новая серия открывает читателю прямой путь к писателям и литературным шедеврам, представляя их без цензурной ретуши, возвращая первозданный вид, дает возможность обратиться к именам и сочинениям, незаслуженно обойденным в прошлом по идеологическим и даже эстетическим причинам.

Цель проекта — представить современный срез русского классического литературного наследия, в подборе сочинений выдающихся авторов показать непреходящую ценность шедевров отечественной словесности. Публикация художественных текстов осуществляется с научной и текстологической подготовкой, в сопроводительной статье и примечаниях представлено современное осмысление классического наследия, соответствующее запросам нового тысячелетия в России — идеям патриотизма, гражданственности, духовно-нравственным потребностям общества.

В качестве составителей, авторов вступительных статей и примечаний выступят профессора и доктора наук, работающие в крупнейших высших учебных заведениях России, а также известные специалисты русской словесности и современные литературные критики. «География имен» авторов научных статей и составителей «Библиотеки» включает Москву и Петербург, Новгород и Пензу, Саратов, Казань и многие другие университетские города.

Во вступительной статье каждой книги учитываются достижения как предшествовавшего (XIX–XX веков), так и современного литературоведения, но акцент сделан на актуальности обращения к наследию писателя и своевременности публикации его художественных произведений. Раскрываются этико-эстетические проблемы, отмечаются особенности творческой индивидуальности писателя, приводятся новые факты его биографии и литературной деятельности. Представлен широкий и отвечающий современным достижениям филоло-

гической науки историко-литературный контекст эпохи, органичный для личности писателя и самобытности его творчества.

Произведения публикуются по наиболее достоверным и авторитетным источникам (преимущественно по академическим изданиям), устанавливается полный, отвечающий авторскому замыслу текст, восстанавливаются купюры, сделанные цензурой, учитываются издания и публикации XIX века.

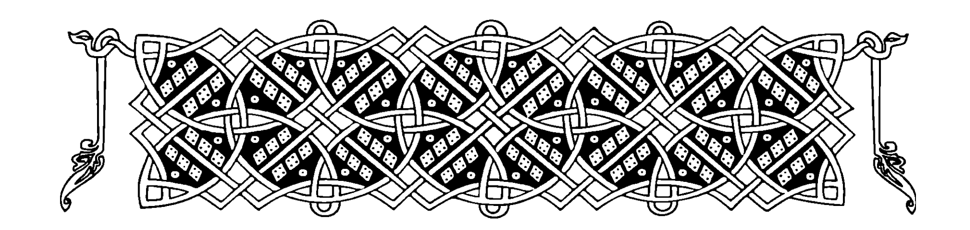
В примечаниях указываются первая публикация текста и источник, по которому печатается сочинение писателя в данной книге. Лаконично комментируются реалии, исторические факты и персоналии, которые могут вызвать затруднения у современного читателя при восприятии текста.

Приводимый в конце книги список рекомендуемой литературы дает представление будущему филологу и любознательному читателю как об изданиях художественных текстов (отдельных и в составе собраний сочинений), так и об исследованиях, посвященных жизни и творчеству (или конкретному произведению) писателя.

Порядок выхода в свет отдельных томов серии связан с юбилейными и памятными датами жизни и творчества авторов серии.

Произведения, которые включены в «Библиотеку», являются преимущественно программными для каждого писателя и конкретного периода литературного процесса. Эти сочинения изучаются в высших учебных заведениях, поэтому первыми адресатами предлагаемых к изданию книг являются студенты и преподаватели вузов. Но авторы проекта, издательство «Парад» и Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, уверены, что *книги серии займут достойное место в фондах массовых библиотек, станут* ***обязательными*** *учебными пособиями при освоении курса русской классической литературы.*

Надеемся на благосклонное и заинтересованное отношение современного читателя к предлагаемой серии.



КУДА СКАЧЕТ КОНЕК-ГОРБУНОК?

Поэтический и духовный мир П. П. Ершова

Распространенное мнение о Петре Павловиче Ершове как авторе одного произведения, – поэте, написавшем широко популярного «Конька-Горбунка», – теперь кажется уже не только поверхностным, но и совсем несправедливым. Известно, что Ершов в своем творчестве не ограничивался ни жанром сказки, ни сказочными мотивами и создал много лирических стихотворений, эпиграмм, вслед за «Коньком-Горбунком» сочинил «драматический анекдот» «Суворов и станционный смотритель», появление которого в 1836 году в издании А. Ф. Смирдина укрепило славу молодого писателя. Кроме того, он был автором цикла рассказов «Осенние вечера», забытых и еще по достоинству не оцененных в истории нашей литературы, хотя, как и в области сказки, здесь сумел представить на суд публики именно образец повествовательного жанра. «Осенние вечера» явились замечательным проявлением позднего романтизма нашей прозы. С именем Ершова связано также развитие русской национальной оперы: учитывая особенности русского фольклора, своеобразие песенного и хорового народного творчества, будучи хорошо знакомым с состоянием и намечавшимися новыми направлениями развития оперного искусства в России, поэт создает несколько оперных либретто, в основу которых легли древние предания – то, что могло вызвать живой интерес русского человека.

Безусловно, рассуждения о Ершове как об авторе только одной широко популярной сказки явно сужают и искажают творческий диапазон писателя и сущность его поэтического таланта. Для создателя «Конька-Горбунка» были характерны широта и в то же время глубина поэтических интересов, удивительно требовательное отношение к

своим произведениям, скромное и даже застенчивое отношение к собственному дарованию. Он не умел, – да это было бы и не в его характере, – пользоваться шумной славой сочиненной им сказки. Напротив, Ершов часто публиковал свои стихи, рассказы, драматургические произведения анонимно или под псевдонимами. Может быть, поэтому, из-за необыкновенной совестливости и авторской скромности, затерялось имя славного поэта Петра Павловича Ершова в сутолоке литературной борьбы и жизни. Он был поистине тружеником русского Парнаса, беззаветно и искренне служившим родной словесности.

Творческая судьба Ершова теснейшим образом связана с переменчивыми событиями его жизни. Постоянно возникавшие препятствия и неурядицы сбивали поэта с гладкого, так блестяще начатого пути, разрушали многие его масштабные и вдохновенные планы. С этим добродушным, спокойным, мягким по характеру, не чуждым ленивой медлительности человеком происходило столько несчастий, выводивших его из творческого состояния, что невольно поражаешься обилию все же реализованных замыслов, широкому диапазону художественных интересов, совмещаемых с добросовестнейшим исполнением службы учителя, инспектора, а потом и директора гимназии...

* *
*

Петр Павлович Ершов родился 22 февраля (6 марта) 1815 года в сибирском селении Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Детские впечатления будущего писателя – калейдоскоп переездов, связанных со службой его отца (в Петропавловскую крепость, Омск, Березов), во время которых Ершовы пересекали цепь казачьих поселений, посещали места, где были еще свежи предания о временах Ермака и Пугачева и где героическая русская история представала предметно-осязаемо.

В 1824 году родители отправили Петра и его брата Николая в Тобольск учиться. Мальчики жили в купеческой семье родственников матери Пиленковых. А когда окончили гимназию, отец перевелся в Петербург, где братья поступили в университет. В студенческие годы Ершов сближается с преподавателями русской словесности А. В. Никитенко и П. А. Плетневым, знакомится с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным... На их суд простодушный девятнадцатилетний студент отдает свое первое крупное произведение – сказку «Конек-Горбунок», прочитав которую, Пушкин с похвалою сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». А Плетнев, пораженный талантом своего студента, вместо одной из лекций с университетской кафедры прочитал «Конька-Горбунка» и представил изумленным слушателям автора чудесной сказки – их сокурсника Петра Ершова, сидевшего в аудитории.

Вскоре отрывок из «Конька-Горбунка» появился в популярном журнале «Библиотека для чтения», а в середине 1834 года сказка Ершова была опубликована отдельным изданием. Успех сопутствовал молодому поэту: в декабре того же года к печати была одобрена первая часть «Сибирского казака», а затем и вторая часть этой «старинной были», которая была напечатана в 10-м томе «Библиотеки для чтения» за 1835 год вподбор вслед за «Сказкой о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина[1]. Поражает стройность, прозрачность повествования первых лиро-эпических произведений Ершова, в которых чудно переплелись поэтика народных сказаний, жизненная правда характеров и описаний с чарующей волшебностью, сказочностью («Конек-Горбунок») и романтической таинственностью («Сибирский казак») сюжета. В творчестве Ершова с самого его начала покоряют поэтичность, умиротворенная мудрость мышления, свойственные русскому фольклорному сказительству. Слог его сочинений прост и чист, завораживает своей легкостью. Поэтому стали так любимы в народе не только сказка «Конек-Горбунок», но и многие стихотворения Петра Павловича Ершова. Большую популярность обрели песня «За морем синица не пышно жила...» из «драматического анекдота» «Суворов и станционный смотритель», песня казачки из «старинной были» «Сибирский казак»; на основе стихотворения Ершова «Молодой орел» в 1880-е годы родилась популярная песня «Как на дубе на зеленом...»; а «Русская песня» в Среднем и Нижнем Прииртышье известна как народная...

Казалось бы, удачно складывалась творческая жизнь поэта. Но именно в радужное время начала поэтической жизни Ершова происходят два мрачных события, которые не могли не отразиться на душевном настрое и дальнейших творческих планах молодого литератора. Летом 1833 года умирает отец, а в 1834 году, когда молниеносный успех сопутствовал появлению «Конька-Горбунка», внезапная смерть уносит единственного и любимого брата Ершова — Николая.

---

[1] Такое соседство сочинений Пушкина и Ершова было, видимо, не случайно. Редактор журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковский весьма высоко ценил талант П. П. Ершова и гордился тем, что открыл его в своем издании. Предваряя публикацию «Конька-Горбунка», он охарактеризовал сказку «юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете», как «превосходный поэтический опыт». Сенковский отмечал «удивительную легкость и ловкость стиха, точность и силу языка, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин». Среди таких «картин» он особо выделял эпизод «описания конного рынка» и считал его «достойным стоять наряду с лучшими местами русской легкой поэзии» (Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Ч. 2. С. 214). Вероятно, поэтому на страницах «Библиотеки для чтения» произведения Пушкина и Ершова печатались, соседствуя друг с другом. В 10-м же томе за 1835 год стихотворение П. П. Ершова «Прощание с Петербургом» (с. 117—120) размещено вподбор со «Сказкой о Золотом петушке» А. С. Пушкина (с. 111—117).

Но вдруг вокруг меня завыла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала,
И цвет за цветом разронила.
Все, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил...

Воспоминание, 1845

Приближавшееся окончание университета было связано для молодого сибиряка с проблемами трудоустройства и возвращения по состоянию здоровья в Тобольск. Противоречивые чувства вызывало прощание с Петербургом: многое здесь стало дорогим и слилось с душой поэта, а с другой стороны, Ершова манила родная Сибирь, которую он называл «северной красавицей», мечтая об исследовании тогда еще малоизученного края Российского государства.

В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой
Я твой приветствую восход:
На небе родины далекой
Меня другое солнце ждет.

Прощание с Петербургом, 1835

Возвращение в Тобольск, однако, вызывало чувства разочарования, безысходной тоски, порождало воспоминания о насыщенной жизни в Петербурге. В декабре 1836 года Ершов писал университетскому другу В. А. Треборну: «С самого моего сюда приезда, т. е. почти пять месяцев, я не только не мог порядочно ничем заниматься, но не имел ни одной минуты веселой. Хожу, как угорелый, из угла в угол и едва не закуриваюсь табаком и цигарами. <...> Читать теперь совсем нет охоты, да и нечего. <...> Ко всему этому присоедини еще мое внутреннее недовольство всем, что я ни сделал, что я ни думаю делать <...>. Скоро 22 года; назади — ничего; впереди... Незавидная участь!..»[1].

И все же деятельное начало творческой натуры Ершова проявлялось даже в его гимназической работе, заключенной в рамки официального регламента: он организовывает в гимназии самодеятельный театр, в котором ученики готовят представления к праздничным дням. Ершов при этом выступает в роли автора сценок, оперных либретто, организатора постановок, музыканта и печется о том, чтобы гимназический театр не переставал функционировать, чистосердечно и

[1] Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок»: Биографические воспоминания университетского товарища его *А. К. Ярославцова*. СПб., 1872. С. 47—48. Далее в тексте страницы к цитатам указаны по этому изданию.

по-детски непосредственно радуется успехам своих воспитанников актеров-любителей, популярности их спектаклей у публики. 5 марта 1837 года поэт писал В. А. Треборну: «<...> маслянку (масленицу. — *В. З.*) отвел до желань сердца. Был и в киатре, который устроили наши молодцы — ученики гимназии, и сказать тебе не в шутку, играли ей-же-ей порядочно. К Пасхе готовится новое, и я, от нечего делать, написал для дружков две пиески презатейные: одна — *Сельский праздник*, народная картинка, в двух частях, для хороводов; а другую еще пишу: это будет прекомическая опера, а растянется она на три действия, а имя ей дается: *Якутское*» (с. 48—49). Эти, как и многие другие либретто и драматические сценки, которые Ершов писал для гимназических представлений, к сожалению, так и не были опубликованы. Поэтому интересно хотя бы впечатление, которое они производили на современников поэта, в частности на его друга А. К. Ярославцова. «Эти пиески Ершова мы прочитали; они обнаруживают доброе намерение доставить молодым питомцам забавное и полезное развлечение; обе они в народном духе, и хотя написаны слегка, но не без сценического интереса, и языком, который Ершову во всем так доступен. Название пиески *Якутское* изменено в рукописи на *Якутские божки. Опера-фарс. Сюжет заимствован из якутского предания. Музыка из разных опер*» (с. 49).

Ершов ставил с гимназистами не только свои произведения, но и комедии и водевили М. А. Фонвизина, М. Н. Загоскина, Н. А. Чижова. Интерес к самодеятельному театру был велик, и обычно спектакли, веселые представления проходили с большим успехом...

Едва Ершов начал привыкать к жизни в Тобольске и к работе учителя в гимназии, как тяжелейшее горе обрушилось на него: в апреле 1838 года скончалась мать. Поэта охватывает чувство сиротства, друзьям он пишет, что схоронил «последнюю из родных», потерю которой, конечно, не смогут заменить даже близкие родственники. Свои глубокие переживания Ершов выразил 12 сентября 1838 года в стихотворении «Две музы»:

Рвется грудь моя тоскою,
И в страданиях немых
Поэтической слезою
Тихо катится мой стих.

Но проходит время, и отчаянное уныние, вызванное вереницей потерь столь родных сердцу поэта людей, сменяется светлым чувством влюбленности в молодую вдову С. А. Лещеву, которая рано осталась без мужа при четырех детях. В конце 1838 года Ершов женится на ней, и в его жизни наступает *перемена*:

Домашний кров... Один или два друга...
Поэзия... Мена простых затей...

А тут любовь... прекрасная подруга
И вкруг нее веселый круг детей.
Перемена, 9 декабря 1838

Начинается радостная, умиротворенная семейная жизнь. Все свои интересы и силы Ершов подчиняет обеспечению благополучия ближним. С искренней, отеческой любовью он относится к детям вдовы. Семейная жизнь, высокие нравственные начала отношений с женой были для него святы, только дома он был поистине счастлив: «<...> известность известностью, а долг обеспечить тех людей, которых судьба поручила мне и которые для меня милы, также что-нибудь да значит», — замечает поэт 2 мая 1841 года в письме к В. А. Треборну (с. 77).

Однако судьба уготовила Ершову новые удары. В апреле 1845 года скоропостижно скончалась жена и он остался один с детьми. Через полтора года женится на О. В. Кузьминой, но и эта семейная жизнь была скоротечной: в 1852 году умерла и вторая жена Ершова. Горе преследовало его неотступно и жестоко...

Конечно, та легкость, удаль, которая присутствует в «Коньке-Горбунке» и которая была впитана сибиряком Ершовым с кровью и духом исконно русского человека, постепенно растрачивалась, и, может быть, не случайно, в связи с постоянными жизненными неурядицами и несчастьями, поэтом так и не был осуществлен грандиозный замысел создания «поэмы в 10 томах и в 100 песнях» «Иван-Царевич» (сохранился лишь небольшой отрывок «Рано утром под окном...»[1]). Возможно, трагические события жизни Ершова впоследствии и определили в его творчестве появление романтических преданий и старинных историй. Но сила таланта и удивительная жизнестойкость смиренного Ершова позволяли ему с великодушной иронией относиться к жизненным невзгодам. 24 января 1862 года поэт написал под своим карандашным портретом, выполненным художником М. С. Знаменским:

Не дивитеся, друзья,
Что так толст и весел я:
Это — плод моей борьбы
С лапой давящей судьбы;
На гнетущий жизни крест
Это — честный мой протест.

Несмотря ни на что, в планах и мечтаниях Ершова присутствует стержневой оптимизм чувств и мыслей, не побежденный превратностями судьбы и налетами отчаяния. И в дальнейшем во всем, написанном им, проглядывает сила таланта и художественная завершенность творца «Конька-Горбунка».

[1] См.: *Ершов П. П.* Конек-Горбунок. Стихотворения. Л., 1976. С. 241—242.

Мир Господень так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь!
Я восторгом их обвею,
Слез струями напою,
Жарким чувством их согрею,
В русской речи разолью.

К друзьям, 1837

Творчество всегда оставалось органичной потребностью его жизни, и когда мирские заботы вставали преградой на поэтическом пути, он взывал:

Мой гений-хранитель, подай мне терпенье
Иль пламень небесный во мне потуши!

Желание, октябрь 1835

Борьба поэтических устремлений Ершова с буднями жизни сопутствовала ему постоянно. Были времена, когда он вообще ставил под сомнение целесообразность своих занятий художественным творчеством. В письме к университетскому другу А. К. Ярославцову 14 апреля 1844 года поэт сообщал: «Была пора, когда и я увлекался чем-то похожим на вдохновение. А теперь я принадлежу или, по крайней мере, скоро буду принадлежать к числу тех черствых душ, которые книги считают препровождением времени от скуки, а музыку заключают в марши и танцы. <...>

Не лучше ль менее известным,
А более полезным быть, —

повторяю я, садясь за учебную книгу или думая — нельзя ли как двинуть успехи учащихся» (с. 104—105). Но тут же благородные устремления учителя гимназии как бы уходили в сторону, и начинал говорить Ершов-поэт: «С весной начнутся ваши поэтические прогулки по обворожительным окрестностям Петербурга. Хочу и я снова обойти дикие наши пустыри и освежить прежние воспоминания. Может быть, явится повесть или рассказ, но уж, наверное, не в стихах» (с. 105). Осенью того же года Ершов более четко сформулировал противоречивость своего душевного состояния: «Муза и служба — две неугомонные соперницы — не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга. Муза напоминает о призвании, о первых успехах, об искусительных вызовах приятелей, о таланте, зарытом в землю, и пр. и пр., а служба — в полном мундире, в шпаге и шляпе, официально докладывает о присяге, об обязанности гражданина, о преимуществах оффиции и пр. и пр. Из этого

выходит беспрестанная толкотня и стукотня в голове, которая отзывается и в сердце» (с. 106).

Будучи талантливым и до щепетильности добросовестным человеком, Ершов не мог и в гимназической службе не проявить свои недюжинные способности. Если бы не рутина государственного бюрократизма и не чиновничье безразличие ко всякой живой мысли, требующей каких-либо изменений или движения в существующей системе, Ершов, возможно, смог бы стать не только знаменитым поэтом, но и таким же известным ученым в области педагогики и словесности. На протяжении всей своей многолетней работы в гимназии он пытался по возможности вносить совершенствования в учебный процесс и в содержание обучения.

О соперничестве музы и службы речь заходит в письмах не случайно. В 1842 году Ершов пишет «Мысли о гимназическом курсе». «Образование, – отмечает он, – есть развитие духовных и физических сил юноши по трем отношениям – как человека, как гражданина и как христианина. Прямое значение его – приготовить юношу к общественному служению (принимая это слово в обширном смысле) и дать ему все возможные средства к довольству и счастию земной жизни» (с. 94). Ершов обдумывает и делает разработки к «Курсу словесности», готовит статью «О переменах, происходивших в нашем языке, от половины IX века до настоящего времени», пытается пристроить через своих петербургских друзей в «Журнал Министерства народного просвещения» рассуждение «О трех великих идеях истины, блага и красоты, о влиянии их в христианской религии»... Творческое начало и здесь проявлялось необыкновенно талантливо, да иначе Ершов и не мог относиться к работе, так как в любом деле – будь то поэзия, литература в широком смысле этого слова или должность старшего учителя словесности в гимназии – он отдавал все силы души и способности. «Что ни говорите, – писал он друзьям, – а вступив в службу и произнеся священные слова присяги, мне кажется, грешно и бесчестно делать, как многие, – между прочим» (с. 99). К поэзии тепе́рь Ершов относится тоже с большей гражданской ответственностью и серьезностью. «Огонь поэзии еще не потух в душе моей, – сообщает он в том же письме. – При взгляде на мир, на судьбы людей, при мысли о Творце сердце мое бьется по-прежнему юношеским жаром, но уже не испаряется в легких звуках, а крепко ложится на душу в важной думе» (с. 100). В это время Ершов с увлечением занимается переводом «Страданий Иисуса Христа» К. Брентано. Друзьям он писал, что делает перевод каждый день по нескольку часов и уверен в несомненном успехе этой книги...

Сам поэт относился к своему дарованию весьма взыскательно. Прежде чем опубликовать какое-нибудь произведение, он просил совета у авторитетных для него друзей и знакомых: университетских товарищей и профессоров словесности, известных издателей, – и только получив одобрительные отзывы, решался давать согласие на публика-

цию. Все это, безусловно, сдерживало появление в печати стихов, рассказов, поэм Ершова. А. К. Ярославцов отмечал: «Конечно, обилие материалов, носимых им в душе, довольствовало его, как и иных величайших поэтов. Никогда, однако ж, не заметно было в нем заносчивости, гордости, что он поэт, автор. Словом, Ершов в Петербурге только подрос во всем том, с чем прибыл из Сибири, — он был нежная, благородная натура, с самыми честными правилами, душа его полна лучших порывов и сил творческих, полна поэзии» (с. 28).

Эту спокойную и гармоничную цельность натуры Ершов сохранил до конца своих дней. Честность и благородство придавали содержанию его произведений нравственную чистоту, а трудолюбие — особую завершенность формы. Успех же собственных сочинений Ершов часто рассматривал как счастливую случайность. Он мог рассуждать, например, так: «На "Коньке-Горбунке" воочью сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. — Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось» (с. 185). Однако каким талантом нужно было обладать, чтобы так «попасть в народную жилку» и выразить в своем произведении талант и незаурядные способности всего народа, слиться с сердцем народным!

Это созвучие души поэта с духом народа проявлялось и в замыслах Ершова. Кроме «десятитомной» сказки-поэмы об Иване-Царевиче, он мечтает воспеть Илью Муромца, постоянно обращается к фольклорным мотивам и историческим темам, связанным с судьбою русского народа. В начале 1830-х годов поэт пишет, видимо, по мотивам завершенного в 1829 году издания «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, «Монолог Святополка Окаянного», избирая архаичную, характерную для поэм и драм XVIII века форму шестистопного ямба, стихотворение «Смерть Святослава», временам князя Владимира посвящает оперное либретто «Страшный меч»...

В черновом письме к Плетневу в июне 1851 года Ершов сетовал: «Не скрою от вас, что мысль о *русской эпопее* не выходит у меня из головы. Но, живя в глуши, я не имею нужных к тому материалов. Это обстоятельство преимущественно влекло меня искать места при Императорской публичной библиотеке, где я мог бы пользоваться всеми старинными сказаниями. Предоставляю Богу устроить мою судьбу. Если же Ему угодно оставить меня навсегда в Сибири, я не буду роптать на это, но мысль о *русской эпопее* переменю на *сибирский роман*. Купер послужит моим руководителем. Между тем на мелких рассказах я приучу перо свое слушаться мысли и чувства» (с. 141).

Пробой пера в эпическом повествовании для Ершова стали «Осенние вечера», первую часть которых он вдохновенно сочинил и переписал набело за две недели в начале 1850-х годов. С чтением этих прозаических произведений автор выступил в доме сосланного декабриста М. А. Фонвизина. Получив одобрительные отзывы тобольских слуша-

телей, Ершов отправил цикл рассказов в Петербург на суд П. А. Плетневу и А. К. Ярославцову с просьбой найти возможность для их публикации. Этот опыт в прозе у петербургских друзей получил сдержанную оценку, и вопрос о целесообразности передачи его в печать, видимо, долго дискутировался.

«Осенние вечера» были опубликованы только в 1857 году в «Живописном сборнике замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития», издаваемом А. Плюшаром и В. Генкелем. «Сочувствие к словесности, всюду снова проявляющееся, – отмечали издатели в предисловии к сборнику, – побуждает нас открыть в *Живописном сборнике* место для литературы иностранной и отечественной, и для начала мы приобрели уже две оригинальные рукописи. <...> Вторая: *Осенние вечера*, – содержит в себе ряд повестей, рассказанных с редким талантом и неподдельным юмором, и придаст, с своей стороны, много занимательности первым выпускам нашего сборника. Надеемся в скором времени получить от автора дозволение объявить его фамилию; до того же статьи эти будут подписаны только начальными буквами «П. Е.»»[1]. Однако имя создателя «Осенних вечеров» до конца их публикации в 12 выпусках так и не было раскрыто, что в очередной раз свидетельствует об отсутствии у Ершова болезненного чувства авторского тщеславия.

Создавая цикл этих рассказов, Ершов ставил перед собой скромную цель: «попробовать – не разучился ли я писать». Тем не менее попытка оказалась удачной – она открыла в поэте талантливого прозаика-романтика. «Связь с романтизмом, – отмечает современная исследовательница творчества Ершова Т. П. Савченкова, – проявляется в «Осенних вечерах» на всех идейно-художественных уровнях, определяя специфическую жанровую форму цикла. Автор связывает семь самостоятельных по сюжету, характеру повествования и интонационному колориту рассказов предисловием и промежуточными эпизодами, в которых выступают несколько рассказчиков. <...> Жанровая автономность отдельных рассказов не мешает восприятию «Осенних вечеров» в их эстетической целостности, которая достигается единством проблематики. Во всех рассказах по-своему решается традиционная для романтического искусства проблема судьбы, рока, случая в жизни человека»[2].

В 1858 году, более чем через двадцать лет после окончания университета, Ершов вновь посетил Петербург, надеясь решить там служебные дела, наконец попробовать перебраться в столицу, ближе к университетским приятелям, и быть в центре литературной жизни. Он

---

[1] *Генкель В., Плюшар А.* Предисловие // Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития. <Т. 4.> СПб., 1857. С. I.

[2] *Савченкова Т. П.* Жанровое своеобразие «Осенних вечеров» П. Ершова // Петр Павлович Ершов – писатель и педагог. Ишим, 1989. С. 53.

рассчитывал на осуществление в этом городе многообразных своих литературных планов и на разрешение проблем гимназического образования: теперь он был уже директором гимназии и начальником дирекции училищ всей Тобольской губернии. Еще в «Прощании с Петербургом» поэт писал:

Прости, Петрополь величавый,
Невы державный полубог!
Цвети под радужным сияньем
Твоей блистательной весны
И услаждай воспоминаньем
Поэта пламенные сны!

Привязанность к «Петра державному творенью» надолго осталась в сердце Ершова. Расставаясь в 1836 году с северной столицей, поэт лишался общения с интересными и родными его душе людьми. В Петербурге его связывали дружеские отношения с поэтами Е. П. Гребенкой и В. Г. Бенедиктовым, будущим известным историком Т. Н. Грановским, знаменитыми впоследствии востоковедами П. С. Савельевым и В. В. Григорьевым, с Майковыми, в семейном рукописном журнале которых «Подснежник» (1835–1836) он поместил несколько стихотворений. Ершов тогда был вхож и в музыкально-театральный мир столицы: среди его петербургских друзей автор водевилей А. И. Булгаков, скрипач и композитор И. К. фон Гунке... Город на Неве всегда волновал Ершова, притягивал его к себе и в какой-то мере даже усугублял своим далеким существованием тоскливую жизнь и скучное времяпрепровождение в тихом и скромном Тобольске. Когда поэт писал о Тобольске:

Город бедный! Город скушный!
Проза жизни и души!
Как томительно и душно
В этой мертвенной глуши! –

а о людях, живущих в нем, что

В них лишь чувственность без чувства,
Самолюбье без любви,
И чудесный мир искусства
Им хоть бредом назови... –

Моя поездка, 1840

то наверняка в его сознании контрастом таким эмоциям вставали картины петербургской жизни. Через четыре года после написания этих стихов Ершов говорил о Петербурге: «<...> воображение мое не замерзло еще до того, чтобы оставаться равнодушным при очарованиях северных Афин» (с. 107).

Однако приезд Ершова в 1858 году в Петербург не оправдал его надежд. Вернувшись в Тобольск, он простодушно написал В. А. Треборну и А. К. Ярославцову: «Теперь смейтесь, сколько хотите, а я снова повторю, что мой родной Тобольск в тысячу раз милее, — по крайней мере для меня, — вашего великолепного Петербурга» (с. 178). Поэт разочаровался в «граде державном». Он не встретил там бывшего университетского братства и единомышленников, чувствовал себя чужим, потерянным среди суетливой и расчетливой жизни столицы. Ему теперь милей были другие люди — прошедшие, как и он, большие жизненные испытания. Вынужденный отъезд из Петербурга в 1836 году, горести, неудовлетворенность жизнью и непрестанная борьба с рутиной, возможно, сделали Ершова близким тем несчастным, кто не по своей воле оказался в Сибири. В Тобольске поэт сблизился с ссыльными декабристами и другими политическими ссыльными. Он частый гость дома Фонвизиных, близкий друг Н. А. Чижова, общается с И. А. Анненковым, А. П. Барятинским, С. Г. Краснокутским. С марта по 11 августа 1846 года Ершов был не только ежедневным собеседником тяжело больного, совсем потерявшего зрение В. К. Кюхельбекера, но и его чтецом. О чем были их беседы? К сожалению, нам это неизвестно. Но наверняка возникал разговор о Пушкине. Несомненно, Ершов рассказывал о своем посещении в Ялуторовске осужденного на вечную каторгу И. И. Пущина, который тогда передал ему несколько стихотворений своего лицейского друга. Эти сочинения Пушкина Ершов затем переслал в Петербург: два из них были опубликованы П. А. Плетневым в «Современнике» («Мой первый друг, мой друг бесценный...» и «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...»).

В Тобольске Ершов познакомился с польскими ссыльными, бывшими участниками восстания 1831 года. Он был в приятельских отношениях с Констанцием Волицким, вместе с которым на квартире жил друг Адама Мицкевича Онуфрий Петрашкевич. А в середине 1850-х годов в Тобольск вместе с новым губернатором В. А. Арцимовичем приехал один из создателей Козьмы Пруткова В. М. Жемчужников (на сестре которого был женат Арцимович). Он заинтересовался тобольским гимназическим театром и вскоре познакомился с одним из его драматургов и постановщиков — творцом «Конька-Горбунка». Знакомство переросло в дружбу, а затем и в сотворчество. Так, водевиль П. П. Ершова и Н. А. Чижова «Черепослов, сиречь Френолог» авторы Козьмы Пруткова использовали при создании одноименной своей оперетты. Ершов щедро разрешал пользоваться своими сочинениями в творчестве Козьмы Пруткова. Передавая Жемчужникову в 1854 году «Черепослов», поэт сказал: «Пусть им воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я уже ничего не пишу». В «Творениях Козьмы Пруткова» были использованы и некоторые эпиграммы Ершова, в частности из цикла посвященных тобольскому архитектору Степанову...

В 1862 году 47-летний директор гимназии Ершов неожиданно для многих выходит в отставку и навсегда остается жить в Тобольске, «же-

лая только спокойствия и укрываясь от известности» (с. 183). Лишившись значительного должностного оклада и казенной квартиры, он при многочисленном семействе испытывает значительные материальные затруднения. Но несмотря ни на что, Ершов придерживался с окружающими независимых отношений. Как свидетельствуют современники поэта, он остался до гроба щепетильным в материальных вопросах, простирая честность даже до суровости. Когда кто-то из родственников вздумал подарить одной из его дочерей шелковой материи на платье, Ершов смутился и сказал: «Прошу вас избавить меня навсегда от таких подарков: дети мои могут носить только такое платье, какое я в силах им сделать!» (с. 196). Последние годы своей жизни он провел в семейном кругу.

Развивавшаяся у Ершова болезнь (водянка) была для него мучительна. Последние дни жизни во многом проясняют характер и духовный мир поэта. Об этих сокровенных днях Петра Павловича Ершова у А. К. Ярославцова читаем: «На усильные просьбы родных – обратиться к пособиям доктора – он иногда, и то с трудом, соглашался, говоря: «Завтра, может быть, приглашу доктора», а завтра почему-либо опять отклонит это, прибегая к домашним пособиям. Конечно, от серьезного лечения удерживала его и мысль о скудных средствах, ввергших его уже в долги. <...> Болезнь, быстро развившаяся, окончательно одолела его: он предчувствовал исход ее. По его желанию, – так как в это время был успенский пост, – жена и одна из дочерей его говели. 14 августа приглашенный в дом после заутрени со Св. Дарами священник исповедал больного и приобщил его. Тут же исповедались жена и дочь. С глубочайшим благоговением исполнил он святой долг: несмотря на убеждения – остаться в креслах, он поднялся и, стоя на слабых ногах, сам читал предпричастные молитвы, а, произнося их, не мог сдерживать слез своих. В этот день он принудил себя сесть за обед с причастницами, в кругу семейства. Это был его последний обед, за которым он оставался почти безмолвен и отказывался от пищи. 16 августа, сидя в креслах, он помолился пред иконою со всем семейством. 17 числа ему как будто сделалось легче: он вздумал выйти в залу и завести стенные часы. Но 18 августа, когда дети по обыкновению пришли здороваться с ним, он, благословив их, сказал жене: «Не отпускай детей: сегодня ветер». Прибывшим докторам он отвечал на все вопросы; сказал, что всю ночь провел худо, ни на один бок не мог лечь, чувствует слабость; что в глазах у него точно черные мухи. В этот же день он благословил все семейство и простился с ними. <...> Томясь впоследние, молвил он жене своей: "Чем бы себя развлечь, не знаю", – попросил газету, и не мог читать: ослабшая рука его опустилась. Чрез несколько минут он поднялся с кресла, взял маленькую подушку и перешел к своей письменной конторке, – как бы проститься с тем задушевным местом, где он передумал многое; облокотился на нее, прилег на подушку, потом поднялся, поцеловал крест, который постоянно носил на груди, ото-

шел от конторки, проговорив слабым голосом: "Места нигде не могу себе найти!..". Опять сел на кресло и в забытьи стал обращать глаза вверх; но лишь приходил в сознание, часто повторял: "Матерь Божия, Боже милостивый, сжалься над мною!..". Чрез несколько минут снова поднялся, перешел на другое кресло, опустился в него и тихо и спокойно скончался; душа, как бы очищенная долгими страданиями, оставила свое временное жилище. После первой панихиды священник, принявший последнюю исповедь его, утешая осиротевшее семейство, сказал: "Петр Павлович умер истинным христианином".» (с. 198—199).

20 августа 1869 года «огромная толпа жителей Тобольска проводила тело усопшего автора *Конька-Горбунка* до могилы на Тобольском кладбище за валом или, как тамошние жители выражаются, *на завалье*» (с. 199—200).

* *
*

Нет сомнений, что поэтический и духовный мир П. П. Ершова формировался под влиянием православной духовности, ее нравственных ценностей и эстетических идеалов русского романтизма первой половины XIX века. К сожалению, в XX веке исследователи и издатели литературного наследия писателя избегали религиозных сторон творчества создателя «Конька-Горбунка». Трудно согласиться с утверждением исследователя В. Г. Уткова, что «творчество П. П. Ершова – противоречиво, как была противоречива действительность, в которой он жил; поэтическое мастерство – неровно, мировоззрение – нечетко»[1]. Тем более странно читать это в статье автора, посвятившего к тому времени почти полвека своей жизни изучению биографии и литературного наследия поэта. Делая оговорку («но мы с уверенностью можем выделить в его жизненном пути и творчестве главную линию – линию служения своему народу, своей стране»), которая больше характеризует сугубо гражданскую позицию писателя, чем его эстетические, художественные взгляды, уважаемый исследователь все же старается вместить все многообразные творческие устремления Ершова в узкие рамки абстрактно понимаемой «народности». Не убедительна и аргументация Уткова, пытающегося обосновать свои упреки Ершову, выходящему за рамки коридóра строго определенной литературоведом «главной линии»: «Но как только он становится на ходули романтизма или переходит на чуждую его таланту почву бытописательства или религиозного мистицизма, силы и талант изменяют ему»[2]. Видимо, поэтому в советское время при публикации сочинений Ершова не вклю-

[1] *Утков В. Г.* Петр Павлович Ершов // *Ершов П. П.* Сузге: Стихотворения, драматические произведения, проза, письма. Иркутск, 1984. С. 461.
[2] Там же.

чались важные его духовные стихотворения, изымались фрагменты, характеризующие православное мировидение автора. Так, в иркутском издании 1984 года в «Осенних вечерах» из рассуждений Академика – одного из участников этих «вечеров» – был исключен фрагмент, весьма существенный для понимания как всего цикла рассказов, так и жизненной позиции не только персонажа, но и самого Ершова. В словах героя «Осенних вечеров» раскрывается принципиальный, духовный взгляд на мир: «Человек без религии – не человек, а жалкая игрушка воли и обстоятельств. Вера в Бога и Искупителя есть та печать, которая дает ценность всем нашим действиям, как бы они маловажны или велики ни были. Что бы ни говорили о прогрессе, об усовершенствовании человеческого рода, без печати религии – это все фальшивые штемпеля. Они касаются настоящего, одной минуты нашего существования, а целая вечность будущего для них как бы не существует»[1].

При написании П. П. Ершовым романтических «Осенних вечеров» (особенно четвертой их части «Чудный храм», проникнутой православным духом и светлым пасхальным чувством), стихотворений религиозного характера и во многом программного содержания («Ночь на Рождество Христово», «Моя молитва», «Моя поездка», «Ответ», «Призыв») обретает особую силу его поэтический талант. Что касается «бытописательства», то его-то как раз писатель категорически не принимал в творчестве представителей «натуральной школы», которую он именовал со свойственной ему иронией «школой мелочей». Об этом есть подробные рассуждения в его письмах, особенно к П. А. Плетневу, поэтому применительно к творчеству Ершова вести речь о «почве бытописательства» совсем не уместно. Наконец-то, видимо, настало время открыто говорить о своеобразии романтизма и глубокой религиозности многообразного литературного наследия творца «Конька-Горбунка».

Мировидение П. П. Ершова было насквозь духовно и поэтично – и в земном он видел небесное. В стихотворении «Оправдание», посвященном своей второй жене О. В. Кузьминой, поэт описывает погружение «в созерцанье любви возвышенной»:

Минуты чудные! Казалось,
Перед возвышенной душой
Мне небо света открывалось
С своею вечной красотой.
О, только лишь художник-гений,
Ловя чудесный идеал,
В часы божественных видений
Подобный образ создавал!

[1] *П. Е.* Страшный лес // Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития / Издание А. Плюшара и В. Генкеля. СПб., 1857. С. 74.

Для поэта вдохновение — «проблеск мысли огневой». В то же время он с неподдельной иронией писал в юмористическом стихотворении «Нос» («лиро-эпическом произведении, исполненном поэзии и философии») о литераторах, оставивших «путь прямой дороги», потакавших низким запросам публики, шедших «без руководства головы», и взывал к ним:

Поэты! Род высокомерный!
Певцы обманчивых красот!
Доколе дичью разномерной
Слепить вы будете народ?

Поэзия для Ершова была делом органическим, выходящим из жизни и освященным божественным вдохновением. Она не замыкалась в тесном кругу земной суеты и личных переживаний; в каждой его строке, касающейся, казалось бы, самых простых и обыденных вещей, бьются мысль и чувство, которые сродни возвышенному и вдохновенному мироощущению.

Близость творчества Ершова духу народа, созвучность его произведений душевному миру русского человека связаны с тем, что, как искренний талантливый поэт и патриотически настроенный гражданин, он душою и сердцем был привязан к России. Университетский друг писателя А. К. Ярославцов вспоминал: «Ершов горячо любил свою родину, Россию; с жаром восставал, при каждом случае, за народ православный, но всегда коротко, отрывисто, а от беспощадных нападков на нашего простолюдина решительно отворачивался, как от невежества» (с. 21—22). Эта искренняя симпатия поэта к простому человеку, слиянность его души с народным духом отразились в «Коньке-Горбунке», в «драматическом анекдоте» «Суворов и станционный смотритель», в поэме «Сузге», во многих стихотворениях и эпиграммах, в оперных либретто. Ершов постоянно касается в своем творчестве народных тем и мотивов, черпает материал из устного эпоса, сказаний далекой старины, старается проникнуть в глубины национального сознания, обращаясь к историческому прошлому своего народа. Особенно это отразилось в произведениях, посвященных сибирскому казачеству, — в старинной были «Сибирский казак», сибирском предании «Сузге», лирических стихотворениях «Смерть Ермака», «Песня казака» и т. п.

Примечательно, что чувство национальной гордости и в то же время гражданской ответственности поэта широко открыто и добросердечно. Вообще художнический взгляд Ершова необыкновенно щедр, доброта его порой кажется беспредельной, объемлющей весь мир. С таким же теплым чувством проникает он и в далекую историю, как, например, в поэме «Сузге». И. П. Лупанова пишет об этом: «Ершов смотрит в прошлое взором русского интеллигента-гуманиста, которому дороги простые люди земли, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания, который всей душой за человече-

ское братство: «Ясный день *для всех* восходит, Льет *на всех* равно сиянье»»[1]. Недаром впоследствии «Сузге» могла быть поставлена и на тобольской сцене в связи с 300-летием похода Ермака (1889), и на сцене деревни Верхне-Филатовой Тобольского уезда, где исполнялась на татарском языке (1922).

Добросердечие Ершова поистине безгранично. Так, в «Сузге» он сумел выразить одинаковое уважение как к благородству русских воинов, так и к патриотически-гражданскому поступку Сузге – «гаремной красавицы» сибирского хана Кучума. Благодатная христианская любовь пронизывает все действие поэмы, ею освящены движения души героев даже в самые решительные моменты. Таково, например, приказание Ермака Тимофеевича на казацком пиру своему воеводе Грозе:

Завтра с Богом за работу!
Ты, Гроза, пойдешь к Сузгуну
Со своею всей дружиной
И уж волей иль неволей,
А возьми Махмета-Кула;
Только помни милость Бога:
Не губи напрасно всех.

Все важные дела, совершаемые героями крупных произведений Ершова («Сибирский казак», «Сузге», «Осенние вечера»), не обходятся без молебна и благословления. Героическое и смиренно-молитвенное соединяются в сцене подготовки казаков к выходу в боевой поход:

Вот выходит воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич
С атаманами своими;
Низко кланяется войску,
И подходит он под знамя,
И дает молитве знак.
И послушно вся дружина,
За вождем склонив колена,
В тишине благоговейной
Молит Господа и Бога
О победе над врагами,
Не долга – сильна молитва!
Вскоре встали все казаки,
Сабли наголо и дружно
Громким голосом вскричали:
«С нами Божеская сила
И угодник Николай!».

---

[1] *Лупанова И. П.* П. П. Ершов // *Ершов П. П.* Конек-Горбунок. Стихотворения. Л., 1976. С. 38.

Читатель поэмы «Сузге» понимает и принимает правоту каждого героя, сочувствует его положению в развивающихся обстоятельствах. Поэт смотрит на события не со стороны и не пристрастно, а как бы изнутри их, всегда проникаясь искренностью чувствований своих персонажей. Автор поэмы разделяет с героиней чувство отчаяния, когда царица Сузге осознает безвыходность своего положения и решает сдаться в плен ради спасения соплеменников: «О, Сузге, краса-царица! Тяжела тебе ночь эта!». Но потом Ершов снова обращает внимание на благородство победителей: ведь атаман Гроза идет в царский терем с искренним намерением «словом ласковым приветить несчастливую царицу».

Атаман к Сузге подходит,
Перед ней снимает шапку,
Низко кланяется, молвит:
«Будь спокойна ты, царица!..».

Но когда Гроза догадывается, что Сузге покончила с собой, —

«Что ты сделала, царица?» —
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.

И опять же, какая гордость, какое человеческое достоинство и великодушие поражают читателя в умирающей Сузге:

Вдруг царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был — последний взор!

Такое же добросердечие и обостренное чувство справедливости лежат в основе удалой сказки о Коньке-Горбунке, что, пожалуй, и обеспечило ей столь широкую популярность и заслуженную славу ее автору. Ершов точно подметил и затейливо развил те черты характера Ивана-дурака, которые так ценит во всяком человеке наш народ и которые делают этого героя действительно национальным и любимым. Ведь Иван в сказке Ершова обладает желанными русскому сердцу чертами: он благороден и ироничен, умен и бескорыстно лукав, смекалист и в просьбах безотказен. Вспомним хотя бы сцену, когда братья украли у него коней и он разоблачил их:

А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал...».

К сожалению, до сих пор в «Коньке-Горбунке» многие ценят прежде всего внешнюю занимательность повествования и относят эту сказку даже к разряду исключительно детских (что подтверждается однонаправленностью изданий этого произведения Ершова). Она и впрямь увлекательна по сюжету, и простота ее рассказа может показаться такой же легкой по мысли, а вернее, мысль в ней как бы теряется в этой очаровательной простоте и сказочности событий (тем более если издание украсить впечатляющими картинками). Уместно здесь привести слова А. К. Ярославцова: «Некоторые говорят — в сказке этой нет никакой идеи; но может ли это быть по самому складу человеческого и русского ума, в этом случае в особенности? Сказка эта служит не для забавы только праздного воображения; в основе ее лежит идея нравственная, данная ей первыми слагателями ее, простыми детьми природы. Смысл сказки является таким: простодушное терпение увенчается, наконец, величайшим возмездием на земле; а необузданные желания губят человека даже и на высочайшей ступени земного величия» (с. 3). В этой мысли заключена глубокая истина. Поэтически выраженная Ершовым (с гениальной легкостью и свободой), она обрела особую силу и привлекательность.

Появление в печати сочинения тогда еще никому не известного автора вызвало множество газетных и журнальных откликов. В. Г. Белинский, скрываясь за подписью «-онъ -инский», свой отзыв в «Молве» предварил довольно пространным рассуждением о «классиках» и «народности», мимоходом подвергнув критике «попытки» Казака Луганского (В. И. Даля), «Бедную Лизу» Н. М. Карамзина, «Марфу Посадницу» М. П. Погодина, сказки А. С. Пушкина, и завершил категорично и в то же время не совсем внятно: «О сказке г. *Ершова* — нечего и говорить. Она написана очень не дурными стихами, но по вышеизложенным причинам не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса. Говорят, что г. *Ершов* молодой человек с талантом; не думаю, ибо истинный талант начинает не с попыток и подделок, а с созданий, часто нелепых и чудовищных, но всегда пламенных, и в особенности, свободных от всякой стеснительной системы или заранее предположенной цели»[1]. Противоположное мнение высказал А. А. Краевский, в своей обзорной статье отметив «рассвет нового поэтического таланта в сказке «*Конек-Горбунок*» г. Ершова»: «оригинальность вымысла, легкий, звучный, немногословный стих и истинно-русская простота рассказа дают этому первому опыту юного автора место подле лучших наших стихотворных произведений»[2].

---

[1] Новые книги. 1834 // Молва. 1835. № 9. Стлб. 145.

[2] *Краевский А.* Обозрение русских газет и журналов за первую половину 1834 года // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. 4. С. 142. Это раннее восторженное мнение А. А. Краевского о «Коньке-Гор-

Глубже и прозорливее смотрел на раскрывшийся в «Коньке-Горбунке» талант юного поэта известный преподаватель русской словесности и автор работ по истории русской литературы В. Т. Плаксин. «Кто любит отечественную словесность как мысль родины, — писал он во «Взгляде на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов», — тот, конечно, радуется всякому новому явлению в ней, ознаменованному талантом и искусством писателя; но когда под таковым произведением видишь новое в литературе имя, то радость удвоивается новыми ожиданиями, новыми надеждами. И мы в последнее время были обрадованы появлением трех решительно самостоятельных пиитических талантов — дай Бог, чтоб мы могли со временем назвать их гениями! Но это пока останется желанием, надеждою. — Я говорю о гг. Кукольнике, Тимофееве и Ершове»[1]. В. Т. Плаксин дал подробную оценку творчества молодых поэтов, обратив особое внимание на место, которое автор «Конька-Горбунка» занял уверенно в отечественной словесности: «Г. Ершов первым произведением своим обнаружил силу

бунке» со временем диаметрально изменилось. В краткой анонимной рецензии на 3-е издание сказки Ершова, опубликованной в «Отечественных записках» А. А. Краевского, читаем: «Сказку эту почитывают дети с удовольствием, прельщаясь рассказом и приключениями в ней описанными и не извлекая из них никакой морали. Жили-были три брата: двое старших работали, сеяли пшеницу, возили ее продавать в город — и ни в чем не успели. Не дал им Бог счастья, как обыкновенно говорится. Младший, дурак, лентяй, который только и делал, что лежал на печи и ел горох и бобы, стал богат и женился на Царь-Девице. Следственно, глупость, тунеядство, праздность — самый верный путь к человеческому счастью. Русская пословица говорит: не родись ни пригож, ни умен, родись счастлив, — а теперь, после сказки г Ершова, надобно говорить: не родись пригож и умен, а родись глупцом, празднолюбцем и обжорой. Забавно, что узкие головы, помешанные на *своей так называемой нравственности*, проповедуя добродетель и заботясь о невинности детей, рекомендуют им сказку Ершова как приятное и *назидательное* чтение!!! Хороша назидательность!» (Библиографическая хроника. Русская литература. Август // Отечественные записки. 1843. Т. XXX. С. 1–2). А. К. Ярославцов видел причину появления этой «желчной рецензии» в идейном противостоянии журналов «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки» (см. в его книге о Ершове раздел «Отзывы и рецензии о сказке П. Ершова «Конек-Горбунок», помещенные в разных журналах»).

[1] *Плаксин В.* Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов // Летопись факультетов на 1835 год, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксиным. СПб., 1835. Кн. 1. С. 26. В этой же книге на с. 4–8, фактически открывая новое издание, была опубликована элегия П. П. Ершова «Семейство роз». Это очевидное свидетельство того, насколько популярным и авторитетным становилось имя молодого поэта уже в 1835 году (см. также публикации его сочинений в «Библиотеке для чтения»).

творческого таланта, взлелеянного под простым и затейливым рассказом отечественных песен и сказок. Мы имеем несколько весьма удачных попыток народных повествований, рассказов и разговоров, то отдельными произведениями, то эпизодами в романах, но ничего подобного и равного *Коньку-Горбунку* не может представить наша литература. Здесь видим необыкновенное воспоминание старого быта с его причудливыми поверьями и мечтаниями; этот рассказ одушевлен любовию не только к самому предмету, но и к приемам, оживлен мыслию и облагорожен изяществом форм»[1]. Автор «Взгляда» возлагал большие надежды на поэтический талант сочинителя «Конька-Горбунка» и предрекал ему блестящее литературное будущее: «Ежели бы г. Ершов решился воспользоваться своим талантом и знанием русской старины и баснословия, собрал бы все сказания изустные и письменные, изобразив значение забытых и сохранившихся поверий народных, и, дав связь и единство направления им, составил бы *Русскую эпопею,* то решительно предсказываем ему успех блестящий в сем подвиге, могущем прославить его и возвысить самую словесность»[2].

Действительно, легкость и простота сказа Ершова родственны поэтике народного эпоса, и проявлялись эти достоинства сочинения у начинающего поэта непринужденно и органично. Русская сказка была неотъемлемой частью жизни Ершова и лучшими токами вошла в его поэтический дар. Именно органичную слиянность таланта молодого сибиряка с миром народной сказки, видимо, почувствовал А. С. Пушкин в «Коньке-Горбунке», после чего и произнес свои знаменитые слова. Каким недюжинным талантом нужно было обладать, чтобы сказка совсем юного и еще безвестного автора вызвала восторг просвещенных и авторитетнейших умов русской культуры, да еще в то время, когда литературно обработанная народная сказка и сказка по фольклорным мотивам, романтическая история на основе устных преданий были в моде, являлись веянием времени, когда к подобным жанрам обращались А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, В. И. Даль (Казак Луганский), А. Ф. Вельтман, О. М. Сомов... Ведь в самом начале 1830-х годов уже появились и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя...

Существенно, что Ершов до конца своих дней непоколебимо остался поэтом, во многом очень близким тому живому и определяющему направлению в русской словесности первой половины XIX века, которое в недрах романтизма взращивало добротные семена русского реализма, принесшего мировую славу нашей литературе. Оставаясь верным духу лучших традиций, заложенных Пушкиным, Ершов открыто выступал против описательных излишеств, которые, на его взгляд, были присущи сочинениям эпигонов «натуральной школы».

---

[1] *Плаксин В.* Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов. С. 29.

[2] Там же.

В черновом письме к П. А. Плетневу в июне 1851 года Ершов предстает рьяным защитником пушкинского стиля повествования, оставаясь верным своим эстетическим принципам периода «Конька-Горбунка». «Когда-нибудь <...> я изложу свою теорию повести, — заявляет Ершов, а далее поясняет: — Я не враг анализа, но не люблю анатомии. <...> Я допущу еще подробности в таких вопросах, как *быть или не быть*, но в такой мелочи — как идти или ехать, спать или проснуться, право, безбожно рассчитывать на терпение читателей. А жизнь героев повестей больше, чем на $^{9}/_{10}$ слагается из подобных мелочей. — Простите меня, Петр Александрович, за резкие, может быть, выражения, но я говорю, как понимаю. Для меня — одна глава «Капитанской дочки» дороже всех новейших повестей так называемой натуральной или, лучше, школы мелочей» (с. 140—141).

Эти высказанные в раздражении мысли были тем не менее художественным кредо Ершова: в своих произведениях он старался не допускать «бытовизации», и поэтому его стихи даже о вещах, казалось бы, самых земных, о мирских заботах можно отнести к большой поэзии. При этом сам поэт ориентировался на поэтику народного творчества. Любопытно рассуждение Безруковского — одного из участников «Осенних вечеров», в образе которого узнаются черты Ершова (характерна фамилия героя, которая, безусловно, ассоциируется с названием родной деревни поэта Безруково): «Народная фантазия имеет свои привилегии, и всякое объяснение холодного разума тут было бы пустой придиркой скептицизма. По мне, пусть мечта будет мечтой, а действительность действительностию. Лишь бы только эта мечта не нарушала тех вечных законов души, с которыми связано все наше существование». Это мнение Безруковского разделил и развил дальше близкий ему по духу собеседник. «Совершенная правда, — отвечал Академик. — Кроме общего, так сказать, ощутимого порядка в явлениях мира есть еще другой порядок мира высшего, к которому мы принадлежим бессмертной душой. И здесь-то разгадка всего, что носит название тайны или чудес на нашем языке. Но пока смерть или особый случай не раздернет средостения между нами и миром чудес, до тех пор будем довольствоваться одною мыслию явления, которая всегда светится в этом облаке над святилищем и которой достаточно для того, чтоб согреть душу и раздвинуть пределы знания»[1]. Художественные критерии Ершова были воспитаны не расчетливой рассудочностью, а выношены в сердце и отшлифованы во вдохновенных раздумьях. Стихи его, как верно заметил А. К. Ярославцов, «создавались не по навеянию извне или по какому-либо корыстному побуждению, а всегда по настоятельному требованию сердца: они, — как и все произведения Ершова, — зеркало его поэтического направления вообще и его характера в частности» (с. 39).

---

[1] *П. Е.* Чудный храм // Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития. С. 207.

Все это роднило Ершова в ранние годы творчества с русскими романтиками и особенно с представителями философско-поэтического направления – любомудрами. Не случайно любимыми поэтами Ершова были Д. В. Веневитинов, В. Г. Бенедиктов, Е. П. Гребенка, а стихотворение Ершова «Желание» (1835) перекликается с одноименным стихотворением А. С. Хомякова, написанным в 1827 году. Произведения Ершова и по основным темам, и по мироощущению автора постоянно тяготеют к тому, что привлекало русских романтиков и было характерным для их сочинений: мечтательное разочарование в жизни, личная душевная причастность к мировой скорби, поиски идеала в родной, но все же экзотической древности своего народа, наконец, стремление не только в поэзии, но и в жизни уединиться от людей, слиться с первозданной природой, раствориться в ней, предаться углубленным размышлениям, внимательно прислушаться к зову души и сердца... И тем не менее за всем этим романтическим арсеналом скрывается добрый и по-русски беспечно веселый Ершов. Он играючи управляет своим чудным слогом в сказке и драме, в дружеском послании и эпическом сказании, в лирической медитации и шутливом куплете. Это автор, всецело поглощенный свободой русского стихосложения и завораживающий читателя естественностью мелодики своей поэзии, в которой, по его собственным словам, «и речь вилась цветущей тканью». Ершов относится к тем поэтам,

<...> кто с чудною природой
Святой союз сыздетства заключил,
Связал себя разумною свободой
И мир и дух сознанью покорил <...>

<...> кто светлыми мечтами
Волшебный мир в душе своей явил,
Согрел его и чувством, и страстями
И мыслию высокой оживил <...>.

Вопрос, август 1837

В его прозе и поэзии, в драматических сценах, в оперных либретто, в эпиграммах и сатирических сочинениях – всюду проявляется в большей или меньшей степени песенное начало, столь близкое русскому фольклору и делавшее творения писателя родственными народной поэтике. Не случайно внимание Ершова так привлекал популярный жанр песни. Поэт сочиняет стихи не только специально для песенных мелодий, но и включает песню как органичный элемент в свои произведения иных форм. Так, в драматическом отрывке «Фома-кузнец» есть песня старика Луки, которая была положена на музыку А. А. Алябьевым, дружившим с поэтом.

Любовь к музыке, к театру была рождена стремлением поэта к «целостному искусству», что опять же говорит о родстве художественных

взглядов Ершова с идеями романтической эпохи русской культуры. В музыке, которую вместе с поэзией называл «двумя сестрами одной матери», он ценил «таинственность и глубину», и если в беседе речь заходила о музыке, Ершов оживлялся. А. К. Ярославцов вспоминал: «Ершов охотно пускался со мною в разговоры о музыке, припоминал замечательное в жизни артистов, с увлечением говорил иногда — как хорошо представить бы в опере ту или другую сцену, какую припоминал в жизни необыкновенных лиц или в истории. Он сам стал заниматься изучением игры на флейте, и, как увидим, с особенною целью: он говаривал о флейте: "Этот инструмент тем хорош, что его можно уложить в карман, а на прогулках где-нибудь, в отдаленном месте, приятно потешить себя"» (с. 19).

Побывав в конце 1834 года или в самом начале 1835 года на одном из премьерных представлений оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол», впервые поставленной в Петербурге на казенной сцене с русскими певцами, Ершов пришел в восхищение (впечатление от постановки передано поэтом в стихотворении «Музыка»). Исполнение русской труппой популярной оперы вызвало восторженные отзывы как публики, так и критики: оказалось, что русские певцы могут вполне соперничать с приглашаемыми из-за границы мастерами. Это, безусловно, вдохновляло многих русских писателей и композиторов. И Ершов начинает работать над либретто «большой волшебно-героической оперы, в пяти действиях» «Страшный меч», обращаясь к волшебным преданиям далеких времен князя Владимира. Реальная история и легендарные личности здесь становятся лишь условным обозначением давнего времени, содержание же заполняется со свойственной Ершову легкостью фантастико-романтическими приключениями и сказочными превращениями. Интересно, что либретто «Страшного меча», одобренное цензурой к представлению в июне 1836 года, было создано почти одновременно с первыми русскими национальными операми: «Аскольдовой могилой» А. Н. Верстовского (поставлена в Петровском театре в Москве в сентябре 1835 года) и «Жизнью за царя» М. И. Глинки (ноябрь 1836 года). Это либретто Ершов писал для друга и известного в свое время композитора И. К. фон Гунке (для него Ершов написал, как свидетельствуют современники поэта, «три или четыре либретто опер», которые до нас не дошли).

Ершов внимательно следил за развитием русской национальной оперы, был знаком со многими артистами, хорошо знал их творческие возможности. Так, заключительную патриотическую песню Баяна в «Страшном мече» он сочинял специально для известной актрисы русской оперы А. Я. Петровой-Воробьевой. В либретто Ершов указал и других исполнителей, в расчете на которых он создавал ту или иную партию. Среди них — М. Ф. Шелихова, О. А. Петров, С. Я. Байков...

Молодой поэт был прекрасно знаком и со сценическими условиями воплощения оперы, что выразилось в пространных, режиссерского плана ремарках: он разрабатывает настоящую партитуру закулисных шумов и светового оформления будущего представления, подробно описывает мизансцены. В этих еще романтических эффектах чувствуется уже приближение строгой гармонии и слиянности звука и света вагнеровских опер. Может быть, отдаленность места жительства Ершова от крупных культурных центров, где развивалось оперное искусство, и постоянная занятость по службе стали причиной того, что творчество поэта во славу русской оперы сдерживалось и наконец вовсе прервалось. Это было, конечно, обидной потерей для отечественного оперного искусства...

Ершов понимал творчество как пророческое служение, вдохновленное Богом, его понимание предназначения поэта созвучно пушкинскому. В первой половине 1840-х годов создатель «Конька-Горбунка» как бы эхом вторит автору «Пророка» (1826):

Не устрашись стези далекой:
Творец твой путь благословит,
И тайны мудрости высокой
Он духом уст тебе внушит.
Твой ум постигнет мысль и слово;
Ты будешь вестник Иеговы,
Глашатай воли Божества;
К тебе склонят свой слух народы,
И пронесутся в род и роды
Могучих уст твоих слова.

Призыв

В первой же половине 1840-х годов Ершов пишет стихотворение «Моя молитва» и отправляет его в числе других П. А. Плетневу с просьбой опубликовать в «Современнике» без указания имени автора. В этом произведении, пожалуй, наиболее открыто и вполне осознанно выражены религиозность поэта и его сокровенный духовный мир. Смиренно и прозрачно начало этой глубоко взволнованной стихотворной молитвы:

Творец! Во прах перед Тобою
Склоняю голову мою
И умиленною мольбою,
О Всеблагий, Тебя молю. <...>

Творец! Все ясно пред Тобою,
И мысль, и чувство, и мечта <...>.

Молитвенное обращение в стихотворении сопряжено с размышлениями поэта о смысле жизни и бытия. Автор предстает при этом как истинно православный и искренно верующий человек, смиренно и благодарно взывающий к Богу:

Так! Жизнь моя — Твое даянье,
Как дар ее Ты мне вручил;
Ты влил мне в ум самопознанье,
А в сердце чувство заключил.
Ты дал мне Веру в Провиденье,
Ты дал надежду мне в скорбях;
И ниспослал мне утешенье
В отрадных чувствах и слезах.

Вместе с «Моей молитвой» П. А. Плетневу было отправлено программное стихотворение «Ответ», в котором Ершов четко обозначил свои художественные и гражданские позиции, дал отповедь недругам и скептикам, утверждавшим, что после «Конька-Горбунка» его поэтическая слава закатилась («погиб твой дар»). Поэт чувствовал в себе постоянное творческое горение и знал, что

<...> пора придет —
Грудь переполненная хлынет,
И лавой огненной откинет
Богатых звуков водомет,
И разовьется песнь цветная,
Кипя, и грея, и сверкая.

Он намечает в своем творчестве («песни цветной») основные направления, особо выделяя возвышенные мелодии:

В той песни первая струна
Вся — Божеству! вся — искупленью!
И загремит псалмом она,
Подобно ангельскому пенью.
И грудь, внимая звук святой,
Вскипит слезами и мольбой.

Других двух струн аккорд священный
Вам, вам — Отечество и Царь!
Тебе — религии алтарь!
Тебе — Властитель полвселенной!
Для сердца русского давно
Царь и Отечество — одно.

При этом поэт не забывает и про лирические струны своей души, сродненной с волнениями земной жизни:

Струны последней звук живой
Вам — жизни чудные волненья —
Мечты, надежды, вдохновенья!
Я облеку вас в стих родной
И с гордой радостию кину
В печальный мир, как цвет в пустыню!

По-прежнему в Ершове живет стремление обратиться к истории России, запечатлеть ее в пространном эпическом произведении:

Я разверну твои скрижали,
Святая Русь! Я передам
Резцом стиха твердее стали
Твои судьбы твоим сынам.
И сердце русское услышит,
И грудь восторженно задышит.

Как в добрые старые времена, поэт в последние годы своей жизни ищет контакта с товарищами по университету, пытается оживить тот источник, который мог бы возродить его вдохновенные мечты. Он жаждет живого разговора и, как бы предвосхищая нашу электронно-технократическую эпоху, пишет в 1866 году В. А. Треборну: «Может быть, изобретательный ум придумает какой-нибудь далекослышный рупор, и тогда я буду день и ночь разговаривать с вами» (с. 192). Жизнелюбие и жажда творчества были по-прежнему живы в Ершове.

Это возвращение душой и мыслями к друзьям напоминает время приезда выпускника университета из Петербурга в Тобольск в 1836 году, когда после столицы он, еще не приемля разгоряченною душой провинциальную жизнь, пишет страстные письма, изливая в них страдания разочарованного юноши: «Жизнь моя такая вялая и скучная проза, что одно напоминание об ней избороздит лоб морщинами» (с. 189). В своего рода завещательном стихотворении «Одиночество» поэт подводит итоги:

Враги умолкли — слава Богу,
Друзья ушли — счастливый путь.
Осталась жизнь, но понемногу
И с ней управлюсь как-нибудь.

Но завершая жизнь с миром в душе, прощаясь с врагами и друзьями, Ершов все же простирается мыслью в будущее, надеясь, что на «звук живой» его стихов «проснется кто-нибудь другой». И современ-

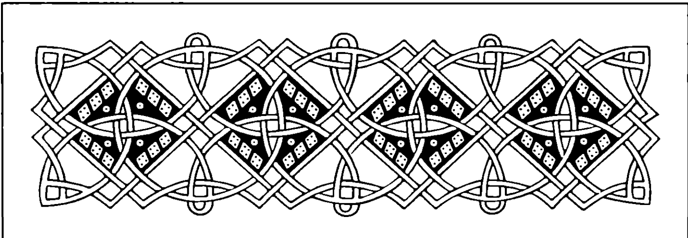
ный читатель наверняка услышит во вдохновенных строках Петра Павловича Ершова живое биение благородного щедрого сердца писателя, прочтет в них мысль ясную и возвышенную.

В 1840 году рецензент «Отечественных записок» в отзыве на новое издание «Конька-Горбунка» скептично удивлялся: «Как этот "Горбатко" мог доскакать до второго издания!». В программном стихотворении Ершова «Ответ» есть ироничные строки, которые, возможно, были адресованы этому представителю «толпы холодной»:

Давно привык смотреть мой взор
На жало зависти бесплодной.
Но их укор, но их хула
Сожмут ли крылья у орла?

Невзирая на злые оценки, высказанные критиками XIX века в нервозной атмосфере конкуренции журналов, и на дешевую шумиху шустрых писак конца XX, пытавшихся вычеркнуть создателя «Конька-Горбунка» из истории русской литературы и приписать его авторство А. С. Пушкину, П. П. Ершов все прочнее и определеннее утверждается в нашем сознании среди классиков отечественной словесности. Рожденная современными расхулиганившимися литераторами хамоватая лошадь «Лацис-Перельмутер» споткнулась на первом же ухабе и лежит бездыханная на скотомогильнике перестройки, а «Конек-Горбунок» Ершова все так же уверенно несется, доставляя своим спасительным оптимизмом духовную радость все новым и новым поколениям. Пусть же и впредь весело скачет чудесный Конек-Горбунок, поучая добродушных Иванов не зариться на холодный блеск «жароптицева пера», пусть победно звучит в XXI столетии на радость любителям отечественной словесности «песнь цветная» замечательного русского писателя Петра Павловича Ершова!

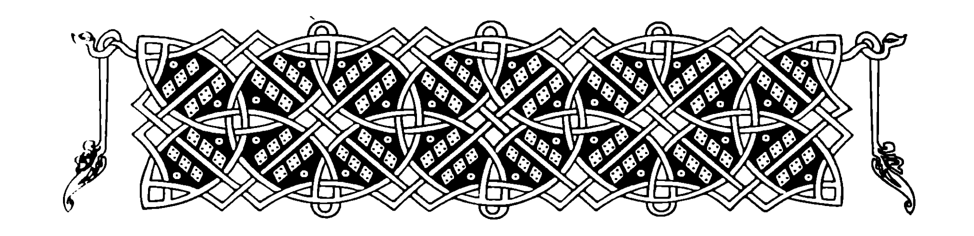
В. П. ЗВЕРЕВ



КОНЕК-ГОРБУНОК

Русская сказка в трех частях





ЧАСТЬ 1

Начинается сказка сказываться.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Не далече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали

Отродяся не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться,
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала;
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери.
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его —
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал;
На мое ж при том несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, всё благополучно».

Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты, вот так сказать примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться;
Средний брат пошел сбираться,
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать, —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу.
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте:
Ночью страшный был мороз,
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его —
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да к моей судьбе несчастной,
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, всё благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!».

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!».
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но сколь долго не кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом:
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольцы завитая.
«Эхе-хе! Так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.

Вишь, какая саранча!».
И минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнул к ней на хребет –
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила.
И пустилась как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой, аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост –
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван, – ему сказала, –
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри,
По три утренни зари
Выпущай меня на волю,
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней, –
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай

Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой;
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет;
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно», — думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню
«Ходил молодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаяся, вскричали:
«Кто стучится сильно так?».
— «Это я, Иван-дурак!».
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье,

Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц ровно тоже светил,
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить». —
Я, слышь, слов-то не померил,
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли — захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться:
Хоть смеяться, так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало, —
Я про это ничего

Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело, —
Год ли, два ли пролетело,
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.

Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно пьян,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? — Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! Теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.

Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,

И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал! —
Старший среднему сказал, —
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седьмицу
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!».
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем;
И на первую седьмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать —
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами

И нейдет ли царь Салтан
Бусурманить христиан?
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком.
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.

Всё по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой, вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал.
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
Ой, вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!».

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван, — сказал, —
Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.

Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами.
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья то есть испугались,
Зачесались и замялись;
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат, Иваша!
Что переться — дело наше;
Но возьми же ты в расчет
Не корыстный наш живот.
Сколь пшеницы мы не сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли не урожай,

Так хоть в петлю полезай.
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили,
Чтоб продать твоих коньков
Хошь за тысячу рублёв.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет,
Работать уже не может;
А ведь надо ж мыкать век,
Сам ты умный человек!».
— «Ну, коль этак, так ступайте, —
Говорит Иван, — продайте
Златогривых два коня,
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что Боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засветил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул

И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько.
Тут в затылке почесал,
«Эх, как темно! — он сказал. —
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Всё бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... мне сдается,
Что дымок там светлый вьется...
Видишь, эвон!.. так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегай-ка, брат Ванюша.
А признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!».
А Гаврило говорит:
«Кто петь знает, что горит!
Коль станичники пристали —
Поминай его, как звали!».

Всё пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками.
Изо всех горланит сил...
Конь взвился и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым. —
Что за бес такой под ним!».

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле, словно днем;

Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
«Что, — сказал он, — за шайтан!
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо огонек!».

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы.
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
— «Говори ты! Как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час.
Нет, ведь, черт возьми, угас!».
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий –
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давёжа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!».
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!».
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрит – давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,

И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй! вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!» —
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольцы завитой,
Хвост струится золотой...
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
«Чуден, — молвил, — Божий свет!
Уж каких чудес в нем нет!».
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем Царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец.
«Ты помилуй, Царь-отец! —
Городничий восклицает
И всем телом упадает. —
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!».
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно».
— «Как умею, расскажу:

Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность...». — «Знаю, знаю!».
— «Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю — тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и сталось, Царь-надёжа!
И поехал я — и что же?..
Предо мною конный ряд,
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольцы завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть,
«Надо коней поглядеть, —
Говорит он. — Да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!». — И вот
Уж повозка у ворот;
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За Царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «Ура!» Царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,

Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?». – Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
«Эта пара, Царь, моя,
И хозяин – тоже я».
– «Ну, я пару покупаю;
Продаешь ты?». – «Нет, меняю».
– «Что в промен берешь добра?».
– «Два-пять шапок серебра».
– «То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить;
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,

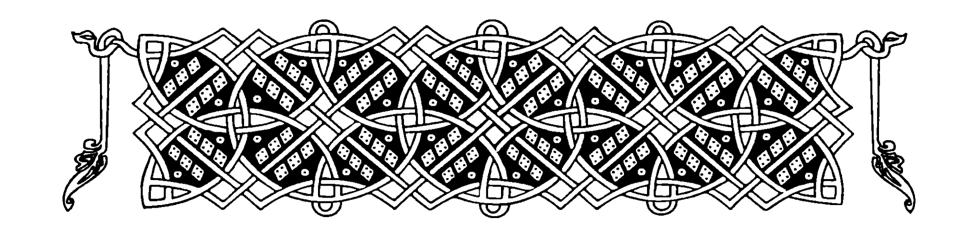
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?». — «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, Царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!».

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его — горбатко
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим

Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской,
При конюшне государской;
Как в суседки он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье;
Как к числу других затей
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.



ЧАСТЬ 2

Скоро сказка сказывается,
А не скоро дело делается.

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-Окияне,
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне,
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник примечать...
Надо молвить: этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшной надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился,
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но лукавство сокрывая,
Он для всякого случая
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!».

Так неделей через пять
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,

Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть — ну, лоснится, как шелк;
В стойлах — свежая пшеница,
Словно тут же и родится,
И в чанах больших сыта
Будто только налита.
«Что за притча тут такая? —
Спальник думает, вздыхая. —
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить:
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Бесурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь Божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест».

В тот же вечер этот спальник,
Прежний конюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив, ни мертв лежит,
Сам молитвы всё творит,
Ждет суседки... Чу! в сам-деле,
Двери глухо заскрыпели,
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,

На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад – перо Жар-птицы.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал
И от страху так забился,
Что овес с него свалился.
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек,
Чистить коней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный;
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы,
Сапоги как ал сафьян, –
Ну, точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового...
«Э! так вот что! – наконец
Проворчал себе хитрец. –
Ладно, завтра ж Царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!».
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, всё плетет
Гривы в косы да поет,
А убрав их, в оба чана

Нацедил сыты медвяной
И насыпал дополна
Белоярого пшена.
Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку под ухо и лег
У коней близ задних ног.

Только начало зориться,
Спальник начал шевелиться,
И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан,
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перо – и след простыл.

Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел Царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить».
– «Говори, не прибавляя, –
Царь сказал ему, зевая. –
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит Царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, Царь, донос:
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не злато, не сребро –
Жароптицево перо...».
– «Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый...

Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..».
— «Да и то ль еще он знает! —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшися. — Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым,
Ко кровати подошел,
Подал клад — и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!».

И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до колотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для Царя,
Меж собой перемигнулись
И в другоредь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлися без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились,
Наконец уж рядовой
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая. —
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана». —
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать».
— «Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся», —
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к Царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?».
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшися: «Молчать!
Ты мне должен отвечать —
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я — Царь али боярин?

Отвечай сейчас, татарин!».
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит Царю: «Постой!
Я те шапки ровно не дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты — ажно ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки —
Нет пера, да и шабалки!».
— «Отвечай же! Запорю!». —
«Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?».
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.
«Что? Ты смел еще переться?
Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?». — Тут Иван,
Задрожав, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно, туго? —
Молвил Царь. — Постой-ка, брат!..».
— «Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану».
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
— «Ну, для первого случаю
Я вину тебе прощаю, —
Царь Ивану говорит. —
Я, помилуй Бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму и с головою.
Так вот, видишь, я каков!
Но сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,

Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил! —
Закричал он, утираясь. —
О пере не запираюсь,
Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затрясши бородою —
«Что? Рядиться мне с тобою! —
Закричал он. — Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
То клянуся бородой!
Ты поплатишься со мной:
На правеж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!». — Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, не весел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног. —
Не утайся предо мною,
Всё скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?».
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь велит достать Жар-птицу

В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?».
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
От того беда твоя,
Что не слушался меня;
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
Не бери, Иван, – беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою.
Вот теперя ты узнал –
Правду ль я тебе сказал.
Но сказать тебе по дружбе,
Это службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди,
Ты к Царю теперь поди
И скажи ему открыто:
"Надо, Царь, мне два корыта
Белоярого пшена
Да заморского вина;
Да вели поторопиться:
Завтра только зазорится,
Мы отправимся в поход"».

Вот Иван к Царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, Царь, мне два корыта
Белоярого пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И – «Счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! хозяин! Полно спать!
Время дело исправлять!».
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял корыта и пшено
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на Восток —
Доставать тое Жар-птицу.

Едут целую седьмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора
Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жары-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут,
Словно камень-изумруд;
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет;
А по зелени цветы
Несказанной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на океане,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,

В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Версту, другу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай;
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймаешь птицу-жар,
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся».
— «Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,
Расстилая свой кафтан.
«Рукавички взять придется;
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой, —
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;

Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать –
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех,
А хвосты-то – сущий смех!
Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету,
Словно батюшкина печь!».
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз –
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!».
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! –
Говорит ему конек. –
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай тужее;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь».
– «Нет, дай птиц-то мне пугнуть! –
Говорит Иван. – Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!».
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,

Встрепенулася вся стая,
Кругом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулися назад.

Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван Царю сказал.
«Где ж она?». — «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол:
«Ну-ка, бабушка, пошел!».
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решеточных сзывайте!
Заливайте! Заливайте!».
— «Это, слышь ты, не пожар,
Это свет от птицы-жар, —
Молвил ловчий (сам со смеху
Надрываяся). — Потеху
Я привез те, Осударь!». —

Говорит Ивану Царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой –
Будь же царский стремянной!».

Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться.
Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!».

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора;
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх! – один слуга сказал, –
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять;
А уж сказки – вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!».
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!».
– «Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка *о бобре*,
А вторая *о Царе*;
Третья... дай Бог память... точно!

О боярыне восточной;
Вот в четвертой: *князь Бобыл;*
В пятой... в пятой... эх, забыл!
В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...».
— «Ну, да брось ее!». — «Постой!..».
— «О красотке, что ль, какой?».
— «Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу севодни я!».

— «Царь-девицу! — все кричали. —
О царях мы уж слыхали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей».
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только бесурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, месяцу родная,
Да и солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельцах играет...».

Спальник тут с полатей скок
И со всех обеих ног
Во дворец к Царю пустился
И как раз к нему явился;
Стукнул крепко об пол лбом
И запел Царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!».
— «Говори, да правду только,
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы севодни в кухне были,
За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он назвал Царь-девицу, —
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремянного!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали по Ивана;
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас

Отыскать другую птицу;
Сиречь молвить, Царь-девицу...».
— «Что ты, что ты, Бог с тобой! —
Начал царский стремянной. —
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затрясши бородою, —
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!». Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, не весел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек. —
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?».
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал, —
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?».
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но сказать тебе по дружбе,
Это службишка, не служба;

Служба всё, брат, впереди!
Ты к Царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер,
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к Царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, Царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер,
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья».
— «Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И — «Счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей, хозяин! Полно спать!
Время дело исправлять!».
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер,
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья;
Всё в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся;

Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тое ли Царь-девицу.

Едут целую седьмицу.
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к Окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два раза она лишь сходит
С Окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к Окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает...
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает:
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз;

И поедем... Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе;
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай диру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает;
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал,
Вдруг конек под ним заржал
И толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!
Не меня ведь вздернут на кол!».

Тут Иванушка заплакал
И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил:
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану».
— «Ну, уж Бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит. —
Всё поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица —
Меду сладкого напиться.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван сбирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколоться,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор...
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая. —
Ты вдругоредь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!».

Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей
Да держи ее плотней!».

Вот столицы достигает.
Царь к Царевне выбегает,
За белы руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый;
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть Царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Всё для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить припевая».
А Царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от Царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!».
Говорит ему Царевна:
«Если хочешь взять меня,

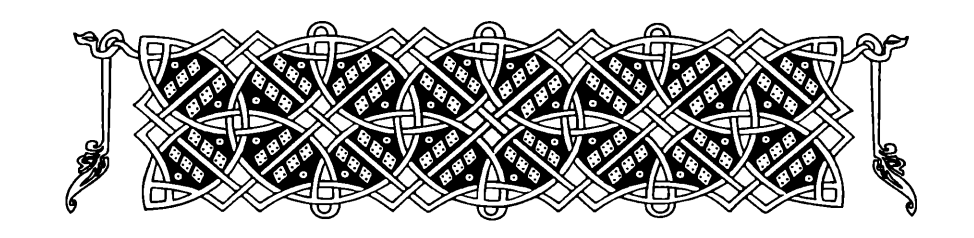
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из Окияна!».
— «Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к Царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на Окиян;
В Окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего».
— «Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги;
Ты опять на Окиян!» —
Говорит Царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал. —
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!».
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути, —
Говорит ему Царица, —
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!». — «Помнить буду,
Если только не забуду;

Да ведь надо же узнать —
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться»,
Говорит ему Царица:
«Месяц — мать мне, солнце — брат».
— «Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван Царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, не весел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек. —
«Помоги мне, Горбунок!
Видишь, вздумал Царь жениться,
Знашь, на тоненькой Царице,
Так и шлет на Окиян, —
Говорит коньку Иван. —
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая Царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, месяцу, притом
И спрошать кое об чем...». —
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты теперя спать поди;
А на завтра, утром рано,
Мы поедем к Окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь...
Дайте, братцы, отдохнуть!



ЧАСТЬ 3

Доселева Макар огороды копал,
А нынече Макар в воеводы попал.

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали. –
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй! послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!».
Это присказка ведется,
Сказка послее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток,

Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула.
"Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!"».
Эта присказка велася,
Вот и сказка началася.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на Окиян.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к Окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-Окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в солнцевом селенье
Попросил ему прощенье;
Ты исполнить обещай,
Да, смотри ж, не забывай!».

Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-Окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,

На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?».
— «Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы, —
Говорит киту конек, —
К солнцу прямо на Восток,
Во хоромы золотые».
— «Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть
И за кои прегрешенья
Я терплю беды мученья?».
— «Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
— «Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я — бедный!
Десять лет уж тут лежу...
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько воздыхает. —
«Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился;
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далёко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво, —
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то, и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, Горбунок,
Видишь, вон где на Восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей Царицы, —
Горбунок ему кричит, —
По ночам здесь солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод;
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;
На серебряных там ветках
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами,
Будто город с деревнями;
А на тереме из звезд –
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я – Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон».
– «Сядь, Иванушка Петрович! –
Молвил Месяц Месяцович. –
И поведай мне вину
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этот край, –
Всё скажи мне, не утай».
– «Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской, –
Говорит, садясь, Иван. –
Переехал Окиян
С порученьем от Царицы –
В светлый терем поклониться

И сказать вот так, постой!
“Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?”.
Так, кажися? — Мастерица
Говорить красно Царица;
Не припомнишь всё сполна,
Что сказала мне она».
— «А какая то Царица?».
— «Это, знаешь, Царь-девица».
— «Царь-девица?.. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так Царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня, отец,
Посадить грозился на кол».
Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что Царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня

В темном облаке ходила,
Всё грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала.
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру Божью не светил:
Всё грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?».
— «Всем бы, кажется, красотка,
Да у ней, кажись, сухотка:
Ну, как спичка, слышь, тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так, небось, и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том,
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!».
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошенье,
То о китовом прощенье...
Есть, вишь, море; чудо-кит
Поперек его лежит;
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты...
Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебя спрошал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?

И на что он тут лежит?». —
Месяц ясный говорит.
«Он за то несет мученье,
Что без Божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет Бог с него невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
“Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться;
Скоро грусть твоя решится, —
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою”. —
Ну, прощай же! Бог с тобою!».
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на Окиян.
Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.

Чудо-юдо рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошенье?
Получу ль когда прощенье?».
— «Погоди ты, рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется рыба-кит...».
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедам!». —
И пустились по домам.
Все телеги собирали:
В них, не мешкая, поклали
Всё, что было живота, —
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо рыба-кит!
От того твои мученья,
Что без Божия веленья

Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет Бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями,
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся Царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился,
Поп с причетом всем служебным
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню на подхват:
«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,
Что по самый край земли,
Выбегают корабли...».

Волны моря заклубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,

Плесом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Всё достать для вас готов!».
— «Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо, —
Говорит ему Иван, —
Лучше перстень нам достань —
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей Царицы».
— «Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы», —
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.

Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином.
Если ж умный мой приказ
Не исполните... я вас!».
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К киту медленно подплыли

И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы всё море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж верно перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло».
— «Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;
Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб от имени Царя
Обежали все моря
И того ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К Государю привели.
Тут дельфины поклонились
И ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли ерша сыскать, —
И вернулися назад,
Чуть не плача от печали...

Вдруг дельфины услыхали
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули, —
Глядь: в пруде под камышом
Ерш дерется с карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!».
— «Ох, ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Всё бы, дрянь, тебе гулять,
Всё бы драться да кричать;
Дома — нет, ведь не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться, —
Вот тебе царёв указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».

Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милостивы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот карась

Поносил меня вчерась
При честном при всем собранье
Неподобной разной бранью...».
Долго ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Всё тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред Царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж Бог тебя простит! —
Кит державный говорит. —
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье».
— «Рад стараться, чудо-кит!» —
На коленях ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?». — «Как не знать!
Можем разом отыскать».
— «Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!».

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон.
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он на пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —

Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!».
И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
У-у-у! да о-о-о!
Но сколь сильно не кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика подымают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребятушки, смотрите,
Вы к Царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает...».
Осетры к Царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины),
Чай, додраться с карасем, —
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-Окиян.
На песке сидит Иван,

Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный Горбунок.
Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван. —
Обещался до зарницы
Вынесть перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И...». Тут море закипело:
Появился чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне... До свиданья!».
Тут кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгнул.
«Ай да Кит Китович! Славно;

Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число;
Чай, старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять,
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,
Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!».
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».

Стал четвертый день зориться,
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит, —
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть на вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И, не медля, приказал
Сундучок отнесть в светлицу.
Сам пошел по Царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найден, —

Сладкогласно молвил он, —
И теперь, примолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться».
— «Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой;
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты... то я умру
Завтра ж с горя по утру.
Сжалься, матушка-Царица!».
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед;
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!».
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!».
— «Пусть не станут и смеяться,
Всё не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица. —
«Я хоть стар, да удал! —
Царь Царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому, так покажуся

Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!».
Царь в затылке почесал
И, нахмуряся, сказал:
«Что ж мне делать-то, Царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:
Не пойду да не пойду!»
— «Не пойду я за седого, —
Царь-девица молвит снова. —
Стань, как прежде, молодец,
Я тотчас же под венец».
— «Вспомни, матушка Царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо Бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться, —
Ты без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,

А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!».

Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремянного.
«Что, опять на Окиян? –
Говорит Царю Иван. –
Нет уж, дудки, ваша милость!
Уж и то во мне всё сбилось;
Не поеду ни за что!».
– «Нет, Иванушка, не то,
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый, думаю, налить
До краев воды студеной,
А второй – водой вареной,
А последний – молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и в двух водах».
– «Вишь, откуда подъезжает!».
Речь Иван тут начинает:
«Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.
Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, Царь, хитрить, мудрить
Да Ивана проводить!».
Царь, затрясши бородою, –
«Что? Рядиться мне с тобою? –

Закричал он. — Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье, —
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, болесть злая!».
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, не весел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек. —
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?».
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и в двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, Бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай: завтра на заре,
В те поры, как на дворе

Ты разденешься, как должно,
Ты скажи Царю: “Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследни с ним проститься”. –
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордой макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеный.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана.
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к Царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера, и повара,
И служители двора;
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялися порой.

Вот и двери растворились;
Царь с Царицей появились
И готовились с крыльца

Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.
А Царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них — и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что должно!». —
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать —
Горбунка ко мне послать.
Я в впоследни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордой макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул.
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий —
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! – все кричали. –
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!».

Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился, –
Бух в котел – и там сварился!

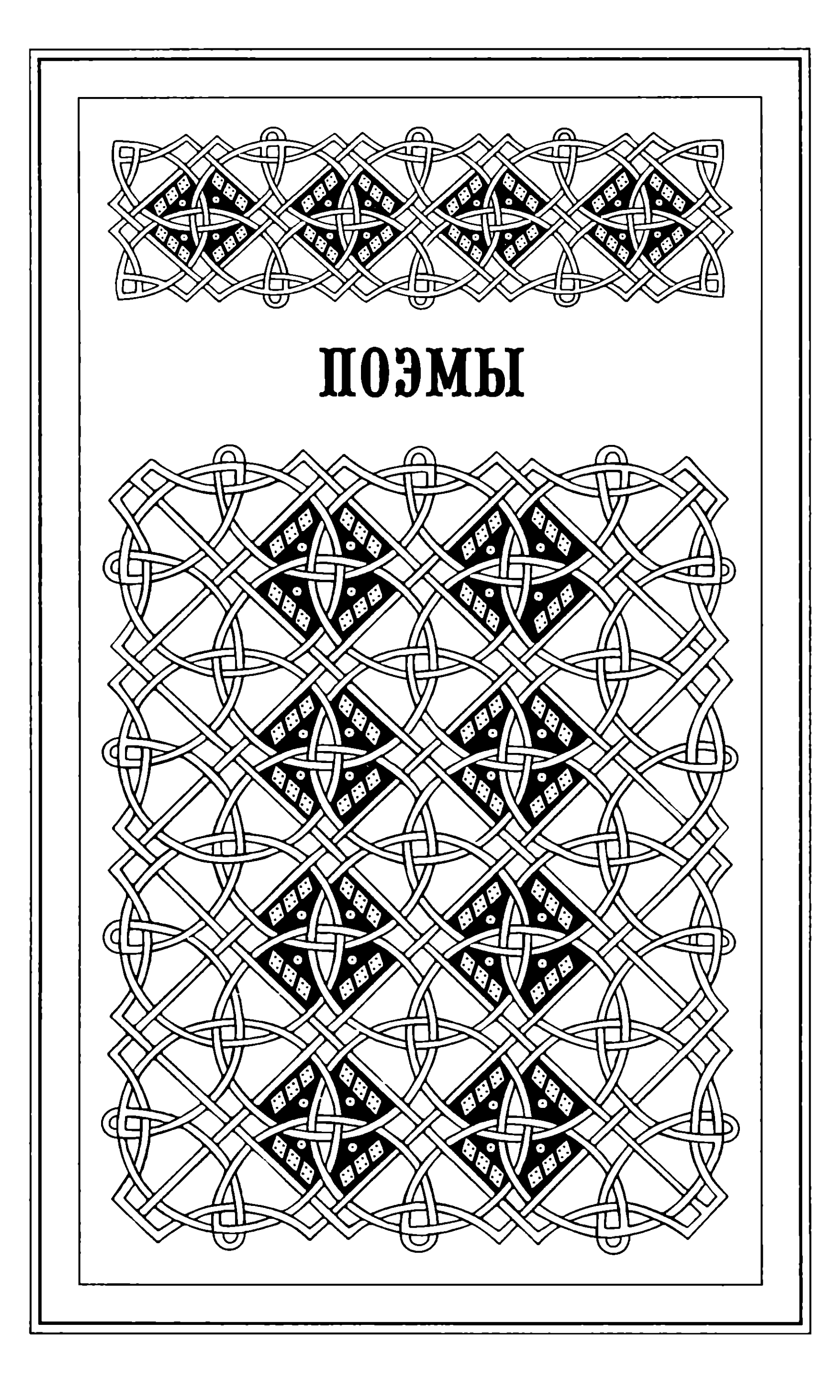
Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу Царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего –
И супруга моего!».
Тут Царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, люба! – все кричат. –
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана
Признаем Царя Ивана!».

Царь Царицу тут берет,
В церковь Божию ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вкруг налою.

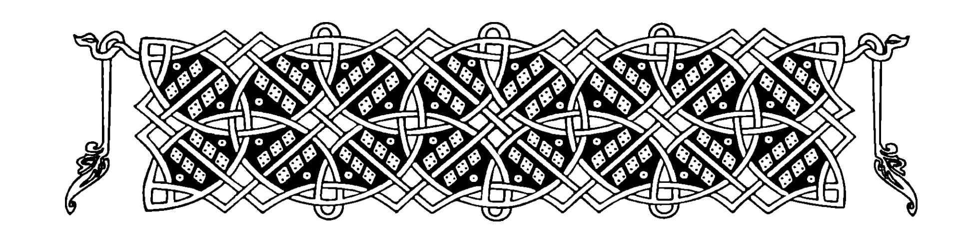
Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют,
Бочки с фряжским выставляют,
И, напившися, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, Царь наш со Царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!».

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями.
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.



ПОЭМЫ





СИБИРСКИЙ КАЗАК

Старинная быль

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Рано утром, весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый.
Брякнул сабли кольцом,
Дернул сивым усом,
И раздул он фитиль догорелый.

Он у пушки стоит,
Он на крепость глядит
Сквозь прозрачные волны тумана....
Вот мелькнул белый плат
У высоких палат
Удальца-молодца атамана.

И с веселым лицом,
Осеняся крестом,
Он над медною пушкой склонился:
Пламень брызнул струей,
Дым разлился волной —
И по крепости гул прокатился.

«Чу! с редута палят!
Знать, сбираться велят?» —
Казаки казакам закричали.
Сабли вмиг за ремень,
Кивера набекрень —
И на площадь бегом побежали.

«Что, ребята, палят?
Не в виду ль супостат?
Не в поход ли идти заставляют?
Наши сабли крепки,
Наши кони легки,
Наши ружья в мишень попадают.

Наш Безрукий, отец,
Атаман-молодец,
Поведет нас своей головою;
С ним и в зиму весна,
С ним и смерть нам красна», —
Казаки говорят меж собою.

— «Тише! Стройтесь в ряды!
Он поехал сюды», —
Казакам так хорунжий вещает;
Ходит взад и вперед,
Командирство ведет —
И в ряды казаков уставляет.

Как сибирский буран,
Прискакал атаман.
И за ним есаулы лихие;
Он на белом коне,
Карабин на спине,
В тороках пистолеты двойные.

Каска с белым пером,
Грудь горит серебром,
Закаленного сабля булата.

Он коня осадил,
Черный ус закрутил
И вскричал им: «Здорово, ребята!

Завтра, солнца в восход,
Собирайтесь в поход
У степных дикарей жечь аулы;
И на эту орду
Я вас сам поведу,
И за мною пойдут есаулы».

Вдруг — «Ура, атаман!» —
Пронеслось по рядам,
И казацкая кровь заиграла.
Громко сабли гремят,
Кивера вверх летят,
И вся площадь, как море, стонала.

Лишь один не кричал,
Одинокий стоял,
Опершися на саблю стальную:
То казак молодой, —
И любимый женой, —
И любивший жену молодую.

Когда холост он был, —
И кутил и рубил,
И в степях гарцевал с усачами.
Он бы рад на войну!
Жаль покинуть жену!
С голубыми, как небо, очами!

Вот к обедне звонят...
Казаки мигом в ряд —
И пошли в Божью церковь молиться;
Да поклоном земным
Поклониться Святым,
Да к честному Кресту приложиться.

Но казак молодой
Не спешит за толпой,
Помолиться Святым не радеет;
Он стоит молчалив,
И ни мертв, и ни жив —
Кровь в груди то кипит, то хладеет.

Вот, одетый в стихарь,
Заклепал пономарь
На высокой *звоннице* к Достойной.
И казак задрожал —
Жгучей искрой запал
Червь укора в душе неспокойной.

Он в храм Божий спешит,
Но боится вступить
И стоит одинок у порогу;
Он глядит на народ,
И креста не кладет,
И не молится русскому Богу.

Освещен Божий храм!
И святой фимиам
Будто ризой народ одевает,
А казаки поют
Да поклоны кладут, —
Атаман с есаульством читает.

Служба кончилась. Вот —
Атаман наперед
И за ним молодцы-есаулы:
Приложась к образам,
Казаки по домам
Разошлись, говоря про аулы.

А казак молодой
С непокойной душой
В церковь Божию робко вступает;

К алтарю он идет,
Тихо старца зовет
И с слезами к ногам упадает.

«Мой отец, поспеши!
Тяжкий грех разреши!
Погибаю я, грешный душою».
— «Сколь бы грех ни велик, —
Говорит духовник, —
Не утай ничего предо мною».

И казак отвечал:
«Атаман приказал
Нам идти на кыргызов войною.....
Мой отец, я женат!
И хоть нету ребят,
Да всё жалко расстаться с женою.

Я на Бога роптал,
Я своих проклинал,
Я не шел с казаками молиться;
И пришедши потом,
Не крестился крестом,
Не хотел к образам приложиться.

Мой отец, поспеши!
Тяжкий грех разреши!
Погибаю я, грешный душою».
— «Грех твой, чадо, велик! —
Говорит духовник. —
Омрачился ты тяжкой виною.

Но и бездну грехов
Бог очистить готов,
Прибеги лишь к Нему с покаяньем.
Он — без меры любовь.
Уповай лишь, — и вновь
Он оденет святым одеяньем.

Как Христов иерей
Я, по власти своей,
От грехов всех тебя разрешаю, —
И под знамем креста
Супротивных Христа
Поражай: я тебя посылаю.

Мужем будь. Не жалей
Крови грешной своей
И за братий ты жертвуй собою.
Знай, убитых вконец
Ждет нетленный венец.
Поезжай, сын мой. Мир над тобою!».

И казак молодой
С облегченной душой
Божий храм, помолясь, оставляет.
Он приходит к жене,
Говорит о войне
И печальну жену утешает.

«Не тоскуй, не крушись!
Лучше Богу молись,
Чтоб от смерти меня Он избавил
И чтоб нас, казаков,
Сохранил от оков
И великой победой прославил.

За степьми, говорят,
Камней груды лежат
И песок при реках золотистый:
Бисеров — не бери,
Жемчугов — не вари.
А у жен дорогие мониcты».

— «Что мне в платьях цветных,
Что в камнях дорогих,
Когда нет тебя, мой ненаглядный?

От разлучного дня
Не утешат меня
Ни сребро, ни жемчуг перекатный.

Кто-то мне говорит:
“Муж твой будет убит!”.
Вот уж по три я слышу то ночи.
Видно, мне сиротать,
Век вдовой вековать,
Не видать твои светлые очи.

Не крутить черный ус,
Не лобзать алых уст,
Не прижать ко груди белоснежной.
Твой сынок подрастет,
Тятю кликать начнет,
Что мне делать тогда, безнадежной?».

И с сердечной тоской
Тут казак молодой
Молодую жену обнимает.
«Не тоскуй, – говорит, –
Я не буду убит:
Ведь не всякий в войне погибает.

И недель через пять
Ворочусь я опять
Да с добычей к тебе боевою;
Я тебя обниму,
Крепко к сердцу прижму
И у сердца тебя успокою.

Коль паду на войне,
Ты не плачь обо мне,
Не суши свои ясные очи;
Ожидай ты меня
Не средь белого дня,
Но во тме ожидай меня ночи.

У ворот я сойду,
Тихо в хату войду
И махну посинелой рукою;
Ты не бойся меня,
Но садись на коня;
Мы поедем, друг милый, с тобою».

Тут казак замолчал,
Три свечи *засвечал,*
И сбираться он начал на битву.
Он осек три кремня,
Изготовил коня
И сточил боевой меч, как бритву.

На другой день, зарей,
Грянул гул вестовой –
Казаки лошадей выводили.
Гул второй разнесло –
Казаки на седло,
А за третьим на площадь спешили.

Шумно строятся в ряд,
Громко сабли гремят,
Развилося казацкое знамя;
Кони борзые бьют,
Пыль копытами вьют,
И в очах их свирепое пламя.

Вот раздался сигнал,
Пономарь заклепал,
И церковны врата отворились.
«Кивера все долой!» –
Закричал удалой
Есаул. Кивера опустились.

Тихо старцы пошли,
Образа понесли –
И святую хоругвь в ополченье;

И за ними идет
Весь церковный причет, —
Позади иерей в облаченье.

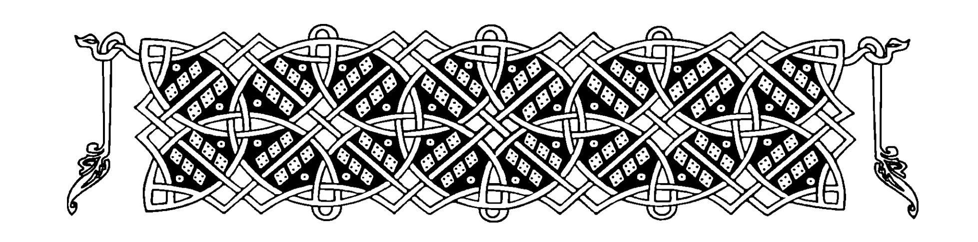
«Призовем Бога сил!» —
Иерей возгласил,
И *всемирную славу* запели,
Он по ряду ходил,
Ополченье кропил
Освященной водою в купели.

«Род избранный, восстань!
Ополчайся на брань,
Покоряй супротивных под ногу!
Укрепит Бог богов
Вас на ваших врагов;
Я вручаю вас Господу Богу».

И, окончив обряд,
Возвратился назад, —
И слезами глаза омрачились;
Тихо старцы пошли,
Образа унесли, —
И церковны врата затворились.

Весь как пламя огня,
Атаман — на коня
И тяжелыми брякнул ножнами;
Вдруг, блестящ, как стекло,
Длинный меч наголо —
И летит молодцом пред рядами!

Вот ряды обскакал.
«С Богом, дети!» — вскричал.
Казаки на седле поднялися;
Засверкали мечи —
И орлом усачи,
Как на пир, на войну понеслися.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дни со светом идут,
Ночи с мраком бегут,
Утро вечер прохладный сменяет;
В полдень солнце горит,
В полночь месяц глядит;
Часовой по редуту гуляет.

И в полуденный зной
Золотистой волной
Озерненные зыблются нивы;
И в раздолье степей
Стадо диких коней
Вьет по ветру косматые гривы.

И в небесной выси,
Будто рати Руси,
Громоносные движутся тучи;
И, подпора небес,
Не шелохнется лес,
Не играет в степи вихрь летучий.

И молчанье кругом.
Утомленным крылом
Царь пернатых на землю слетает;

И с стесненной душой
Пешеход молодой,
Ослабевши, шаги ускоряет.

Вот громады сошлись.
Молньи в тучах зажглись —
И ударил перун быстротечный.
Опаленный кругом,
С раздробленным челом,
Рухнул кедр — великан вековечный.

И, дохнувши огнем,
Прошумели дождем
И песчаную степь наводнили.
Светлый солнечный луч
Проглянул из-за туч —
И две радуги свод расцветили.

Океан рассыпной,
Будто конь молодой,
Сребровласую шею вздымает;
Гриву в космы плетет,
Чутким ухом прядет,
Длинный хвост в три трубы завивает.

В надвоздушный предел
Царь-орел полетел
Осушиться в потоке огнистом,
И — предвестник весны —
С голубой вышины
Засверкал перерывчатым свистом.

На кургане крутом,
Под истлевшим крестом,
Молодая казачка сидела,
И, склоняся главой
На тополь луговой,
Она грустно на степи глядела.

Из развитой косы
В беспорядке власы
На лилейную грудь упадали,
И на бледных щеках,
Как роса на цветах,
Как жемчужины, слезы блистали.

Тихо всё. Лишь у ног
Говорил ручеек
И прозрачной волной к ней ласкался;
И с журчаньем ручья
Тихий голос ея,
Будто ласточки щебет, сливался.

* * *

ПЕСНЯ КАЗАЧКИ

Полетай, мой голубочек,
Полетай, мой сизокрылый,
Через степи, через горы,
Через темные дубровы! —

Отыщи, мой голубочек,
Отыщи, мой сизокрылый,
Мою душу, мое сердце,
Моего милова друга!

Опустись, мой голубочек,
Опустись, мой сизокрылый,
Легким перышком ко другу, —
На его правую руку!

Проворкуй, мой голубочек,
Проворкуй, мой сизокрылый,
Моему милому другу
О моей тоске-кручине!

Ты лети, мой голубочек,
От восхода до заката;

Отдыхай, мой сизокрылый,
Ты во время темной ночи!

Если на небо порою
Набежит налётна тучка,
Ты сокройся, голубочек,
Под кусток частой, под ветку!

Если коршун – хищна птица –
Над тобой распустит когти,
Ты запрячься, сизокрылый,
Под навес крутой, под кровлю!

Ты скажи мне, голубочек,
Что увидел мое сердце!
Ты поведай, сизокрылый,
Что здоров мой ненаглядный!

Я за весточку любую
Накормлю тебя пшеничкой;
Я за радостну такую
Напою сытой медвяной.

Я прижму к ретиву сердцу,
Сладко, сладко поцелую;
Обвяжу твою головку
Дорогою алой лентой.

* * *

Вдруг песок полетел:
Ясный день потемнел,
И гроза поднялась от восхода.
Гром – от громких речей!
Молнья – с светлых мечей!
То казаки летят из похода.

Пламень грозный в очах,
Клик победный в устах,
За спиной понавешены вьюки.

На коне боевом
Впереди молодцом
Выезжает удача Безрукий.

И широкой копной
Вьет песок конь степной,
Рвет узду, и храпит, и бодрится.
Есаулы за ним
Пред отрядом своим:
Грозны их загорелые лица.

«Гей! мои трубачи!
Опустите мечи,
Заиграйте в трубы боевые!
С хлебом, с солью скорей
Пусть встречают гостей
И отворят врата крепостные!».

И, не медля, зараз
Атаманский приказ
Трубачи-усачи выполняют:
Боевой меч — в ножны,
И трубу со спины,
И походную песню играют.

«Гей, скорей на редут!
Наши, наши идут!» —
Закричал часовой. И в минуту —
«Наши, наши идут!» —
Крича, люди бегут
Отовсюду толпами к редуту.

Грянул в пушку пушкарь, —
Зазвонил пономарь, —
И широки врата заскрыпели.
Из отверстых ворот
Хлынул с шумом народ, —
И казаки орлом налетели.

«К церкви, храбрый отряд! —
Есаулы кричат. —
Исполняйте отцовский обычай:
И к иконе святой
Вы усердной рукой
Приносите дары из добычи».

Казаки с коней в ряд,
В Божью церковь спешат, —
Им навстречу причет со крестами;
Под хоругвью святой
В ризах пастырь седой
Их встречает святыми словами.

Пастырь

С нами Бог! С нами Бог!
Он возвысил наш рог!
Укрепил Он во брани десницы!

Клир

С нами Бог! С нами Бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Пастырь

Мышцей сильной своей
Укротил Он зверей,
Он низвергнул коней, колесницы!

Клир

С нами Бог! С нами Бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

П а с т ы р ь

Он услышал наш глас,
Он стал крепко за нас,
Он явился во блеске денницы!

К л и р

С нами Бог! С нами Бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

П а с т ы р ь

Он щиты их сломил,
Ярый огнь воздымил, —
И вихрь бурный пожрал их станицы!

К л и р

С нами Бог! С нами Бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Старец кончил. За ним,
За начальством своим
Казаки в Божью церковь вступили,
И с молитвой в устах
При святых образах
Они часть из добычи сложили.

И, под гром пушкарей,
Пет Владыке царей
Благодарственный гимн за спасенных;
И, под медленный звон,
Похоронный канон
Возгласили за прах убиенных.

Служба кончена. Тут
Все на площадь бегут:
Их родные, друзья ожидают;

Сын к отцу, к брату брат
С полным сердцем летят
И с слезами на грудь упадают.

Что ж казачка? Она,
Вещей грусти полна,
Ищет друга милова очами:
Вся на площади рать, —
Но его не видать, —
Не видать казака меж рядами!

Не во храме ли он?
Божий храм затворен, —
Вот ограду ключарь запирает!
Что ж он к ней не спешит?
Сердце рвется спросить, —
Но вопрос на устах замирает.

Вдруг урядник седой
Подошел к молодой
И взглянул на нее со слезами;
Ей кольцо подает:
«Он окончил поход!» —
И поспешными скрылся шагами.

И, бледней полотна,
С тихим воплем она
Недвижима, безгласна упала;
Свет померкнул в очах,
Смерть на бледных устах,
Тихо полная грудь трепетала.

Вот с угрюмым челом
Ночь свинцовым крылом
Облекла и поля, и дубравы,
И с далеких небес
Сыплет искрами звезд,
И катит в облаках шар кровавый.

И на ложе крутом
Спит болезненным сном
Молодая казачка. Прохладой
Над ее головой
Веет ветер ночной
И дымится струей над лампадой.

Кровь горит. Грудь в огне,
И в мучительном сне
Страшный призрак, как червь, сердце гложет.
Темнота. Тишина.
И зловещего сна
Ни один звук живой не тревожит.

Вдруг она поднялась!......
Чья-то тень пронеслась
Мимо окон и в мраке сокрылась.
Вот — храпенье коня!
Вот, кольцом не звеня,
Дверь тяжелая вдруг отворилась!

Он вошел. Страшный вид!
Весь он кровью покрыт,
Страшно впали померкшие очи;
Кости в кожу вдались,
И уста запеклись.
Мрачен взор: он мрачней темной ночи!

Он близ ложа стоит,
Он ей в очи глядит,
Он манит посинелой рукою.
То казак молодой!
Он пришел в тме ночной
Свой исполнить обет пред женою.

И она узнает:
Тихо с ложа встает
И выходит за ним молчаливо.
У ворот черный конь
Бьет копытом огонь
И трясет серебристою гривой.

Вмиг казак — в стремена.
Молодая жена
С ним, дрожа и бледнея, садится.
Закусив удила,
Как свинец, как стрела,
Конь ретивый дорогою мчится.

Вот гора: на лету
Он сравнял высоту
И несется широкой долиной!
Вот река: чрез реку!
На могучем скаку
Он сплотил берега над пучиной.

Скачут день. Скачут два.
Ни жива, ни мертва
И не смеет взглянуть на милова.
Куда путь их лежит,
Она хочет спросить,
Но боится. Казак ни полслова.

Наконец, в день шестой,
Как ковер золотой,
Развернулися степи пред ними.
И кругом пустота!
Лишь вдали три креста
Возвышались в безбрежной пустыни.

«Вот наш кров! Вот наш дом,
Под лазурным шатром! —
Вдруг промолвил казак. — Посмотри же,
Как хорош он на взгляд!
Что за звезды горят!
Что за блеск! То вдали, что же ближе?

Нас тут сто казаков, —
Всё лихих молодцов:
Мы привольно живем, не стареем.

Ни печаль, ни болезнь
Нам неведомы здесь,
И житейских забот не имеем.

Мы и утром, и днем
Спим в земле крепким сном
До явленья вечерней зарницы;
Но зато при звездах
Мы гарцуем в степях
До восхода румяной денницы».

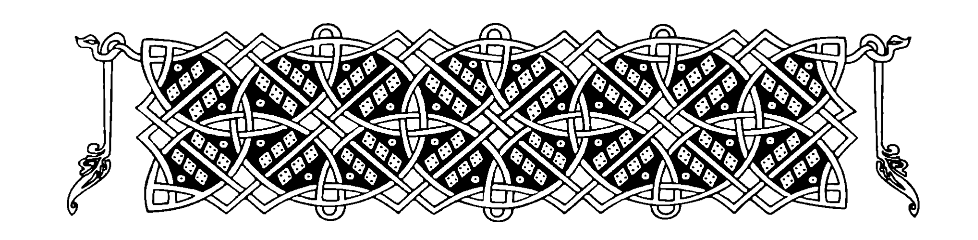
Тут казак замолчал;
Конь заржал, запрядал......
И казачка глядит в изумленье.
Степь! Средь белого дня
Ни его, ни коня;
Только что-то гудит в отдаленье.

И в степи! И одна!
Будто пытка, страшна
Одинокая смерть! Озирая
На холме насыпном
Степь горящу кругом,
Ищет тени казачка младая.

Но кругом степь пуста!
Ни травы, ни куста,
Ни оттенка в сини отдаленной.
Кругом небо горит,
Воздух душен, — томит, —
Что за зной на степи раскаленной!

И на жгучий песок,
Как увядший цветок,
Задыхаясь, она упадает.
И в томленье немом,
Сжавши руки крестом,
Безнадежно в степи погибает.

Начало 1830-х годов



СУЗГЕ

Сибирское предание

1

Царь Кучум один владеет
Всей сибирскою землею;
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны;
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья
От Урала до Алтая, —
По сибирской всей земле.
Много силы у Кучума;
Много всякого богатства:
Драгоценные каменья,
Из монистов ожерелья,
Черный соболь и лисица,
Золото и серебро.
Царь Кучум живет в палатах,
Ест с серебряного блюда,

Из ковша пьет золотого,
Спит под шелковым навесом
На пуховых на постелях,
Ходит мягко по коврам.
У того царя Кучума
Две подруги молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы:
У одной глаза как небо,
У другой глаза как ночь.
Царь Кучум обеих любит,
Царь Кучум обеих нежит,
С алой розы умывает,
В шелк, в монисты наряжает,
И дородство и пригожство
Пуще глазу бережет.

2

Раз о полдень царь Сибири
От трудов своих от царских
Отдыхал на мягком ложе.
Вдруг к нему, царю, подходит,
Легкой ножкой чуть ступая,
Черноглазая Сузге.
«Мой супруг и повелитель,
Царь Кучум! Твоя рабыня
Хочет нынче женской просьбой
Утрудить твое вниманье».
Так к нему, царю, вещает
Черноглазая Сузге.
Царь Сибири, усмехаясь,
Взял пригожую царицу,
Посадил к себе на ложе,
И, обняв рукою правой, —
«Расскажи, моя царица!» —
Молвит ласково ей он.
«Мой супруг и повелитель! —
Говорит Сузге Кучуму. —
Велико твое владенье,

Хороши твои усадьбы;
Но одно твое селенье
Лучше кажется мне всех.
Там есть холм один высокий:
С двух сторон — стеною горы,
С двух сторон — ковром равнина;
У холма же, словно лента,
Ручеек бежит в равнину,
А вдали шумит Иртыш.
Прикажи мне, мой властитель,
Там построить терем царский
И позволь твоей рабыне
В этом тереме веселом
Встретить вешнюю зарницу,
Красно лето проводить».
— Будет! — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошенье:
Прикажи срубить там судно,
Снарядить его прибором,
Тонким парусом с подзором,
Чтоб вечернею порою
Мне гулять по Иртышу».
— Будет! — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошенье:
Приезжай два раз в неделю
Навестить твою рабыню,
Слово ласково промолвить,
Ложе ночью разделить».
— Будет! — молвит царь Сибири. —
В три недели приготовят
На холме веселый терем,
На реке с прибором судно,
И два раз в неделю буду
Я в твой терем приезжать. —

3

Время срочное минуло:
На холме Сузге высоком
Красовался царский терем —

С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочною оградой
И с перильчатым крыльцом.
Пихты, лиственницы, ели
Осеняют царский терем;
Над ручьем белеет полог;
От крыльца к ручью по скату
Вьется легкая дорожка
И теряется в цветах.
По равнине по широкой,
От реки до гор далеких,
Ходят воины Кучума,
Стерегут тот терем царский.
Гладят бороду седую,
Саблей звонкою стучат.
На реке гуляет судно:
Двадцать весел плещут воду,
Белый парус наготове
Развернуться полной грудью,
Заплескать в волнах кипучих,
Судно легкое нести.
За весной приходит лето,
Убирает всю природу
В разноцветную одежду:
Таль, березу рядит в зелень,
Куст шиповника румянит,
Вяжет лентами цветы.
Вся земля пирует лето;
Вся Сибирь пирует лето;
Но на всей земле сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.

4

Зной полудня утихает;
С гор, увенчанных лесами,

Ветерок летит прохладный.
Вот из терема выходят
По решетчатым воротам
Шесть татарок молодых.
И стоят они попарно
В обе стороны по скату,
Ждут царицу молодую,
Чтоб вести ее под полог –
В сокровенную купальню
Тихоструйного ручья.
Вот является царица,
Легкой серною мелькает
По излучистой дорожке –
И спешат за ней рабыни
Снять ревнивые покровы
С их царицы молодой.
Белый полог застегнулся...
Слышны речи, слышен хохот,
Звонкий плеск прозрачной влаги,
И на пологе широком,
В легких очерках видений,
Тени зыблются порой.
Вечер. Кончилось купанье.
Снова полог расстегнулся,
И царица молодая
(Щеки розами горят)
Вновь мелькнула по дорожке
Легкой серною на холм –
И под пихтою душистой
Опустилася, слабея,
На узорчатые ткани.
И несет одна девица
Прохладительный напиток
Ей в сосуде золотом;
Вкруг Сузге ее рабыни:
Черну косу выжимают,
Чешут гребнем, разделяют
В плетеницы, завивают
И жемчужную повязку

В косу пышную плетут.
Пьет царица молодая
Прохладительный напиток.
Словно пламя — пышут щеки;
Словно звезды — блещут очи;
Словно волны — дышат груди;
Так бела и так свежа!
На коврах лежа узорных,
Приклонив к руке головку,
В упоительном раскиде —
То ли розою Востока,
То ли хурией пророка
Тут казалася Сузге!
А над нею полной чашей
Беспредельного сиянья
Небо лета развернулось;
А пред нею — горы, долы,
Бесконечная равнина,
Вечноплещущий Иртыш.
В легкий сон Сузге склонилась,
И любимая девица,
На колени став пред нею,
Обвевала опахалом
И пылающие щеки,
И трепещущую грудь.

5

Спит царица молодая
Под вечернею прохладой;
А у ног ее рабыни,
За узорным рукодельем,
Чуть-чуть слышными речами
Говорят промеж собой.
Чудны женские рассказы!
Будто полночью глухою
На мысу одном высоком
По три раза приходили
Цвету белого собака

И как уголь черный волк;
С воем грызлись меж собою,
И в последний раз собака
Растерзала злого волка.
Будто с той же ночи всюду
Меж сибирскими лесами
Чудным образом и видом
Вдруг береза зацвела.
Будто в полдень на востоке
Облака являют город
С полумесяцем на башне,
И подует ветр с Урала,
И снесет тот полумесяц
И навеет чудный знак.
Будто в полночь вдруг заблещет
Над могилами Искера
Яркий свет звездой кровавой,
И послышится стук сабель
И неведомый им говор,
И какой-то страшный треск.
Что-то будет с ханским царством!
А недаром же татары
Собираются к мечетям.
Сердце чует про невзгоду.
Тишина — предвестник бури:
Где ж зачнется та гроза?

6

Всходит утро над Сузгуном.
Вдруг к Сузге в высокий терем
Старшина седой приходит,
Торопливо просит видеть
Чрез рабынь свою царицу,
Молвить важные ей вести,
Слово нужное сказать.
И царица призывает
Старшину в свои палаты,
И волнистою фатою,

Словно облаком летучим,
Осторожно закрывает
Полнолунное лицо.
Вскоре входит старый воин.
Скинув шапку меховую,
Он честит Сузге поклоном.
«Вести важные, царица!
Здесь гонец царя Кучума,
Сохрани его Алла!
К нам от западной границы,
От крутых верхов Урала
Без призыву, без прошенья
Вдруг пожаловали гости
И пируют нашей кровью
По сибирской всей земле.
Царь Кучум гонцов отправил,
Чтоб со всех сторон Сибири
Для защиты, для отпора
Собирались стар и молод,
Чтобы все свои селенья
Укрепляли в тот же час.
И к тебе гонец, царица!
Царь Кучум велит, не медля,
Строить стены и бойницы,
Делать валы и ограды,
Снаряжать себя довольством,
Рать осадную сбирать».
«А далёко ль эти гости?» —
Старшину Сузге спросила.
«А когда б стрела летела
Час один с одною силой,
Так к концу она упала б
В их неверные шатры».
И дает Сузге-царица
Старшине тому седому
Тихо умные приказы,
И послушно старый воин
Ей клянется головою
Всё исполнить, как велит.

7

Спеет дружная работа.
С утра раннего до ночи
Сто работников послушных
Носят камни, возят бревна,
Роют рвы и сыплют валы —
Укрепляют царский холм.
Вот проходят две недели,
И Сузге веселый терем
Смотрит грозною твердыней:
Обнесен вокруг стенами,
Обведен высоким валом,
Окружен глубоким рвом.
Две бойницы подле ската,
И одна из них на запад,
Где Иртыш шумит волнами;
А другая на востоке,
Там, где стелется равнина
Бесконечной полосой.
И с бойниц тех непрестанно
Смотрят вдаль сторожевые,
И при каждом появленье
Незнакомых лиц в равнине
Вызывают громким криком
На бойницы весь отряд.
И гонец два раза в сутки
Скачет шибко за вестями
От Сузгуна до Искера —
Но обратно с каждым разом
Всё нерадостные вести
Он привозит от царя.

8

Раз, вечернею порою,
В те часы, когда молитву
Правоверные свершали,
А Сузге в своей светлице

Думу думала — нежданно
Быстро входит воин к ней.
Грозен вид его сердитый;
Лоб наморщен, губы гневом
Сведены; глаза сверкают.
Ни поклона, ни привета
Он не делает царице
И не смотрит на нее.
«Брат! — царица восклицает,
И встает поспешно с места,
И сжимает брату руку. —
Или новое несчастье
Нас постигло? Что ж? Не медли!
Всё ли кончено, скажи?».
Молчалив и гневен воин.
«Что с Кучумом? Что с народом? —
Вновь царица начинает. —
Или Бог совсем оставил
Правоверных?.. Иль пришельцы
Посягнули на царя?».
Вздох страданья, вздох тяжелый
Был ответ Махмета-Кула.
Вдруг сорвал свою он саблю,
Бросил об пол в сильном гневе
И, закрыв лицо руками,
«Всё погибло! — простонал. —
Пришлецы теперь пируют
В нашем городе Искере;
Наше войско — куча трупов;
Сам Кучум бежал поспешно,
Бросив все свои богатства...
Гибель царства решена!».
Долго длилося молчанье
Между братом и сестрою.
Вдруг из ясных глаз царицы
Слезы градом покатились.
«Мой супруг! Мой повелитель!» —
Громко вскрикнула она.

9

Ходит скорыми шагами
Брат царицы по палатам;
Гнев, печаль его терзают;
А царица молодая
Неподвижно, молчаливо
На ковре своем сидит.
Вдруг Махмет остановился
Пред сестрой и грустно молвил:
«Мне с тобой сегодня ж должно
Разлучиться — пусть погибну,
Если рок велит мне гибнуть!
Если гибнет царство всё!
Да, сестра! Сегодня ж ночью
Я прощусь с тобой. Не бойся!
Без меня тебя не тронут.
Я о жизни не жалею:
Смерть моя спасет тебя.
Подожди! Но если след мой
У тебя наш враг откроет,
Всё пропало! Я знаком им,
Я встречался с ними в битвах:
Сам Кучум не так им страшен,
Как твой юный брат Махмет».
«Всё ль? Теперь меня послушай. —
Речь царица начинает. —
Если Бог велел погибнуть
Всей Сибири, пусть погибнет;
Но пускай и враг наш, русский,
Гибель с нами разделит.
Иль не стало больше средства?
Иль на всей земле сибирской
Нет уж больше человека?
Царь бежал: будь ты царь нынче,
Вороти свое владенье,
Завоюй себе Сибирь.
Слушай — хитрость лучше силы:
Распусти меж русских вести,

Что сидишь ты здесь в Сузгуне;
И когда наш враг обложит
Это место, ты, не медля,
Собирай свои дружины.
Будь спокоен! Я умею
Продержать их под стенами
Столько времени, сколь нужно,
Чтоб тебе собраться с силой.
Тут нагрянь на них отважно —
И Алла помощник твой!».
Речь окончила царица.
На лице Махмета-Кула
Луч блеснул отрадной мысли.
Нежно обнял он царицу, —
«Да исполнится!» — сказал он
И поспешно вышел вон.

10

Царь Кучум в степях горюет
По своем богатом царстве;
А в больших его палатах
Казаки сидят за чарой,
Поминают Русь Святую
И московского царя.
Впереди сидит начальник
И большой их воевода,
Первый в бое и советах,
Тот Ермак ли Тимофеич;
Редко к чаре он коснется
И среди веселья крепко
Думу думает свою.
Справа грозный воевода,
Атаман Кольцо отважный,
Буйну голову повесив;
Слева, весел и разгулен,
С полной чарою глубокой,
Атаман Гроза сидит.
На другом конце пируют

Три другие атамана:
Мещеряк, Михайлов с Паном.
За палатами ж Кучума
На дворе большом гуляют
Удалые казаки.
Светлый день идет на вечер,
А казацкий пир к исходу...
Вдруг большой их воевода
Тот Ермак ли Тимофеич,
Выпив чашу одним духом,
Быстро встал из-за стола.
«Нет, товарищи! — сказал он. —
Рано нам еще на отдых;
Наше дело зачатое
Довершить сперва надлежит;
Мы Искер один лишь взяли —
Остается взять Сибирь.
К нам дошли худые вести:
Говорят, что царский шурин
Не бежал с царем Кучумом,
Что сидит теперь в Сузгуне,
Что тайком сбирает войско,
Чтоб Искер у нас отнять.
Завтра с Богом за работу!
Ты, Гроза, пойдешь к Сузгуну
Со своею всей дружиной
И уж волей иль неволей,
А возьми Махмета-Кула;
Только помни милость Бога:
Не губи напрасно всех.
Ты, Кольцо, сиди в Искере,
Береги его для Руси.
Сам же я пойду с другими
На царя того Сейдяка.
Надо кончить поскорее:
Ведь зима не за горой».
Речь Ермак свою окончил;
Встали тихо атаманы:
«Гой, Ермак наш Тимофеич! —

Громко все они вскричали. —
Ты приказывать нам можешь,
Мы послушники твои!».

11

На другой день все казаки
До зари еще вставали,
Сабли, ружья вычищали,
Собиралися на площадь
И в порядке — чином к чину —
Становилися в ряды.
Вот выходит воевода
Тот Ермак ли Тимофеич
С атаманами своими,
Низко кланяется войску,
И подходит он под знамя,
И дает к молитве знак;
И послушно вся дружина,
За вождем склонив колена,
В тишине благоговейной
Молит Господа и Бога
О победе над врагами,
О спасении царя.
Не долга — сильна молитва!
Вскоре встали все казаки,
Сабли наголо и дружно
Громким голосом вскричали:
«С нами Божеская сила
И Угодник Николай!».
Вот Ермак ряды обходит,
Поименно называет
Всех десятников и старших,
Славу Дона поминает,
И богатую добычу,
И прощение царя.
«Гой, товарищи и братцы!
Вы, казаки удалые!
Лучше честно нам погибнуть,

Чем позорною кончиной
На постыдной сгибнуть плахе
И проклятье заслужить».
Шумно тронулись казаки...
То не лебеди, не снеги —
То их парусы белеют;
То не песни соловьины —
То их русские напевы...
Гой, вы, братцы! Добрый путь!

12

Не в полудни, не в полночи
Крик орла в выси раздался,
А вечернею порою
Крикнул воин на бойнице,
Той бойнице ли сузгунской,
Где синеется Иртыш.
То не пчелы вылетают
Из улья с своей царицей,
То татары выбегают
С старшиной своим отважным
На высокие на стены
Грозной крепости Сузге.
Вот являются в равнине
Люди храбрые — казаки;
Впереди их воевода.
«Ай да крепость!» — тихо молвит. —
«Ай да крепость!» — повторяют
Все казаки про себя.
«Гой, татары и уланы! —
Крикнул громко воевода. —
Коль живыми быть хотите,
Сдайте нам свою ограду;
Коль погибнуть вы хотите,
Не сдавайте нам ее».
— «Гой, неверный воевода!
Прежде солнце потемнеет,
Прежде наш Иртыш великий

Потечет назад к истоку,
Чем сдадим мы вам ограду!» —
Так со стен своих высоких
Отвечает старшина.

13

День седьмой уже проходит.
Утомилися казаки,
Утомилися татары.
«Стыд, когда, не взяв, отступим!». —
«Стыд, когда сдадим ограду!».
Вновь напор и вновь отпор.
Наконец Гроза с согласья
Всех десятников и старших
Пишет грамоту и просьбу
К Ермаку такою речью:
«Две недели уж проходят,
А мы всё еще не можем
Взять Сузгуна на мечи.
Да и что это за крепость!
Да и что это за люди!
Хоть Махмета не видали,
Но по этому упорству
Думу думаем такую,
Что он верно тут сидит.
Ждем приказу войскового —
Что нам делать. Если снова
Ты велишь держать в осаде
Эту крепость, то мы просим
К нам людей прислать побольше —
Малым крепости не взять.
Вот когда бы в чистом поле
Нам схватиться привелося,
Это дело бы другое.
А стена покрепче груди,
Хоть и то мечи порядком
Мы сточили об нее».

14

Снова тянется осада.
Двои сутки так проходят,
А на третьи, темной ночью,
От Махметова улана
В крепость брошена с известьем
Быстроперая стрела.
«Бог совсем татар оставил! —
Так известье начинает. —
Три дня ровно, как случилась
Сеча с русскими большая;
Нами правил брат твой храбрый,
Ими властвовал Ермак.
Семь часов та сеча длилась,
А в осьмой твой брат, царица,
Ранен меткою пищалью.
Без главы осталось войско;
Те побиты, те бежали,
А Махмет-Кул взят в полон».
Нет речей в устах царицы!
Нет слезы в глазах несчастной!
А меж тем, как черны тучи,
Думы тяжкие проходят,
Женский ум ее тревожат,
Точат сердце, давят грудь.
О, Сузге, краса-царица!
И последняя надежда
На великого Махмета
Вдруг потеряна. Он пленник!
Царь Кучум в степях далёко!
Что ты ждешь еще себе?

15

Ходит бедная царица
По своей опочивальне,
Руки белые ломает,

Взором сумрачным блуждает
И свою тоску-кручину
Так высказывает вслух:
«Знать, то Богу так угодно,
Чтоб великое владенье
Повелителя Кучума
Уничтожилось. За что же
Нам беда пришла такая?
Чем прогневали судьбу?
Я вчера была царицей,
А сегодня, может, буду
Русских пленницей, рабою!
И дитя мое... О Боже!
И дитя... О нет! Неможно!
Нет, рабой не буду я!
Наш Сузгун довольно крепок,
Нелегко его взять русским;
Много воинов отважных
Стерегут его и кроют.
Может быть, — и как знать? — вскоре
Возвратится царь Кучум...
Но сдержать ли малой горсти
Упадающее царство?
Коль разбито наше войско,
Коль Махмета нет уж боле —
Мне ли, женщине, мне ль можно
Честь и царство поддержать?
Если б был еще воитель,
Равный брату в ратном деле,
Всё была б еще надежда;
А теперь сгублю я только
Всех защитников Сузгуна,
И сама — опять в плену!
Что мне делать в этом горе?
Где искать себе спасенья?».
Так царица говорила,
Заливаяся слезами.
Тут позвать она велела

Старшину к себе в покой.
«Долго ль можем мы держаться?» —
Старшину она спросила.
«Долго ль? Этого не знаю;
Но пока я жив, царица,
Но пока еще хоть двое
Нас останется в Сузгуне,
Русским крепости не взять!». —
Тяжко, тяжко ты вздохнула,
О Сузге, краса-царица!
Эта верность! эти чувства!
И его ли ты погубишь!
О, когда б Кучум побольше
Мог иметь таких людей!

16

«Будь здоров, наш воевода!
Милосердием Господним
И казацкой нашей силой
Мы побили вновь неверных
На реке на той Вагае,
Где течет она в Тобол.
Пишешь ты, что в том Сузгуне
Махмет-Кул сидит в ограде.
Диво, если это правда, —
А затем, что при Вагае
Взяли мы Махмета-Кула
И старшин его в полон;
И меж прочими вестями
Мы узнали, что в Сузгуне
Правит храбрая царица,
А при ней людей немного
И один лишь старшина.
Это молвим не в обиду:
Крепость, знаем мы, — не поле,
А царица, как слыхали,
Есть сестра Махмета-Кула;

Так не диво, что неможно
Вашей храбрости казацкой
Взять Сузгун тот на мечи.
Да еще одно известье:
Ты, Гроза, теперь нам нужен;
День простой еще на месте,
А потом в Искер сбирайся.
Пусть царица правит местом:
Мы не с нею брань ведем».
«Прах возьми! — Гроза воскликнул,
Прочитав приказ из войска. —
Нас на смех теперь подымут!
В три недели не умели
Нашей храбростью казацкой
С бабой справиться путем!». —

17

Вдруг к нему в палатку входит
Старшина седой татарский
И, не кланяясь и шапки
Не снимая, атаману
Говорит такую речь:
«Слушай речь моей царицы!
Наша храбрая царица
Сдать Сузгун тебе готова,
Если только ты исполнишь
Три условия ее.
Дать нам, всем татарам, волю —
Это первое условье;
Дать нам судно переехать —
То условие второе;
А последнее условье —
Нам обиды не чинить».
«Поздно ты пришел с прошеньем! —
Старшине Гроза промолвил,
Радость в сердце сокрывая. —
Через день придет к Сузгуну

С силой многою-большою
Сам начальник наш Ермак.
Он без всяких без условий
Ваш Сузгун возьмет с царицей...».
«Так условья отвергаешь?» —
Старшина спросил, нахмурясь.
«Нет! — Гроза ему обратно. —
Я согласен их принять.
Но и вы согласны будьте
На одно мое условье:
Пусть все едут безопасно;
Дам вам волю, дам вам судно;
Но пускай царица ваша
Нам отдаст себя в полон». —
«Ты не жди того, неверный! —
Старшина воскликнул гневно. —
Прежде всё вконец погибнет,
Чем мы выдадим царицу!». —
«Это будь по воле вашей, —
Говорит ему Гроза. —
Но еще скажу я слово:
Коль царица согласится
Нам отдаться, пусть опустят
Полумесяц на бойнице.
До зари, никак не больше,
Думу думать вам даю.
Но уж если и с зарею
Не опустят знак бойницы,
Не войду тогда я с вами
Ни в какое перемирье». —
«Пусть нас Бог теперь рассудит!» —
Мрачно молвил старшина.

18

Атаман Гроза не сводит
Глаз с высокого Сузгуна;
И надежда и сомненье

Душу воина колеблют.
Солнце клонится на запад...
Вечер... смотрит... спущен знак!
«О владычица святая!
О Святой Христов Угодник!
Знать, казаки вам угодны,
Что желание их сердца
Вы исполнили так скоро», —
Молвил весело Гроза.
Той порой Сузге-царица
Всех рабынь к себе сзывает
И, скрывая грусть весельем,
Говорит им речь такую,
Глядя весело на них:
«Вы, прислужницы-девицы!
Отпирайте кладовые,
Выносите все наряды,
Все каменья дорогие
И царицу наряжайте:
Завтра праздник у меня».
И рабыни отпирают
Кладовые, вынимают
Камни, платья дорогие
И царицу наряжают,
Косу пышную плетут.
Слезы катятся ручьями
У прислужниц, но ни слова
Ей девицы не промолвят.
Им известно, что царица
Для свободы их сдается
В плен начальнику чужому, —
Жаль им доброй госпожи!
Вот окончены наряды.
И прекрасная царица
Всех прислужниц равной долей
Своеручно наделяет,
Раздает им все богатства
И целует порознь их.

Тут зовет к себе в светлицу
Старшину того седого,
Благодарствует за службу,
И велит отдать отряду
Всю казну свою большую,
И от имени царицы
Благодарствовать велит.

19

Ночь покрыла мраком небо,
Землю тьмою обложила.
Спят казаки, спят татары;
Лишь не спит в своей светлице
Несчастливица-царица,
Одинокая Сузге.
Перед ней горит светильник
И, бросая свет дрожащий,
Освещает ту палату,
И роскошное убранство,
И блестящую одежду,
И печальную Сузге.
О Сузге, краса-царица!
Тяжела тебе ночь эта!
Ты сидишь на мягком ложе,
Опустив на грудь головку
И сложа печально руки
На трепещущей груди;
Ты одета, как невеста,
В драгоценные одежды —
Но глаза твои не блещут
Предрассветною звездою;
Но уста твои не пышут
Цветом розы и любви.
Дума черная, как полночь,
Обвила твой ум, царица,
И тоска, как червь могильный,
Точит сердце молодое.

Велика твоя невзгода!
Тяжела твоя судьба!
Но прими к себе надежду:
Русский царь великодушен —
Он смягчит твое несчастье,
Усладит твою кручину;
Не рабою, но царицей
Почестят тебя в Москве.
О, когда б прошла скорее
Эта ночь твоей печали!
Недвижима и безмолвна
Всё сидит Сузге-царица.
Нет речей для утешенья!
Нету мысли для надежды!
Будто смерти вещий голос
Тихо носится над ней.
Вот блеснул в ее светлице
Светлый луч зари восточной.
«О мой Бог! меня помилуй!» —
Тяжко вскрикнула царица
И упала на подушки,
Задыхаяся от слез.

20

Встало солнце. Пробудились
И казаки, и татары.
Ясный день для всех восходит,
Льет на всех равно сиянье;
Но не все равно встречают
Солнца красного восход!
Вот Гроза к стенам подходит
С удалой своей дружиной;
Вот татары отворяют
Неприступные бойницы
И вослед за старшиною
Безоружные идут.
Мрачно сходят вниз татары,
Озираяся на стены

И на крепкие бойницы;
Плачут царские девицы,
Обращая взор печальный
На оставленный Сузгун.
А с бойницы той порою,
Скрыв лицо свое покровом,
Одинокая царица
Грустно смотрит отступленье;
Грудь волнуется тоскою,
Но слезы уж нет в глазах.
«Слушай, храбрый воевода! —
Старшина седой промолвил,
Поравнявшися с Грозою. —
Если честь тебе известна,
Ты с царицею поступишь,
Как приличие велит».
«Будь спокоен, храбрый воин! —
Старшине в ответ промолвил
Атаман Гроза казачий. —
Наша Русь славна издревле
К роду царскому любовью —
И в других его почтит».
Вот изгнанники проходят
Чрез широкую равнину;
Вот реки они достигли;
Вот взошли они на судно;
Поклонилися Сузгуну
И исчезли вдалеке.
«Путь счастливый вам! — сказала
Грустная Сузге-царица,
Обвела вокруг глазами,
И, вздохнувши тяжко-тяжко,
С неприступной той бойницы
Тихо вниз она сошла.

21

Входят весело казаки
В крепость грозную Сузгуна;

Впереди их воевода —
Атаман Гроза, и молча
Он прилежно озирает
Покорившийся Сузгун.
Вот идет он в терем царский —
Словом ласковым приветить
Несчастливую царицу;
Но в палатах царских пусто.
Он обходит всё строенье —
Но царицы нет нигде.
«Где ж она?» — Гроза подумал,
И большое подозренье
В грудь казацкую запало;
Злой укор в устах теснится...
Вдруг увидел он царицу
И укор свой удержал.
Под наклоном пихт душистых,
Прислоняся головою
К корню дерева, сидела
Одинокая царица;
Вьется ветром покрывало;
Руки сложены на грудь.
Атаман к Сузге подходит,
Перед ней снимает шапку,
Низко кланяется, молвит:
«Будь спокойна ты, царица!
Мы казаки, а не звери,
Мы уважим царский сан.
Бог нам дал теперь победу:
Так грешно бы нам и стыдно,
Милость Бога презирая,
Обижать тебя, царица.
Ты о плене позабудешь —
Слово честное даю».
Но напрасно воевода
Ждет ответа от царицы.
Изумлен ее молчаньем,
Подошел он к ней поближе...

Тихо поднял покрывало –
И поспешно отступил.
Матерь Божия! Не сон ли
Видит он? В лице нет жизни:
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды,
И в глазах полузакрытых
Померкает Божий свет.
«Что ты сделала, царица?» –
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдруг царица задрожала;
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был – последний взор!

22

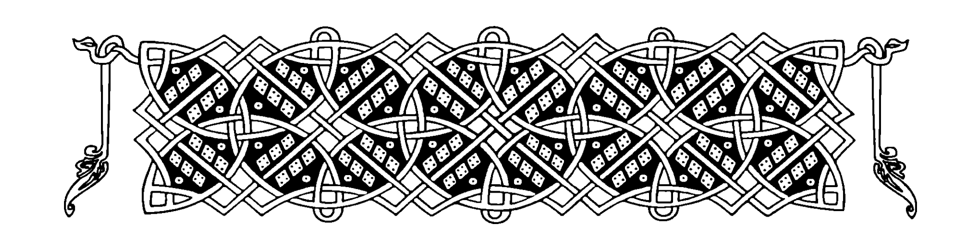
Под наклоном пихт душистых
Собралися все казаки,
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда
Насыпают холм могильный.
Тишина лежит кругом!
Вот обряд печальный кончен.
Поклонясь сырой могиле,
Говорит Гроза казакам:
«Гой, товарищи-казаки!
Здесь нам нет уж больше дела,
Снаряжайтесь на Искер!».
. . . .
Ночь спустилася на землю,
Ветер воет по дубраве,
Гонит тучи дождевые,
А Иртыш о круть утеса
Плещет звонкою волной.
Распустив свои ветрила,
Едут добрые казаки.

Льется песня их живая,
Что про матушку про Волгу,
Что про Дон их, Дон родимый,
Что про славу казака.
А вдали, клубясь волнами,
Блещет пламя над Сузгуном –
На стенах его высоких,
На крутых его бойницах...
Рдеет небо полуночи!
Блещут волны Иртыша!

1837
Тобольск


ДРАМАТУРГИЯ





ФОМА-КУЗНЕЦ

Отрывок из драматической повести

Ряд кузниц; одна из них отворена.

Старик Лука
(поет, работая в кузнице)

Вдоль по улице широкой
Молодой кузнец идет;
Ох! идет кузнец, идет,
Песню с посвистом поет.
        Тук! тук! тук! в десять рук
        Приударим, братцы, вдруг!
Соловьем слова раскатит,
Дробью речь он поведет;
Ох, речь дробью поведет,
Словно меду поднесет.
        Тук! тук! и проч.
«Полюби, душа-Параша,
Ты лихого молодца;
Ох! лихого молодца,
Что в Тобольске кузнеца».
        Тук! тук! и проч.
«Как полюбишь, разголубишь,
Словно царством подаришь;
Ох! уж царством подаришь,

Енералом учинишь».
Тук! тук! в десять рук
Приударим, братцы, вдруг!

(Выходит из кузницы.)

Уж солнышко идет повечерять
И Божий мир не так привольно греет;
Пора и нам работу окончать:
От лишних сил и добрый лук слабеет.

(Садится на прилавку.)

А дивно же Творец наш мир ведет?
Без Господа и конь шага не ступит.
Вот день потух; его прошел черед;
А там, смотри, и темна ночь наступит.
Сегодня я следил его закат,
А завтра мой, быть может, он проводит...
Ужли-то есть страна, как говорят,
Где солнышко совсем с полдня не сходит?
А жаль мне их! Не видят бедняки
Ни ясных звезд, ни месяца, ни *зорей*;
Все день да день! да я б исчах с тоски,
Спаси нас, батюшко Святой Егорий!
Знать, согрешил пред Богом тот народ,
Что экую послал им Бог притчину.
Ну, то ль у нас! за ночью день идет,
Тут снова ночь, как следует по чину.

Мальчик
(из кузницы)

Лука Ильич! Сюда скорей, сюда!

Лука
(вставая)

Ну, что там? Чай, опять за мною дело.
Ох, молодежь!

Мальчик

Да что? бедой беда!
Огонь велик: железо пригорело.

Лука бросает в кузницу. Чрез несколько времени подъезжает к кузнице молодой, прекрасный человек в дорожном платье.

П р о е з ж и й

Эй, кузница!

Л у к а

Кого Господь дает?
(Выходит.)
Что надать? ась?

П р о е з ж и й
(сходит с лошади и показывает на сбитую подкову)

А вот, дружок, что нужно,
Да поскорей!

Л у к а

Ну, барин, время ждет!
Хоть нам, то есть, и не совсем досужно,
Да так и быть! Чай, ты ведь сдалека?
Возьмет же странствовать людей охота!
А, славного Бог дал тебе конька!
Немецкой, что ль?

П р о е з ж и й

Да, английской.

Л у к а

Вот то-то!
Мы знаем толк! недаром тридцать лет
Куем коней и упряжные снасти,
Хоть раз-казак, да не надует! нет!
Смекнем, что русской, что немецкой масти.
Ведь кажной день коптимся мы в дыму
И всякую работаем работу...
А грех таить! К кузнечному письму
Господь мне дал и силу и охоту.
Спаять ли что, лихого ль подковать,
Надвесить ли торговые запоры,

Замки ль свернуть на анлицкую стать,
Иль вывести немецкие узоры, —
На всё Лука! Скажи, что ни на есть
Мудреного, — уж к вечеру готово,
Любуйся лишь! За то Луке и честь!
За то Луке поклон и добро слово!
Нам молота не стать уж поднимать...

Проезжий
(рассеянно)

Хозяин ты?

Лука

Оно хоть не хозяин,
Да если где придется, так сказать,
Хозяйничать, так дело мы уж знаем;
Умеем где прикрикнуть, где смолчать:
Мы сами ведь бывали под началом...
А славной конь! Искусственная стать!
Ну, только б ей и быть под енералом.
А можно ли спрошать твой, барин, чин?
Я чаю, ты не низшего сословья.

Проезжий
(сквозь зубы)

Чин!.. чин!.. ну, человек! Ну, дворянин!
Забота знать чужие предисловья!

Лука

В любовь, не в гнев. Оно, то есть, ништо!
Да к речи так пришло сказать случилось.
Ведь наш язык прямое решето,
Что ни вольешь, всё выйдет, ваша милость!
Язык наш враг, Писание гласит,
Да победить его подчас не в силу;
Ты чтоб молчать, а бес его зудит —

Да ведь тако-ино, что Господи помилуй!
Поздумаешь, уж я ли не молчок,
А всё порой дойдет до всех соборов...
Да кстати речь...

Проезжий

Пожалуйста, дружок,
Побольше дел, поменьше разговоров.

Лука

Вишь ты!..
(Ворча, уходит с лошадью.)

Проезжий
(один)

Спасен! Кого ж благодарить —
Себя, коня или судьбу я должен?
Мне удалось следы свои сокрыть
И обмануть стозорких этих волжан.
Пусть рвутся их с досады и тоски!
Мне всё равно! К опасности готовый,
Я не боюсь бессильной их руки!
Мне не страшны безумные их ковы!..
Но что же я? Какую роль играть
Мне суждено меж жалких этих братий?
Давить их, гнесть их, в прах и грязь втирать, —
Или просить смиренно их объятий?
Услуживать ученым старикам,
Водить старух, псаломствуя, к обедням,
Играть в любезника у этих постных дам,
И в праздники таскаться по передним!
Но так и быть! Смиренно заживем,
Прикинемся; узнать никто не может.
А в случае, там дерзостью возьмем,
Где ложное смиренье не поможет!
(Начинает ходить.)

Лука
(приводит лошадь)

Вот и совсем! А чудный, право, конь!
Не шерсть, а шелк! А грива – что те трубы!
Насилу справились: такой огонь!
Вот так, пострел, и метит прямо в зубы!

Проезжий

А не мешало бы хоть на помин.

Лука

Эх, батюшка! и то зубов не *сыщу*.
Взялся бы наковать хоша один,
Да ведь, как быть, не ладится на притчу.

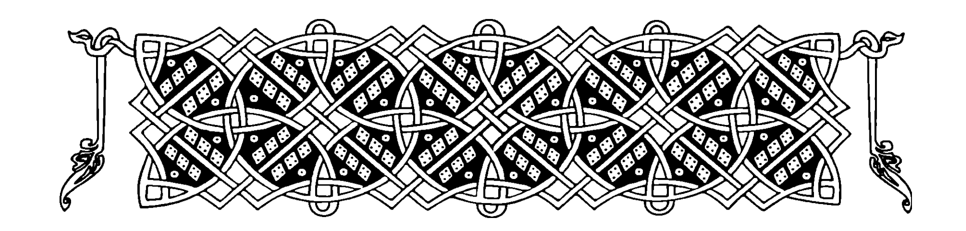
Проезжий бросает ему деньги и едет.

Лука
(смотря на отъезжающего)

И сам не говорит, да и другим
Велит держать монашескую строку!
Да мы и без него, кажись, молчим...
Родится же, что ни в Кузьму, ни в Фоку!
На что же Бог язык людям дает?
«Мы думаем, дескать, мы рассуждаем!
Мы дохтура! а вы что? Так, народ
Оборванный, в азямах...». Да, брат, знаем!
Пусть дохтур твой коня те подкует!

(Уходит в кузницу.)

1835



СУВОРОВ И СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Драматический анекдот

Его сиятельству господину действительному статскому советнику, попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, Императорской Академии наук вице-президенту и разных орденов кавалеру князю **Михайле Александровичу Дондукову-Корсакову** усерднейшее приношение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Небольшая, просто убранная комната; около стен лавки; впереди крашеный стол.

Маша
(входит и садится на лавку)

Уф! отдохнуть хоть немножко! Батюшка и староста всю деревню сбили с толку своими приготовлениями. И от одного смотренья голова закружится! Вот, подумаешь, сколько шуму и один большой граф наделает; а приезжай-ка их побольше, так и упаси Господи! *(Поправляет волосы.)* Чудно, право, на этом свете! Ведь все люди как люди; а нет! один едет смирнешенько, кажись, водой не замутит; а другой налетит как Вихорь-Царевич, — такую бурю напустит, что не взвидишь свету белого: того-другого, пятого-шестого, урви да подай!

Л у к а
(выглядывает из-за дверей и говорит женским голосом)

Машенька!

М а ш а

Ну.

Л у к а

Машечка.

М а ш а

Да чего надо?

Л у к а

Мне надо бы потолковать с тобой.

М а ш а

Говори, никто не мешает.

Л у к а

Да ты одна тут?

М а ш а

Одна. А на что тебе?

Л у к а

Ну, коль одна, так войти можно.
(Входит.)

М а ш а

Ах, это ты, Лукаша! А я, право, думала, что Федосья. Ну, точнехонько ее голос! Чего тебе хочется?

Л у к а

Хочется-то мне многого, Машенька, а между прочим, что у вас за приготовления такие?

Маша

Будто не знаешь!

Лука

Вот-те Христос, не знаю. Я только что с дороги.

Маша

У нас сегодня пир будет.

Лука
(испугавшись)

Пир? Так это правда?..

Маша

Разумеется. К нам граф приедет.

Лука

Только-то? Ах! слава-те, Господи! *(Крестится.)* У меня отлегло от сердца. Погоди же ты, разбойник Фомка! Эта шутка даром тебе не пройдет!

Маша

А что он сделал?

Лука

Как что? Перепугал до смерти! Сказал, собачий сын, что у тебя сего дня обручанье будет.

Маша
(смеется)

А ты, рожица, и поверил?

Лука

Тебе смешно, Машенька, а у меня голова вот так и покатилась.

Маша

Эх, ты дурачок, дурачок! Разве забыл, что я тебе ономнясь сказала: прибей меня батюшка до полусмерти, а не пойду ни за кого, кроме Луки.

Лука
(почесывая затылок)

Оно так. Да если присватается кто-нибудь побогаче? а у меня в кармане-то хоть выспись.

Маша

Так что же? Не с богатством жить, с человеком; и через золото слезы льются.

Лука
(ласкаясь к ней)

Дорогая ты моя Машенька! золотая ты моя душенька!

Маша
(отталкивая его)

Ну, перестань дурачиться! Не то на глаза не пущу. Слышишь? Перестань, говорят!

Лука

Ну, ну, перестану. Вишь, ты какая грозная! Разом губки и надула... А что, Машенька, разве этот граф какого особого рода, что для него так суетятся? Ведь много у нас проезжало и князей, и графов, и всяких енералов, а ни одного не встречали с такими чинами.

Маша

Да слышь ты, этот из графов граф, то есть самой большой граф – Суворов!

Лука

Суворов!

Маша

Ну, да, тот самой, у кого все войско под рукой.

Лука

Поди, пожалуй, всем войском командует!.. А что, Машенька, мне пришло в голову: не попросить ли Суворова, чтоб он велел обвенчать нас?

Маша

Вишь, молодец какой! К графу придти не то, что к писарю: такого тычка дадут, что и своих не вспомнишь.

Лука
(махнув рукой)

Так что же! Пусть дадут, а я все-таки растянусь перед графом да и зареву во всю ивановскую: Ваше графское сиятельство! Господин Суворов-батюшка! помилуй! Лука любит Машу, Маша любит Луку; а Иван Иваныч не хочет выдать Машу за Луку затем, что у Луки столько же рублей в кармане, сколько волос на ладони.

Маша

А если граф-то спросит меня: правда ли, что Маша любит Луку?

Лука

А Маша скажет, что она уж давно его любит.

Маша

А если она скажет, что не любит Луку, а любит... ну, хоть писаря?.

Лука

Лих не боюсь этого! А если и скажет, так я пуще прежнего зареву: не слушайте ее, Ваше графское сиятельство! Она вас надувает, ну, вот ей-Богу! надувает!

Смотритель
(в сенях)

Эй, Максим! подмети крыльце-то почище.

Маша

Ах! это батюшка! Уйди скорее, Лукаша.

Лука

Да куда мне уйти-то? В дверях разом столкнешься с смотрителем. Постой... *(Бежит к окну.)* Мы прыгать мастера! *(Выскакивает в окно.)*

Маша

Он убьется, бедненький!

Смотритель
(входит)

Кто убьется такой?

Маша
(скоро)

Воробей, батюшка.

Смотритель

Ты все пустяками занимаешься. Ну, время ли теперь думать о воробьях, когда с часу на час ждем графа Суворова! Поди-ка лучше да приготовь мой парадный сертук.

Маша

Слушаю, батюшка.

(Уходит.)

Смотритель

Всем бы хороша, да шалит много. Уж поскорее бы ее с рук долой! Меньше заботы... писарь уж поговаривал... вот проводим графа Суворова, а там и займемся свадьбой... *(Слышен звон колокольчика.)* Чу! кто-то едет! *(Подбегает к окну.)* Тройка!.... солдат! .... Уж не передовой ли графа?.... а что ты думаешь! *(Бежит к дверям.)*

Суворов
(в солдатской шинели – входит и кланяется)

Здравствуй, смотритель!

Смотритель

Здравствуй, здравствуй, служба! Что нужно?

Суворов

А вот отдохнуть немножко, если позволишь.

Смотритель

Милости просим! Я сам в старину был солдатом, так страх люблю потолковать с служаками... А что, служба, ты не передовой ли графа Суворова?

Суворов

Да, я загонщик.

Смотритель

Так граф поэтому скоро будет?

Суворов

Нет, еще не скоро.

Смотритель

Ну, так мы успеем и перекусить кой-чего. Ты, чай, от хлеба-соли не откажешься?

Суворов

Конечно, нет.

Смотритель

Дело! садись-ка сюда. Маша! Маша!.. не прогневайся, что Бог послал... Маша!

Маша
(выглядывает из-за дверей)

Ась, батюшка.

Смотритель

Подай-ка сюда чашку щей да пирог с капустой. *(Маша уходит.)* За щи, брат, не отвечаю, а уж пирогом так могу похвалить-

ся: объяденье, да и только! А покамест выпьем-ка по чарочке. Я вот сей час того-сего вынесу. *(Уходит.)*

Суворов
(ходит по комнате, смеясь и потирая руки)

Смотритель
(приносит две рюмки и штоф и ставит на стол)

Славное, брат, винцо! Пьешь – больше хочется. *(Наливает.)* Что? каково? Чай, отродясь не пивал такого?

Суворов

Помилуй Бог, хорошо!

Смотритель

То-то же! Ну-ка, брат, еще по чарочке. А что, служба, правда ли, что батюшка Суворов от простого винца не отказывается?

Суворов

А как же? Русская душа русское вино любит.

Смотритель

Вот и я точно таков же! Терпеть не могу вин заморских! Дрянь такая! Брага не брага, вода не вода, а та, что-то ни туда ни сюда. То ли дело – православное! Как дернешь стаканчика два-три, так хоть на Ивана Великого полезай!.. За здоровье батюшки Суворова.

Суворов

Пожалуй.

(Чокаются и выпивают.)

Смотритель

Да что ж обед наш? Ведь теперь покуда и поесть; а то как граф Суворов приедет, так в хлопотах-то не успеешь и перекусить. Маша!

Маша

Сейчас. *(Ставит кушанье на стол и кланяется Суворову.)*

Суворов

Здравствуй, красавица! Это дочь твоя, смотритель?

Смотритель

Да, служба. А что? Какова?

Суворов

Настоящая Марфида прекрасная.

Смотритель

Вот такова же была покойница мать ее. Теперь ступай, Маша. *(Маша кланяется и уходит.)* Принимайся-ка за ложку.

Суворов
(ест)

Чудесныя! Персидской суп!.. Итальянская похлебка!.. Турецкий соус!.. Французские макароны!

Смотритель

А всё-таки русские щи. Ну-ка и я, благослови Господи!.. Слушай! Ложку ко рту! Скорым шагом – марш-марш!.. Какова команда? А? Хоть бы сейчас в капитаны. А куда хотелось бы мне получить офицерство.

Суворов

Генеральство, скажи. Худой тот солдат, который не надеется быть генералом.

Смотритель

Да, скоро сказка сказывается. Генеральство-то получить — не блин испечь. А что, служба, бывал ты в сражениях?

Суворов

Да, был в двух-трех.

Смотритель

Ну, так я это дело знаю получше тебя. Я был в семи сражениях, да и в каких еще! Да вот, например, Кагульская баталия. Уф ты, Господи! Как земля только устояла! Вспомнишь, так дрожь берет.

Суворов

Да, говорят, что Кагул чуть было вас не надул: вы было на попятный двор...

Смотритель
(бросая ложку)

Тебе хорошо толковать об этом за щами, а побудь-ка на нашем месте, так, небось, запел бы другим голосом. Нас было только 17 тысяч, а турки едва не 200: так изволь тут отбиваться. Пушки вот так и дуют: пух-пух! Словно гороху объелись. А ядра-то, ядра-то! Как налетит да как хватит по линии, так в пять перевертов запрыгаешь. Да мы все-таки отбоярились.

Суворов

С изъянцом?..

Смотритель

Уж, разумеется, с изъянцом. Ведь турки не так глупы, как думаешь. Не станут подставлять даром лба; а тоже пошлют пирог

с начинкой, инда подавишься. Да все-таки пуля не чета штыку, хоть она и мелким бесом рассыпается. Как хватит, дружок, под седьмое ребро, так и поминай как звали! Ну-ка, за здоровье Штыка Штыковича.

Суворов

Изволь. За кого другого, а уж за штык как не выпить.

(Чокаются.)

Смотритель
(заглядывает в чашку)

Эхе! В чашке-то уж пусто! Молодец! Проворно же ты работаешь. А мне с лясами-то, видно, придется края облизывать. Благо хоть пирог в запасе. *(Ставит пирог.)*

Суворов

А как вашу деревню зовут?

Смотритель

Смолянской. А что?

Суворов

И церковь есть?

Смотритель

Да и какая ж еще!

Суворов

И поп есть?

Смотритель

Смотри, пожалуй! Ведь ничего умнее не мог придумать для спросу.

Суворов

И в колокола звонят?

Смотритель

Да ты смеешься, что ль, надо мной?

Суворов

А капусты много?

Смотритель

Да разве я капустный смотритель? В уме ли ты?

Суворов

Славный пирог! Не ты ли его испек?

Смотритель

Эй, служба! Со мной не шути. Я не посмотрю, что ты загонщик графской; я и сам служу Царю-Государю.

Суворов
(выходит из-за стола)

Спасибо, смотритель! Славный обед! Твое здоровье. *(Пьет.)*

Смотритель

Люблю молодца за обычай! Ну, и твое здоровье. *(Пьет и выходит из-за стола.)* Маша! Собирай обед. *(Маша собирает и уходит.)* Да ты, брат, ровно спать собираешься?

Суворов
(ложится на лавку)

Отдохну немножко.

Смотритель

Славной же ты загонщик! Вот как я, бывало, посылан был от моего генерала, не смеешь и подумать об отдыхе: скачешь сломя голову, только зубы стучат. Балует вас батюшка Суворов, дай ему Господи здоровья!

Суворов

А что, смотритель, не скажешь ли ты теперь сказки?

Смотритель

Ох! ты забавник! Да скорее на животе рожь измолотишь, чем от меня сказку услышишь. Не таковской, брат. *(Ложится на другую лавку.)* Вот ты не скажешь ли? Ведь у вас в лагере то и дело что сказки... Ну-ка, служба, потешь старика, махни богатырскую!

Суворов

Отчего не потешить!.. Слушай же: в некотором царстве, в некотором государстве...

Смотритель

Постой! Говори порядком: о ком речь идет?

Суворов

Об Еруслане Лазаревиче.

Смотритель

Слыхал, брат. Чудовая! Что твой Францыль Венециян, проклятый басурман!

Суворов

Так в некотором царстве...

Смотритель

Постой еще. Сказка без присказки, что шапка без верху.

Суворов

Ну, так слушай же. За морем синица не пышно жила...

Смотритель

А! не пышно жила, пиво варивала.

Суворов

Она солоду купила, хмелю выпросила...

Смотритель

Хм! она брагу наварила, гущу выбросила. Понимаем!

Суворов

Уж как черный дрозд винокуром был...

Смотритель

А сизой орел пивоваром слыл... Знаю, брат, знаю. Все старье, знакомое. Нет ли поновее чего?

Суворов

Что ж тебе поновее? Ну, вот хоть о Царь-Девице.

Смотритель

Нет! расскажи-ка лучше что-нибудь о батюшке Суворове. Он, говорят, в жизнь свою настроил столько чудес, что если б порассказать об них, так что твоя сказка!

Суворов

Что же рассказать тебе? Чудак из чудаков, бьет поляков, поет петухом, кричит курицей.

Смотритель

Слыхал я это. А вот что, служба. Мне хотелось бы угодить Суворову; ты знаешь его, так скажи, что он любит и чего не любит.

Суворов

Любит правду, ненавидит кривду; кто не кривит душой, за того стеной; а кто мытарит для дружбы, так того вон из службы: капитану арест, ефрейтору палочки.

Смотритель

А скажи, пожалуста, как бы его принять получше.

Суворов

Что за мудрость! Поклонись в пояс, поднеси рюмку винца, и он за это скажет тебе два спасибо.

Смотритель

Все так! да если он заговорит со мной, как мне отвечать-то?

Суворов

Отвечай смело, так и в шляпе дело. Пуще всего не говори: *не могу знать*, — запорет!

Смотритель

Поди, пожалуй! Да если он задаст такой вопрос, что ум за разум зайдет, что ты прикажешь тут делать?

Суворов
(встает)

Ври! со вранья пошлины не берут.

Смотритель
(тоже встает)

А вот что, служба. Мне с непривычки-то трудно будет толковать с графом Суворовым, так сделаем пробу. Будь ты Суворов; хоть оно тебе немножко и не к роже, да что за дело! Не ты первый, не ты последний чужим добром похваляешься. Начнем же.

Суворов

Изволь. *(Быстро повернувшись.)* Здравствуй, смотритель!

Смотритель
(вытянувшись, руки по швам)

Здравия желаем, Ваше Сиятельство!.. Что, каково?, Ведь лихо, брат. *(Потирает себе руки с самодовольствием.)*

Суворов

Помилуй Бог, хорошо!

Смотритель

Не угодно ли чего приказать Вашему Сиятельству?

Суворов
(садится)

Ничего, ничего!.. благодарю!.. Садись-ка, старик.

Смотритель

Нет, постой! Не так, брат! Вот и видно, что не графской природы. Ну, какой граф посадит меня при себе! А если и вздумает посадить, так уж верно — на съезжий.

Суворов

Да ведь Суворов чудак. Он всё делает навыворот. Я больше тебя его знаю... Садись же, старик.

Смотритель

Всепокорнейше благодарим, Ваше Сиятельство!

Суворов

Садись же, садись! Без отговорок!

Смотритель
(садится, руки по швам)

Так ли еще сел, служба? Ты учи меня.

Суворов

Руки на стол.

Смотритель

Да ты, пожалуй, скажешь: и ноги на стол! Ты смеёшься надо мной.

Суворов

Или делай, что тебе велят, или я не стану показывать.

Смотритель

Ну, ну, не сердись, приятель! В твою угоду я не только руки положу на стол, да и сам сяду... А все что-то не верится... Ну, вот я приказ исполнил.

Суворов

Вот так!.. Все ли у вас благополучно?

С м о т р и т е л ь

Все благополучно, Ваше Сиятельство.

С у в о р о в

Помилуй Бог, как рад!

(Минутное молчание.)

С у в о р о в
(вскочив)

Смотритель!

С м о т р и т е л ь
(тоже вскочив)

Что угодно, Ваше Сиятельство?

С у в о р о в

Знаешь ли ты, сколько Суворов проиграл баталий?

С м о т р и т е л ь

Не мо... *(Топает ногой.)* Знаю, Ваше Сиятельство.

С у в о р о в

Сколько же?

С м о т р и т е л ь

Сколько у меня здесь волос. *(Бьёт себя по лысине.)*

(Суворов повертывается на одной ноге; смотритель делает то же самое.)

С у в о р о в

Смотритель!

Смотритель

Что угодно, Ваше Сиятельство?

Суворов

Где у француза крылья?

Смотритель

На пятах, Ваше Сиятельство.

(Суворов повертывается два раза; Смотритель делает то же самое.)

Суворов
(нараспев)

Ку-ку-ре-ку, смотритель.

Смотритель
(так же)

Ку-ку-ре-ку, Ваше Сиятельство!

Суворов
(обнимает смотрителя)

Ты Илья Муромец! Ты Еруслан Лазаревич! Ты Добрыня Никитич! Ты верно полюбишься Суворову.

Смотритель

А дай-то Бог! Кажись, я отвечал славно.

Суворов

Помилуй Бог, славно!

Смотритель

А знаешь ли что, брат? Я Суворову-то ведь подарок подготовил.

Суворов

Какой же? Нельзя ли посмотреть.

Смотритель

Почему же! Маша!

Маша
(в дверях)

Я здесь, батюшка.

Смотритель

Пошли сюда Якова: чай, уж он оделся. Да скажи, что я ему велю порядком гаркнуть, как бы пред самим графом Суворовым. *(Маша уходит.)* Двенадцати вершков, в плечах эдакой, а голос словно из пустой кадки... раздивишься, братец!

Яков
(в солдатском мундире, подходит, маршируя, к Суворову и вытягивается перед ним)

Желаю много лет здравствовать, Ваше Сиятельство!

Суворов
(лезет под стол)

Ой, боюсь-боюсь! Какой страшной!

Смотритель
(хохочет)

Ох, ты старый проказник! Быть бы тебе при царе Горохе шутом!

Суворов
(под столом)

Как тебя зовут, братец?

Яков

Яковом, Ваше Сиятельство.

Суворов
(там же)

Давно ли ты в службе?

Яков
(смотрителю)

Что мне, дядюшка, отвечать-то?

Смотритель
(Суворову)

Да ведь я тебе толковал, что только приготовил его на службу. Видишь, хочу подарить графу Суворову.

Суворов
(вылезая из-под стола)

Подари-ка его лучше мне.

Смотритель

Вишь какой сокол! Из какого ты царства?

Суворов

Да я ведь сам Суворов,

Смотритель

Ты? Ты – Суворов? *(Хохочет.)* Да если ты Суворов, так я уж сам Петр Великий.

Суворов

Яков! Поедем со мною. Я отдам тебя в мой Фанагорийский полк.

Смотритель

Смей только у меня уехать, так я тебя сверну в три погибели!

Яков

Да почем знать, дядюшка, может, этот солдат и взаправду Суворов.

Смотритель

Дурак! Ну, какой это Суворов? Разве ты не видал, как он под столом сидел? А кстати ли такому графу под стол садиться!

Яков

Да вишь, он что говорит: мой-де Фонаринский полк. А солдату кстати ли полком командовать!

Смотритель

А ты и развесил уши! Ну, разве я не могу сказать также: мое-де царство на луне стоит? Да черт ли поверит? Сам ты умный человек.

Яков

Вестимо так, дядюшка. Я и сам эдаким-то Суворовым сумею представиться, да черт ли поверит? Сам ты умный человек, дядюшка.

Смотритель

Ну, теперь налево — кругом!

Суворов

Если ты отпустишь его со мной, то он через год будет унтер-офицером.

Смотритель

Хоть бы унтер-майором! Не хочу, да и только! Отдам самому Суворову на руки. Пусть он увидит, как любят его на Святой Руси. Марш, Яков! *(Уходят оба.)*

Лука
(выглядывает из-за дверей)

Они ушли. Войдем, Машенька. *(Входят.)*

Суворов

А! красавица! Добро пожаловать!

Лука

Господин служивый, мы пришли к тебе с просьбой. Не можешь ли ты научить нас, как бы попросить графа Суворова.

Суворов

А в чем дело?

Лука

Да дело-то вот в чем. Я люблю вот эту Машу, и она меня любит, а Смотритель не хочет выдать ее за меня; говорит, что я голяк; а я, право, добрый малый! Так мы хотим попросить графа, чтобы он приказал обвенчать нас.

Суворов

Да если отец не послушает?

Лука

И! что ты! Да если бы Суворов приказал ему броситься в огонь, так он бы и не поморщился.

Суворов

Хорошо, хорошо! Но пора ехать.

Лука

Так как же попросить-то его.

Суворов

Всему научу, поезжай только со мной.

Лука

Изволь. Я было хотел отвезти графа, да здешний староста сам берется прокатить Его Сиятельство. Лет уж в семьдесят, а туда же кричит: сам-де свезу отца родного.

Суворов

Пойдем же.

Маша

Господин служивый! Ты не прогневаешься, если я попрошу тебя принять подарочек. *(Подает Суворову платок.)* Ты знаком с графом Суворовым, так замолви об нас доброе словечко.

Суворов
(берет платок)

Спасибо, красавица! Не горюй! Бог милостив, а Царь жалостлив. *(Уходит с Лукой.)*

Маша
(одна)

Помоги им, Господи!.. Говорят, у служивых добрая душа; у этого и лицо такое доброе. Как мы с Лукой попросим Суворо-

ва, да служивый замолвит словечко, так, авось, граф и сжалится.

Смотритель
(ведет старосту)

Насилу-то затащил Матвеича!

Староста
(молится образам и, поглаживая бороду, кланяется во все стороны)

Мир вам, и я к вам, старик румяный, непрошеный – незваный, не в гости гостить, не балы точить, а дело говорить. Здорово, Иван Иванович! Здравствуй, Марья Ивановна.

Смотритель

Хоть теперь и осень, а все милости просим. Видишь, Матвеич, и мы порой умеем сказать красное словцо. Садись-ка, так гость будешь.

Староста

Благодарность приносим и к нам напредки просим.
(Садятся.)

Смотритель

Загонщик сказывал при отъезде, что графу скоро быть надобно: он сейчас только уехал с Лукой. Что, Матвеич, всё ли у тебя готово?

Староста

Живет здорово, да и всё готово, Иван Иваныч.

Смотритель

Вот и у меня тоже готово, только самому одеться. Жаль, что комната-то не слишком нарядна.

Староста

Э, Иван Иваныч! Не красна изба углами, а красна пирогами. Подойди к графу поближе, поклонись пониже, здорово-де живешь-можешь да деток водишь. Чай, у графа-то есть детки!

Смотритель

И позабыл спросить у загонщика! Эдакая память! *(Бьет себя по лбу.)*

Староста

И, Иван Иваныч! Спрошал — ладно, не спрошал — ладно, дело-то не повадно, оно, то есть, видишь, домашнее.

Смотритель

И подлинно так. К слову, Матвеич, прикажи крестьянам твоим надеть платье получше.

Староста

Уж не бойся, Иван Иваныч. На всех новые армяки, так что твои сертуки; да вот и я приоделся, как Соломон во славе.

Смотритель

Что правда, то правда. Да иной подумает, что ты к венцу собираешься.

Староста

А не мешало бы, Иван Иваныч. Хоть борода-то и с проседью, да поступка-то с россыпью: и пропоешь, и пропляшешь. А что, Марья Ивановна, не пойдешь ли ты, примерно, будучи, так сказать, за меня?

Маша
(кланяется)

Покорно благодарю.

Староста

Да я бы и бороду обрил, да и голову смочил.

Маша
(кланяется)

Покорно благодарю.

Староста

Скажи-ка: нет-де, Егор Матвеич, хоть ты бы и набелился, да все бы мне в женихи не годился.

Смотритель

Эх, благодетель! Чтобы тебе давича завернуть ко мне! Загонщик такой же весельчак, как и ты, благая головушка; уж то-то бы пошли у вас тары да бары! Только держись!

Староста

Еще не ушло время, Иван Иваныч. Авось, мы и с графом потолкуем.

Смотритель

Дай-то Бог! А все-таки не мешает одеться. Беда, если граф Суворов застанет меня в этом балахоне! *(Уходит.)*

Староста

А мы хоть и без Маши, а пойдем пробовать молодцов наших. *(Хочет идти.)*

Крестьянин
(вбегает запыхавшись)

Егор Матвеич!

Староста

Что ты, Кузьма?

Крестьянин

Митюха Пальцов сейчас прискакал с паскотины и бает, что графские повозки видел.

Староста
(крестится)

С нами Господи! Беги, Кузьма, скорее в земскую избу да веди сюда крестьян.

Крестьянин

Духом слетаю. *(Убегает.)*

Староста

Марья Ивановна, скажи батюшке. Я вот побегу распорядиться. *(Оба уходят.)*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Комната довольно хорошо убранная; вместо скамей стулья. Смотритель, староста и крестьяне, все в нарядных платьях.

Смотритель

Как снег на голову!.. Живей, ребята! Егор Матвеич, распоряжайся!

Староста

Сейчас, зараз, Иван Иваныч. Слушайте, ребята! Как граф войдет сюда, вы ему в пояс, да и крикните в голос: здравствуй-де, батюшка граф, Ваше Сиятельство! Поняли, ребята?

Крестьяне

Поняли, Егор Матвеич.

Крестьяне
(один за другим)

Да вот как граф-то сюда пожалует, мы ему в пояс, да и крикнем в голос... Ну, ребята! *(Все кланяются и кричат.)* Здравствуй, батюшка граф, Ваше Сиятельство!

Староста

Славно, детки! Ну а как сядет граф на первое место, под святую кровлю, и как я поднесу ему хлеб с солью, вы опять в пояс да в голос: хлеба-де-соли кушать, батюшка граф, Ваше Сиятельство!

Крестьяне
(кланяясь)

Хлеба-соли кушать, батюшка граф, Ваше Сиятельство!

Староста

Любо, братцы!

Смотритель

Только не сробейте, ребята! А что, Егор Матвеич, кто у тебя там на карауле? Чтоб не прозевать графа.

Староста

Никитка Торбасов – лихой малый! Ястреба в небе чует, рыбу на дне видит.

Смотритель

Я, кажется, умру от радости, когда увижу графа Суворова. Готов целую неделю не пить ничего, кроме гусиной водки, лишь бы только получить от него ласковое слово. Скоро ли он будет?

Староста

Что Царь делает, один Бог ведает, Иван Иваныч. Потерпим: стерпится-слюбится.

Смотритель
(взглянув в окно)

Никитка бежит. Смирно, ребята! *(Убегает со старостой.)*

Слышны звон многих колокольчиков, хлопанье бичей и крик ямщиков. Крестьяне оправляют платья, приглаживают волосы.

Входит адъютант Суворова. Крестьяне кланяются и хотят кричать; смотритель машет им рукой.

Адъютант

Что, давно Граф проехал?

Смотритель

Никак нет, Ваше Высокоблагородие. Его Сиятельство еще проезжать не изволил.

Адъютант

Что ты говоришь?

Смотритель

Точную правду, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Да проезжал кто-нибудь?

Смотритель

Загонщик недавно проехал.

Адъютант

Загонщик? Да граф не посылает загонщиков.

Смотритель

Не могу знать, Ваше Высокоблагородие; а сегодня точно проехал загонщик Его Сиятельства.

Адъютант

А каков он из себя?

Смотритель

Низенького роста, волосы с проседью, да еще такой шутник, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант
(про себя)

Он и есть!.. *(Смотрителю.)* А давно загонщик проехал?

Смотритель

Часа полтора будет, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Хорошо. Поторопи ямщиков.

Смотритель

Слушаюсь. *(Уходит со старостой.)*

Адъютант
(крестьянам)

А вы графа сбираетесь встретить?

Крестьяне
(кланяясь)

Графа, Ваше Благородие.

Адъютант

Верно, и посмотреть хочется?

Крестьяне
(кланяясь, говорят один за другим)

Как же не хотеть, Ваше Благородие... Он так любит матушку — Святую Русь... Грудью стоит за нее. Бережет наши домишки... такой ласковый, говорят...

Адъютант

А видели загонщика?

Крестьяне
(кланяясь)

Видели, Ваше Благородие. *(Один).* Такой забавник, пострел его побери! Как скажет слово, так вот и покатишься! Ну, ни дать ни взять Егор Матвеич, здешний староста.

Адъютант
(смеется)

В самом деле?

Смотритель
(входит)

Лошади готовы, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Благодарю. Прощай, братец, прощайте, друзья.

Крестьяне
(кланяются)

Прощения просим, Ваше Благородие.

Смотритель

Смею спросить, Ваше Высокоблагородие, скоро ли Его Сиятельство прибудет?

Адъютант

Да он уж проехал.

Смотритель

Проехал!!

Адъютант

Да. Это давишний твой загонщик. *(Уходит.)*

Смотритель стоит как остолбенелый.

Крестьяне
(между собой)

Слышал ты?.. Да правда ль то?.. Офицер не станет обманывать... Чудеса, ребята! Ну, кто бы подумал? Теперь, видно, расходиться... Да вот и Егор Матвеич.

Староста
(входит)

Что, Иван Иваныч? Граф скоро будет.

Смотритель
(бьет себя по лбу)

Пропал я!

Староста

Бог с тобою, Иван Иваныч! Что ты?

Смотритель
(дерет себе волосы)

О, глупая ты башка!

Староста

Да что с тобою, Иван Иваныч?

Смотритель

Сошлют в Сибирь теперь. Ох!

Староста

Спишь ты али бредишь? Опомнись, Иван Иваныч! *(Крестьянам.)* Несите-ка ковш холодной воды, ребята. Ему никак что-то попритчилось. *(Один из крестьян уходит.)*

Смотритель

Согрешил я, Господи, пред Тобою!

Крестьянин
(возвращается и подает ковш с водой)

На-ка, Егор Матвеич.

Староста
(взяв воды в рот, прыщет на смотрителя)

Прытки-прытушки! С гоголя вода, с тебя вся худоба! *(Опять прыщет.)* Скорби, болезни и всякие немочи! Сойдите с раба Божия Ивана на черную гору, на темную рощу, где зверь не прохаживал, где червь не пропалзывал. *(Опять прыщет.)* Ну, теперь ладно. Возьмите, ребята. *(Отдает ковш крестьянам.)*

Смотритель
(вырвав ковш, выливает на старосту)

Вот тебе! Видишь, какой забавный! Плюет на человека.

Староста
(отряхиваясь)

Ох, мой кафтанчик! В другой раз только... да ты с ума спятил, Иван Иваныч?

Смотритель

Сам ты спятил, Матвеич! Что ты в рожу-то мне брызжешь?

Староста

Да я выгонял из тебя болесть, как Иван Иваныч.

Смотритель

Вот и видно, что рехнулся. Ну, с чего ты взял, что я болен? И отродясь, я угорел только однажды

Староста

Да вот ты говорил такие неблагие речи, Иван Иваныч, а я и подумал...

Смотритель

Небось, заговоришь, как Сибирь под носом. Знаешь ли, какую беду я сделал?

Староста

А что такое, Иван Иваныч? Христос с нами!

Смотритель

Да я графу-то в лицо смеялся!

Староста

О Господи, святая Твоя воля! Да пьян, что ли, ты был, Иван Иваныч?

Смотритель

Како-ты пьян! Только пять чарок выпил.

Староста

Так как же это учинилось?

Смотритель

Да ведь давишний-то загонщик – сам граф Суворов.

Староста

Как так!

Смотритель

Да также. Ну, кто ж его узнает! А я и давай ему болтать всякую всячину. Сгубил я себя, окаянный!

Староста

Ума не приложу.

Смотритель

Ну, славно же мы встретили графа! Вот тебе и приготовления! Вот тебе и подарок! О глупая ты голова! *(В продолжение этого разговора крестьяне один за другим расходятся.)*

Лука
(входит с Машей)

Иван Иванович! Вот тебе грамотка от графского загонщика.

Смотритель
(вырывает записку)

Давай ее сюда... Ай! Да где очки мои!.. Маша, ищи проворней... Что-то он пишет, батюшка?.. Да куда это очки мои запропастились! *(Стучит ногами.)*

Лука

Дай я прочту, Иван Иваныч.

Смотритель

Никто не смей читать письма графа Суворова! Оно ко мне писано, сам я его и прочитаю. *(Ищет очки.)*

Лука

Что это он городит, Егор Матвеич?

Староста

Нишкни! Ведь загонщик-то сам граф.

Лука

Неужто?

Староста

Да так-таки.

Лука

Поэтому я графа Суворова возил?

Староста

Да, счастлив ты, Лука. А мне вот так и не удалось.

Смотритель
(надевает очки)

Тс! Слушайте! *(Развертывает записку, ассигнация выпадает, смотритель не примечает этого и читает медленно.) Ну, смотритель! Благодарю тебя за угощение...* Ох, ты мой батюшка! Дай тебе Господи здоровья!.. *Якова пришли в Петербург: я постараюсь об нем...* родимый ты мой!.. *Если же хочешь оказать мне твою дружбу...* хочу, хочу, батюшка! хоть в огонь за тебя!.. *то исполни мою просьбу...* смотри-ка, просит! Отец ты мой! Прикажи, все исполню!.. *Выдай дочь твою за Луку...* завтра же, батюшка, выдам!

Лука

Ах, славе Те, Господи!

Староста

Тс!

Смотритель
(читает)

Лука добрый малый, он мне очень приглянулся... да и мне он уж давно по сердцу... *На свадьбу дочери дарю сто рублей...* благодетель ты мой! *твой товарищ по каше и по штыку граф Суворов Рымникский. (Падает на колени; слезы на глазах.)* Господи! Помилуй Ты

его! Владычица! Сохрани Ты его! Святые все с силами небесными! Дайте ему долгоденствие – отцу *(целует записку)*, благодетелю *(целует опять)*, ангелу! *(Целует в третий раз и встает. Староста крестится. Лука в это время поднимает ассигнацию и подает смотрителю.)*

Староста

Удивил Господь милость свою на рабах своих!

Смотритель

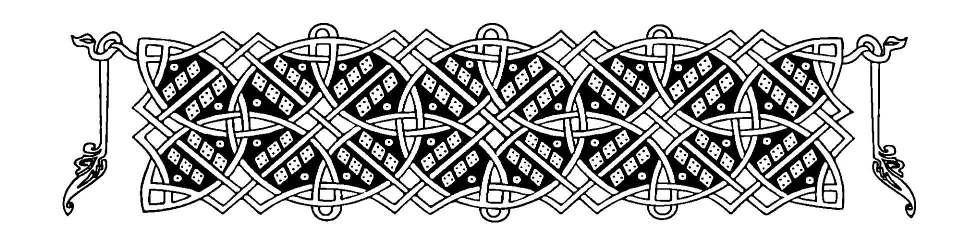
Уф! сердце вот так и прыгает! *(Маше.)* Завтра твоя свадьба. *(Луке.)* А ты, Лука, хоть и беден, но ты полюбился Суворову. Поцелуй свою невесту.

Староста

А чудный сегодня день, Иван Иваныч.

Смотритель

Запишу его в святцах красными чернилами и на радостях так напьюсь, что и старикам не в память. Пух! *(Скачет по комнате.)*



КУЗНЕЦ БАЗИМ, ИЛИ ИЗВОРОТЛИВОСТЬ БЕДНЯКА

Сцены Таз-баши

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Халиф Гарун-аль-Рашид
Джафар, его визирь
Мезрум, начальник евнухов
Кузнец Базим
Фатима
Купец
Покупщик
Знакомый Базима
Чиновник Халифа
Начальник дворцовой стражи
Преступник
Полицейские служители
Народ

Действие происходит в Багдаде

СЦЕНА 1

Улица в дальней части Багдада; бедный дом Базима.

Базим

(входит с гитарой и мешком с провизией и сбрасывает мешок у дверей своего дома)

Машаллах! Сегодняшний день был для меня счастливее всех прочих. Есть, что поесть, есть, что выпить! Ай, да Базим! Ты родился под счастливым созвездием. Другой на твоем месте умер бы с голоду, а ты живешь себе, да и здравствуй. Четвертого дня был кузнец, третьего дня рассказчик, вчера банщик, а сегодня полицейский служитель. Халиф (да будет с ним мир!) не думал, что, опечатывая бани и кузницы, не позволяя тешить правоверных рассказами, он сделает мне доброе дело. А оно так и вышло! Полицейская служба принесла мне гораздо больше дохода, чем кузницы, бани и рассказы. Сегодня у меня и ужин, и вдобавок гитара для Фатимы. Да я теперь ни за что не променяю своего ремесла. А если эти зловещие купцы из Мосула (проклятие на их бороды!) опять вздумают завернуть ко мне, то я их так отделаю, что они забудут, как звали отца их. *(Поднимает мешок.)* Пойду обрадую мою Фатиму. Лишний поцелуй будет наградою изворотливости Базимовой. *(Уходит в дом.)*

Спустя немного времени входят Халиф, Джафар и Мезрум в платье купцов.

Халиф

Что-то теперь поделывает наш знакомец Базим? Верно, клянет мосульских купцов и халифа.

Мезрум

А песен сегодня не слышно, повелитель правоверных.

Халиф

Может быть, он еще не воротился. Во всяком случае, я останусь здесь до его прихода. Мне очень любопытно узнать, как он извернется в настоящем случае. А успех что-то сомнителен.

Джафар

А я думаю иначе, повелитель правоверных. Голова Базима создана для выдумок. Скорее мы устанем разрушать его планы, чем он изобретать новые.

Халиф

Я не стану больше продолжать моих испытаний. Четырех дней довольно, чтобы убедиться в остроумии. *(Слышны звуки гитары.)* Но что это? Гитара! Кажется, этого инструмента прежде у него не было.

Мезрум

Не поселился ли здесь другой жилец?

Халиф

А вот мы сейчас узнаем. Стучитесь в дверь.

В доме раздается голос Базима.

Халиф

Тс!

Базим
(поет)

Капелька шираза
В рюмке у меня,
Блещет без алмаза,
Греет без огня.

Джафар

Голос Базима! Значит, он нашел новый источник продовольствия. Я говорил правду, повелитель правоверных.

Халиф

Стучись в дверь.

(Джафар стучится.)

Голос Базима

Выпьешь – сладость!
И следа нет грустных дум!
В сердце – радость,
И в глазах сверкает ум.

Халиф

Этакий негодяй! Как будто и не слышит. Стучись сильнее.

(Стук сильнее.)

Голос Базима

Капелька шираза и пр.

Джафар

Он не хочет слышать стука.

Халиф

Поговори с ним. Может быть, на голос он и ответит.

Джафар
(кричит)

Базим! Базим!

Голос Базима

Выпьешь – сладость и пр.

Джафар

Эй, Базим!

Базим

Проклятие на ваши бороды! Что вы за полуночники?

Джафар

Ужели ты не узнал нас?

Базим

А мне почему знать вас? В Багдаде, благодаря визирю, бродяг больше, чем у купца тюменов.

Халиф

Это по твоей части, Джафар. *(Смеется.)*

Джафар

Мы твои приятели, мосульские купцы.

Базим

Приятели! Жгу отцов таких приятелей. По вашей милости я поел довольно грязи.

Халиф

Ты напрасно говоришь это, Базим. Мы, кажется, тебе ничего худого не сделали.

Базим

Еще ничего! А не по вашим ли проклятым предсказаниям опечатали кузницы, прогнали рассказчиков и запретили правоверным ходить в баню? Ничего худого! Нет, жженые отцы! Базим не дурак. Он заткнул уши для ваших предсказаний.

Халиф

Виноваты ли мы, что наши слова случайно сбылись.

Джафар

Ведь халиф властен делать, что ему угодно. Когда бы захотелось ему опечатать бани и кузницы, он сделал бы это и без наших предсказаний.

Базим

Да чего же, ради самого Аллаха, вы от меня хотите?

Халиф

Послушать твоих умных речей. Мы завтра уезжаем из Багдада.

Базим

И ничего умнее не могли выдумать. А еще бы лучше, если б вы тотчас же отправились.

Халиф

Не откажи по крайней мере в последний раз в гостеприимстве. Умный человек, как ты, такая редкость, что не искать беседы его значило бы быть глупее самого отца глупости.

Базим
(после небольшого молчания)

Хм, Фатима! Как ты думаешь, пустить ли их или нет?

Фатима

Это в твоей воле, Базим.

Халиф

Какой милый голос! Где он нашел такого соловья?

Базим
(после небольшого молчания)

Ну, так и быть. Подождите, я сейчас отворю дверь. Только, чтобы никаких предсказаний не было, иначе, валлах-биллях! я оскверню гробы отцов ваших до девяносто девятого рода.

Отворяется дверь, все входят.

СЦЕНА 2

Внутренность Базимова дома.

Базим

Ну, войдите. Только рты ваши пусть открываются для беседы, а не для ужина.

Мезрум
(смотря на Фатиму)

Да это настоящая пери.

Базим

А ты настоящий див! Опусти покрывало, Фатима. У этих купцов такой взгляд, что ты разом получишь на лице веснушки. Садитесь, садитесь.

Все садятся.

Халиф

Да у тебя ужин сегодня роскошнее ужина халифова.

Базим

Знаю, куда текут эти речи. Но я уж сказал, что ужин приготовлен для меня, а не для вас. Мой дом не гостиница.

Джафар

Мы и не смеем думать о гостинице. Где есть такая полнолунная хурия, там рай самого пророка.

Мезрум

Она могла бы служить украшением гарема халифова.

Базим

Ты опять за пророчества, мосульский ворон? А знаешь ли ты, что борода твоя не так крепко приросла к твоей черной роже, чтобы нельзя было сделать из нее метелку.

Халиф

Не сердись, Базим. Похвала жене — похвала мужу. И я скажу, что если б я был халифом, то отдал бы за нее пол-Багдада.

Базим

А пока не халиф, так молчи, да и здравствуй.

Халиф

У меня есть один вопрос до тебя, Базим. Надеюсь, что ты не откажешься отвечать на него.

Базим

Каков вопрос, приятель! Если ты спросишь, где находится родимое пятнышко у первой жены халифовой, то я должен возложить все упование на Аллаха.

Халиф

Нет, вопрос мой проще. Твой ужин заставляет думать, что ты нашел новый источник доходов.

Базим

Хм! Уж не в одном Мосуле, есть и в Багдаде нечто.

Халиф

Каким же средством ты добыл себе ужин?

Базим

Деньги не перевелись еще в городе.

Халиф

Это яснее солнца. Но надобно было достать деньги.

Базим

Я и достал их, а каким образом — это уж не ваша забота.

Джафар

Верно, тайком работал в кузнице.

Мезрум

Или парил тихомолком в бане?

Базим

Ни слова более. Багдад не Мосул. Базим не купец мосульский. Что запретил халиф (да продлит Аллах его годы!), то верный подданный не станет делать.

Халиф

Совершенная правда. Но когда опечатали кузницы, ты стал рассказчиком, когда же рассказчикам запрещено было тешить уши правоверных, ты пошел парить их спины. Любопытно бы знать, какое теперь твое занятие?

Базим

А для чего вам это? Разве для того, чтоб опять ввернуть черта в мои дела?

Халиф

О, совсем нет! Мы хотели бы только подивиться твоей изворотливости. Будь так добр, расскажи, как ты извернулся нынче?

Базим
(после некоторого молчания)

Хм! Ну, так и быть. Видите ли эту саблю?

Халиф

Хорошая сабля!

Базим

А история ее еще лучше. Она досталась мне от отца, который получил ее от деда. Отец промотал саблю и оставил мне одни ножны, а я взял, приделал деревянный клинок, да и попал в полицейские служители. Ясно?

Халиф

Не совсем еще.

Базим
(показывает деревянную саблю)

Вот с этакой саблей я сегодня ходил по базару и мирил купцов с покупателями. Полицейский служитель халифа ведь есть же *нечто*, ну, и перепал рубль-другой.

Джафар

Каков!

Халиф

Хороша же в Багдаде полиция!

Базим

Но у меня ни гу-гу! Я сказал вам об этом потому, что вы вредить мне больше не можете. Ведь вы завтра выезжаете из Багдада?

Халиф

Да.

Базим

Ну, так положите это известие в кувшин вашей совести и прикройте его крышкою молчания.

Халиф

Еще несколько слов, Базим. В прежние вечера мы не видали у тебя жены.

Базим

А разве нельзя было жениться сегодня?

Халиф

Очень можно, но кто она такая?

Базим

Кто она такая? Жемчужина! Отец ее из Шираза переехал в Багдад на житье и умер на третий день, оставив дочь свою сиротой. Я увидел ее, она мне понравилась, вот и вся история. Теперь за вами очередь. Ну, что, успели ли вы видеть халифа и его приятелей?

Халиф

К сожалению, нет. Халиф, говорят, болен, никуда не выходит, и нам придется ехать, не повидавши повелителя правоверных. Нечего будет рассказать в Мосуле.

Базим

Хм! А я знаю человека, который опишет вам халифа так ясно, как бы вы сами его видели. А любимцев его — великого визиря Джафара и начальника евнухов Мезрума — вот просто в рот положит.

Халиф

Ах, расскажи, Базим. Ты сделаешь нам большое одолжение. Прежде о халифе.

Базим

Извольте видеть, халиф наш, Гарун-аль-Рашид (да продлит Аллах драгоценные дни его!) настоящий железоед. Строен как кипарис, красив как солнце. Ум у него таков, что сам Нерлетун пред ним отец глупости. Правда, временем находит на него затмение и он делает довольно бестолковые приказы, например: опечатать бани, кузницы и тому подобное, но на это больше сбивает его плут Джафар.

Халиф
(смеется)

Не поздоровится Джафару, когда правоверные будут так честить его.

Базим

Кто чего стоит! Впрочем, Джафар не дурак. Где дело дойдет – накормить правоверных грязью, он не поскупится. Говорят также, что он мастер пороть и сшивать, просверливать и затыкать, но это дело не мое, а халифово.

Халиф

Ну, а Мезрум?

Базим

Тьфу! Это такой руфиян, – невежа, что не в состоянии даже поддерживать род людей аллаховых. Вся его обязанность состоит в том, чтобы жены повелителя правоверных не вздумали вкусить запрещенного плода в чужом огороде. Да где? Семь Мезрумов не скараулят одной дочери аллаховой. Они себе надувают их, да и здравствуй!

Халиф

Спасибо тебе, Базим. Мы теперь узнали халифа и его любимцев, как самих себя. А вот еще один вопрос: что, если халиф уничтожит полицию?

Базим
(вскочив)

Жгу твою бороду, и бороду твоего отца, и бороду твоего деда, колдун проклятый! Ты опять напророчишь беду на мою голову!

Джафар

И если великий визирь за обман велит тебя отдуть феллаками?

Базим

Что за речи, человек! Я оскверню гробы ваших отцов! Замолчите, зловещие вороны! И то уж три предсказания ваши исполнились.

Мезрум

А если Мезрум проведает, что у тебя жена такая красавица и велит взять ее в гарем халифа?

Базим

И ты туда же, див проклятый! Вы будете служить подгнетом чертям на джехеннеме. Прочь из моего дома!.. я заткнул уши... не слышу... идите себе, откуда пришли.

Халиф

Мы идем. Не забывай нас, Базим, и не брани, если паче чаяния слова наши сбудутся. *(Уходят.)*

Базим

О, зачем я пустил этих мосульцев в мой дом! Они три раза уже накликали на меня несчастие... Если слова их исполнятся, я превращусь в ничто, я буду хуже собаки... проклятие на их жен и детей!.. Проклятие на все их племя!..

СЦЕНА 3

Базар в Багдаде.

Б а з и м
(считает деньги)

Семь, восемь, девять, десять... Славный день! Никогда еще столько денег не было у меня в кармане. Сегодня позволю себе двойную порцию, повеселюсь – вот как! Проклятые мосульские купцы уж уехали. Мешать никто не будет. Отправлюсь домой... Но что это за спор?.. послушать... Авось, не будет ли тут поживы.

(Подходит к одной лавке.)

К у п е ц

Я тебе говорю, что отрезал полное количество.

П о к у п щ и к

А я тебе говорю, что ты сплутовал. Отдавай деньги и возьми твою гадкую материю.

К у п е ц

Отрезанное не берут. Ведь я при твоих глазах мерил.

П о к у п щ и к

Знаю я вас, купцов! Вы успеете обмануть три раза на одном кругу. Подай деньги.

К у п е ц

Получай материю.

Б а з и м
(грозно)

Что здесь за шум?

Покупатель

Да вот, господин, этот купец отрезал мне гораздо меньше, чем сколько нужно, а деньги взял.

Базим

А! Ты плутуешь, друг?

Купец

Нет, господин. Вот при тебе перемеряю, и ты увидишь, что он ест грязь.

Базим

Хорошо, меряй.

Купец

Сколько тебе было нужно аршин?

Покупщик

Семь.

Купец
(меряет)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... вот видишь ли, господин?

Базим

Правда, как Аллах свят. Тут семь аршин. Ого, приятель! Да ты, видно, из того сорта людей, которые только заводят шум на улицах. Пойдем-ка, голубчик. Я вот померяю твои пятки.

Покупщик

Виноват, господин, ошибся! *(Тихонько дает ему денег.)*

Базим

Нет, нет, дружок. От меня сладким голоском не отделаешься.

Покупщик
(тихо)

Больше не могу, видит Аллах, не могу. Что хочешь делай.

Базим

Ну, хорошо. Я добрый человек. Но смотри, вперед не заводи шуму. Бери свое сукно, да и ступай с Богом. *(Покупщик уходит.)* Ну, дружок, скажи мне спасибо. Ведь дело-то твое очень не чисто.

Купец

Как, господин?

Базим

Как? Я разве не видал твоего аршина? Он целою четвертью короче настоящего.

Купец

Это что за речи, господин?

Базим

Да, да. Четверть не четверть, а все вершка два будет. Теперь подошвы твои в моих руках.

Купец

Мой аршин...

Базим

Да, да, твой аршин; а если ты еще не убедился, что аршин твой врет, то я сейчас померяю его феллаками.

Купец
(дает ему денег)

Осмотри еще, господин, может быть, ты и ошибся.

Базим

Да разве в одном вершке, не больше. А все-таки аршин твой врет.

Купец
(дает еще)

Помилуй, господин.

Базим

Ну, ну, хорошо. Сегодня позволяю еще тебе продавать на этот аршин, а завтра чтоб у тебя был непременно новый. Иначе я шутить не буду. *(Отходит.)*

Купец

О, Аллах! Когда халиф избавит нас от этой саранчи.

Базим
(в сторону)

Каково! Так, по дороге, зашиб монет десяток! Машаллах! Теперь у меня запасу на целую неделю, и я могу преспокойно

делать мой кейф и плевать на бороду купцов из Мосула. *(Слышится барабан.)* Что это? Новый указ! Уж не об отмене ли полицейских служителей? А что ты думаешь? Эти проклятые купцы снова накаркали беду на мою голову.

Чиновник халифа

Слушайте указ повелителя правоверных, великого халифа Гарун-аль-Рашида! *(Читает.)* «Повелеваем всем полицейским служителям в Багдаде немедленно явиться в мой дворец для получения награды за свою верную службу».

Все

О, Аллах!

(Бой барабана, чиновник удаляется)

Базим

Валлах! биллях! Звезда счастия моего в полном восхождении. И деньги, и награда! Бежать скорее.

Знакомый Базима
(удерживая его)

Базим, в доме у тебя случилось несчастие.

Базим

Это что за речи?

Знакомый

Сейчас явились к тебе служители халифа и увели Фатиму твою во дворец, несмотря на ее слезы и сопротивление.

Базим

О, человек! Какой пепел ты насыпал на мою голову!.. Это все мосульские купцы наворожили... проклятие на их бороды!

Я оскверню гробы их прадедов... О, Фатима! Что я теперь? Лицо мое почернело... я сделался хуже собаки.

Полицейский служитель
(толкая его)

Ну, что ты развылся? Разве не слыхал приказа халифа? Или голова твоя из железа?

Базим

Несчастный этот день! Если б я не выходил сегодня, Фатима моя была бы со мной.

Полицейский служитель
(толкая его)

Ступай же, ступай.

Базим

Пойду... и стану просить вместо всех наград одну мою Фатиму... *(Уходит.)*

СЦЕНА 4

Дворец халифа.

Начальник дворцовой стражи
(полицейским служителям)

Стоять смирно! Не сморкаться, не чихать, не кашлять, полы запахнуть, смотреть весело. Понимаете?

Полицейские служители

Понимаем, господин.

Н а ч а л ь н и к

Когда ж войдет повелитель правоверных, упасть ниц и лежать до тех пор, пока не скажет: встаньте. Понимаете?

В с е

Понимаем, господин.

Н а ч а л ь н и к
(Базиму)

А у тебя, приятель, отчего лицо похоже на кислое яблоко? А?

Б а з и м

Такое даровал Аллах, господин.

Н а ч а л ь н и к

Аллах даровал, а я хочу, чтоб оно было весело, слышишь?

Б а з и м

Слышу, господин.

Н а ч а л ь н и к

Мало слышать, надо исполнить. Смейся.

Б а з и м
(принуждает себя улыбнуться)

Н а ч а л ь н и к

Скверно! Смейся лучше.

Б а з и м

Не умею лучше, господин.

Начальник

Так я тебя выучу смеяться. У меня есть чудесное для этого средство. Смейся или сейчас палками по пятам.

Базим

Аллах! Аллах! Вот в самом деле чудесное средство заставить смеяться.

Начальник

А это что у тебя? *(Показывает на саблю.)*

Базим

Как что это, господин? Это сабля.

Начальник

Вижу, что сабля, да какая?

Базим

Такая же... *(В сторону.)* Вот попался-то...

Начальник

Нет, не такая... Отчего она у тебя не вычищена?

Базим

Уж стара слишком... Нельзя прочистить.

Начальник

А! По крайней мере остра ли она?

Базим

О, уж на этот счет можете быть совершенно покойны. Бритва первого багдадского брадобрея пред нею — тьфу! не более.

Начальник

Любопытно взглянуть на такую саблю. Покажи-ка ее, приятель.

Базим

Как?.. что?.. я недослышал.

Начальник

Я говорю, чтоб ты вынул ее из ножен.

Базим

А, из ножен?.. сейчас. *(Силится вынуть.)*

Начальник

Да она у тебя и не вынимается?

Базим

О, нет, господин. Но эта сабля чудесного рода. Когда нужно ее на дело, она сама выскакивает из ножен, а когда только для любопытства, так ее и зубами не вытащишь. Вот что!

Начальник

Ты, кажется, кормишь меня грязью. Дай-ка я сам ее вытащу.

Базим

Ах, господин. Рукам такой высокой особы неприлично касаться к сабле простого служителя. Вот я сам попробую. *(Силится вынуть.)*

Голос

Повелитель правоверных! Повелитель правоверных!

Базим

Слава пророку! Убежал от феллаков. Завтра же куплю настоящую саблю.

Халиф за занавесом. Начальник стражи дает знак, все падают ниц.

Халиф

Встаньте. *(Все встают.)* Я велел собрать вас, чтоб наградить достойных.

Все

Да продлит Аллах дни твои, повелитель правоверных!

Халиф

Мне приятно было бы наградить всех вас. Но к сожалению, я узнал, что есть между вами обманщики, которые присвоили себе звание полицейского служителя, не имея на то никакого права.

Базим
(в сторону)

О, Аллах!

Халиф

Кто из вас называется Базим?

Базим

Ну, пропал я. *(Выходит на средину и повергается ниц.)*

Халиф

Встань и отвечай мне. Точно ли ты полицейский служитель?

Базим

На мой глаз и на мою голову! Чем же мне быть иным, повелитель правоверных!

Халиф

Бойся солгать. Ты обманом присвоил себе это право.

Базим

А что я за собака, чтоб стал обманывать. Звание полицейского служителя досталось мне по наследству от предков. *(Скороговоркой.)* Мой отец был полицейским служителем, мой дед был полицейским служителем, и прадед, и дядя, и тетка, и бабушка — все были полицейскими служителями.

Халиф

Хорошо, я велю об этом справиться. Но мне сказали также, что ты не умеешь исправлять своей должности.

Базим

Клевета, повелитель правоверных. Я исправляю ее уж десять лет верой и правдой.

Халиф

Вот мы сейчас это увидим. Приведите сюда преступника и пусть Базим отрубит ему голову,

Базим
(в сторону)

Проклятая сабля!.. *(Вводят преступника и становят его на колени.)*

Халиф

Что ж ты медлишь?

Базим

Сейчас, повелитель правоверных. *(Преступнику на ухо.)* Кричи, что ты невинен.

Преступник

Я невинен, клянусь Аллахом, я невинен.

Халиф

Исполняй свою должность.

Базим

Позволь сказать одно слово, повелитель правоверных. Если этот человек действительно невинен, то мы сейчас можем узнать это. Осмеливаюсь доложить, что у меня сабля не простая. Она досталась в род наш от одного из 12 имамов (да будет с ними мир!). Если нужно отрубить голову злодею, то она блестит молнией и с одного раза отделяет голову от плеч. Если же поднята будет над невинным, то во мгновение ока превращается в дерево.

Халиф

А вот увидим.

Базим
(вытаскивая саблю)

О, Аллах! Этот человек невинен... сталь превратилась в дерево.

Халиф
(хохочет)

А ты препорядочный плут, Базим.

Базим
(падает ниц)

Что я за собака, чтоб не быть тем, чем угодно халифу.

Халиф
(хлопает в ладоши, занавес отдергивается)

Встань и взгляни на меня. Узнаешь ли ты меня и этих двух приятелей?

Базим

Купцы из Мосула! *(Опять падает.)* О, я бедный! Я умер! Чрева мои превратились в воду.

Халиф

Не бойся ничего. Ты мне доставил случай видеть на опыте изворотливость ума бедняка. Встань. Я жалую тебя начальником всех полицейских служителей.

Базим
(встает)

О, Аллах! Я и во сне не ожидал подобного счастия.

Халиф

Только ты должен простить прощения у верховного визиря и начальника евнухов за твои нескромные речи.

Базим

О, повелитель правоверных! Прилично ли таким высоким особам сердиться на безумную речь червяка? Если я что и сказал, то сказал не я, а сам отец глупости, который сидел во мне в те минуты. А целый свет знает об их храбрости, об их красоте, об их мудрости.

Халиф

Теперь доволен ли ты, Базим, и станешь ли еще проклинать купцов мосульских?

Базим

Голова моя в твоих руках, повелитель правоверных. Но скажи сам, кто порадуется моему возвышению? Была у меня одна подруга, но и она теперь в твоем гареме.

Халиф

Тебе возвратят ее. Она взята только для того, чтобы предсказания мосульских купцов исполнились вполне. Теперь поди и употреби свой ум на пользу твоего государя. Джафар выдаст тебе десять мешков денег, раздели их новым своим подчиненным.

Полицейские служители

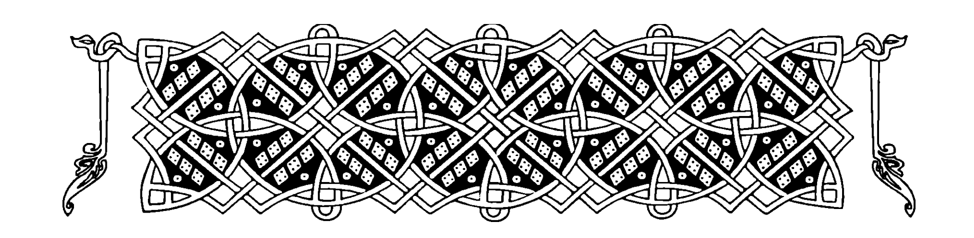
Да здравствует повелитель правоверных!



СТИХОТВОРЕНИЯ

А были времена ...
Душа возвышалась ...
И сладких чувств благодатных
Курились сердца фимиамъ.
Надежды чистого елей
Лампада дней была полна,
И все отрадой, все святыне
Гордилась ... она.
Но мигъ – и все восколебалось!
Алтарь любви повергнутъ въ прахъ!
На опустевшихъ ступеняхъ
Воспоминанье лишь осталось.
И день и ночь оно съ тос...
Чего-то ищетъ между гро...
И роется въ пепле гробо...
И плачетъ горьки ми...

И Тургенев



НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Светлое небо покрылось туманною ризою ночи;
Месяц сокрылся в волнистых изгибах хитона ночного;
В далеком пространстве небес затерялась зарница,
Звезды не блещут.
Поля и луга Вифлеема омыты вечерней росою;
С цветов ароматных незримо восходит в эфир дым
благовонный;
Кипарисы курятся.
Тихо бегут сребровидные воды священной реки Иордана;
Недвижно лежат на покате стада овец мягкорунных;
Под пальмой сидят пастухи Вифлеема.

Первый пастух

Слава Седящему в вышних пределах Востока!
Не знаю, к чему, Нафанаил, а сердце мое утопает в восторге;
Как агнец в долине, как легкий олень на Ливане, как
ключ Элеонский, –
Так сердце мое и бьется, и скачет.

Второй пастух

Я тоже, Даниил, ощущаю в себе непонятную радость
Как будто бы я предвкушал веселье Сиона;
Как будто бы я находился на лоне отца Авраама.

Третий пастух

Приятно в полудни, Аггей, отдохнуть под сенью
Ливанского кедра;
Приятно по долгой разлуке увидеться с близкими сердцу; —
Но что я теперь ощущаю... словами нельзя изъяснить...
Как будто бы небо небес в душе у меня поместилось;
Как будто бы в сердце носил я Всезрящего Бога.

Первый пастух

Друзья! воспоем Иегову,
Столь мудро создавшего землю,
Простершего небо шатром над водами,
Душисты цветы Вифлеема,
Душист аромат кипариса;
Но песни и гимны для Бога душистей всех жертв и курений.

И пастыри дружно воспели могущество Бога,
И чудо творений, и древние лета...
Как звуки тимпана, как светлые воды — их голоса
разливались в пространстве.
Вдруг небеса осветились, —
И новое солнце — звезда Вифлеема, раздрав полуночную
ризу небес,
Явилась над мрачным вертепом,
И ангелы стройно воспели хвалебные гимны во славу
рожденного Бога,
И громко всплеснув, Иордан прокатил сребровидные
воды...

Первый пастух

Я вижу блестящую новую звезду!

Второй пастух

Я слышу хвалебные гимны!

Третий пастух

Я созерцаю Небесные Силы!

Все пастухи

Не Бог ли нисходит с Сиона?..
И вот от пределов Востока является Ангел.
Криле позлащенны, эфирный хитон на раменах,
Веселье во взорах, небесная радость в улыбке,
Лучи от лица, как молнии, блещут.

Ангел

Мир приношу вам и радость, чада Адама!

Пастухи

О, кто ты, небесный посланник?.. Сиянье лица твоего
ослепляет бренные очи...
Не ты ль Моисей, из Египта изведший нас древле
В землю, кипящую млеком и медом?

Ангел

Нет, я Гавриил, предстоящий пред Богом,
И послан вам возвестить бесконечную радость.
Свершилась превечная тайна: Бог во плоти днесь явился.

Пастухи

Мессия?.. О радостный вестник, приход твой от Бога!
Но где, покажи нам, небесный Младенец, да можем Ему
поклониться?

Ангел

Идите в вертеп Вифлеемский.
Превечное Слово, Его же пространство небес не вмещало,
покоится в яслях.

И ангел сокрылся!
И пастыри спешно идут с жезлами к вертепу.
Звезда Вифлеема горела над входом вертепа.
Ангелы пели: «Слава Седящему в вышних! мир на земли,
благодать в человеках!».

Пастыри входят – и зрят непорочную Матерь при яслях,
И Бога-младенца, повитого чистой рукою Марии,
Иосифа-старца, вперившего очи в Превечное Слово...
И пастыри, пад, поклонились.

Начало 1830-х годов

МОНОЛОГ СВЯТОПОЛКА ОКАЯННОГО

(Святополк стоит на берегу волнующегося Дуная)

Шуми, Дунай, шуми во мраке непогоды!
Приятен для меня сей страшный плеск валов;
Люблю смотреть твои пенящиеся воды
И слышать стон глухой угрюмых берегов.
При блеске молнии – душа моя светлеет,
И месть кровавая – при треске грома спит,
Мученье совести в душе моей слабеет,
А властолюбие – сей идол мой! – молчит.
Волненье бурное обманчивой стихии,
Дуная шумного величественный вид
Мне ясно говорит о милой мне России,
О славном Киеве мне ясно говорит.
Я вижу пред собой славян непобедимых,
С их дикой храбростью, с их твердою душой;
Я слышу голоса – то звук речей родимых, –
И терем княжеский стоит передо мной!..
Но что мне слышится? .. Кому дают обеты:
«До гроба верности своей не изменить»?..
Да будут прокляты презренные клевреты!
Да будет проклят тот, кто мог меня лишить
Престола русского! Кто дерзкою рукою
Сорвал с главы моей наследственный венец;
Кто отнял скипетр мой, врученный мне судьбою...
Ты будешь неотмщен, несчастный мой отец!
Твой сын – не русский князь... Изгнанник он презренный,
Оставленный от всех, ничтожный, жалкий пес,
Пришлец чужой земли, проклятьем отягченный
И милосердием отвергнутый небес!

О! Если бы я мог, я б собственной рукою
Злодея моего на части разорвал,
Втоптал бы в прах его безжалостной ногою
И прах бы по полю с проклятьем разметал...
Молчи, молчи, Дунай! Теперь твой шум сердитый
Ничто пред бурею, которая кипит
В душе преступника, спокойствием забытой...
Она свирепствует — пусть всё теперь молчит!

Начало 1830-х годов

СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА

«Послушай совета Свенельда младого
И шумным Днепром ты, о князь, не ходи;
Не верь обещаньям коварного грека:
Не может быть другом отчаянный враг.

Теперь для похода удобное время:
Днепровские воды окованы льдом,
В пустынях бушуют славянские вьюги
И снегом пушистым твой след занесут».

Так князю-герою Свенельд-воевода,
Главу преклоняя пред ним, говорил.
Глаза Святослава огнем запылали,
И, стиснув во длани свой меч, он сказал:

«Не робкую силу правитель вселенной —
Всесильный Бельбог — в Святослава вложил;
Не знает он страха и с верной дружиной
От края земли до другого пройдет.

Не прежде, как стихнут славянские вьюги
И Днепр беспокойный в брегах закипит,
Сын Ольги велит воеводе Свенельду
Свой княжеский стяг пред полком развернуть».

Вот стихнули вьюги, и Днепр неспокойный
О мшистые скалы волной загремел.
«На родину, други! В славянскую землю!» —
С улыбкой веселой сказал Святослав.

И с шумным весельем вскочили славяне
На лодки и плещут днепровской волной.
Меж тем у порогов наемники греков
Грозу-Святослава с оружием ждут.

Вот пóдплыл бесстрашный к порогам днепровским
И был отовсюду врагом окружен.
«За мною, дружина! Победа иль гибель!» —
Свой меч обнажая, вскричал Святослав.

И с жаром героя он в бой устремился;
И кровь от обеих сторон полилась;
И бились отважно славяне с врагами;
И пал Святослав под мечами врагов.

И князю-герою главу отрубили,
И череп стянули железным кольцом...
И вот на порогах сидят печенеги,
И новая чаша обходит кругом...

Начало 1830-х годов

СМЕРТЬ ЕРМАКА

Сонет

Тяжелые тучи сибирское небо одели;
Порывистый ветер меж сосен угрюмых шумел;
Венчанные пеной, иртышские воды кипели;
Дождь лился рекою, и гром полуночный гремел.

Спокойно казáки на бреге высоком сидели,
И шум непогоды дремоту на очи навел.

Бестрепетный вождь их под сенью ветвистыя ели,
Опершись на саблю, на смелых казаков смотрел.

И злая кручина на сердце героя лежала,
Главу тяготила, горячую кровь волновала.
И ужас невольный дух бодрый вождя оковал.

Вдруг дикие крики... Казацкая кровь заструилась..
Булат Ермака засверкал — толпа расступилась —
И кто-то с утеса в кипевшие волны упал.

Начало 1830-х годов

ПЕСНЯ КАЗАКА

Даша милая, прости:
Нам велят в поход идти.
Позабыли турки раны,
Зашумели бусурманы.
Надо дерзких приунять,
В чистом поле погулять.
Изготовлен конь мой ратный,
Закален мой меч булатный,
И заточено мое
Неизменное копье.
С быстротою хищной птицы
Полечу я до границы;
Черным усом поведу
Бусурманам на беду;
Свистну посвистом казацким
Пред отрядом цареградским
И неверного пашу
На аркане задушу.
«Знай, турецкий забияка,
Черноморского казака!
И не суйся в спор потом
С нашим батюшкой царем».

И, потешившись с врагами,
С заслужёнными крестами
Ворочуся я домой
Вечно, Даша, жить с тобой!

Начало 1830-х годов

РУССКИЙ ШТЫК

Лей полнее, лей смелее
И по-русски – духом, вмиг!
Пьем за то, что всех милее,
Пьем за крепкий русский штык!

Пьем – и весело, по-братски
Прокричим обычный крик:
«Здравствуй, наш товарищ хватский!
Здравствуй, крепкий русский штык!».

Прочь с косами! Прочь с буклями!
К черту пудреный парик!
Дай нам водки с сухарями,
Дай нам крепкий русский штык!

Что нам в пудре? Что в помаде?
Русский бабиться не свык;
Мы красивы, мы в наряде,
Если с нами русский штык!

Пушки бьются до последа,
Штык кончает дело вмиг;
Там удача, там победа,
Где сверкает русский штык.

И с Суворовым штыками
Окрестили мы Рымник.
Ставь хоть горы над горами –
Проберется русский штык.

Штык не знает ретирады
И к пардонам не привык.
Враг идет просить пощады,
Лишь почует русский штык.

И на Альпах всю дорогу
Враг обставил лесом пик, —
Мы сперва к святому Богу,
А потом за русский штык.

Мы пробили Апеннины,
В безднах грянул русский крик:
Чрез ущелья, чрез теснины
Пролетел наш русский штык.

Нет штыка на свете краше,
С ним не станем мы в тупик;
Всё возьмем, всё будет наше —
Был бы с нами русский штык!

Начало 1830-х годов

МОЛОДОЙ ОРЕЛ

Как во поле, во широком
Дуб высокий зеленел;
Как на том дубу высоком
Млад ясен орел сидел.

Тот орел ли быстрокрылый
Крылья мочные сложил
И к сырой земле уныло
Ясны очи опустил.

Как от дуба недалёко
Речка быстрая течет;
Как по речке, по широкой
Лебедь белая плывет.

Шею выгнув горделиво,
Хвост раскинув над водой,
Лебедь белая игриво
Струйку гонит за собой.

«Что, орел мой быстрокрылый,
Крылья мочные сложил?
Что к сырой земле уныло
Ясны очи опустил?

Аль не видишь: недалёко
Речка быстрая течет;
А по речке, по широкой
Лебедь белая плывет.

Мочны ль крылья опустились?
Клёв ли крепкий ослабел?
Сильны ль когти притупились?
Взор ли ясный потемнел?

Что с тобою, быстрокрылый?
Не случилась ли беда?».
Как возговорит уныло
Млад ясен орел тогда:

«Нет! я вижу: недалёко
Речка быстрая течет;
А по речке, по широкой
Лебедь белая плывет.

Мочны крылья не стареют;
Крепкий клёв не ослабел;
Сильны когти не тупеют;
Ясный взор не потемнел.

Но тоска, тоска-кручина
Сердце молодца грызет.
Опостыла мне чужбина;
Край родной меня зовет.

Там в родном краю приволье
По поднебесью гулять,
В чистом поле на раздолье
Буйный ветер обгонять.

Там бураном вьются тучи;
Там потоком лес шумит;
Там дробится гром летучий
В быстром беге о гранит.

Там средь дня — в выси далекой
Тучи полночью висят;
Там средь полночи глубокой
Льды зарницами горят.

Скоро ль, скоро ль я оставлю
Чужеземные краи?
Скоро ль, скоро ль я расправлю
Крылья мочные мои?

Я с знакомыми орлами
Отдохну в родных лесах;
Я взнесусь над облаками,
Я сокроюсь в небесах!».

Начало 1830-х годов

ЖЕЛАНИЕ

Чу! вихорь пронесся по чистому полю,
Чу! крикнул орел в громовых облаках.
О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю!
Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!

Расти ли нагорному кедру в теплице
И красного солнца и бурь не видать?
Дышать ли пигаргу свободно в темнице
И вихря не веять и тучи не рвать?

Ни чувству простора! Ни сердцу свободы!
Ни вольного лету могучим крылам!
Всё мрачно, всё пусто, и юные годы,
Как цепи, влачу я по чуждым полям!

И утро заблещет, и вечер затлеет,
Но горесть могилой на сердце лежит!
А жатва на ниве душевной не зреет,
И пламень небесный бессветно горит!

О, долго ль стенать мне под тягостным гнетом?
Когда полечу я на светлый восток?
О, дайте мне волю! Орлиным полетом
Я солнцу б коснулся и пламя возжег.

Я б реял в зефире, я б мчался с грозою
И крылья разливом зари позлатил.
Я жадно б упился небесной росою
И ниву богатою жатвой покрыл!

Но если бесплодно страдальца моленье,
Но если им чуждо желанье души,
Мой гений-хранитель, подай мне терпенье
Иль пламень небесный во мне потуши!

Сентябрь 1835

СЕМЕЙСТВО РОЗ[1]

Элегия

Видали ль вы в долине сокровенной,
В тени склонившихся над озером берез,
Могильный холм, приют уединенный
Семейства мирного пустынных милых роз?

---

[1] На смерть двух девиц-сестер, которые утонули в Неве. Одна из них была уже помолвлена.

Волна прозрачная, любуясь их красою,
Лелеет на груди трепещущей своей,
И резвый мотылек — любимый гость полей —
Летит к ним отдохнуть полдневною порою
В сиянье радужных огней.
Вечерний ветерок, играя их кудрями,
Когда свершается торжественный закат,
Несётся медленно над светлыми полями
И веет сладкий аромат.
Забытые в глуши, под ясным неба сводом,
Любимцы солнцевы, из крова своего
Они любуются блистательным восходом
И тихим шелестом приветствуют его.
Заря вечерняя, светило дня скрывая
За рубежом далеких синих гор,
Встречает их прощальный взор,
Дарит улыбкою последней, догорая.
И в час безмолвия таинственных ночей,
Родными ветвями соплетшися игриво,
Они покоятся счастливо
На лоне матери своей.
Им бури не страшны, в сени гостеприимной
Они защищены от бурь и непогод.
Затмится ли когда небес лазурный свод
Грядами тучи дымной;
Промчится ли борей сердитый по лесам;
Прольется ль молния огнистыми струями;
Отгрянет ли перун по мрачным небесам, —
Березы мирными обнимут их крылами,
И дождь скользит по их верхам.
Счастливы розы те в беспечности невинной!
Но всех счастливее из милых роз одна:
Царица области пустынной, —
Как упоительна, как роскошна она!
Какою негою пленительною дышит!
Каким огнем уста ее горят!
Какой с кудрей ее струится аромат,
Когда зефир главу ее колышет!
Не ей ли по ночам, в густой тени ветвей,

Когда луна течет в порфире позлащенной,
Поет столь нежно соловей,
Любовью упоенный?
Не ей ли при заре, когда восток горит,
Когда прохладою предутреннею веет,
Певцов воздушных царь и свищет, и дробит,
И в страстной песни млеет?......
То ей! То розе молодой!
Она задумчиво певцу любви внимает,
Склонясь прелестною главой,
И грудь волнуется, и лик ее пылает!
Не тщетно любит соловей!
Глас сладостный любви для милой розы внятен,
И счастливый певец любви и красных дней
Для сердца нежного красавицы приятен.

* *
*

Но здесь ли на земле под гибнущей луной
Искать негибнущего счастья?
Кто в жизни не видал грозы над головой?
Кто, счастливый, избег от грома и ненастья
И не скорбел печальною душой?
Где тот счастливейший, кто жизни в непогоду
Умел торжествовать средь бури роковой,
Кто укрепил бессильную природу,
Не изнемог в борьбе с враждебною судьбой?.....
Восстановление из тленья,
Всечасно ратуя с природой и собой,
В груди мы носим смерть и веру в Провиденье!
Готовый в путь оснащен легкий челн;
Маяк горит на пристани востока;
Ум — кормчий за рулем, и мы средь ярых волн,
В неизбежимой власти рока!
Сначала новый путь пленяет новизной;
Приятны нам картины юной жизни,
И мы плывем с веселою душой
В родимый край отчизны.
Но длится жизни путь; наш кормчий уж устал;

Склонясь на руль, беспечно засыпает,
И жизни цвет в мечтах неясно исчезает.
Но челн вперед....... Вдруг бури дух восстал;
Завеса черная маяк во тме скрывает,
О твердую скалу гремит косматый вал,
И ветер рвет бессильное ветрило!
Проснувшийся пловец спешит схватить кормило –
Но поздно! Челн бежит на ряд подводных скал,
И море челн разбитый поглотило!......
Вот наша жизнь! Блажен, кто с юных лет
От тихой пристани очей не отвращает
И с теплой верою средь горестей и бед
Всё к ней стремленье направляет!
Он весело плывет чрез бурный океан;
Маяк горит в очах его светлее;
Редеет сумрачный туман,
И берег родины всё ближе и виднее!.....
Вот пристань! И пловец, отбросив легкий челн,
Целует тихий брег страны обетованной
И, кинув светлый взор на волны океана,
Ложится отдохнуть от плаванья и волн.

* *
*

О розы милые! Не долго вы блистали!
Не долго путника вы радовали взор!
Еще снега не скрыли ближних гор,
А вы уже увяли!
Где светлый ваш хранитель гений был,
Когда на озере громады собирались,
Когда в лесах сердитый ветр завыл
И стаи воронов с далеких гор слетались?
Зачем оставил вас? зачем своим крылом
Во время бурного движения природы
Не скрыл от бурь и непогоды,
Не отвратил ниспадший с неба гром?
. . . .
Скончалась ночь. Восток холодным пламем пышет;
В безоблачной выси скликаются орлы,

Но буря всё сильней дыханьем бурным дышит;
Огромные валы
Стадами тучными на озере пасутся;
Под бурей двух стихий могильный холм дрожит;
Древа столетние, как гибки лозы, гнутся,
И с вихрем по полям зеленый лист летит.
Дрожа от холода поникшими главами,
Три розы милые сплетаются ветвями;
Но тщетно всё! Час гибели пробил,
И ветер яростный тяжелыми крылами
Две розы юные безжалостно сломил!
Исчезло всё, что сердце здесь любило!
Что путника ласкало жадный взор!
И солнце светлое, поднявшись из-за гор,
Холодный гроб красавиц осветило.
Но волны озера не скрыли их в водах:
Шумя прозрачными крылами,
Они несли сирот на пенистых хребтах
И окропляли их жемчужными слезами.
Они плывут!
Повито трауром, как факел погребальный,
Светило дня бросает луч прощальный,
Как бы последуя в последний их приют.
Но силы бури не слабеют;
Леса шумят, песок летит,
Вран черный жалобно кричит,
И волны озера белеют.
Они плывут. За валом вал
Бежит шумящею грядою;
И вот, как запад догорал,
К пустому острову прибило их волною,
И ветер белыми песками закидал.

. . . .

О, что с тобой, певец весенних дней?
Кому твои серебряные трели?
Ты должен променять веселый блеск полей
На мрачные леса, на гробовые ели!
Никем не знаемый, ты станешь изнывать

В немой глуши уединенья,
И в песнях жалобных лесам передавать
Твою тоску, твои мученья.
Но кто придет послушать песнь твою?
Кто затаит в груди пленительные звуки?....
И голос твой замрет в изливах тяжкой муки,
И ветер разнесет их бледную струю!......

* *
*

Наутро стихнули порывы грозной бури:
Спокойно озеро; не тронется листок;
И царь светил восходит на восток,
Лия пурпурный блеск и пламень по лазури.
Сверкает искрами песок;
Горит алмазами кудрявая береза,
И темный бор златым осветился венцом;
Но на холме береговом
Цветет одна сиротка, — роза!
Спасенная под гибельной грозой
Крылом хранителя, отныне
Она одна своей пленительной красой
Манит взор путника, заблудшего в пустыне,
И украшает холм родной!

1835

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Уж не цвесть цветку в пустыне,
В клетке пташечке не петь!
Уж на горькой на полыне
Сладкой ягодке не зреть!

Ясну солнышку в ненастье
В синем небе не сиять!
Добру молодцу в несчастье
Дней веселых не видать!

Как во той ли тяжкой доле
Русы кудри разовью?
Уж как выйду ль в чисто поле
Разгулять тоску мою?

Может, ветер на долину
Грусть-злодейку разнесет;
Может, речка злу кручину
Быстрой струйкой разобьет.

Не сходить туману с моря,
Не сбежать теням с полей!
Не разбить мне люта горя,
Не разнесть тоски моей!

1835

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я понял, я знаю всю прелесть любви!
Я жил, я дышал не напрасно!
Недаром мне сердце шептало: «Живи!» —
В минуты тревоги ненастной.

Недаром на душу в веселых мечтах
Порою грусть тихо слетала
И тайная дума на легких крылах
Младое чело осеняла.

Но долго я в жизни печально блуждал
По тернам стези одинокой;
Но тщетно я в мире прекрасной искал,
Как розы в пустыне далекой.

И много обшел я роскошных садов, —
Но сердце *ее* не встречало;
И много я видел прелестных цветов, —
Но сердце упорно молчало.

Пустыней казался мне мир. На пути
Нигде не слыхал я привета.
Зачем же, я думал, сей пламень в груди
И сердце восторгом согрето?

Но нет, не напрасно тот пламень возжжен
И сердце в восторге трепещет!
Настанет мгновенье, и радостно он
В очах оживленных заблещет!

Настанет мгновенье, и силой мечты
Возникнет мир новый, чудесный:
То мир упоенья! То мир красоты!
То отблеск отчизны небесной!

И радужным светом оденется высь
И ярко в душе отразится;
И в сердце проникнет небесная жизнь,
И сумрачный взор прояснится...

Настало мгновенье... И, радость очей,
С надзвездной долины эфира
Хранитель мой гений, в сиянье лучей,
Приникнул над бездною мира.

Он видит глубокую тму под собой;
Он слышит печальных призванья.
Он сходит на землю воздушной стопой —
Утишить земные страданья.

И мир превратился в роскошный чертог,
И в тернах раскинулись розы;
И в сердце зажегся потухший восторг,
И сладкие канули слезы.

О, сколько блаженства во взоре его!
О, сколько в улыбке отрады!
Всю вечность смотрел бы, смотрел на него:
Другой мне не нужно награды.

Но нет, то не гений! Небесный жилец
На землю незримо нисходит.
Но нет, то не смертный! Удольный пришлец
На небо собой не возводит.

То горняя в мире земном красота!
То цвет из Эдемского рая!
То лучшая чистого сердца мечта!
То дева любви молодая!

О юноша! в гордой душе не зови
Забавой мечты той прекрасной!
Я понял, я знаю всю цену любви!
Я жил, я дышал не напрасно!

1835

МОЛИТВА

«Господи, возвах к Тебе,
услыши мя! услыши мя, Господи!».

Спаситель мой, услышь стенанье
Раба земного бытия!
Да будет мира излиянье
Молитва теплая моя!
Да пролетит мой голос тленный
На крыльях огненной слезы —
Пространства горние вселенной
До светлых мест, где Ты еси!
Я изнемог в борьбе с страстями;
Их сеть тяжелая легла
На мне свинцовыми цепями
И в бездну мрака увлекла.
Светильник веры угасает,
Надежда слабнет, и любовь
В холодном сердце остывает,
И торжествует плоть и кровь.
О Ты, снисшедший в лоно Девы

От злобы мир свой искупить,
Утешить вопль немолчный Евы
И плач Адама усыпить, —
Услышь, Христе, мое моленье!
К рабу заблудшему приди!
Из бездны мрака и забвенья
Меня во свет Твой изведи!
Возжги во мне светильник веры,
Надежду крепкую пролей,
И душу хладную без меры
Святой любовию согрей!

1835

ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Сокрылось солнце за Невою,
Роскошно розами горя.
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой
Я твой приветствую восход:
На небе родины далекой
Меня другое солнце ждет.
О, не скрывай, заря, так рано
Волшебный блеск твоих лучей
Во мгле вечернего тумана,
Во тме безмесячных ночей!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Горящим в синеве хрустальной
Блестящим радужным венцом!
Но нет!.... румяный блеск слабеет
Зари вечерней; вслед за ней
Печальный сумрак хладом веет
И тушит зарево огней.
Сквозь ткани ночи гробовые

На недоступных высотах
Мелькают искры золотые,
И небо в огненных цветах.
И стихнул ветер в снежном поле,
И спит престольный град царя...
О, не видать тебя мне боле,
Святая невская заря!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Ты вновь оденешь запад хладный
Огнями вечера; но, ах,
Не для меня их свет отрадный
Заблещет в розовых венцах!
Не для меня!.... В стране далекой,
Питомец бурей и снегов,
Блуждать я буду одинокой
В глуши подоблачных лесов.
Прими последнее прощанье!....
. . . .
. . . .
. . . .

Прости и ты, о град державный,
Твердыня северных морей,
Венец отчизны православной,
Жилище пышное царей,
Петра державное творенье!
О, кто б в великую борьбу,
Кто б угадал твое рожденье,
Твою высокую судьбу!
Под шумом бурь грозы военной,
По гласу мощному Петра,
В лесах страны иноплеменной
Воздвиглась русская гора.
На ней воссел орел двуглавый, —
И клик победный огласил
Поля пустынные Полтавы
И груды вражеских могил.
И вновь бедой неотвратимой

Над дерзким галлом прошумел, —
И пал во прах непобедимый,
И мир свободой воскипел.
О, сколько доблестных деяний
Вписала северная сталь
В дневник твоих воспоминаний,
В твою гранитную скрижаль!
В твоих священных храмах веют
Народной славой знамена,
И на гробах твоих светлеют
Героев русских имена.
Вот он — зиждитель твой чудесный,
Твой полунощный Прометей!
Но тот похитил огнь небесный;
А сей носил в душе своей.
Россия при дверях могилы:
Ее держал татарский сон.
Явился П е т р — и в мертвы жилы
Дыханье жизни вдунул он.
Она восстала — Русь Святая,
Могуща, радостна, светла,
И, юной жизнью расцветая,
Годами веки протекла.
Зари чудесного рожденья
В тебе блеснул вначале свет;
Ты был предтечей воскресенья
И первым вестником побед.
Летами юный, ветхий славой,
Величья русского залôг, —
Прости, Петрополь величавый,
Невы державный полубог!
Цвети под радужным сияньем
Твоей блистательной весны
И услаждай воспоминаньем
Поэта пламенные сны.

1835

ТИМКОВСКОМУ

(НА ОТЪЕЗД ЕГО В АМЕРИКУ)

Готово! Ясны небеса;
В волнах попутный ветр холмится,
И чутко дремлют паруса,
И гром над пушкою дымится.
Бокал! Бокал! Пускай струя
Сребристых вод донских пред нами
Горит жемчужными огнями
И шумно плещет чрез края.
Ударив дружно руки в руки,
Мы усладим прощальный час
И горечь долгия разлуки,
Судьбой положенной для нас.
К чему роптать? Закон небесный
Нас к славной цели предызбрал,
И он же нам в стране безвестной
Ту цель в рассвете указал.
Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи
И человека сотворить;
Раскрыть покров небес полночных,
Богатства выспросить у гор
И чрез кристаллы вод восточных
На дно морское кинуть взор;
Подслушать тайные сказанья
Лесов дремучих, скал седых
И вырвать древние преданья
Из уст курганов гробовых;
Воздвигнуть падшие народы,
Гранитну летопись прочесть
И в славу витязей свободы
Колосс подоблачный вознесть;
В защиту правых, в казнь неправым
Глагол на Азию простерть,
Обвить моря орлом двуглавым
И двинуть в них и жизнь и смерть.

Такая цель! Мой друг, ужели,
Себе и чести изменив,
Мы отбежим от славной цели
И сдержим пламенный порыв?
Ужель, забыв свое призванье
И охладив себя вконец,
Мы в малодушном ожиданье
Дадим похитить свой венец?
Нет! Нет! Пока в нас сердце дышит,
Пока струится жар в крови –
Ничто, ничто да не подвижет
Святой и доблестной любви!
Сомненья робкие подавим,
Явим величье древних дней
И козням зла противпоставим
Всю силу твердости своей,
Великим трудностям – терпенье;
Ошибкам – первые плоды;
Толпе насмешливой – презренье;
Врагам – молчанье и труды.
Желанье славы есть уж слава;
Успех достойно превознесть;
Но кто ж дерзнет похитить право
Героя падшего на честь?
Но кто ж дерзнет клеймом бесчестья
Его паденье запятнать
И в то же время низкой лестью
Успех злодейства увенчать?
Влеченью высшему послушны,
Мой друг, оставив малодушных,
С их целью жизни мелочной,
С самолюбивым их расчетом,
Изнемогать под вольным гнетом
И смыться темною волной, –
Не охладим святого рвенья,
Пойдем с надеждою вперед.
И если... пусть! Но шум паденья
Мильоны робких потрясет.

1835

ТУЧА

Ходит туча в синем небе;
Смотрит туча мрачным взором,
На груди покоя гром.

«Где бы лучше, – молвит туча, –
Мне расстлаться в синем небе
Молньеблещущим ковром?».

Видит море. Черным валом
Плещет море в дальний берег,
Ходит белою грядой.

«Разостлалась бы над морем:
Не спалить мне синя моря,
Не зажечь волны седой».

Туча дальше. Столп гранита,
Подпирая сине небо,
Опоясан бездной вод.

«Раздавила б, растопила б
Я Атланта; но, могучий,
Он разрушен – не падет».

Туча дальше. Тучны нивы
Дышат грудью золотою,
Блещут бисером росы.

«Не над ними грому грянуть!
Пища червя – им ужасен
И ничтожный взмах косы».

Ходит туча в синем небе,
Смотрит туча мрачным взором,
На груди колебля гром.

«Где бы лучше, – ропщет туча, –
Мне отгрянуть в синем небе
Разрушительным ядром?».

Видит царство. Город пышный,
Семь холмов собой раздвинув,
Три реки сплотил собой.

Шпицы башен блещут в солнце;
Будто горы — медны стены
Вьются длинною трубой.

Пышность зданий; блеск уборов;
Шум движенья; говор людства;
Гром тимпанов и мечей.

Стала туча. Дышит гневом.
Меркнет солнце от движенья
Мрачно-огненных очей.

«Расстелюсь я над холмами,
Я всколеблю ось земную,
Я разрушу пышный град!».

Но могуща сила Веры:
Дряхлый старец слабой дланью
Двинул грозную назад!.......

1835

ДУБ

На стлани зелени волнистой,
Под ярким куполом небес
Широко веет дуб тенистый —
Краса лесов, предел очес.
Он возрастал в борьбе жестокой,
Он возмужал в огнях грозы
И победителем — высоко
Раскинул гордые красы.
Он видел бури разрушенья,

Громады, падшие во прах,
И праздник нового рожденья,
И жизнь в торжественных венцах;
Но никогда – богатый силой –
Он не склонялся пред грозой,
И над дымящейся могилой
Он веял жизнью молодой.
Не раз орел небес пернатый
Венчал главу его крылом,
Внимал бессильные раскаты
Над гордым гения челом.
Как он велик – могучий гений,
Властитель трепетных полей!
Он бросил в них державно тени
И поглотил весь свет лучей.
Теперь в нем дремлют мощь и сила:
Грозы мертвящая рука
Давно уж меч свой притупила
О грудь стальную старика.
Но что́? Ужель боец надменный
Умрет в недеятельном сне,
И червь, точа во тме презренной,
Его разрушит в тишине?
О, нет! Иное назначенье!
Он должен рухнуть под косой,
Чтоб снова праздновать рожденье,
Чтоб снова ратовать с грозой.

Гремит волна; рокочут тучи,
И вот, как феникс, окрылен,
Из края в край кормой летучей
Бесстрашно бездны роет он.
В пучине влаги своенравной
Он вновь открыл избыток сил,
И вновь орел самодержавный
Его чело приосенил.

1835

НОЧЬ

Лежала тьма на высях гор;
В полях клубился мрак унылый;
Повитый мглой, высокий бор
Курился ладаном могилы.

Лениво бурная река
Катила в море вал гремучий,
И невидимая рука
Сдвигала огненные тучи.

Не холнет ветр в тиши ночной;
Не дрогнет лист немой дубравы;
Лишь изредка в чащи лесной
Сверкнут глаза звездой кровавой.

Лишь изредка косматый зебрь
В трещобу дальнюю промчится,
И отзовется гулом дебрь,
И след волною заструится.

Но снова прянет тишина!
И мрак, печальный спутник ночи,
Крылами радужными сна
Смежает дремлющие очи.

1835

<В АЛЬБОМ В. А. ТРЕБОРНУ>

Вступая в свет неблагодарный
И видя скорби, я роптал;
Но мой хранитель светозарный
Мне в утешение сказал:
«Есть два сопутника меж вами,
Они возьмут тебя в свой кров,
Они усыплют путь цветами,

Зовут их — дружба и любовь».
И я с сердечною тоскою
Пошел сих спутников искать...
Один предстал ко мне с тобою,
Другого, может, не видать.

1835

25-е ДЕКАБРЯ

Звучи заветными громами,
Глашатай вечный торжества,
Паденье сильного со тьмами
И нисхожденье Божества.
В какой груди ожесточенной
Сей глас бессмертья и могил,
Сей глас годины незабвенной
Великих дум не пробудил?
Пред чьими смутными очами
Святая брань не ожила
И незакатными лучами
Венец Кремлевской не зажгла?
Сиянье двух событий мира,
Чудес смиренья и любви, —
И мир, увитый пальмой мира,
И мир, утопленный в крови!
Смотри! Здесь тишина Эдема,
А тут кровавая война;
Здесь свет небесный Вифлеема,
Тут адский пыл Бородина.
Под силой горнего смиренья
И жертвы кровной алтарей
Свершилась тайна искупленья
Земных народов и царей.
Уж гибель бурного потока
Грозила доблестной земле,
И вот во тьме звезда Востока
Зажглась на сумрачном Кремле.

И мир приветствовал явленье
Ее пророческой главы,
И спешно шел на поклоненье
Святым развалинам Москвы.
Сияй с безоблачного свода,
Звезда спасения, сияй!
И праздник русского народа
Твоим сияньем озаряй!

1835

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Мой друг! Куда, в какие воды
Тебе послать святой привет
Любви, и братства, и свободы?
Туда ль, где дышит Новый Свет
С своими древними красами?
Или туда, в разбег морей,
Где небо сходится с волнами
Над грудью гордых кораблей?
Но где б ты ни был, я повсюду
Тебя душой моей найду,
Незримо в мысль твою войду
И говорить с тобою буду.
О, ты поймешь меня, мой брат,
Мой милый спутник до могилы!
Пусть эти речи не блестят
Разливом пламени и силы;
Пускай не звучные, оне
Не ослепят судей искусства.
Зачем? Созревши в тишине,
На ниве огненного чувства,
Они чуждаются прикрас.
Плод жаркий внутренних страданий, —
Его ли вынесть напоказ,
Одетый в жемчуг и алмаз?
Мой друг и спутник, дай мне руку!

Я припаду на грудь твою,
И всю болезнь, всю сердца муку
Тебе я в душу перелью!

Рожденный в недрах непогоды,
В краю туманов и снегов,
Питомец северной природы
И горя тягостных оков, —
Я был приветствован метелью,
Я встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой.
Мой первый слух был — вой бурана;
Мой первый взор был — грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный гроб высоких гор.
С приветом горестным рожденья
Уж было в грудь заронено
Непостижимого мученья
Неистребимое зерно.
Везде я видел мрак и тени
В моих младенческих мечтах:
Внутри — несвязный рой видений,
Снаружи — гробы на гробах.
Чредой стекали в вечность годы,
Светлело что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно в груди.
Я полюбил людей как братий,
Природу — как родную мать,
И в жаркий круг моих объятий
Хотел живое всё созвать.
Но люди . . . .
Мне тяжек был мой первый опыт.
Но я их ненависть забыл,
И, заглушая сердца ропот,
Я вновь их в брате полюбил.
И всё, что сердцу было ново,
Что вновь являлося очам,

Делил я с братом пополам.
И, недоверчивый, суровый,
Он оценил меня. Со мной
Он не скрывал своей природы,
Горя прекрасною душой
При звуках славы и свободы,
Он мне доверил тайну сил
Души-вулкана; он открыл
Мне лучшие свои желанья,
Свои заветные мечты
И цель — по терниям страданья,
В лучах небесной красоты...
Не зная лучшего закона,
Как чести, славы и добра,
Он рос при имени Петра,
Горел на звук Наполеона.
Как часто в пламенных мечтах
Он улетал на берег дальный,
Где спит воитель колоссальный
В венцах победы и в цепях.
О, если б видел ты мгновенье,
Когда бесстрашных твердый строй
Шагал с музыкой боевой!
Он весь был жизнь! весь вдохновенье!
Прикован к месту, он дрожал,
Глаза сверкали пылом боя...
Казалось, славный дух героя
Над ним невидимо летал!

Но он угас во цвете силы,
И с ним угасла жизнь моя.
И в мраке братния могилы
Зарыл заветное всё я.
Я охладел к святым призваньям;
Моя измученная грудь
Жила еще одним желаньем —
Скорее с братом отдохнуть.
Но дух отца напомнил слово —
Завет последний бытия;

Я возвратился к жизни снова;
Но что за жизнь была моя!
Привязан к персти силой крови —
Любовью матери моей,
Я рвался в небо, в край любови,
В обитель тихую теней.
Но мне отказано в желанье,
Я должен мучиться и жить
И дорогой ценой страданья
Грех малодушья искупить.
Я измирал на язвах муки
И голос сердца заглушал.
О, как тогда в святые звуки
Я перелить его желал!
Но для чего? Кому б поверил
Святую исповедь души?
Кто б из чужих ее измерил?
Один, в полуночной тиши,
Склонясь к холодному сголовью,
Я, безнадежный, плакал кровью
И раны сердца раздирал.
Любить кого б любовью вечной —
Вот то, чего я так искал,
За что бы жизнь мою я дал
На муки жизни бесконечной.

Любовь! Любовь! Страданья цвет!
Венец страстей, души светило!
Кому б ты сердца не открыла,
Не облекла его во свет?
Я всё бы отдал — жизнь и славу,
Лишь бы из чаши бытия
Вкусить блаженство и отраву
В струях волшебного питья.
Но годы идут без возврата,
Напрасно сердце я зову,
И может быть, до дней заката
Я жизнь бесстрастно отживу...
Один с сердечною тоскою,

По тернам долгого пути,
Нигде главы не успокою
На розах пламенной груди.
Пойду, бесстрастный, одиноко,
Железом душу окую,
И пламень неба я глубоко
В пустыне сердца затаю.
А как бы мог любить я! Силы
Небес, и ада, и земли
От первой искры до могилы
Ее бы вырвать не могли!
О нет! И самый смерти камень,
И холод мертвенный могил
Не угасили б жаркий пламень:
И там бы я ее любил!..
Но что в мечтаньях? Эти грезы,
Души желающей поток,
Не осушат мне сердца слезы, —
Я всё средь мира одинок!..

Но прочь укор на жизнь, на веру!
Правдив Всевышнего закон!
Я за любовь, мой друг, чрез меру
Твоею дружбой награжден.
Я буду жить. Две славных цели
Священный день для нас открыл.
Желанья снова закипели;
Твой голос сердце пробудил.
Я вновь на празднике природы;
Я снова вынесу на свет
Мои младенческие годы
И силы юношеских лет.

Мой друг! Мой брат! С тобой повсюду!
На жизнь, на смерть и на судьбу!
Я славно биться с роком буду
И славно петь мою борьбу.
Не утомлен, пойду я смело,
Куда мне рок велит идти, —

На наше творческое дело,
И горе ставшим на пути!..

. . . .

И там, одеянный лучами,
Венец сияющий сниму,
И вновь с любовью и слезами
Весь мир как брата обниму.

1836

КОЛЬЦО С БИРЮЗОЮ

Камень милый, бирюзовый,
Ненаглядный цвет очей!
Ах! зачем, мой милый камень,
Ты безвременно потуск?
Я тебя ли не лелеял?
Я тебя ли не берег?
Что ж по-прежнему не светишь?
Что не радуешь очей?
Ах! я слышу, ах! я знаю,
Милый камень, твой ответ:
«Скоро, скоро нас оставит
Незабвенный ангел наш.
Свет очей ее небесных
Освещал меня собой,
И дыханье уст прелестных
Оживляло красотой!».
Ты померкни, ты потускни,
Камень милый, дорогой!
Распаяйся, разломися
Ты, заветное кольцо!
Что мне кольца, что мне камни,
Если нет со мной ее?
С ней и радость, с ней и счастье!
Без нее мне жизнь не в жизнь!

1836 (?)

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

Прелестно небо голубое,
Из вод истканное Творцом,
Пространным, блещущим шатром
Оно простерто над землею.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна роза Кашемира!
Весной, в безмолвии ночей,
Поет любовь ей соловей
При тихом веянье зефира.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны бледно-сини воды!
В кристалле их — и свод небес,
И дремлющий в прохладе лес,
И блеск весенния природы.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна лилия долины!
В одежде брачныя четы,
Как кроткий ангел красоты,
Цветет в пустынях Палестины.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны жатвы полевые!
При ярких солнечных лучах
Они волнуются в полях,
Как будто волны золотые.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

1837 (?)

ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ НА ПРИЕЗД ЕГО В ТОБОЛЬСК

1.

Склонясь рукой на грань Урала,
Главу сокрыв в полярных льдах,
Сибирь печальная лежала
На снеговых своих коврах.

И тщетно жизнию роскошной
В ее отчизне все цвело;
Она склоняла в сон тревожный
Отяжелевшее чело.

Но то не смерть. Порой являлась
На ней отрадная заря
И жизнь в груди ее держалась
Далеким именем Царя.

И отзыв мощного глагола
Будил ее во тьме ночей,
И сонм блестящих звезд Престола
Горел пророчески над ней.

Она жила, она дышала
Святою верою в судьбу,
И все желания слияла
В одну немолчную мольбу:

«Да посетит Восток Владыка
Ее с надзвездной высоты!
Да изведет в свой свет великий
Седящих в узах темноты!».

Но два столетья скорбной ночи
Над нею медленно текли,
И темным сном смыкались очи
Под мраком неба и земли.

2.

Вдруг над высями Урала
И в кристальных искрах льда
Ярким блеском задрожала
Благодатная звезда.

К небу, к небу взор привета!
Радость сердца и очес —
То предвестница рассвета
Мрачных севера небес!

Вот блестит в ночи глубокой
С венценосного чела
Первородный луч Востока,
Солнца Русского стрела.

Сыплет благость и отраду;
След его — блаженства след,
И в недвижную громаду
Он вливает жизнь и свет.

И встает страна тумана
В блеске радостного дня,
С темной бездны Океана
До Рифейского Кремня;

Движет древние твердыни;
Рвет богатый пояс свой
И властителей пустыни
Предсылает пред собой.

Вот она у стоп Владыки —
Вся покорность! вся любовь!
И торжественные клики
Потрясают глубь лесов!

3.

Итак, исполнены желанья!
Отец услышал глас детей
И дал нам видеть свет сиянья
В любови царственной своей.

Ты, Благодатный, между нами!
Ты первый видел нашу грань,
И мы лобзали со слезами
Твою властительную длань.

И новой радугой Завета
Ты был, Возлюбленный, для нас;
И зрели очи Свет от Света,
И слух наш слышал царский глас.

Теперь исчезнет нареканье
На нас народныя молвы:
И мы участвуем в сияньи
Державных Бельта и Москвы!

Надежда северной Державы!
Лавр полуночного венца!
Цвети под сенью русской славы
Достойным Первенцем Отца!

Уж русской лиры мощный гений
Готов вещать дела Твои
И передать для поколений
В благословениях любви.

А Ты, Творец непостижимый!
Молитву теплую внемли:
Да будет Он, Тобой водимый,
Твоим подобьем на земли!

Май 1837

ЧАС ТАЙНЫ

Померкнул день. Дыханье ночи
Средь грозной веет тишины;
Небес недремлющие очи
На дольний мир устремлены.

И светлой тенью мгла ложится,
И тайна носится во мгле,
И что-то чудное творится
На небесах и на земле.

То час, когда душа свергает
Заботы тела, тягость дней,
И Божий луч в нее влетает
И ярким светом блещет в ней;
Когда неясные виденья
Среди таинственной тиши
Приемлют образ и значенье
Для созерцания души.

Как счастлив тот, кто для сознанья
В час этот действенно постиг
Иероглифы мирозданья
И неба огненный язык!
Здесь он познал Творца в твореньи
Творенье в Боге он познал,
И символ жизни и значенье
Благоговейно разгадал.

1837

ВИДЕНИЕ

Я видел чудное виденье;
Еще им грудь моя полна.
Но было ль то в минуты бденья
Или в часы мечтаний сна —
Не знаю. Только я напрасно
Вновь чудный призрак тот зову,
И мнится мне, что сон прекрасный
Мне примечтался наяву.

1.

Как будто ночь. Густые тучи
Одели небо все кругом;

И сыпал дождь; и вал зыбучий
Плескал о берег; и на нем,
Собой все поле покрывая,
И в тусклый мрак погружена,
Безмолвно двигалась живая
Народу разного стена.
А там, в глубоком отдаленьи,
Как стая бледная теней,
Белел громадный ряд строений
В мерцаньи трепетных огней.
Что значит этот свет неясный?
Зачем, оставив свой покой,
Во мраке полночи ненастной
Народ толпится над рекой?
Зачем на берег отдаленный
Глаза людей устремлены?
Что значит этот шум мгновенный
Среди глубокой тишины?
Но ни один отзыв случайный
Тревожных дум не разрешит;
И дышит все какой-то тайной
И ночи мгла на всем лежит!..
Вдруг на реке, в волнах сгорая,
Блеснул луч света, и потом
Летучий флаг взмахнул, играя
Своим увенчанным крылом.
И масса дрогнула; но шепот
Сменился мертвой тишиной,
И прозвучал незримый топот
Вдоль по дороге, в тьме ночной,
И озарился мрак ненастный...
Вдруг масса надвое... И вот
Какой-то юноша прекрасный
Приветил ласково народ.
И застонала степь глухая
Под общим криком... Сжался дух,
В волненьи сладком замирая...
Но миг – и пусто все вокруг!

2.

И снова вижу город дальний,
И свет полдня, и ночи тень.
На небе мрак лежит печальный,
А на земле сияет день.
Река огней, дымясь, сверкая,
Струями светлыми течет,
И ярко блещет тьма ночная,
И ходит весело народ.
Повсюду радостные встречи:
Привет друзей, пожатье рук,
И в гуле смешанном наречий
Один восторга ясный звук.
А там вдали, в лучах сиянья,
Под блеском тысячи лампад
Внутри и вне блистает зданье
И сыплет огненный каскад.
Рукою вкуса прихотливой
Венками вьются там цветы,
И звуки музыки игривой
Летят с воздушной высоты.
Скользят шаги; блестят уборы;
Чалма такшкинца, – с нею в ряд
Красивой гвардии узоры
И мирный жителя наряд.
И тот же юноша прекрасный
С челом, рожденным для венца,
Стоит с улыбкою всевластной
И движет взорами сердца.
К нему всех очи и желанья!
Им сердце радости полно!..
Но гаснет дивный свет сиянья
И вновь все пусто и темно!

3.

Еще ночное упоенье
Не расставалося с душой

И снова чудное виденье
Встает из тьмы передо мной.
Я вижу берег; горделиво
Скользя по зеркалу реки,
Белеет катер. Ветр игривый
Взвивает флаг, и казаки,
Склонясь на весла дружным рядом,
Следят в молчаньи быстрым взглядом
Движенье кормчего руки.
Народ весь берег покрывает,
В раздумье мрачном, молчалив,
И с каждым мигом возрастает
Его бесчисленный разлив.
Вдали виднеют храмы, зданья —
И наших дней, и древних лет,
И утра летнего сиянье
На все набросило свой свет.
Вдруг шум раздался отдаленный;
Звучат, гудят колокола...
Чу! конский топот!.. и мгновенно
Вся степь, волнуясь, ожила.
И тучи вздрогнули народа
И в молньях радости живой
Ура отгрянуло на воды
Отливом бури громовой.
И тот же юноша прекрасный,
Как солнца летнего восход,
Идет с приветливостью ясной
Через восторженный народ.
Вот входит в катер; вот бросает
Прощальный взор; ему вослед
Народ громами посылает
Свой благодарственный привет...
Слеза блеснула на реснице;
Стеснилось сердце, замер дух,
И мрак печальною темницей
На миг одел меня вокруг...

Очнулся я. Ищу глазами
Видение, но предо мной

Река с покойными водами
И берег дикий и пустой.
Все унеслось с моей мечтою!
Лишь только, виделось вдали,
Склонясь печально головою,
Толпы народа тихо шли.
Где ж он? где ж юноша чудесный?
Куда и как сокрылся он?
Ужель все это призрак лестный,
Игра мечты, прекрасный сон?
Зачем же сердце сильно бьется?
Зачем же грустная слеза
Еще мрачит мои глаза
И мысль все вдаль, все вдаль несется?
О, нет! явленья красоты
Не истребит во мне сомненье:
Я верю в чудное виденье!
Я верю в истину мечты!

29 июня 1837

КТО ОН?

Он силен – как буря Алтая;
Он мягок – как влага речная;
Он тверд – как гранит вековой.
Он вьется – ручьем серебристым;
Он брызжет – фонтаном огнистым;
Он льется – кипучей рекой.

———

Он гибок – как трость молодая;
Он крепок – как сталь вороная;
Он звучен – как яростный гром.
Он рыщет – медведем косматым;
Он скачет – оленем рогатым;
Он реет под тучи – орлом.

———

Он сладок – как девы лобзанья;
Он томен – как вздох ожиданья;
Он нежен – как голос любви.
Он блещет – сияньем лазури;
Он дышит – дыханием бури;
Он свищет – посвистом *Ильи*[1].

Он легок – как ветер пустынный;
Он тяжек – как меч славянина;
Он быстр – как налет казака.
В нем гений полночной державы.....
О, где вы, наперсники славы?
Гремите!.... Вам внемлют века!

1837

ВОПРОС

Поэт ли тот, кто с первых дней сознанья
Зерно небес в душе своей открыл
И, как залог верховного призванья,
Его в груди заботливой хранил?
Кто меж людей душой уединялся,
Кто вкруг себя мир целый собирал,
Кто над толпой гигантом возвышался
И пред Творцом во прах себя смирял?

Поэт ли тот, кто с чудною природой
Святой союз издетства заключил,
Связал себя разумною свободой
И мир и дух сознанью покорил?
Кто воспитал в душе святые чувства,
К прекрасному любовию дышал,
Кто в области небесного искусства
Умел найти свой светлый идеал?

[1] Ильи Муромца. – *Примеч. П. П. Ершова.*

Поэт ли тот, кто всюду во вселенной
Дух Божий – жизнь – таинственно прозрел,
Связал с собой и думой вдохновенной
Живую мысль на всем напечатлел?
Кто тайные творения скрижали,
Не мудрствуя, с любовию читал,
Кого земля и небо вдохновляли,
Кто жизнь с мечтой невольно сочетал?

Поэт ли тот, кто нить живых сказаний
На хартии сочувственно следил,
Кто разгадал хаос бытописаний
И опытом себя обогатил?
Кто над рекой кипевших поколений,
В глухой борьбе народов и веков,
В волнах огня, и крови, и смятений
Провидел перст Правителя миров?

Поэт ли тот, кто светлыми мечтами
Волшебный мир в душе своей явил,
Согрел его и чувством и страстями,
И мыслию высокой оживил?
Кто пред мечтой младенцем умилялся,
Кто на нее с любовию взирал,
Кто пред своим созданьем преклонялся
И радостно в восторге замирал?

Поэт ли тот, кто с каждой каплей крови
Любовь в себя чистейшую приял,
Кто и живет, и дышит для любови,
Чья жизнь – любви божественный фиал?
Кто всё готов отдать без воздаянья
И счастье дней безжалостно разбить,
Лишь только бы под иглами страданья
Свою мечту прекрасную любить?

Поэт ли тот, кто, в людях сиротея,
Отвергнутый, их в сердце не забыл,
Кто разделял терзанья Прометея

И для кого скалой мир этот был?
Кто, скованный ничтожества цепями,
Умел сберечь венец души своей,
Кто у судьбы под острыми когтями
Не изменил призванью первых дней?

Поэт ли тот, кто холод отверженья
Небесною любовью превозмог,
Врагам принес прекрасные виденья,
Себе же взял терновый лишь венок?
Кто не искал людских рукоплесканий,
Своей мечте цены не положил
И в чувстве лишь возвышенных созданий
Себе и им награду находил?

Пусть судит мир! Орудье ль благодати,
Герой ли он иль странный на земле?
Горит ли знак божественной печати
На пасмурном, мыслительном челе?
Пусть судит он! — Но если мир лукавый,
Сорвав себе видений лучший цвет,
Лишит его и имени, и славы, —
Пускай решит: кто ж он, — его поэт?

Август 1837

МУЗЫКА

Как небо южного восхода,
Волшебный храм горит в огнях;
Бегут, спешат толпы народа:
«Роберт, Роберт!» — у всех в устах.
Вхожу. Разлив и тьмы, и света.
В каком-то дыме золотом
Богини невского паркета
Роскошным зыблются венком.
Вот подан знак. Как моря волны,
Как голос мрака гробовой,

Звук Мейербера, тайны полный,
Прошел над внемлющей толпой.
Все в слух. Могильное молчанье,
Как гений, над толпой парит;
В каком-то мрачном ожиданье
Душа томится и кипит.
И тчется звуков сеть густая,
И тяжким облаком свилась;
По ней, прерывисто сверкая,
Трель огневая пронеслась:
Не так ли в мраке непогоды,
Огонь по ребрам туч лия,
Скользит зубчатый меч природы,
Молниеносная струя?

Мир чудесный! Мир мечтанья!
Рай земной небесных муз!
Чувств и звуков сочетанье
В гармонический союз!
Лейтесь, лейтесь с неба, звуки!
Как отрадно в вас мечтать
И в томленьях сладкой муки
Умирать и оживать!
Как отрадно в этом море
Волн гармонии живых
Забывать земное горе
И задумываться в них!
Улетать за вольным звуком
В область солнцев и чудес
И приникнуть жадным слухом
На гармонию небес!
Упиваться их дыханьем,
Звучный бисер их ловить
И на вспаханной страданьем
Ниве сердца хоронить!....
Чу! Как ропот отдаленный
Волн, гремящих о скалы,
Иль стенание гиенны
В тайный час полночной мглы —

Слышны звуки.... Страшен голос
Этой речи!.... мрак в очах!....
Холод в сердце.... дыбом волос....
Вздох мертвеет на устах....
Звуки ноют, звуки стонут,
Воплем чувства душу рвут,
То в гармонии потонут,
То в мелодии заснут....
Вдруг, по взмаху чародея,
Светлых звуков легкий рой,
Золотые искры сея,
Хлынул звонкою волной.
То свернутся легкой дымкой,
То рассыплются в лучах,
То промчатся невидимкой
На зефировых крылах.
Блещут молнии зарями
На аккордов мрачный сонм
И, осыпав всех цветами,
Исчезают легким сном....
Слыша звуки, я порою
У небес молю благих
Засыпать под их игрою
И проснуться вновь для них.

1837

К ДРУЗЬЯМ

Други, други! Не корите
Вы укорами меня!
Потерпите, подождите
Воскресительного дня!

Он проглянет — вновь проснется
Сердце в сладкой тишине,
Встрепенется, разовьется
Вольной пташкой в вышине.

С красным солнцем в небо снова
Устремит оно полет
И в час утра золотого
В сладкой песне расцветет.

Мир Господень так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь.

Я восторгом их обвею,
Слез струями напою,
Жарким чувством их согрею,
В русской речи разолью.

И на звук их отзовется
Сердце юноши тоской,
Грудь девицы всколыхнется,
Стают очи под слезой.

1837

К МУЗЕ

Прошла чреда душевного недуга;
Восходит солнце прежних дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!
Опять я твой! Опять тебя зову я,
Покой виновный мой забудь
И, светлый день прощенья торжествуя,
Благослови мой новый путь!

Я помню дни, когда, вдали от света,
Беспечно жизнь моя текла,
Явилась ты с улыбкою привета
И огнь небес мне тихо в грудь влила.
И вспыхнул он в младенческом мечтанье,

В неясных грезах, чудных снах,
И полных чувств живое излиянье —
Речь мерная дрожала на устах.
Рассеянно, с улыбкою спокойной
Я слушал прозы склад простой;
Но весело, внимая песни стройной,
Я хлопал в такт ребяческой рукой.
Прошла пора, и юноша счастливый
Узнал, что́ крылося в сердечной глубине;
Я лиру взял рукой нетерпеливой,
И первый звук ответил мне.
О, кто опишет наслажденье
При первом чувстве силы в нас!
Забилось сердце в восхищенье,
И слезы брызнули из глаз.
«Он твой — весь этот мир прекрасный!
Бери его и в звуках отражай!
Ты гордый царь с улыбкою всевластной,
Сердцами всех повелевай!».
Внимая гордому сознанью,
Послушный звук со струн летел:
И речь вилась цветущей тканью,
И вдохновеньем взор горел.
Я жил, надеждами богатый...
Как вдруг, точа весь яд земли,
Явились горькие утраты
И в траур струны облекли.
Напрасно в дни моей печали
Срывал я с них веселый звук:
Они про гибель лишь звучали,
И лира падала из рук.
Прощайте ж, гордые мечтанья!
И я цевницу положил
Со стоном сжатого страданья
На свежий дерн родных могил.
Минули дни сердечной муки,
Вздохнул я вольно в тишине,
И прежних дней живые звуки
Мечтались мне в неясном сне.

Но вдруг – в венце небесного смиренья,
Блистая тихою, пленительной красой,
Как светлый ангел утешенья,
Она явилась предо мной.
Простой покров земной печали
Ее воздушный стан смыкал;
Уста любовию дышали,
И взор блаженство источал.
И был тот взор – одно мгновенье,
Блеснувший луч, мелькнувший сон;
Но сколько в душу наслажденья,
Но сколько жизни пролил он!
С тех пор мелькает предо мною
Чудесный образ красоты,
Волнует сладко грудь тоскою
И красит радугой мечты.
И день и ночь мне чудится стан гибкой,
Небесная гармония речей,
Уста прелестные с задумчивой улыбкой
И тихий блеск пленительных очей.
Я полон весь прекрасного виденья!
Палящий жар течет в моей крови,
И сердце просит вдохновенья
Безмолвным трепетом любви.

Прошла чреда душевного недуга;
Восходит солнце новых дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!
Сойди ж ко мне, обвей своим дыханьем!
Согрей меня небесной теплотой!
Взволнуй мне грудь святым очарованьем!
Я снова твой! Я снова твой!
Я вновь беру забытую цевницу,
Венком из роз, ликуя, обовью
И буду петь мою денницу,
Мою звезду, любовь мою!
Об ней одной с зарей востока
В душе молитву засвечу

И, засыпая сном глубоко,
Ее я имя прошепчу.
И верю я, невинные желанья
Мои исполнятся вполне:
Когда-нибудь в ночном мечтанье
Мой ангел вновь предстанет мне.
А может быть (сказать не смею),
Мой жаркий стих к ней долетит,
И звук души, внушенный ею,
В ее душе заговорит.
И грудь поднимется высоко,
И мглой покроются глаза,
И на щеке, как перл востока,
Блеснет нежданная слеза!....

Тобольск.
4 сентября 1838

ПРАЗДНИК СЕРДЦА

О светлый праздник наслажденья!
Зерно мечтаний золотых!
Мне не изгладить впечатленья
Небесных прелестей твоих.
Они на внутренней скрижали,
На дне сердечной глубины,
Алмаза тверже, крепче стали,
Резцом любви проведены.
И с каждым трепетом дыханья,
И с каждым чувством бытия
Святые дни воспоминанья
В моей душе читаю я.
Но чуждый черных света правил,
Я стража чистой красоты
К вратам души моей приставил:
То – скромность девственной мечты.
И никогда в ней взор лукавый

Заветной тайны не прочтет
И для бессмысленной забавы
В толпе пустой не разнесет.

Тобольск.
10 сентября 1838

ДВЕ МУЗЫ

С первой искрою сознанья
Поэтической мечты
Я живу в цепях влиянья
Двух наперсниц красоты.
Я покорен их веленью;
На призывный голос их
Верным эхом в то ж мгновенье
Откликается мой стих.
Без него ж, как в сени гроба,
Сердце дремлет в тишине.....
Но не вместе, а особо
Мне являются оне.
Власть равна их надо мною,
И задолго наперед
Я предчувствую душою
Их властительный приход.

Так порой в тоске глубокой
Вольной грудью вдруг вздохну
И вокруг себя далёко
Ясным взором я взгляну.
Наслажденьем в душу канет
Жизни светлая струя, —
И с улыбкой мне предстанет
Муза первая моя.
Дышит негой грудь царицы;
Зноем чувств уста горят;
Сквозь шелковые ресницы
Пылкой страстью блещет взгляд.

И лилейною рукою
Быстро вскинув шелк кудрей,
Станет муза предо мною
В полноте красы своей.
Весь в роскошном чувстве млея,
Жаждой прелести томим,
Остаюсь я перед нею
Безответен, недвижим.....
Вдруг волшебница снимает
Разноцветный с плеч убор
И, ласкаясь, накрывает
На меня воздушный флер.
Вмиг светлее пред глазами
Возникает мир иной —
Мир, увенчанный цветами! —
Мир поэзии земной! —
Безграничная картина!
Небо, воздух и земля —
Всё здесь слито воедино,
В цвет прекрасный бытия!
Всюду светлою волною
Плещет сердца глубина,
И дрожит всей полнотою
Жизни звучная струна!
Тает грудь от наслаждений,
И роскошествуя в них,
Мощь цветущих песнопений
Бьет ключом стихов живых.

А в иные дни, средь шума
Веселящихся гостей,
Ляжет на сердце мне дума,
Мрачной полночи мрачней.
Всё темнеет предо мною;
Скучен, дик веселый пир;
Отзываются тоскою
Звон стекла и звуки лир.
И покорный управленью
Повелительной руки,

Я спешу в уединенье
Пить до капли яд тоски.
Ноет сердце, ожидая
Новой музы..... И она
Предстает ко мне, вздыхая,
Будто лилия бледна.
Томный взор повит слезою;
На устах печаль лежит;
Под душевною грозою
Грудь прекрасная дрожит.
Вдруг страдалица, с улыбкой
Руку сжав мне горячо,
Как от ветра колос гибкой,
Припадет мне на плечо.
Долго грустными очами
Мне в глаза она глядит
И дрожащими устами
Что-то сердцу говорит.
Льется в душу тихий шепот
Вдохновительных речей, —
Как разлуки грустный ропот,
Как напев в тиши ночей.
Слыша сердцем эти звуки,
Я не помню сам себя,
Изнываю в сладкой муке
И блаженствую, скорбя.
А она всё развивает
Черный креп свой предо мной
И, вздыхая, опускает
Над моею головой.
Я смотрю, — и мир унылый
Глыбой мертвою лежит;
Пред открытою могилой
Молодая жизнь стоит,
Вьет венок из роз и терний....
А над грудами костей
Слышен хохот грубой черни
И стенания людей.....

Рвется грудь моя тоскою
И в страданиях немых
Поэтической слезою
Тихо катится мой стих.

12 сентября 1838

ШАТЕР

Помост его — зеленая равнина;
Ковры цветов раскинуты на нем:
Здесь снег лилей, тут пурпур розмарина,
А там зерно в отливе золотом.

От всех сторон над ним сафирным сводом
Наклон небес торжественно навис;
А по краям зубчатым переходом
Идет лесов готический карниз.

То лентами, то цветною волною
Сгиб облаков на пологе бежит;
А наверху светило золотое,
Как легкий шар, блистательно горит.

11 октября 1838

ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ

Няня, что это такое
Нынче сделалось со мной?
Изнывает ретивое
Под неведомой тоской.

Всё кого-то ожидаю,
Всё об ком-то я грущу;
Но не знаю, не сгадаю,
Что такое я ищу.

Помнишь, няня, как, бывало,
В светлом тереме моем
Я резвилась, распевала,
Не заботясь ни о чем.

А теперь твоя шалунья
Пригорюнившись сидит:
Пало на душу раздумье,
Сердце ноет и болит.

Смех подружек мне досаден,
Игры их не веселят,
И нестатен, непригляден
Мне мой праздничный наряд.

Нет мне солнца в полдень ясный,
Мир цветет не для меня,
Опостыл мне терем красный,
Опостыла жизнь моя.

Няня! няня! Что за чудо
Нынче сделалось со мной?
Что – добро оно иль худо
Мне пророчит, молодой?

14 октября 1838

СЛЕЗЫ

Сладостны слезы для сердца в тоске безотрадной.
Есть оне у меня; но жалко мне их проливать.
Раны души облегчил бы я ими, я знаю,
А все-таки их берегу я до лучшей поры.
Фиял многоценный души я все наполняю слезами,
И жду той минуты, когда жизни и чувств в полноте,
Млея, паду я на грудь к моей ненаглядной,
А сердце забьется, заплещет и брызнет алмазным ключом.

24 октября 1838

СОН

Друзья! Я видел сон чудесный.
Но что такое значит он?
Глашатай воли он небесной
Или пустой, житейский сон,
Души тревожное движенье,
Одна игра воображенья? —
Судите вы. — Мечталось мне,
Что я стою на вышине
Холма крутого. Под ногами,
Среди акаций и берез,
Ручей в венке из пышных роз
Журчал игривыми струями
И, отражая небо, нес
Живые перлы горных слез,
И исчезал в дали незримой.
А там, вблизи, гремя о скат
Холма волной неукротимой,
Как буря, лился водопад;
Вставал столбами млечной пены,
Дробился пылью голубой
И на границе отдаленной
В морскую грудь, боец надменный,
Вливался бурною рекой.

Один — задумчивый, безмолвный,
Я на холме крутом стоял
И с струй ручья на бурны волны
Мой быстрый взор перебегал.
Мечта сменялася мечтою:
То светлых струй своих игрою
Меня манил к себе ручей;
Я любовался красотою
Его зыбей, его полей.
«Как всё спокойно здесь! Как мило!
Когда прошла бы жизнь моя,
Как струйка этого ручья,
От колыбели до могилы!» —

Так думал я. Но вскоре шум
И блеск нагорного потока
Своей поэзией высокой
Другую мысль вливали в ум,
И эта мысль была кипуча,
Как водопад, была сильна,
Как бездны бурная волна. –

Вдруг слышу я – из недра тучи
Раздался голос громовой:
«Смотри! Две жизни пред тобой.
Избрать тебе даю свободу.
Пойми, узнай свою природу,
И там немедля выбирай.
Ручей – семейной жизни рай,
Поток – величия зерцало!».
Сказал – и снова тишина!
Сомненье душу взволновало,
И пробудился я от сна.

3 декабря 1838

РЕШИМОСТЬ

Минули ль годы испытаний?
Терзанья кончены ль души?
Или еще фиал страданий
Судьба готовит мне в тиши?
Ужель пред раннею могилой
Она дала мне отдохнуть
Лишь для того, чтоб с новой силой
В меня всем пламенем дохнуть?
Чтоб заживив страданий раны,
Коварно бодрость усыпить,
И устремив удар нежданный,
Вернее сердце поразить?
Пускай! Я жду ее гоненья!

Не будет слез в моих глазах,
И заглушу укор мученья
Молитвой веры на устах.

7 декабря 1838

ПЕРЕМЕНА

Проходят дни безумного волненья;
Душа зовет утраченный покой;
Задумчиво уж чашу наслажденья
Я подношу к устам моим порой.

Иная мысль в уме моем теснится,
Иное чувство движет грудь;
Мне вольный круг цепями становится,
Хочу в тиши семейной отдохнуть.

Исчез обман мечты самолюбивой,
Открылась вся дней прежних пустота.
Другую мне рисует перспективу
В дали годов спокойная мечта.
Домашний кров... Один или два друга....
Поэзия... мена простых затей...
А тут любовь.... прекрасная подруга,
И вкруг нее веселый круг детей.

9 декабря 1838

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК

Утро дохнуло прохладой. Ночные туманы, виясь,
Понеслися далёко на запад. Солнце приветно
Взглянуло на землю. Всё снова живет и вкушает
Блаженство. Но ты не услышишь уж счастья,
О замок моих прародителей! Пусть солнце
Своим лучом золотит шпицы башен твоих,

Пусть ветер шумит в твоих стенах опустелых,
Пусть ласточка щебечет под высоким карнизом
Веселую песню, — ты не услышишь уж жизни
И счастья. Склоняся уныло над тихой долиной,
Башни твои как будто смотрят на эту могилу,
Где схоронено всё, что тебя оживляло.
О, если б подслушать, что говорит одинокая ель над тобою,
Зачем преклоняет к земле вершину свою
И слезы росы отрясает с листьев своих!
О, если б прочесть, что мох начертал на стенах опустелых,
Много бы, много сказали эти тайные буквы;
Их поняло б сердце, мечта бы их полюбила,
И чувство, глубокое чувство их затаило.

16 марта 1839

ДРУЗЬЯМ

Друзья! Оставьте утешенья!
Я горд; я не нуждаюсь в них;
Я сам в себе найду целенья
Для язв болезненных моих.
Поверьте, я роптать не стану
И скорбь на сердце заключу;
Я сам нанес себе ту рану,
Я сам ее и залечу.
Пускай та рана грудь живую
Палящим ядом облила,
Пускай та рана, яд волнуя,
Мне сердце юное сожгла:
Я сам мечтой ее посеял,
Слезами сладко растравлял,
Берег ее, ее лелеял —
И змея в сердце воспитал:
К чему же мой бесплодный ропот?
Не сам ли терн я возрастил?
Хвала судьбе! Печальный опыт
Мне тайну новую открыл.

Та тайна взор мой просветлила;
Теперь загадка решена:
Коварно дружба изменила....
И чем любовь награждена?
А я, безумец, в ослепленье,
Себя надеждами питал,
И за сердечные мученья
Я рай для сердца обещал.
Мечта отрадно рисовала
Картину счастья впереди,
И грудь роскошно трепетала,
И сердце таяло в груди.
Семейный мир, — любовь святая, —
Надежда радостей земных, —
И тут она, цветок из рая, —
И с нею счастье дней моих.
Предупреждать ее желанья,
Одной ей жить, одну любить
И в день народного признанья
Венец у ног ее сложить:
«Он твой, прекрасная, по праву!
Бессмертной жизнию живи!
Мое ж всё счастие и слава —
В тебе одной, в твоей любви».
Вот мысль, которая живила
Меня средь грустной пустоты
И ярче солнца золотила
Мои заветные мечты....
О, горько собственной рукою
Свое созданье истребить
И, охладев, как лед, душою,
Бездушным трупом в мире жить;
Смотреть на жизнь бесстрастным оком;
Без чувств — не плакать, не мечтать
И в гробе сердца одиноком
Остатков счастия искать!....

Но вам одним слова печали
Доверю, милые друзья!
Вам сердца хладного скрижали,

Не покраснев, открою я.
Толпе ж, как памятник надгробный,
Не отзовется скорбный стих,
И не увидит взор холодный
Страданий внутренних моих,
И будет чуждо их сознанья,
Что́ кроет сердца глубина,
И дни, изжитые в страданье,
И ночи жаркие без сна....
Не говорите: «Действуй смело!
Еще ты можешь счастлив быть».
Нет! вера в счастье отлетела;
Не можно дважды так любить.
Один раз в жизни светит ясно
Звезда живительного дня:
А я любил ее так страстно!...
Она ж.... любила ли меня?
Для ней лишь жизнь моя горела
И стих звучал в груди моей:
Она ж.... любовь мою презрела,
Она смеялася над ней!
Еще ли мало жарких даней
Ей пылкий юноша принес?
Вы новых просите страданий,
И новых жертв, и новых слез:
Но для того ли, чтобы снова
Обидный выслушать ответ,
Чтоб вновь облечь себя в оковы
И раболепствовать?.... О, нет!
Я не унижусь до молений,
Как раб, любви не запрошу,
И стон души, язык мучений
В душе, бледнея, задушу...
Не для нее святая сила
Мне пламень в сердце заключила,
Нет, не поймет меня она!
Не жар в груди у ней — могила,
Где жизнь души схоронена.

Июнь 1839

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Воет ветер, плачут ели,
Вьются зимние метели;
Бесконечной пеленой
Виснет хмара над страной.
Ни ответа, ни привета!
Лишь порою глыба света
Дивной радуги игрой
Вспыхнет тихо за горой;
Лишь порою, дея чары,
Глянет месяц из-за хмары,
Словно в повязи венца
Лик холодный мертвеца.
Скучно! Грустно! Что́ же, други,
Соберемтесь на досуге
Укоротить под рассказ
Зимней скуки долгий час?
Пусть в пылу бессильной злобы
Вьюга вьет, метет сугробы;
Пусть могильный часовой,
Ворон, плачет над трубой.
Что́ нам нужды? Мы содвинем
Круг веселый пред камином
И пред радостным огнем
Песнь залетную споем.
Сок янтарный полной чаши
Оживит напевы наши,
И под холодом зимы
Юг роскошный вспомним мы.

1839.
Тобольск

МОЯ МОЛИТВА

Творец! Во прах перед Тобою
Склоняю голову мою

И умиленною мольбою,
О Всеблагий, Тебя молю.
Не о себе просить дерзаю:
Я весь под властию Твоей;
Об ней одной к Тебе взываю
И в свете дня и в тме ночей.
Творец! Все ясно пред Тобою,
И мысль, и чувство, и мечта;
Не оскорбись моей слезою:
Моя мольба к Тебе чиста.
Мне за себя уж нет прошенья:
Ты все с избытком мне послал,
И вновь чрез книгу Откровенья
Твои щедроты обещал.
Так! Жизнь моя — Твое даянье,
Как дар ее Ты мне вручил;
Ты влил мне в ум самопознанье,
А в сердце чувство заключил.
Ты дал мне Веру в Провиденье,
Ты дал надежду мне в скорбях;
И ниспослал мне утешенье
В отрадных чувствах и слезах.
Когда ж душа была готова
Излить богатство полноты, —
Ты дал мне огненное слово
И вдохновенные мечты.
Но тем еще не истощилась
Твоя дающая рука,
И снова в грудь мою полилась
Твоей всеблагости река.
Ты Сам — любовь! Ты не оставил
Меня в неведенье об ней
И пред глаза мои представил
Чудесный плод руки Твоей.
Здесь новый мир душе открылся;
Я стал блаженствовать, стал жить,
И с новым жаром научился
Тебя, Создатель мой, любить.
Молчите ж, дерзкие желанья!

Погасни ваш мятежный пыл!
Я все сполна благодеянья
От рук Щедроты получил!.....
Но нет! Еще кипят моленья,
Горит желание мое,
И между слов благодаренья
Звучит молитва за нее.
Прости меня, Отец Небесный!
Молитву теплую внуши!
И силой благости чудесной
Ее владычно соверши!
Да будут дни ее на радость
И да из чаши бытия
Источит ей одну лишь сладость
Жизнекипящая струя!
Да с каждым времени мгновеньем
Трепещет сладко грудь у ней!
Да не узнает к ней дороги –
Ни скорбных опытов рука,
Ни буря жизненной тревоги,
Ни ядовитая тоска!
Рассей пред нею мрак ненастный,
И светом радости одень,
Да никогда души прекрасной
Не омрачит печали тень.
Пусть утро каждое встречает
Ее с улыбкой на устах,
И ночь покойно усыпляет
Ее с мечтами новых благ!
Да видит в детях утешенье
И веселится счастьем их!
Да ощутит благословенье
Твое на всех делах своих!
О, сохрани ее от взора
Живущих пагубой людей,
Да ни малейший мрак укора
Не прикоснется тайно к ней!
Да перейдя без огорченья
До ветхих дней долину слез,

Взлетит, чиста, в Твои селенья
И будет ангелом небес!......
Когда ж Твоей угодно воле
Ей участь скорбную послать,
И Ты судил в земной юдоли
Ей терны бедствий испытать:
Спешу к Твоей державной власти,
Молю, колена преклоняя, —
О, обрати весь яд несчастий
На одного, Творец, меня!
Пусть под ударами Твоими
Свое я счастье погублю,
Но пусть страданьями моими
Для ней блаженство искуплю!
Готов на все я испытанья!
Пусть рвется в муках грудь моя —
Мне будут сладостны страданья
При мысли счастия ея!

1840 (?)

КЛАД ДУШИ

Богач! К чему твои укоры?
Зачем, червонцами звеня,
Полупрезрительные взоры
Ты гордо бросил на меня?
О, нет! Совсем не беден я!
Меня природа не забыла:
Богатый клад мне подарила.
О, если б мог ты заглянуть
В мою сокровищницу — грудь!
Твой жадный взор бы растерялся
В роскошной сердца полноте,
И ты бы завистью снедался
К моей богатой нищете.
Смотри: я грудь мою раскрою,

Раскрою сердца глубину
И этой бедною рукою,
Богач, рассыплю пред тобою
Мою несметную казну.
Цени ж!

Вот здесь сафир бесценный,
Святая Вера. В мраке дней,
В тумане бед, во тме скорбей
Он жарко льет душе смущенной
Отрадный блеск своих лучей.
Не мощь земли его родила:
Излит небесным он огнем,
И чудодейственная сила
Таинственно хранится в нем.
Он мне блестит звездой Завета,
В молитве теплится свечой;
Любви духовной в царстве света
Он обручальный перстень мой.
Когда ж в чаду страстей дыханья
Потускнет грань его, одна
Слеза святая покаянья
Смывает туск его пятна.
И в день, как кончится тревога
Мятежной жизни, может быть,
Могу я им к престолу Бога
Свободный доступ искупить.

Вот перлы здесь, — *Живые чувства*
К чудесным мира красотам,
К высокой прелести искусства
И к вдохновительным мечтам.
Всмотрись, богач, в мои монисты:
В них нет пылинки для хулы;
Они, как снег нагорный, чисты,
Как небо Божие, светлы.
Они богатою звездою
Лежат на сердце у меня
И блещут чудною игрою

В лучах душевного огня.
Я с каждым днем их украшаю
И кистью творческой мечты
На блеск их яркой чистоты
Живое золото снимаю
С богатой нивы красоты.

А вот, как бриллиант Востока,
В мильоны искр огранено,
Лежит на сердце одиноко
Любви окатное зерно.
На самом дне груди сокрыто,
До роковой своей поры
Оно таинственно повито
Слоями тусклыми коры.
Но миг – кора с него спадает;
Оно льет свет и теплоту
И в чудных видах отражает
Земное небо – красоту;
Волной тревожной в сердце бьется,
Сверкает пламенем в глазах,
В огне румянца тихо льется
И дышит жаром на устах!

Скажи, богач: еще ли мало
Тебе богатств? Ужель велишь
Еще откинуть покрывало
С других сокровищ?..... Так смотри ж:

Вот славы здесь венец блестящий!
Вот чести пояс золотой!
Вот жезл фантазии творящей!
Вот яхонт верности святой!
А эти радужные ткани,
Богатство внутренних одежд, –
Глубоких сердца упований
И сердца ветреных надежд?
А ключ кипящий песнопенья?
А слез, небесных слез родник?

А грусти сладкие мученья?
А светлых помыслов цветник?.....

Теперь раскрой передо мною
Богатство, равное с моим, —
И я покорной головою
Склонюсь смиренно перед ним!

1840 (?)

МОЯ ПОЕЗДКА

1

ВЫЕЗД

Город бедный! Город скушный!
Проза жизни и души!
Как томительно и душно
В этой мертвенной глуши!
Тщетно разум бедный ищет
Вдохновительных идей;
Тщетно сердце просит пищи
У безжалостных людей.
Изживая без сознанья
Век свой в узах суеты,
Не поймут они мечтанья,
Не оценят красоты.
В них лишь чувственность без чувства,
Самолюбье без любви,
И чудесный мир искусства
Им хоть бредом назови...
Прочь убийственные цепи!
Я свободен быть хочу...
Тройку, тройку мне — и в степи
Я стрелою полечу!
Распахну в широком поле
Грудь стесненную мою
И, как птичка, я на воле

Песню громкую спою.
Звучно голос разольется
По волнам цветных лугов;
Мне природа отзовется
Эхом трепетных лесов.
Я паду на грудь природы,
Слез струями оболью
И священный день свободы
От души благословлю!

2

ПОЛЕ ЗА ЗАСТАВОЙ

Пал шлагбаум! Мы уж в поле...
Малый, сдерживай коней!
Я свободен!.. Я на воле!..
Я один с мечтой моей!
Дай подольше насладиться
Этой зеленью лугов!
Дай вздохнуть мне, дай упиться
Сладким воздухом цветов!..
Грудь, стесненная темницей,
Распахнулась — широка.
Тише, сердце! Вольной птицей
Так и рвется в облака...
Как чудесна мать-природа
В ризе праздничной весны —
С дальней выси небосвода
До подводной глубины!
Широка, как мысль поэта,
Изменяясь, как Протей,
Здесь она — в разливе света,
Там — в игре живых теней.
То картина, то поэма
И везде красы полна,
Светлым зеркалом эдема
Раскрывается она.
Всё в ней — жизнь, и свет, и звуки:
Подходи лишь только к ней

Не с анализом науки,
А с любовию детей!

3

ПЕСНЯ ПТИЧКИ

Чу! В черемухе душистой
Без печали, без забот,
Перекатно, голосисто
Птичка вольная поет.
Легкокрылая певица!
Где, скажи, ценитель твой?
Для кого твой звук струится
Мелодической волной?
Слышу – птичка отвечает:
«Я пою не для людей,
Звук свободный вылетает
Лишь по прихоти моей.
Мне похвал ничьих не надо;
Слышат, нет ли – что нужды?
Сами песни мне награда
За веселые труды.
Я ценителей не знаю,
Да и знать их не хочу;
Коль поется – распеваю,
Не поется – я молчу.
Я свободна; что мне люди!
Стану петь мой краткий срок:
Был бы голос в легкой груди,
Было б солнце да лесок».
Пой, воздушная певица!
Срок твой краток, но счастлив.
Пусть живой волной струится
Светлых звуков перелив!
Пой, покуда солнце греет,
Рощи в зелени стоят,
Юг прохладой сладкой веет
И курится аромат!

4

СКОРАЯ ЕЗДА

Вот дорога столбовая
В перспективной красоте,
По холмам перебегая,
Исчезает в высоте.
Что за роскошь, что за нега
Между поля и лесов
В вихре молнийного бега
Мчаться прытью скакунов!
Прихотливо прах летучий
Темным облаком свивать
И громаду пыльной тучи
Светлой искрой рассекать!
С русской мочною отвагой
Беззаботно с вышины
Низвергаться в глубь оврага
Всем наклоном крутизны!
И опять, гремя телегой
По зыбучему мосту,
Всею силою разбега
Вылетать на высоту!..
Сердце бьется, замирает...
Чуть-чуть дух переведешь...
И по телу пробегает
Упоительная дрожь.
Хочешь дольше насладиться —
Хочешь ветер обогнать...
Но земная грудь боится
Бег небесный испытать.

5

ДОРОГА

Тише, малый! Близко к смене;
Пожалей коней своих, —

Посмотри, они уж в пене,
Жаркий пар валит от них.
Дай вздохнуть им в ровном беге,
Дай им дух свой перенять;
Я же буду в сладкой неге
Любоваться и мечтать.
Мать-природа развивает
Предо мною тьму красот;
Беглый взор не успевает
Изловить их перелет.
Вот блеснули муравою
Шелковистые луга
И бегут живой волною
В переливе ветерка;
Здесь цветочной вьются нитью,
Тут чернеют тенью рвов,
Там серебряною битью
Осыпают грань холмов.
И повсюду над лугами,
Как воздушные цветки,
Вьются вольными кругами
Расписные мотыльки.
Вот широкою стеною
Поднялся ветвистый лес,
Обхватил поля собою
И в седой дали исчез.
Вот поскотина; за нею
Поле стелется; а там,
Чуть сквозь тонкий пар синея,
Домы мирных поселян.
Ближе к лесу — чнстополье
Кормовых лугов, и в нем
В пестрых группах на раздолье
Дремлет стадо легким сном.
Вот залесье: тут светлеет
Нива в зелени лугов,
Тут под жарким небом зреет
Золотая зыбь хлебов,

Тут, колеблемый порою
Перелетным ветерком,
Колос жатвенный в покое
Наливается зерном.
А вдали, в струях играя
Переливом всех цветов,
Блещет лента голубая
Через просеку лесов.

6

СЕРДЦЕ

Дальше! дальше! мне отрадно;
Грудь легка; цветут мечты...
Но зачем же взор мой жадно
Ищет новой красоты?
Но зачем же червь желанья
Снова точит эту грудь,
Просит тихого страданья,
Хочет сладостно вздохнуть?..
Непостижно сердце наше!
Жаждет счастья — вот оно!
Но уста лишь только к чаше, —
И уж приторно вино!
Беспрерывно вихрь стремленья
Вьет живой водоворот:
В грусти ищет наслажденья,
В наслажденьи грусть зовет.
Перекатною волною
Льется сердца глубина:
Под какою же скалою
Остановится она? —
Там, на дальней мира грани,
Скрытый в холод и туман,
Глухо стонет над гробами
Беспредельный океан.
День и ночь туда чредою

Ангел смерти роковой
Беспощадно все живое
Увлекает за собой.
Но настанет день чудесный:
Голос с неба прозвучит, —
И из гроба бестелесный
Житель рая воспарит!

7

МЕЖУГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Едем тихо. Солнце блещет
После полдня. Жаркий луч
То играет, то трепещет
На далеком лоне туч.
Воздух душен; пар струится;
Перелетный ветер спал.
Близко буря! Уж дымится
Грозной тучи синий вал.
Гей, ямщик, поторопися!
Непогода уж близка...
Кони вихорем взвилися
На свист громкий ямщика...
Полетели... Вдруг сияя
В отуманенной дали,
Чудно искра золотая
Загорелась на земли.
Вот растет она чудесно...
Выше... выше... поднялась —
И на синеве небесной
В лучезарный крест слилась.
Миг еще — и пред глазами
Вдруг возник Господний дом
С величавыми главами,
Под сияющим крестом.
Мир тебе, обитель мира!
Наш приют от дольних бед!

В дом небесный странник мира
Шлет сердечный свой привет.
Я спешу теперь укрыться
В твой приют от бури злой:
Небо хочет разразиться
Над трепещущей землей.
Но настанет, может, время
Бури сердца, и тогда
Я приду, покинут всеми,
Под объятия Креста.
Я приду открыть паденья,
Страсти сердца, злобу дней,
И оплакать заблужденья
Бурной юности моей.
О, открой тогда, обитель,
Мне объятия любви!
Ты же, Бог мой, мой Спаситель,
Новый путь благослови!..

8

ГРОЗА

Вот уж с час — к окну прикован,
Сквозь решетчатый навес
Я любуюсь, очарован,
Грозной прелестью небес.
Море туч, клубясь волнами,
Затопило горний свод
И шумит дождей реками
С отуманенных высот.
Гром рокочет, пламя молний
Переломанной чертой
Бороздит седые волны
Черной тучи громовой.
Чудодейственная сила
Здесь на темных облаках

Тайный смысл изобразила
В неизвестных письменах.
Счастлив тот, кто чистым оком
Видит мир, кому дана
Тайна — в помысле глубоком
Разобрать те письмена.
Не с боязнью суевера,
Не с пытливостью ума,
Но с смиреньем чистой веры
Он уловит смысл письма.
Чу, ударил гром летучий,
Гул по рощам пробежал,
И, краса лесов дремучих,
Кедр столетний запылал!
Старец дряхлый! Как прекрасна,
Как завидна смерть твоя!
Ты погиб в красе ужасной
От небесного огня.
Ты погиб, но, гордый, силу
В час последний сохранил
И торжественно могилу
Чудным блеском озарил.
Видя труп твой почернелый,
Зверь свирепый убежит
И далекие пределы
Диким воем огласит.

9

ВЕЧЕРНЕЕ ПЕНИЕ

Буря смолкла. Гром терялся
Перекатами вдали...
Вдруг внезапно зов раздался
Благовестника земли.
Верный горнему служенью,
Он архангелом звучал,
И к вечернему моленью

Верных братий призывал.
Поспешим во храм Владыки,
Где, для смертных глаз сокрыт,
Сам Господь, сам Царь Великий,
В горней славе предстоит;
Где Он внемлет покаянью,
Видит слезы, слышит вздох,
И властительною дланью
Покрывает верных Бог...
Я вхожу. Блестят иконы;
Дышит небом фимиам,
И торжественные тоны
Оглашают Божий храм.
Но к кому мольбы возносят?
Но кому гремят хвалой?
За кого усердно просят
Умиленною душой?
Те мольбы — Творцу спасенья;
Те хвалы — Царю веков;
Те усердные прошенья
За адамовых сынов.
Все надежды, все желанья —
От монарха до раба —
Все слила в одно воззванье
Мирных иноков мольба.
Вот отверзлась дверь святая
Тайной сени алтаря,
И блеснул, сквозь дым сверкая,
Луч эфирного царя;
Чудным блеском рдяной лавы
Сень священную одел...
«Тихий свет святыя слава...» —
Благозвучно клир запел...
В это чудное мгновенье
Я земное все забыл,
И в восторженном виденьи
Я у Бога в небе был.

10

ВЕЧЕР

Служба кончилась. Я снова
Теплой верою согрет,
Вышел с холма лугового
Посмотреть на Божий свет.
Бесподобно! Вечер лета
Чудной свежестью дышал
И завесой полусвета
Все пространство покрывал.
Там, на светлости лазури,
Золотистые с краев,
Плыли вдаль остатки бури
Легкой группой облаков.
Солнце к западу клонилось;
Долу искрились поля;
Ароматами струилась
Обновленная земля.
Жизнь везде заговорила,
Морем звуков разлилась:
Здесь — долины огласила,
Там — в лесах отозвалась.
Я смотрел. Часы бежали.
Раскаленный солнца шар
Пал за лесом в синей дали, —
Запад вспыхнул как пожар.
Разноцветными огнями
Луч по воздуху скользил,
Прыскал по небу стрелами
И дождинки серебрил.
«Есть ли где во всей вселенной
Мир прекрасней?» — я вскричал.
— «Есть, за гробом», — вдохновенно
Чей-то голос отвечал.
Я взглянул: вблизи за мною
Старец сгорбленный стоит;

Светлый взор под сединою
Важной думою горит.
Он смотрел на запад дальний,
Одевающийся в тень,
И улыбкою прощальной
Провожал угасший день.

1840

ОТРЫВКИ

1

Один, спокоен, молчалив,
Лежал я ночью в поле чистом,
И надо мной шатром тенистым —
Небес безоблачный разлив.
Мой дух с какою-то отрадой
Стремился ввысь, далёко от земли,
И я дышал надежною прохладой:
То небо веяло вдали!
Порою лишь чудесным легким звуком
Меня на миг на землю привлекал,
И снова я и взорами, и слухом
В высоком небе утопал.
Полночный час, покой, уединенье
И глубь небес над головой —
Всё, всё вело воображенье
На пир фантазии живой.
Она вкусила нектар рая!
Она вкусила хлеб небес!
И сердце жаркое, в восторге утопая,
Лилось потоком сладких слез!

2

Природа скрыта в ризе ночи,
Творенья в сон погружены,

Небес недремлющие очи
Едва мерцают с вышины.
Везде покой. Чуть ветер веет,
Отрадной свежестью дыша...
Одно мое лишь сердце млеет,
Одна грустит моя душа.
О чем же грусть? Мечты ль былые
Волнуют пламенную кровь,
Или потери роковые,
Иль безнадежная любовь?
О нет! Суровой жизни холод
Давно мечты уж потушил,
Давно судьбы тяжелый молот
Мне сталью сердце закалил...

3

Блеща жаркими лучами,
Ароматами дыша,
Под цветочными венками,
Как невеста хороша!
Все готово к браку милой:
Звучный хор в тени дерев,
И небесное светило
Люстрой блещет с облаков.
Где ж жених? С небес незримо
Он придет к красе своей,
И под песни херувима
Сочетается он с ней...

4

ПАЛЫ

Ночь простерта над лугами;
Серой тенью брезжит лес,
И задернут облаками
Бледный свет ночных небес.

Тройка борзая несется,
Дремлют возчик и ездок,
Только звонко раздается
Оглушительный звонок.

Мрак полночи, глушь пустыни,
Заунывный бой звонка,
Омраченные картины,
Без рассвета облака, –

Всё наводит грусть на душу,
Всё тревожит мой покой
И холодной думой тушит
Проблеск мысли огневой.

Вдруг блеснуло на поляне...
Что так рано рассвело?
То не месяц ли в тумане?
Не горит ли где село?

Тройка дальше. Свет яснее;
Брызжут искры здесь и там;
Круг огня стает полнее
И скользит по облакам.

Миг еще – и пламя встало
Грозно-огненной стеной
И далёко разметало
Отсвет зарева живой.

И на ярком покрывале,
Будто жители гробов,
Заходили, задрожали
Тени черные лесов.

Дальше! Дальше! Блеск пожара
Очи слабые слепит;
Ветер дышит пылом жара,
Дымом, пламенем клубит.

Стой, ямщик! Ни шагу дале!

. . . .

И тревожно кони встали,
Роя землю и храпя.

5

ЧУДЕСНЫЙ ХРАМ

Настала Страстная седмица.
Откинув жалкий груз забот,
Отвсюду набожный народ
Идет Распятому молиться,
Идет оплакать злобу дней,
Смыть пятна с совести своей
И в ризу света облачиться.
Проходят дни. Свершен обряд
Урока дивнего смиренья
В священном деле умовенья;
Уже бесценный дар прият
Устами чистыми любови;
Уже лучи Христовой крови
На сердце постника горят:
Ликует небо, плачет ад!

Но на всех печать спасенья!
Не смысля святости тех дней,
Идут два брата из селенья
В окольный лес на лов зверей.
Ни сила дружного совета,
Ни просьбы жен, ни слезы их,
Ни увещания родных.......

6

Была пора: глубокой темнотой
Язычество Россию облегало;
Народ дышал и жил одной войной,

Тревоги бурь душа его искала.
Не ведая служения любви
И высоты духовного смиренья,
Он обагрял свой жертвенник в крови
И приносил кичливые моленья.
Прошли века: отрадная звезда
В глубокой тьме над Ольгой засветлела,
И славное оружие креста
Водружено в ослабленное тело.
Но свет его немногих осиял,
Не многие глаза слепцов открылись,
И светлый луч во мраке угасал,
И алтари под кровью жертв дымились.

Где же благодать пророческих речей?
Где же Божия глагола исполненье?
Не тщетны ли, апостол наш Андрей,
Твои слова о крестоводруженьи?
Тьмой идольской одет престол владык,
Народ во тьме неверия блуждает,
Слепых жрецов слепого бога лик —
Творенье рук — безумно ублажает.
И Ольги внук сливает истукан
На тех горах, где проповедь Христова
Воскурена как чистый фимиам
В святых речах апостольского слова.

Но верен творческий обет!
И над языческой землею
Вдруг пролился небесный свет
Животворящею струею.....

7

ПАНИХИДА

Во храм, во храм, живые братья!
Смотрите, бледный лик духов
Почивших братий и отцов

Простер к Вам днесь свои объятья.
Они толкутся в вашу грудь
Сильнейшим слова чувств глаголом,
И просят вас перед престолом
О их покое помянуть.
Сей день вселюбящий Отец,
Скрыв громы праведного мщенья,
Приемлет праздничный венец,
Для удостоенных прощенья.
В сей день спасительная кровь
Христа льется с новой силой
И проникает в глубь могилы
И примиряет с небом вновь...

8

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Еще гремел глагол проклятья
Над дольним миром, и Творец,
Во гневе заключив объятья,
Был Судия, а не Отец.

Земля в пороках утопала.
В греховный мрак погружены,
Под крепкой сетью Велиала
Во зле росли ее сыны.

Забыто духа назначенье;
Кумира богом мир нарек,
И до скота в богозабвеньи
Упал преступный человек.

О, кто ж спасительной стеною
Восстанет с кротким торжеством
Между преступною землею
И раздраженным Божеством?

Кто наготу ее прикроет?
Кто цепи смерти сокрушит?
И грех безгрешием омоет,
И чистый Богу обручит?

Когда свершится благовестный
Глагол о семени жены
И победитель неизвестный
Сотрет гордыню сатаны?

Настало время <...>
Князь от Иуды оскудел,
И на престол царя Давида
Иноплеменный царь воссел.

И все поверглось в ожиданье!
Сердца надеждою полны,
Все дни в библейские сказанья
Глаза людей устремлены.

И вот пред Девой Назарета
Предстал Архангел Гавриил,
И целование привета
Благословенной приносил...

1840 (?)

29 ИЮЛЯ 1840 ГОДА

Вот минул год, как я уединенно
В сей самый день молился за тебя,
И стих кипел в груди воспламененной,
И сердце плакало, страдая и любя.
Но та мольба была мольба прошенья,
Тот голос робкою надеждою звучал.
И часто звук под тяжестью сомненья

Неконченный на сердце замирал.
Теперь я вновь колена преклоняю;
И вновь молюсь, мой ангел, за тебя;
Но полный счастия, теперь я не страдаю,
И в звуках радостных звучит моя мольба.
О, нет, не юноша, волнуемый желаньем,
Здесь молится супруг, здесь молится отец...
Как сладостен сей двойственный венец,
Увитый счастием, златимый упованьем!
О, пусть он яркою двуцветною звездой
Горит на нас до мрачной сени гроба,
И пусть ни гнев судьбы и ни людская злоба
Не помрачат его своею темнотой!

1840

ЭКСПРОМТ

Чуждый бального веселья,
В тишине один с собой,
Я играю от безделья
Поэтической игрой.

Пусть в веселый вихорь танца
Юность резвая летит
И под мерный такт каданса
Ножка легкая кружит.

Пусть кипучею волною
В страстной неге дышит грудь
И роскошной полнотою
Соблазнит кого-нибудь...

Огражденный от соблазна
Ранней опытностью лет,
Я смотрю, как зритель праздный,
На волнующий их свет.

«Веселитесь, — я мечтаю, —
Дважды юность не цветет...
Пусть надежда золотая
Вас цветами уберет!

Пусть любви очарованье
Эти розы возрастит
И житейский мрак страданья
В жаркий луч позолотит».

11 октября 1840

НА ОТЪЕЗД
А. П. и С. П. Ж<ИЛИНЫХ>

Счастливый путь! Счастливый путь!
Привет, всех благ вам на дорогу!
Скрепите трепетную грудь
В прощальный час молитвой к Богу.

И Он вас в путь благословит
Всемощным манием десницы,
И в легком отблеске денницы
Пред вами ангел полетит.

Крылом отвеет ваши слезы,
Пробудит радости в груди
И утешительные розы
Рассыплет всюду на пути.

Когда ж порой во мраке ночи
Заснете вы отрадным сном,
Представит Он пред ваши очи
В мечте родительский ваш дом.

И вас коснется звук священный
Благословения отца,

И голос матери бесценный
Проникнет радостью сердца...

Но вот ямщик уж у порога...
Скрепите ж трепетную грудь!..
Привет, всех благ вам на дорогу!
Счастливый путь! Счастливый путь!

14 июня 1841.
Тобольск

ГРУСТЬ

В вечерней тишине один с моей мечтою
Сижу, измученный безвестною тоскою.
Вся жизнь прошедшая, как летопись годов,
Раскрыта предо мной: и дружба, и любовь,
И сердцу сладкие о днях воспоминанья
Мешаются во мне с отравою страданья.
Желал бы многое из прошлого забыть
И жизнью новою, другою пережить.
Но тщетны поздние о прошлом сожаленья:
Мне их не возвратить, летучие мгновенья!
Они сокрылися и унесли с собой
Всё, всё, чем горек был и сладок мир земной...
Я точно как пловец, волной страстей влекомый,
Из милой родины на берег незнакомый
Невольно занесен: напрасно я молю
Возврата сладкого на родину мою,
Напрасно к небесам о помощи взываю,
И плачу, и молюсь, и руки простираю...
Повсюду горестный мне слышится ответ:
«Живи, страдай, терпи, — тебе возврата нет!».

1843

* *
*

Не тот любил, любви кто сведал сладость,
Кому любовь была на радость;
Но тот любил, кто с первых дней любви
Елеем слез поил палящий жар крови,
Кто испытал все муки и терзанья
Любви отвергнутой, кто в сердце хоронил
Последний луч земного упованья,
А в глубине души молился и любил.

1843 (?)

ОТВЕТ

Мне говорят: погиб твой дар,
Прошло счастливое мгновенье,
Когда души кипящий жар
Лился в живое песнопенье.
Не возвратить тебе тех дней!
Они прошли чредой своей!

Пусть говорят! Толпы холодной
Давно знаком мне приговор;
Давно привык смотреть мой взор
На жало зависти бесплодной.
Но их укор, но их хула
Сожмут ли крылья у орла?

Пусть говорят! В сознаньи твердом
Моих душевных свежих сил,
Безмолвно я с презреньем гордым
Их жалкий крик переносил.
Никем не зримые виденья
Мне были светом утешенья.

И думал я: пора придет —
Грудь переполненная хлынет,
И лавой огненной откинет
Богатых звуков водомет,
И разовьется песнь цветная,
Кипя, и грея, и сверкая.

В той песни первая струна
Вся — Божеству! вся — искупленью!
И загремит псалмом она,
Подобно ангельскому пенью.
И грудь, внимая звук святой,
Вскипит слезами и мольбой.

Других двух струн аккорд священный
Вам, вам — Отечество и Царь!
Тебе — религии алтарь!
Тебе — Властитель полвселенной!
Для сердца русского давно
Царь и Отечество — одно.

Я разверну твои скрижали,
Святая Русь! Я передам
Резцом стиха твердее стали
Твои судьбы твоим сынам.
И сердце русское услышит,
И грудь восторженно задышит.

Струны последней звук живой
Вам — жизни чудные волненья —
Мечты, надежды, вдохновенья!
Я облеку вас в стих родной
И с гордой радостию кину
В печальный мир, как цвет в пустыню!

1845

ВОСПОМИНАНИЕ

Я счастлив был. Любовь вплела
В венок мой нити золотые,
И жизнь с поэзией слила
Свои движения живые.
Я сердцем жил. Я жизнь любил.
Мой путь усыпан был цветами,
И я веселыми устами
Мою судьбу благословил.

Но вдруг вокруг меня завыла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила.
Всё, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил.
Живой мертвец между живыми,
Я отдыхал лишь на гробах.
Красноречив мне был их прах,
И я сроднился сердцем с ними.

Дни одиночества текли,
Как дни невольника. Печали,
Как глыбы гробовой земли,
На грудь болезненно упали.
Мне тяжко было. Тщетно я
В пустыне знойного страданья
Искал струи воспоминанья:
Горька была мне та струя!
Она души не услаждала,
А жгла, томила и терзала.
Хотя бы слез ниспал поток
На грудь, иссохшую в печали:
Но тщетно слез глаза искали,
И даже плакать я не мог!

Но были дни: в душе стихало
Страданье скорби. Утро дня

В душевной ночи рассветало,
И жизнь сияла для меня.
Мечтой любви, мечтой всесильной
Я ниспускался в мрак могильный,
Оковы гроба разрывал,
Труп милый обвивал руками,
Сливал уста с ее устами
И воплем к жизни вызывал —
И жизнь на зов мечты являлась.
В забвенье страсти мне казалось —
Дышала грудь, цвели уста,
И в чудном блеске открывалась
Очей небесных красота...
Я плакал сладкими слезами,
Я снова жил и жизнь любил —
И, убаюканный мечтами,
Хотя обманом счастлив был.

1845

МГНОВЕНИЕ

Ее я видел в первый раз
Во храме Божием, в тот час,
Когда мятежная тревога
Земных сует стихает в нас,
И мысль и чувство, все — у Бога.
То был лишь миг, но этот миг
Святым огнем в меня проник.
Вперив свой взор в изображенье
Пречистой Девы, вся она
В святой восторг благоговенья,
Как в свет, была облечена.
Молитву жаркую шептали
Полураскрытые уста,
И тихо перси трепетали
Под осенением креста.
О, как в ней дивно все являлось!

Как упоительно сливалось
Души и тела красота!
Смотря на этот лик прелестный,
Сквозь легкий фимиама дым,
Казалось мне, то был небесный
Приявший тело Серафим!
И много дней с того мгновенья
В тревогах жизни протекло,
Но и доселе впечатленье
Его в душе моей светло.
И всякий раз, как возродится
Тот чудный миг в душе моей,
Хочу и плакать, и молиться
И за себя, и за людей!

1846

ОПРАВДАНИЕ

Толпа любовь мою винит,
И между тем она согласна,
Что мной избранная прекрасна.
О чем же буйная шумит?
Ужели чувство – преступленье?
Ужели должен я просить,
Как подаянья, – позволенья
И ненавидеть, и любить?
«Она твоею быть не может!».
Я знаю сам и не хочу
Покой души ее тревожить,
И чувство в сердце заключу.
Сдержу желаний пылких волю,
Мятежный жар сомкну в крови,
Но и в забвенье не позволю
Прорваться слову о любви.
И не узнает, не услышит
Она о тайне от меня –

Что ею только сердце дышит,
Что ею только мил свет дня.
Но для чего же мне неволить
Влеченье чистое мое
И молчаливо не позволить
Мне любоваться на нее?
Но для чего же мне украдкой
Волшебных взглядов не ловить,
Не услаждаться речью сладкой,
Дыханья уст ее не пить?...
О, сколько раз в толпе бесстрастной,
Томимый жаждой красоты,
Я не сводил очей с прекрасной,
Лелея светлые мечты!
Сдержав тревожное дыханье,
Забыв себя, забыв людей,
Я погружался в созерцанье
Любви возвышенной моей.
Минуты чудные! Казалось,
Перед взволнованной душой
Мне небо света открывалось
С своею вечной красотой.
О, только лишь художник-гений,
Ловя чудесный идеал
В часы божественных видений,
Подобный образ создавал!...
И помню я: как тополь стройный,
Во цвете лет, облечена
Красой и гордой, и спокойной,
Стояла царственно она.
Волнисто-чудной диадимой,
В гирлянде жемчуга и роз,
Вился изгиб неуловимый
Благоухающих волос.
Сияло мыслию высокой
Ее лилейное чело;
И всё лицо, как день востока,
И ясно было, и светло.

Во влаге блещущей эмали,
Под дымкой шелковых ресниц,
Глаза пленительно сияли
Красою северных зарниц.
И переменно отражались
На них мечты живой игрой:
То блеском полдня разгорались,
То в сумрак ночи погружались,
Блистая звездною слезой.
А эти розы щек живые!
А эти — прелесть, красота,
Любви созданье — огневые,
Нектарно-влажные уста!
Могучей силы чарованья
На них положена печать,
И может их одно лобзанье
И вдунуть жизнь, и жизнь отнять,
А плеч роскошные разбеги
В сиянье млечной белизны!
А груди пышной, полной неги,
Две чародейские волны!
В них жизнь всю полноту излила,
А прелесть формы обвела,
А страсти пламенная сила
Их горделиво подняла...
Всё, всё в ней было обольщенье!
И мне казалось, что она
Олимпа древнего явленье,
Героподобная жена!

1846

ХРАМ СЕРДЦА

Когда, покинув мир мечты,
В свое я сердце погружаюсь,
Я поневоле ужасаюсь
Его печальной пустоты.

Как храм оставленный в пустыне,
Оно забвенью предано —
Без фимиама, без святыни!
В нем всё и дико, и темно!
Лишь ядовитый змей страданья
Ползет тропой воспоминанья
И на поблекшие цветы
Рано потерянного счастья
Отраву льет шипучей пастью
Во мраке скорбной темноты.
Везде печальные гробницы
Надежд и радостей былых!
И редко, редко луч денницы,
Как лепту, бросит свет на них.
А было время: чудным зданьем
Здесь возвышался жизни храм
И сладких чувств благоуханьем
Курился сердца фимиам.
Надежды чистого елея
Лампада дней была полна,
И всё отрадней, всё светлее
Горела счастием она.
Но миг — и всё восколебалось!
Алтарь любви повержен в прах!
На опустевших ступенях
Воспоминанье лишь осталось.
И день и ночь оно с тоской
Чего-то ищет меж гробами,
И роет пепел гробовой,
И плачет горькими слезами.

1846

ТРИ ВЗГЛЯДА

Когда ты взглянешь на меня
Звездами жизни и огня —

Твоими черными глазами,
Глубоко в грудь твой взор падет,
Забьется сердце и замрет,
Как будто птичка под сетями.

Но новый взгляд твоих очей –
И в тот же миг в груди моей
Цветок надежды расцветает;
И светит сердцу свет сквозь тьму,
И сладок милый плен ему,
И цепи милые лобзает.

Но что ж, когда в твоих глазах
Сквозь тучи в молнийных огнях
Любовь заблещет роковая?
О сердце, сердце! Этот взгляд
Осветит блеском самый ад
И разольет блаженство рая.

1846

МОЯ ЗВЕЗДА

Ночь несчастий потушила
Свет живительного дня
И отвсюду окружила
Мраком гибельным меня.

Без надежды на спасенье
Я блуждал во тьме ночной.
Вера гибла, гроб сомненья
Раскрывался предо мной.

. . .   .
. . .   .
. . .   .
. . .   .

Вдруг увитая лучами,
Мрачной ночи красота,
Воссияла пред очами
Неба новая звезда.

Лучезарною одеждой
Как царица убрана,
Умиленьем и надеждой
Взору светится она.

Очарован, околдован
Дивной прелестью лучей,
Жадно взор мой к ней прикован,
Сердце рвется встречу к ней...

О, гори передо мною,
Ненаглядная моя!
Для меня теперь с тобою
Ночь пленительнее дня!

1846

A MA FEMME

Моей звезды восточное теченье
Свершило круг, начертанный судьбой,
Мир на земли принесши мне с собой.
А в людях нет, в них нет благоволенья.

В земле чужой я встретил вас нежданно,
Привет любви и прелесть милых глаз!
Свободы град! Моей свободы странной
В твоих стенах пробил последний час!

Ты родилась в Бургундии счастливой:
Ты вспоена родимым молоком!
И голос чувств беспечно горделивых
Тебе давно, с младенчества знаком!

Златой телец богатств и чести мнимой
Тебе ничто. Во прах толпы кумир!
Наш общий клад, ничем не заменимый,
Любовь, и честь — священный сердца мир!

Жеманства нет в твоих речах и взоре:
И взгляд один сдружил нас навсегда!
Лихое нас не разлучило море,
Не разлучат ни счастье, ни беда!

И если там, за океаном синим
Надежд и вер, есть место для любви:
В слияньи душ мир дольний мы покинем.
Жив Бог — и ты, душа моя, живи!

1848 (?)

ПРИЗЫВ

Унынья мрачной пеленою,
Как мертвых саваном, повит,
Ты спишь, когда перед тобою
Жизнь человечества кипит.
Для одного тебя безмолвны
Ночей и дней живые волны.
Подобно жителю могил,
Без чувств, без страсти, без волнений
Для всех житейских впечатлений
И слух, и взор ты затворил.

Проснись, питомец обаяний!
Свой малодушный сон прерви,
Вступи в ряды живых созданий
И жизнью общею живи.
Не искушай хулой сомненья
Путей святого Провиденья;
Под руку крепкую смирись:
Отец людей любвеобильный

Ведет тебя рукою сильной
Чрез мрак и смерть во свет и жизнь.

Пусть велики твои страданья,
Пусть горек плод твоих утрат:
Тем больше мера воздаянья
Твоих венцов, твоих наград.
О, торжествуй! Судья вселенной,
Прозревши клад в тебе бесценный,
Тебя страданием почтил.
Любовь превечная судила
Тебе пройти сквозь огнь горнила,
Чтоб ты и чист, и светел был.

Восстань, возьми свой одр печали
И новой жизнию ходи!
Ужель поэзии скрижали
Напрасно носишь ты в груди?
Смотри: в огнях, гремя, блистая,
Венец таинственный Синая
Тебя властительно зовет.
Иззуй себя от тленья страха,
И с твердой верою без страха,
Начни пророческий восход.

Не устрашись стези далекой:
Творец твой путь благословит,
И тайны мудрости высокой
Он духом уст тебе внушит.
Твой ум постигнет мысль и слово;
Ты будешь вестник Иеговы,
Глашатай воли Божества;
К тебе склонят свой слух народы,
И пронесутся в род и роды
Могучих уст твоих слова.

1848 (?)

* *
*

Печальны были наши дни;
В заботах жизни обиходной,
Как смутный сон, текли они
Чредой бесцветной и бесплодной.

Но Вы являетесь средь нас
С волшебной пальмою искусства,
И жизнь души отозвалась
На чудный звук порывом чувства.

И всё, что сердца в глубине
Затаено святого было,
По звуку вещему струны
В живой аккорд заговорило.

Благодарим за этот час,
За этот день очарованья!
И долго будет он для нас
Златым венцом воспоминанья.

30 августа 1849

В АЛЬБОМ Ю. А. К<АЗАНСК>ОЙ

Когда порой, взглянувши в Ваш альбом,
С моим нечаянно Вы встретитесь стихом,
И память Вам мой абрис нарисует:
Поверьте мне, где б ни был я, в тот миг
Сочувствие – сердце магнитный проводник –
Внезапной радостью вдруг грудь мою взволнует
И мне привидится, как будто через флёр
Улыбка милая, пленительный Ваш взор
И вновь по-прежнему мне душу очарует.

9 декабря 1849

В. А. АНДРОННИКОВУ

Ты просишь на память стихов,
Ты просишь от дружбы привета...
Ах, друг мой, найти ли цветов
На почве ненастного лета?
Прошли невозвратно они,
Поэзии дни золотые.
Погасли фантазьи огни,
Иссякли порывы живые.
В житейских заботах труда
Года мой восторг угасили,
А что пощадили года,
То *добрые* люди убили.
И я, как покинутый челн,
Затертый в холодные льдины,
Качаюсь по прихоти волн
Житейской мятежной пучины...
Напрасно, как конь под уздой,
Я рвусь под мучительной властью...
И только отрадной звездой
Сияет семейное счастье.

1850-е годы

В. М. ЖЕМЧУЖНИКОВУ

Прощай! под знаменем отчизны,
Железо в руки, крест на грудь! —
Как Руси сын, без укоризны,
Иди свершить твой новый путь.
Неси избыток сил кипящих
Царю, Отечеству в оплот,
И светлым роем дел блестящих
Ознаменуй твой ратный год.
Да будет Бог твоим покровом —
В бою мечом, в огне — щитом!

И возвратись в венце лавровом
И жив и здрав в твой отчий дом.

1855

ОДИНОЧЕСТВО

Враги умолкли — слава Богу,
Друзья ушли — счастливый путь.
Осталась жизнь, но понемногу
И с ней управлюсь как-нибудь.

Затишье душу мне тревожит,
Пою, чтоб слышать звук живой,
А под него еще, быть может,
Проснется кто-нибудь другой.

1860-е годы

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ НА СЛУЧАЙ ПРИБЫТИЯ ЕГО В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ

Шесть люстр прошло, когда, во цвете лет,
Исполнен сил и вещего глагола,
Я подносил свой радостный привет
Наследнику великого престола.

И все, что видел я, как будто райский сон,
И все, чего желал душою восхищенной,
Все то уже свершил посланник неба, Он,
Державный Твой Отец, на благо полвселенной!

Теперь, на склоне дней, слабеющей рукой
Я вновь беру перо, с слезой в глазах нежданной,

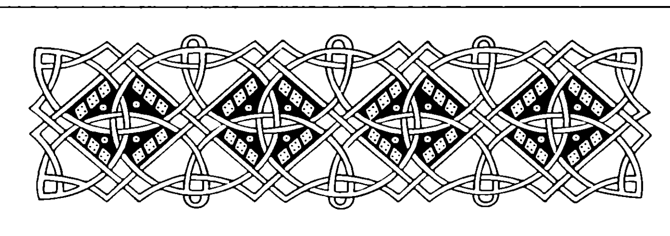
Чтобы приветствовать, в стране моей родной,
Тебя, высокий гость, и Твой приход желанной.

Но взор пытующий напрасно смотрит вдаль,
Его ослабила тяжелой жизни битва;
И смутно видится грядущего скрижаль;
И вещей речи нет, – одна в устах молитва.

И я молюсь: «Да Вышний Царь царей
Благословит Тебя от горнего Сиона!
Да будешь страж родной земли своей,
И щит, и меч, и укрепленье трона!

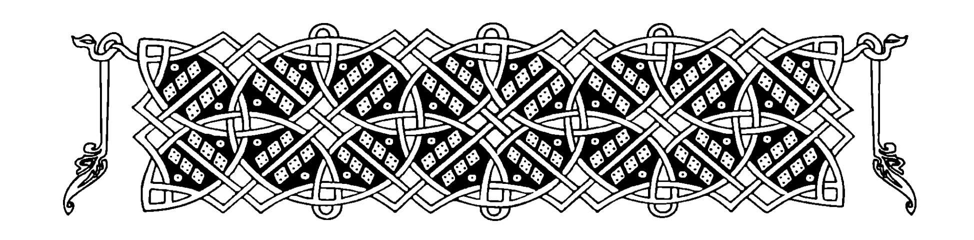
Да славно имя носишь Ты,
Великое, святое для России;
И светлых дней блестящие черты
Внесешь навек в бессмертный свиток Клии!».

1868



ЭПИГРАММЫ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ





PARBLEU OU POUR LE BLEU

Уж эти мне друзья, друзья!
А. П.

Исполняя обещанье,
Вашим данное друзьям,
Посылаю к вам собранье
Небогатых эпиграмм.
Может быть, в них мало соли,
Перцу ж слишком, может быть.
Предаю на вашу волю –
И смеяться, и бранить.
Впрочем, выскажу здесь прямо
(Не примите лишь за лесть):
Вы достойны эпиграммы,
Отдаю вам эту честь.

Honni soit qui mal y pense
(Вместо эпиграфа)

1.

Гостиных лев, герой приятельских пирушек,
Наш Дон Жуан девиц всех свел с ума.
Того и жди начнется кутерьма

В кисейной области чувствительных пастушек.
Чему ж завидовать? Безумие не резон,
И с сотворения кадрили
Красавицы ему всегда должок платили,
А только вряд ли выиграл бы он,
Когда б они немножко не блажили.

2.

Наш зодчий Дон Жуан превыше всех похвал!
В любви и в зодчестве он неизменных правил:
Везде прехитрое начало основал,
А исполнение благой судьбе оставил.

3.

В постройках изощрясь градской архитектуры,
Наш зодчий захотел девицам строить cour'ы.
Но верен все-таки остался наш Протей
Строительной профессии своей:
Во всех делах его видны — одни фигуры.

4.

Что за диковинка? Наш зодчий, зал герой,
Летает от одной красавицы к другой.
Сегодня той кадит, а завтра ту чарует,
А смотришь, в третий день обеих их надует.
Ну, словом, нет конца
Проделкам молодца!
Чему ж дивиться тут? Ведь он — проектирует!

5.

Рожденный львом, судьбе наперекор,
Наш Дон Жуан хотел прослыть и зодчим.
Но вышло так, что славный он танцор,
А архитектор — между прочим.

6.

Наш ветреник герой
За что-то цвет не любит голубой,
И белый цвет ему предпочитает.
Но неужели он не знает,
Что цветом голубым полна —
И высь небес, и моря глубина,
Что только в синеве алмаз звезды сверкает?
— «О, нет, друзья, все знает он,
Наш зауральский Аполлон:
Но цвет небес — цвет постоянства, —
А то для его высокодонжуанства
Удар, как раз,
Не в бровь, а в глаз».

7.

Салонов лев, львов маленьких протектор,
Диктатор вечеров, концертов дирижер —
На всё наш Дон Жуан и ловок, и хитер:
Ведь экой архитектор!

8.

Постройки с танцами желая согласить,
Наш зодчий Дон Жуан весь гений свой натужил
И, нечего греха таить,
Разнообразные таланты обнаружил.
Но тут не разберет и самый Соломон —
Дурачится ли он или других дурачит:
Танцуя, cour'ы строит он,
А от построек долго скачет.

9.

Наш Дон Жуан влюбился в белый цвет.
Сто тысяч вам, узнайте лишь причину.
— «Цвет белый — цвет невинности». О, нет!

Зачем такая вещь такому господину?
— «Так, может быть, как патриот,
Он цвет снегов другим предпочитает?». —
Э, полноте, на этот счет
Душа его нисколько не страдает.
— «А, вот что: белый цвет
Цвет избранный его любимой дамы?».
Ну, подлинно, хорош ответ!
Да это на него презлая эпиграмма.
— «Так что ж такое, Боже мой!».
Помилуйте, ответ простой
Любую физику возьмите,
И белый цвет сквозь призму рассмотрите;
Тут вы увидите, каков ваш белый цвет:
Пестрей его на свете нет!
А это так идет к столичному Протею,
Что и сравнить порядком не умею.

10.

Ужасный бунт в Кипридином владеньи!
Волнуется зефирный весь народ;
Открыт огонь убийственный острот;
Булавки, шпильки, все — в движеньи.
Да отчего ж такая кутерьма?
— «Ах, Боже мой, да как же не беситься...
Да это хоть кого сведет с ума...
Ведь Дон Жуан наш думает жениться!..».
Так только-то? — не стоит хлопотать!
Сама судьба влечет его в ловушку:
Любил бобами он красавиц угощать,
Теперь и сам от них он скушает галушку.

11.

«Что нового у вас?». — Чудеснейшая весть!
Наш Дон Жуан дает концерт на скрипке.
«На скрипке? правда ли?». — Поверьте мне на честь.

«Так это верно по ошибке.
Ему бы лучше флейту взять:
Ведь надувать
Ему не привыкать».

12.

Уныние всеобщее в салонах;
Красавицы как будто не свои;
Нет блеску в их глазах! нет слова о любви!
И сам оркестр de danses звучит в минорных тонах...
Да что же, Боже мой, холера что ль опять?
— Нет хуже во сто раз: наш Дон Жуан хворает.
Подумайте, легко сказать,
С неделю уж нигде он не бывает.
И даже мсье NN всем сказывал вчерась,
Что доктора об нем уже решили... —
Но между тем, как шар молвы катили,
Наш Дон Жуан, в вольтере развалясь,
Свистит себе куплет из водевиля.
— Да что ж он выдумал? зачем вдруг скрылся он? —
На это у него есть вот какой резон:
Вскрутивши головы всем львицам по порядку,
Придумал он дней на семь лихорадку,
Чтобы немножко подождать,
А там опять
В порядке прежнем курс начать.

<1854>

М. ЗНАМЕНСКОМУ

Судьбою данный капитал
Он на копейки разменял
И сыплет их в народ горстями...
С невольной грустью я спросил:
Кого, мой друг, обогатил
Ты миллионными частями?

А. И. ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧУ

Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял...
Быть может, мы ошиблись оба?

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОРЯДКИ

При старых порядках судебное дело
Лет двадцать, не больше, в приказе сидело;
А ныне в неделю сутяга иной
Раз двадцать притащит тебя в мировой.

ПОКЛОННИКАМ ЛАТЫНИ

Гибло наше просвещенье,
Смерть была невдалеке,
Вдруг — о радость! Есть спасенье —
Во латинском языке.
Если ж нас латынь обманет,
Всё же выигрыш и тут,
Что ослов у нас не станет —
Всюду asin'ы пойдут!

ЭКСПРОМТ

«Эврика, эврика!
В латыни вся сила!» —
Vir doctus кричит.
«Не ври-ка, не ври-ка!» —
Ум русский педанту
В ответ говорит.

ПРОЕКТ НОВОГО УСТАВА

Дабы прогресс с законом согласить
И женщин приравнять к мужчине,
Мы дозволяем им отныне
Усы и бороду носить.

ПО ПРОЧТЕНИИ ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ

Лакеи вообще народ не достохвальный,
Но гаже всех из них лакей официальный.

КУПЦУ ПЛЕХАНОВУ

Сибирский наш Кащей
Всю жизнь обманывал людей,
И вот на старости, чтоб совесть успокоить,
Давай молебны петь и богадельни строить.

К ОДНОЙ ФИЛАНТРОПКЕ

В филантропическом припадке
Она дрожит, как в лихорадке,
Готова свет весь обобрать
И бедным братьям всё отдать.
Но чуть какой бедняк неловкой,
Знакомый мало со сноровкой,
Пред ней обмолвится... Как раз
Его в полицию тотчас!

* *
*

Превосходительство и превосходство —
Два сына матери одной,
Но между ними то же сходство,
Что между солнцем и луной!

* *
*

Чему завидовать, что некий господин
В превосходительный пожалован был чин, —
Когда бы ум его на миг хоть прояснился,
То сам бы своего он чина постыдился!

НИГИЛИСТУ-ЕСТЕСТВЕННИКУ

Ты говоришь, что без изъятья
Мы все родня, что все мы братья.
Ну что ж? Прекрасные слова!
Но слов одних для дела мало:
Ведь по закону естества
Необходимы для родства
Единый род, одно начало.
Но здесь-то целый океан
Положен вами в разделенье:
Ведь мы — Адама поколенье,
А вы — потомки обезьян.

* *
*

Палестину нашу
Покидает он.
Заварил в ней кашу,
Да и драла вон.
Как же у порога
Нам не затянуть:
«Скатертью дорога,
Боераком путь».

* *
*

Такой народ здесь хлебосол,
И так попить душа в нем рвется

Что приезжай хоть бы осел,
А он уж с радости напьется.

* *
*

Его со спичами в устах
Встречали мы!
Его на трепетных руках
Качали мы!
И бочку целую в слезах
Кончали мы!

НЕКОЕМУ ПРОГРЕССИСТУ

Он ходит Байроном меж нами,
Прогрессом сыплет, как дресвой,
Он точно Байрон — вверх ногами!
Он прогрессист — вниз головой!

ПУБЛИЦИСТУ-ПЕДАГОГУ

Как публицист — Россия им гордится,
Как педагог — ни к черту не годится!

* *
*

Двум тощим выходцам наш город-худотел
Права почетного гражданства предоставил.
И сам от этого не больно потолстел,
И новым гражданам он жиру не прибавил.

* *
*

Мои приятели Федулы
Куда как щедры на посулы.

Послушать их — так, право, благодать:
Готовы за тебя чертям себя продать.
А только попроси презренного металла,
Ценой хоть в два четвертака,
Такого от тебя дадут они скачка,
Какого публика и в цирке не видала.

* *
*

До сих бы пор я отвергал
Ученье новое Дарвина,
Когда б тебя не увидал,
Перерожденная скотина.

* *
*

Осел останется ослом,
Хоть дай ему магистерский диплом.

* *
*

Не забыта мать Россия
У Небесного Царя.
Всюду реки медовые
И молочные моря.
И богатым, и убогим
Пир готов на каждый день.
Дело только за немногим:
Ложку в руки взять нам лень.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦАМ ВОЕННЫХ

Мне странно слышать, откровенно
Пред вами в этом сознаюсь,

Что тот умен лишь, кто военный,
Что тот красив, кто фабрит ус.
Ужель достоинства примета
В одной блестящей мишуре,
А благородство — в эполетах,
А ум возвышенный — в пере?
Пускай наряд наш и убогий,
Но если глубже заглянуть —
Как часто под смиренной тогой
Кипит возвышенная грудь!
Как часто шляпою простою
Покрыто мудрое чело;
А под красивой мишурою
Одно ничтожество легло.
Я не люблю давать советы,
И только вскользь замечу тут,
Что золотые эполеты
Ума глупцу не придадут,
Что (молвлю тут же мимоходом,
По русской правде, без затей)
Урод останется уродом,
Хоть пять усов ему пришей.
А если разобрать построже,
Так выйдет чисто — что в руках
Одно перо порой дороже
Всех петухов на головах.

1850-е годы

НОС

Лиро-эпическое произведение,
исполненное поэзии и философии

Поэты! Род высокомерный!
Певцы обманчивых красот!
Доколе дичью разномерной
Слепить вы будете народ?

Когда проникнет в вас сознанье,
Что ваших лживых струн бряцанье —
Потеха детская? что вы,
Оставив путь прямой дороги,
Идете, положась на ноги,
Без руководства головы?

О, где, какие взять мне струны,
Какою силой натянуть,
Чтоб бросить мщения перуны
В их святотатственную грудь!
Каким молниеносным взором
Вонзиться в душу их укором,
Заставить их вострепетать!
Изречь весь стыд их вероломства
И на правдивый суд потомства
Под бич насмешек их отдать!

В неизъяснимом ослепленье
Ума и сердца, искони
Священный ладан песнопенья
Курили призракам они.
Мечту (о жалкие невежды!)
Рядили в пышные одежды;
А истый образ красоты,
Вполне достойный хвал всемирных,
Не отзывался в звуках лирных
Певцов заблудших суеты!

Всё, всё — и перси наливные,
Ресницы, брови, волоса,
Уста, ланиты, стопы, выи,
Десницы, шуйцы, очеса,
Весь прозаический остаток —
Короче, с головы до пяток,
Всё, всё воспел поэтов клир;
Всему принес он звуков дани,
Облек во блеск очарований
И миру выставил на пир.

А нос — великий член творенья,
А нос — краса лица всего,
Оставлен ими в тме забвенья,
Как будто б не было его.
В причины ум свой углубляю,
Смотрю, ищу — не обретаю;
Но как новейший философ,
Решу оружием догадки:
«Или носы их были гадки,
Иль вовсе не было носов».

О нос! О член высокородный!
Лица почетный гражданин!
Физиономии народной
Трибун, глашатай, верный сын!
По непонятной воле рока
Ты долго, долго и глубоко
Дремал в пыли, забвен и сир;
Но днесь судьбой того ж устава
Ты должен пыль счихнуть со славой
И удивить величьем мир.

Нет! нет! Не знал тот вдохновенья,
Кто взялся б словом изъяснить
Весь пыл, всю бурю восхищенья
При мысли — новый мир открыть.
Воспеть не то, что было пето;
Предмет неведомый для света
Во всем сиянье показать;
Раскрыть огромный мир богатства
И в сонм рифмованного братства
Коломбом новым гордо стать.

Теперь я созерцаю ясно —
Зачем мне жизнь судьба дала,
Зачем гармонии прекрасной
В груди мне струны напрягла;
Зачем природы мудрой сила
Такой мне нос соорудила

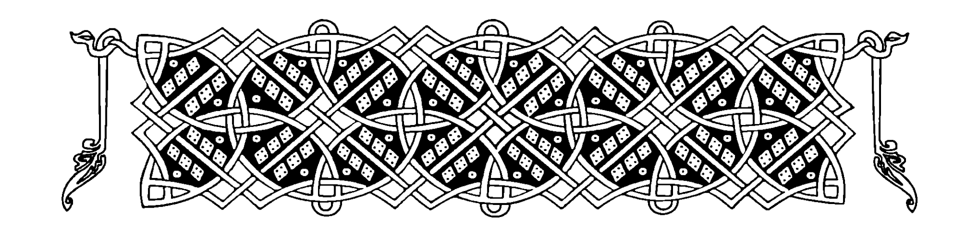
И невидимая рука
В часы приятного мечтанья
Производила щекотанье
В носу то крепко, то слегка.

Итак, вперед! На честь! На лавры!
Пускай могучий, звонкий стих
Отгрянет вдруг, как дробь в литавры,
Во слух читателей моих!
Пусть ливнем льется вдохновенье
Во славу нового творенья,
На удивление племен!
Да пронесется туча звуков
Над головами внуков внуков,
Чрез бесконечный ряд времен!

1850-е годы


ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА





ВЕЧЕР I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

— Эй, кто там?

Дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась фигура старого казака, в молчаливом ожидании приказа.

Между тем отставной полковник пробежал записку, бывшую у него в руках. Сколько можно было при беглом взгляде рассмотреть размашистые строки записки, дело шло о приглашении на вечер человек четырех приятелей полковника.

— Возьми эту записку и ступай к Николаю Алексеевичу. Он уж знает, что ему делать с нею.

— Слушаю, — был ответ казака, и дверь затворилась снова.

Полковник зажег сигару и стал ходить взад и вперед по комнате.

Воспользуемся несколькими минутами молчания, чтобы познакомиться с хозяином. Ему было лет под 50; седина прокрадывалась уже на подстриженной под гребенку голове и на густых усах. Но полное румяное лицо, бодрая осанка и пламенные глаза, нередко бросавшие искры одушевления, — все это придавало ему такую свежесть, которой позавидовал бы не один юноша нашего бледного века. Отслужив 30 лет царю и отечеству, ветеран взял отставку, не столько по утомлению от службы, сколько по желанию молодой прекрасной своей жены. Порядочный капитал, принесенный ею в вено полковнику, дал ему

средства жить если не роскошно, по крайней мере спокойно и независимо. Счастливый женой, любимый приятелями, уважаемый в обществе, Безруковский (фамилия полковника) смотрел на осень дней своих глазами мира и довольства. Если прибавим к тому, что он был не чужд современной образованности, христианин делом и мыслью, философ в жизни и поэт в мечтах, еще не покинувших седеющую его голову, то обрись портрета его будет кончена.

Нерез четверть часа казак воротился.

— Ну, что?

— Сказали: будет исполнено.

— Хорошо. Зажги свечи в зале и готовь чай.

— Слушаю.

Через несколько времени четверо приятелей Безруковского один за другим вошли в залу.

— Тысячу спасибо, миллион спасибо, господа, — сказал Безруковский, искренно пожимая им руки. — Милости просим сюда, к чайному столу. За отсутствием жены, мне поручено исправлять должность хозяйки. И надеюсь так хорошо исполнить свою обязанность, что верно получу от нее благодарность. Вот сигары, вот трубки! Прошу покорно!

Пока гости садятся к столу, размениваясь общими фразами ежедневного разговора, столь естественного между приятелями, не лишнее познакомиться с каждым из них, хотя в самом легком очерке.

Первый из них, тот, к кому адресована была записка с просьбою пригласить остальных, был мужчина лет 35. Усы и военный покрой его сюртука намекали, что он был тоже питомец Марса, хотя уже оставивший знамена своего предводителя. Спокойный и какой-то рассудительный взгляд голубых его глаз и несколько флегматические движения давали ему вид солидности, а приветливая улыбка, почти не сходившая с его губ, говорила ясно, что он находится в мире с собой и с ближними. Друзья прозвали его Академиком, сколько вследствие классической его наружности, столько же и за положительность его суждений, иногда отмеченных легкою иронией.

Другой гость был Таз-баши, питомец Руси и Татарии, с приметно угловатыми чертами лица, с узкими глазами, полными веселости и лукавства. Резкая интонация голоса и неудержимая

живость движений, при небольшом росте, давали ему характер резвого мальчика-шалуна, несмотря на 30 годов и эполеты без звездочек.

В наружности третьего гостя особенно кидался в глаза прекрасный очерк лица умного и мечтательного. Легкая смугловатость загара сказывала, что он наблюдал природу не из окон своего кабинета, а особенность его манер, не лишенных грации, говорила, что он хотя и не чужд принятой светскости, но и не раб ее. Друзья звали его Лесняком, намекая на страсть его – жить вдали от города, на лоне природы. Богатые сведения его в естественных науках нисколько не имели педантической учености: напротив, он разцвечал их всем блеском поэтического колорита, потому что природа была для него не столько книгою житейской мудрости, сколько откровением тайн создания, отголоском собственных его дум и мечтаний.

Наконец, последний гость поражал в своей особе странным сближением приятного, почти женского лица с едкою насмешкою на губах. Способность его – подмечать слабую сторону жизни, доходила до того, что в самых очевидных проявлениях красоты – в жизни и искусствах – он прежде всего схватывал эти небольшие пятна, которых не чуждо ни одно творение рук человеческих. Но кто ближе узнавал его благородную душу, его строгость, однажды навсегда принятых правил, тот переставал его бояться и в искрах насмешки открывал пламень добра и сочувствия. Немец по предкам, но русский по вере и воспитанию, он носил в себе более элементов последней нации, хотя друзья не иначе называли его как *фон* и *Немец*.

Между тем гости заняли места вокруг стола, на котором самовар пел уже свою вечную песню и стаканы дымились ароматным чаем.

– Вот в чем дело, господа, – начал Безруковский, откинувшись на спинку дивана. – Прошу выслушать меня внимательно и потом, по соображению вашему, дать ответ. Самое главное или, лучше, первое в моей речи то, что теперь у нас осень, с своими длинными вечерами, с грязью во дворе и на улице и с убийственною скукою в душе.

– Да. Полковник недаром провел два дня своего затворничества. Начерченная им картина осени делает честь его наблюдательности, – сказал Таз-баши как будто про себя, прихлебывая чай из стакана.

— Не знаю, — продолжал Безруковский, показывая вид, что он не слыхал насмешливого замечания Таз-баши, — не знаю — разделяете ли вы в одинакой степени со мною это последнее обстоятельство, т. е. скуку. Может быть, в отношении ко мне тут участвует разлука с женой; но во всяком случае я уверен, что никто из нас в настоящее время не может похвалиться большим весельем. Не правда ли, господа?

— Далее, — сказал Академик, внимательнее всех слушавший хозяина.

— Далее возникает второй пункт моей речи, т. е., коли скучно, так надобно искать средств убить эту скуку.

— Всемирная истина! — протянул Таз-баши своим резким голосом.

— Поэтому, господа, не угодно ли вам будет поголосно сказать ваше мнение о таком важном предмете. Начнем с младшего, и пусть г. Татарин первый скажет нам — какую мысль внушает ему закон предопределения.

— Гм, — начал Таз-баши. — Подать совет можно скоро, а дать ему толк — дело не минутное, говаривал покойной памяти дедушка мой, бывший, как вам известно по истории, первым министром при царе Кучуме. Но хотя нить моего разума и коротка для длины подобного вопроса, однако ж, оставляя рассудительную медленность моего дела, я, по русскому обычаю, скажу не думая, т. е. не то чтобы не думая, а отложив подумать после, когда уже будет сказано. Итак, вот вам мой ответ. От скуки, которою страдает почтеннейший наш хозяин, выпишем поскорее его благоверную; а от нашей скуки — станем чаще собираться у него попить хоть чай, если не дадут чего другого лучшего, и разбирать разные планы и предположения, какие только придут в высокоблагородную голову. Первое — экономно, а второе, по крайней мере, очень весело.

— Друг Таз-баши, — сказал, улыбнувшись, Безруковский, — пословица русская говорит: делу время и веселью час. Спрячь пока свою шутку в запазуху, чтобы при случае снова блеснуть умом-разумом, а теперь, когда речь идет о деле, попробуй-ка, как ни тяжело тебе это, сказать что-нибудь дельное.

— Но уж я в этом нисколько не виноват, если вашему высокоблагородию все речи мои кажутся бесконечною и, пожалуй, бестолковою шуткою. Моя уж участь такова, что в самых

премудрых словах моих видят одну бессмыслицу. Если же ты хочешь мнения, высказанного в рамках системы, с приличными знаками препинания и придыхания, спроси Академика. А я остаюсь при моем мнении, каково бы оно ни было.

— Итак, г. Академик, хоть и не в очередь, а потрудитесь отвечать на придирку этой задорной татарской особы.

— С большим удовольствием, — отвечал Академик, поглаживая усы свои левою рукою. — По моему мнению, в видимой бессмыслице Татарина есть капля и русского смысла. Берусь на этот раз быть толмачом его кучумской мрачности.

— Завидная должность! — вскричал весело Безруковский.

— Но и не так-то легкая, — процедил сквозь зубы Немец, подняв глаза к потолку.

— Изволите видеть, — продолжал Академик. — Свидание наше у кого бы то ни было из нас, все-таки первое условие — провести приятно вечер: но здесь и запятая.

— Я угадал, что не обойдется без знаков препинания, — шепнул Таз-баши Безруковскому.

— Обыкновенный приятельский разговор, — продолжал Академик, — из общих мест и будничных мыслей удовлетворяет только при редком свидании. А частые встречи требуют беседы, которая имела бы цель более интересную, чем простой разговор о том, о сем и о другом подобном. Следовательно...

— Еще академическое словечко, — снова шепнул Таз-баши.

— Следовательно, чтоб придать большую ценность нашей беседе, — продолжал Академик, не обращая внимания на выходки Татарина, — надобно предположить какую-нибудь известную цель и, судя по ней, определить план беседы.

— Но уж в таком случае моя милость будет на последнем плане, — примолвил Таз-баши, не могший удержаться, чтобы опять не вклеить своего словечка,

— Разумеется, — сказал Безруковский. — Это и мое мнение. Говорить красно могут и татары, а русский толк требует разумного разговора.

Таз-баши посмотрел по сторонам и, по-видимому, сбирался что-то сказать, но Немец шепнул ему в это время на ухо: молчи, иначе дашь повод к торжеству хозяина, подтвердив истину его замечания.

— Что касается до цели, — снова начал Безруковский, — то за ней ходить далеко нечего. Свободная мена мыслей и чувств, частные взгляды на жизнь в различных ее проявлениях, суд настоящего, мечты о будущем — это, кажется, не скудный источник для приятной беседы. Только во всяком случае, допустив цель, не будем связываться предметом. А то г. Таз-баши разом пожалует нас всех в академики.

Татарин не пропустил случая толкнуть локтем соседа своего — Академика.

— Без сомнения, — сказал Таз-баши. — Общество друзей — не ученое общество, и приятельский разговор — не академический диспут. Но позвольте спросить, г. Президент (я заранее даю вам этот титул с должным почтением), кто же из нас должен назначить тему для нашей беседы? И притом, согласна ли будет данная тема расположению прочих собеседников? А то, пожалуй, вы вздумаете говорить о дядюшке, когда мне хотелось бы помянуть тетушку.

— Кто даст тему? — сказал Безруковский. — Обстоятельство, случай, пожалуй, одушевление! Не смейся, Таз-баши. Я вижу по лукавым глазам твоим, что ты хочешь сказать: целиком из риторики. Я не спорщик на слова. По мне всякое правило, хотя бы взятое из детской прописи, имеет цену и значение, коль скоро оно основано на разуме. Я сказал: случай, обстоятельство — и остаюсь при сказанном. Вот, например, теперь, что мешает нам начать беседу об этом предмете и развить мысль не по правилам рассуждения, а в живой, одушевленной беседе.

— Сохрани нас Аллах, — вскричал Таз-баши, взмахнув руками. — Внутренность моя содрогается при одной мысли о подобном препровождении времени. И скажите, что мне, — неучу между учеными, татарину между русскими, — что мне делать при этих беседах? А сплю я и так, благодаря Бога, очень спокойно.

— Значит, ученость в сторону. Быть так! Но все-таки, если нить разговора коснется подобных вещей...

— Так сказать: аминь, и только! — прервал Таз-баши, приплюснув об стол свою сигару.

Собеседники рассмеялись.

— Я думаю, — начал Лесняк, до тех пор хранивший молчание, — всего лучше призвать на помощь воспоминание прошло-

го. С каждым из нас жизнь разыгрывала более или менее занимательную драму, каждый смотрит на мир и людей с особенной точки зрения. Поэтому рассказы о своем житье-бытье не будут лишены занимательности.

— Дай себя расцеловать, мой добрый леший, — вскричал Таз-баши, сделав жест объятия. — Ты хоть смотришь исподлобья, но видишь лучше, чем эти дальнозоркие господа своими открытыми глазами. По крайней мере, ты прочел в душе моей, как в книге. — А уж потешил же бы я вас моими рассказами — не о себе... что жизнь моя в этом омуте русской жизни!.. а о моем покойном дедушке, бывшем у царя Кучума первым министром. То-то был хан — сливки ханов! за то и ум министра его — море безбрежное.

— Ну, а вы, господа, как? — спросил Безруковский, обращаясь к Немцу и Академику.

— Я согласен, — был ответ Академика.

— Пожалуй, — сказал Немец. — Только вы знаете, что я не любитель нежностей.

— Так что же, — отвечал Академик. — Твои рассказы будут солью нашей беседы.

— А мои так патокой, право, патокой, — подхватил Таз-баши, припрыгнув на стуле.

— Итак, дело почти слажено, — сказал Безруковский, — остается приступить к исполнению.

— Впрочем, господа, — начал Академик, — рассказы о себе не мешают рассказам и о других, по примеру дорогого нашего Таз-баши, который уж наперед тает при воспоминании о своем пресловутом дедушке.

Таз-баши низко поклонился.

— Но еще слово. Если сюжет приведет нас к какому-нибудь важному спорному пункту, то, я думаю, не мешает приостановить нить рассказа и перебросить слова два-три для объяснения.

— Виллах-биллях! Это что за речи? — вскричал Таз-баши, открыв свои узкие глаза до возможной степени. — А знаешь ли, что говорит ваша же пословица: бочка меду да ложка дегтю. Во всяком случае, я заранее протестую против всякого насильственного вторжения в область моего рассказа.

— Ну, твой рассказ будет иметь особую привилегию, на которую я первый согласен, — сказал Безруковский, улыбаясь.

— Да притом к словам Таз-баши трудно будет привить какую-нибудь мысль, — прибавил Немец.

— Даже не позволю привить и бессмыслицы, — возразил Таз-баши, — сколько бы твоя немецкая голова не была способна на этакие вещи.

— Значит, дело окончательно решено и подписано, — сказал весело Безруковский. — Итак, господа, к ружью! Жизнь, мечта, любовь, радость, печаль, все двигатели этого груза, который мы тащим на себе от колыбели до гроба и который зовем жизнию, — все в дело, и да благословит небо наше решение!

— Аминь, — отвечал Академик торжественно. — Да будет сегодняшний вечер зерном приятного будущего! Но...

— Он когда-нибудь подавится своими *но*, — вскричал Таз-баши, живо повернувшись.

— Мы определили цель и предмет наших бесед, а забыли об условиях исполнения.

— То есть говорили об изобретении и расположении, да опустили изложение. Кажется, так говорит ваша риторика, г. Академик?

— Правда, Таз-баши. Ты иногда не лишен догадливости. По моему мнению, единственное условие изложения, как угодно было выразиться г. Таз-баши, есть и должно быть — отсутствие всякой изысканности. Пусть каждый из нас говорит без претензий, как знает, как думает...

— Золотое правило, — вскричал Таз-баши. — Я хотя по службе стянут казачьим мундиром, но татарская душа любит простор, говаривал мой дедушка...

— Бывший при царе Горохе шутом, — прервал Безруковский. — Эй, Иван! бокалы и игристого! Напеним до краев и выпьем за веселое будущее.

— Вот что значит уметь сберечь интерес к окончанию, — вскричал Таз-баши, вспрыгнув со стула и весело потирая руки.

Явились бокалы; пробка хлопнула, и кипучая струя Шампани заиграла в гранях хрусталя.

— За здравие и долгоденствие нашей приязни.

— За здравие будущих наших рассказов.

— За здоровье хозяина.

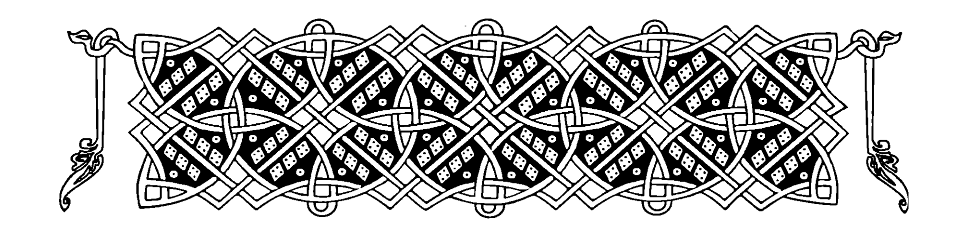
— За здоровье любезных гостей!

— И да здравствуют осенние вечера!

Все эти тосты слились в дружное «ура», и полные бокалы, чокнутые друзьями, выпиты разом.

— Итак, господа, к делу. .Чтоб исполнить главное условие наших рассказов — без претензий, я по долгу хозяина первый открою наши осенние вечера эпизодом из моей жизни.

Собеседники — с трубками и сигарами в руках — сели вокруг стола, и Безруковский начал:



СТРАШНЫЙ ЛЕС

Это было в 18.. году. Семейные дела моего брата требовали непременного присутствия моего в Т. Я подал в отпуск. И хотя наш атаман был очень скуп на подобные вещи, однако ж, убежденный важностью представленных мною причин, он немедленно подписал мой отпуск. Одно было дурно, что срок мне назначен был в обрез, так что я должен был скакать день и ночь, завтракая на облучке и обедая у телеги, чтобы успеть устроить дела брата и вернуться назад к сроку. Сборы военного известны. Через два часа, считая тут же и прощанье с сослуживцами, я летел уже по большой московской дороге. Но как ни гнали ямщики, побуждаемые то кошельком, то нагайкою, я все-таки не один раз жалел — зачем нет у нас железных дорог или зачем, по крайней мере, порода иппогрифов не разведена на станциях. Нечего и говорить, что мне совсем было не до наблюдений. Весь дневник мой составляли ямщики, кони и станции, станции, кони и ямщики. Единственное развлечение мое в этом пути было — то видеть полет вздремнувшего казака при каком-нибудь непредвиденном толчке, то самому растянуться вместе с телегой при крутом повороте. Но тем и ограничивалось все удовольствие моей поездки.

Наконец, на пятый день моего путешествия, перед самым закатом, я въехал в одно небольшое помещичье селение. На беду мою, экстра-почта и курьеры захватывали всех лошадей, и мне волею и неволею пришлось ждать целые два часа в доме

ямского старосты. Сколько я ни кричал, сколько ни делал обещаний, – упрямый староста заладил одно: «Почтовых нет, а вольных и за сто рублев не сыщешь». В этой крайности казак мой – это одна и та же особа с моим Иваном – придумал меня утешить. Может быть, эту мысль подсказал ему собственный его голодный желудок, только Иван воспользовался двухчасовой остановкой и состряпал чай и завтрак. Ругнувши его порядком за эту новую остановку, я все-таки нашел, что стакан чая и добрая порция бифштекса – дело очень недурное, особенно когда нет лучшего занятия. В этом заключении, отправив предварительно ямщиков к черту, а старосту по лошадей, я принялся за свой завтрак, с переменою бифштекса на чай и чаю на бифштекс. Но вот уж чай кончен; от бифштекса остались одни полоски подлива, проведенные хлебом по блюду во всевозможных направлениях, а проклятый староста все – нет лошадей, да и только! К большей моей досаде, он тоже, вероятно, по примеру моего Ивана, пустился в утешения, но только не физические, а чисто моральные, вроде следующих: «что хоть ждать и скучно, зато лошади будут чудо; что не все же ехать, надо знать и отдых», и тому подобные глупости.

– Да к тому же, барин, – продолжал старик, – коли рубль-другой на водку, так мы вас провезем и прямиком, пожалуй. Десяток верст вон из счета.

– Да уж разумеется, прямиком, – вскричал я с досадой. – Я терпеть не могу околесных.

– Оно так, да извольте видеть, по этой дороге-то, о которой я говорю вам, и днем перекрестившись, а уж в ночную пору и подавно.

– Да черт, что ли, там с причтом засел на дорогу?

– Черт не черт, а все полчерта с хвостиком. Лес, сударь, что твоя трущоба. Дорожка вьется, как сатана перед светлым праздником. Здесь косогор, а там овраг, а тут такой поворот по окраине, что и едучи днем повернуть подумаешь. Да это все бы ничего. Две версты протрястись – не Бог знает что. Кони же у нас привычные: провезут и по жердочке. Да вот только чтоб в потемках-то не попасть на поганую тропу. А это не больно ладно.

– Что ж тут важного?..

— Важного-то ничего, только придется ехать мимо одного жилья... ну, то есть не жилья — кто из крещеных пойдет жить в такой пропасти? — а захолустья, где иной порой деются такие страсти, что и помянуть — дрожь берет!

— Разбойничий притон, что ли? — спросил я, усмехнувшись.

— Хуже, батюшка барин, хуже. На ворах все-таки крест есть. А то тут, правда не всегда, а один месяц в году об эту пору, живет какой-то, говорят, тоже вашей милости барин, роет могилы да варит кости умерших.

— Дурак! а что же делает ваша земская полиция?

— Оно то есть и нам тоже приходило в голову, да видно, исправникам не на все власть дана али рублевики слишком дешевы у этого окаянного. Только до сих пор на всякий донос их милости слышишь один ответ: молчите, дурачье, не ваше дело. Оно, конечно, не наше дело: пакостей от него не видать, людей не обиждает. Да все-таки не стать ему жить не по-православному.

— А давно этот колдун живет у вас?

— Да лет десяток будет. Проживет себе месяц или около, да и уедет опять, а куда — Бог весть, словно в камской мох провалится.

В другое время я не стал бы поддерживать подобного разговора; но скука ожидания ухватилась и за этот вздор, как за единственное возможное развлечение. Я снова спросил старосту:

— И никто не знает — кто он такой?

— Да разные слухи ходят об этом. Одни говорят, что он помешанный, другие — что кровавый грех лежит на душе его. А мне сдается, что он просто-напросто колдует, а может, и над кладом работает. Ведь известно вашей милости, что клад просто не дается; а коли еще срочный, так не диво, что барин тот приезжает и уезжает всегда в одну пору.

— Ну, а в отсутствие его неужели не нашлось ни одного смельчака, который бы решился заглянуть в самое жилье?

— Как, батюшка, не быть; были такие сорви-головы, да что взяли? Видели только голые стены да угли в печи, вот и все тут!

Бог знает, скука ли долгого ожидания помутила мой рассудок или казацкая удаль подстрекнула — проехать ночью там, где и днем едут перекрестившись, как говорил староста, — только мне припала смертная охота — пуститься прямиком. К тому же

учет десяти верст казался мне таким выигрышем, что для него можно было рискнуть и не на такие страхи. Тут невольная мысль пришла мне в голову.

— Но послушай, старик, — сказал я, — если все так боятся этого лесу, как же ты говоришь, что можно им проехать?

— Оно, то есть изволите видеть, почему ж не проехать. Ведь вас будет трое, кони знатные, жилье же стоит несколько в сторону. А может быть, что оно теперь уж и опустело.

— Итак, любезный, найди мне ямщика, этакого, знаешь, посмелее. От черта у нас крест есть, а не с чертом и сами справимся.

В это время раздались утешительные слова: «Кони пришли, запрягать, что ли?». Благовестником был детина лет 22-х со смышленым лицом и с размашистою поступью.

— Поскорее, братец, поскорее. Да не ты ли повезешь меня?

— Коли в угоду вашей милости, так почему ж не прокатить доброго барина.

— Но ведь вот в чем дело, любезный. Я хочу вознаградить мою остановку и ехать не столбовой дорогой, а прямиком.

— Оно, то есть через страшный лес? Понимаю. Да ведь знаешь, батюшка барин, дорога-то больно невидная, — сказал детина, почесывая затылок.

— Знаю, братец, все знаю и даю целковик на водку, лишь бы только ехать по этой дороге.

Мой детина замялся.

— Ну, что ж ты, Сидор, али трусу празднуешь? — спросил его староста.

— Трусу не трусу, а все как подумаешь, что одна душа в теле, так неволей раздумье возьмет.

— Так ты отказываешься? — спросил я Сидора.

— Оно не то, что отказ, да ведь кабы Бог помог миновать поганое место, так бы ништо себе, а то, сам знаешь, на базаре другой головы не купишь.

— Ну, так пошел позови другого, не такого трусишку, как ты. Этот целковый — награда молодцу.

Сказав это, я вынул рублевик и бросил его на стол.

Глаза у малого прояснели.

— А что, дядя Сергей, не попытать ли удачи? — спросил он, обращаясь к старосте.

— Вольному воля, брат Сидор. А ведь целковые не растут под каждой березой. Говори же скорее, вишь, барин торопится. А не то я пойду кликну Васютку Скосыря.

— Ну, уж так и быть. Только чур, барин, не выдавать, какова ни миня.

— В этом будь спокоен. Да у меня уж есть заговор от всякого страху, — прибавил я для того, чтоб скорее решить его.

— Неужто? Так давно бы и сказал так. Кони разом будут готовы.

— Ступай же, ступай скорее.

— Сей-час... а целковичек-то можно взять по дороге?

— Возьми, возьми, да торопись только.

— Мигом слажу. Э! Уж была не была! Пропадать, так не даром! — были последние слова Сидора при выходе его из избы.

Вскоре кони были готовы, багаж уложен. Осталось сесть и ехать.

— Ну-ка, благослови Господи! — говорил мой возница, садясь на козлы и подбирая вожжи. — Дядя Сергей, перекрести на дорогу.

— Со Христом, Сидорушка, со Христом! Да какова ни миня, не забудь только указать: буди надо мною Божия милость, отцово благословение и материна молитва.

— Ладно, дядя Сергей, ладно, не *забуду.*

Тут он приосанился, сдвинул набекрень свою поярковую шляпу и крикнул молодецким голосом: «Эй вы, залетные! Ударю!».

Кони рванулись грудью и понесли, как скорлупу, легкую тележку.

Меня утешала мысль, что страх опасного места заставит ямщика гнать без отдыха, и я крепко надеялся скорой ездой вознаградить скучную остановку. И точно: кони были чудесные, ямщик лихой. Обстановка вечера способна была рассеять хоть какое горе. Теплый воздух разносил душистые испарения цветов; голубое небо разливалось тихим, отрадным светом. Все настроивало душу на лад поэзии, вызывало мечты, нежило сердце. Прижавшись к подушкам, я принял положение с таким комфортом, какой только позволял незатейливый мой экипаж. Давно забыты были и досадная остановка, и вздорный рассказ старосты. Одно чувство самодовольствия наполняло мою душу, Я потонул в мечты, или, лучше, дремал с открытыми глазами.

Не знаю, долго ли продолжалось это блаженное успокоение, как вдруг неожиданный толчок мгновенно расстроил весь мой комфорт и заставил обратиться к внешнему миру. Было уже довольно темно, так что глаз с трудом мог различить дорогу, или, скорее, колею, по которой катилось колесо телеги. Свежий ветер разбудил спавший лес, и гряда туч успела уже застлать две трети неба.

— Что, далеко еще до станции? — был мой вопрос ямщику.

— А кто его знает? Вишь, здесь верст нет. А кажись, за половину перевалили.

— Но хорошо ли ты знаешь дорогу?

— Как не знать. Не раз случалось езжать здесь порожняком.

— Так что ж ты не стегнешь лошадей! Они идут у тебя почти шагом.

— Стегнуть-то не мудрено, да вишь, барин, какая темень. Того и гляди, в овраг сядешь. Вот, даст Бог, проедем поганую тропу, так дорога опять пойдет гладкая.

Делать было нечего. Оставалось уважить такие резоны и плестись несколько времени шагом.

Между тем частые толчки телеги очень чувствительно докладывали мне, что мы еще не миновали поганой тропы. Вот бы хорошо-то было, подумал я, если б судьбе захотелось прокатить меня по этой тропинке!.. Не успела эта мысль проскользнуть в голове, как вдруг — кряк! — и я уже кончил мысль свою в нескольких шагах от телеги. Признаюсь, никогда действие не следовало так быстро за мыслию. Верно, злодейка судьба подслушала мою тайную думу и, как услужливая особа, постаралась угодить мне самым быстрым исполнением. Спасибо хоть за то, что падение было счастливо. В минуту я был на ногах и подбежал к телеге, под которой копошился мой Иван, бранясь по русскому обычаю. Ямщик успел уже подняться, отделавшись легким ушибом, и искал свою шляпу. Умные лошади верно догадались, что с седоками случилось что-то особенное, и стояли как вкопанные.

— Ну, брат Сидор, — сказал я полушутя, полудосадуя. — Я нанял тебя везти, а не бросать с телеги.

— Да что ж, барин, делать, коли случилась такая притча. Кажись, в прежнее время овражек этот был дальше; верно, лешего угораздило передвинуть его на самую дорогу.

— Это, братец, очень глупая шутка с его стороны. Но уж дело сделано. Бока мы потерли, надо теперь приняться за телегу.

— Надо-то надо, да уж вы извольте сами придумать — как чему быть тут, а я от дела не прочь.

Высказав такую премудрую истину, Сидор заложил обе руки за опояску и ждал моего приказа.

Признаюсь, знание мое в этом случае сделало преглупую физиономию; к счастью, в это время Иван, принявший уже вертикальное положение, обратился к ямщику с вопросом: топор, что ли, али веревку надобно?

— Оно бы и топор, и веревку не мешало, да лих беда, где взять их?

— Поищем, так найдем, — сказал Иван таким уверенным тоном, который ясно говорил, что у него обе эти вещи в запасе.

Не зная толку в подобных делах, я предоставил им все планы и соображения о починке телеги, а сам отошел в сторону и сел на свалившееся дерево. Можете угадать — о чем я думал. С одной стороны, досада на прихоть — ехать проселками, когда была столбовая дорога, с другой, опасение — просидеть целую ночь, как рак на мели, в созерцании подвигов Ивана с Сидором около тележного колеса — все это очень неприятно шевелило мою душу и лишало ее обычной веселости. Тут же таинственный житель страшного леса пришел мне на память; воображение работало, как добрый поденщик, и столько нарисовало мне мрачных картин — с могилами и черепами, что я невольно проклял окаянного старосту, которому пришла блажь — наговорить мне на ночь всякого вздору.

Но такие приятные мечты не мешали мне, однако ж, время от времени справляться об успехе работы. Ответы были очень успокоительны. Мой Иван оказался таким мастером тектонского дела, что я готов был дать ему докторский диплом во всем, что только относится до топора и веревки.

Между тем темнота увеличивалась; светлая полоса неба обозначалась на отдаленном горизонте едва приметною нитью. Ветер крепчал и порой выводил такие рулады, что озадаченный слух никак не мог решить — какую гамму выбрал г. Стрибог для настоящего концерта. Но все это была только прелюдия той шутки, которую судьба намерена была разыграть со мною в

эту ночь. Едва только я услышал радостный отзыв Ивана: «Готово, ваше благородие, садитесь», — вдруг небо открылось и целый поток дождя упал на наши головы. Ямщик признал за лучшее передать вожжи Ивану, а самому вести коренную под уздцы. Но то ли дорога шла беспрестанными поворотами, то ли ямщик искал более надежной тропы для телеги, только мы беспрестанно виляли вправо и влево. Один раз даже показалось мне, что ямщик повернул лошадей почти кругом. Спрашивать его было мало толку, а указывать — и того меньше. Призвав на помощь терпение, я завернулся в шинель и предал себя на волю судьбы.

И точно, глазам было делать нечего: непроницаемая мгла застилала даже самые близкие предметы. Зато слух был потрясен до последней нервы. Признаюсь, и было чего послушать! Ветер шумел как бешеный. Все дикие голоса, все резкие звуки, какие только можно придумать для адской музыки — вой, свист, треск, стон, — все это сливалось в таких раздирающих диссонансах, что слух, привыкший и к буре битв, терпел мучительную пытку. Изредка отзыв колокольчика и голос ямщика либо Ивана выдавались на этой чудовищной массе звуков непогоды, и мысль — что тут живые существа — вливала в душу каплю отрады; но тут же другая мысль — о положении этих существ — иссушала эту каплю дочиста. Я даже мысленно желал услышать перекат грома, но не для того, чтобы прибавить новый диссонанс к этому furioso бури; нет! В голосе неба я услышал бы отрадное: не бойся! А блеск молнии показался бы мне утешительным взором небес. Но небо было обложено тучами: оно не хотело принять участия в судьбе бедных путников.

Промоченный до костей, насквозь прохватываемый холодным ветром, я чувствовал, как живительная теплота оставляла мое тело, и решился идти пешком, чтобы хоть немного согреться. К тому же более великодушная мысль —вполне разделить неудобства моих спутников — заставила меня в ту же минуту исполнить мое намерение. Я выпрыгнул из телеги и, придерживаясь за облучок, по колено в воде, принялся месить грязную дорогу. В другое время положение мое вызвало бы целый ряд шуток и веселости. Ведь вы знаете причудливый мой характер, который жаждет тревоги, чтобы отдохнуть от утомительного спокойствия. Но теперь каждая минута замедления

удаляла меня от цели поездки; а могло быть, что эта самая минута нужна была семейству моего любимого брата.

— Стой, — закричал вдруг ямщик испуганным голосом. — Беда, да и только!

— Что такое? — спросил я, тоже не совсем спокойно.

Вместо ответа ямщик стал причитать: буди надо мною Божия милость, отцово благословение, материна молитва.

Сомневаться было нечего: мы попали-таки на поганую тропу.

Ну, что ж, думал я, пить, так пить до дна. Заключение спектакля должно же согласоваться с целой пьесой. Вперед!

— Слава те, Господи, — вскричал в свою очередь мой Иван. — Кажись, жилье. Вон и свет мелькает.

— Будет ужо тебе слава те, Господи, — сказал ямщик, дрожа от страха.

— Где, где, Иван? — спросил я казака, тщетно напрягая свое зрение, чтобы увидеть огонь.

— А вот здесь, направо, ваше благородие. Вон! Вон!

Взглянув в ту сторону, куда показывал Иван, я увидел огонь. Как слабая искра, он то вспыхивал, то потухал, и вместе с ним оживала и умирала моя надежда.

— Сидор! Правь лошадей на огонь!

— Сохрани меня Господи! Что ты, что ты, барин! Да разве ты не знаешь, что это за место?

— Знаю, братец, знаю. Но я так иззяб, что готов погреться хоть у жерла самого ада. Ступай.

— Что хотите, а я туда ни за што не поеду, — сказал ямщик с решимостью отчаяния.

— Ну, так мокни здесь, как бесхвостая курица. Иван, держи вправо!

Казаку не нужно было повторять приказа, тем более что он, кажется, ничего не знал об этом жилье. А то, по русскому обычаю, страх к колдовству, верно, привел бы в искушение военную дисциплину.

Телега тронулась. Ямщик против воли пошел за нами, ежеминутно крестясь и читая молитвы. Вскоре вместо одного огонька появилось несколько. Я даже подумал, что мы попали в деревню. Но подъехав ближе, увидел, что огни выходили из

окон одного здания. Через четверть часа лошади уперлись в забор.

— Ступай, Иван, ищи ворот и стучись напропалую.

И между тем, как мой казак искал ощупью ворот, я подошел к дому и взглянул в окно. Первый предмет, поразивший меня, был почти исполинского роста мужчина, в черном платье, стоявший у затопленного камина спиной к окну. Руки его были сложены на груди, голова поникла. Отблеск, падавший от огня, освещал довольно большую комнату, в которой стол, диван и несколько стульев составляли всю мебель.

В это время раздался стук в ворота. Но мужчина, погруженный в мысли, казалось, не слыхал его или не хотел обратить внимания. Однако ж при повторенных ударах он медленно приподнял голову и, обратясь к окну, стал, казалось, прислушиваться. Очерк полуобращенного лица его рисовался мрачным и суровым силуэтом, который не подавал мне большой надежды на радушный прием.

Между тем удары в ворота сыпались градом, раздаваясь даже под воем бури. Незнакомец подошел к дверям и, казалось, кого-то кликнул. Потом, отдав приказание, снова воротился в комнату.

Я подошел в это время к воротам, где Иван несколько времени уж пробовал силу казацкого кулака.

— Кто там? — раздался изнутри сильный голос с приметною досадою.

— Казачий есаул Безруковский, — отвечал мой Иван.

— Что надобно?

Я взялся отвечать.

— Прошу небольшого местечка хоть на кухне — обсохнуть и обогреться. Два часа мы под дождем и совсем потеряли дорогу.

Несколько времени ответа не было.

— Извольте подождать, — начал снова голос, несколько благосклоннее. — Я сейчас доложу барину.

Чрез несколько минут застучал засов, и человек высокого роста с угрюмой физиономией, сколько можно было рассмотреть при свете фонаря, отворил ворота.

Телега въехала во двор. Ворота затворились, и человек с фонарем, обратясь ко мне, сказал довольно почтительно:

— Пожалуйте к барину.

— Сейчас. Только, пожалуйста, братец, дай уголок моему казаку и ямщику.

— Пусть они отпрягут лошадей и вынесут ваши вещи. А там я проведу их на кухню.

Успокоенный его обещанием, я вошел в комнату. Незнакомый мужчина сидел теперь в креслах. При входе моем он немного обернулся и на мой поклон отвечал легким движением головы.

— Извините меня, милостивый государь, что я потревожил ваше уединение. Но я сбился с дороги, промок до костей; другого жилья поблизости не нашлось; поневоле должно было обратиться к вашему гостеприимству.

— Оставьте извинения, г. офицер, — сказал он довольно холодным тоном. — Нужда, говорят, иногда выше закона. Располагайтесь здесь, как бы меня не было. Я жалею только о том, что теснота моего помещения лишает меня удовольствия — не мешать вам своим присутствием.

Ну, подумал я, начало обещает немного. Впрочем, положение мое было такого рода, что самый грубый прием не мог уколоть моего самолюбия: лишь бы найти угол и согреть свои бедные члены.

В этих мыслях, не отвечая на привет хозяина, я сбросил с себя мокрое платье и отдал его Ивану, который в это время вошел с слугой в комнату.

Молчание, казалось, было девизом этого дома. Не желая его нарушить, я ходил по комнате, а хозяин мой, облокотившись на кресло и положив голову на руку, задумчиво смотрел на камин и, по-видимому, совсем забыл о моем присутствии.

Вскоре, против всякого ожидания, слуга незнакомца принес самовар, молча поставил все нужное на стол и удалился. Приличие требовало узнать — действительно ли для меня это угощение; но посмотрев на мрачного моего хозяина, я почел за лучшее молча приняться за хозяйство. Я небольшой любитель чаю; но два часа хождения под дождем, на резком ветре, в грязи по лодыжку придали ему такой вкус, что я готов был предложить его жителям Олимпа вместо амброзии. Стаканы исчезали так же быстро, как наливались. Вскоре отрадная теплота разлилась по всему телу, и я находил, что настоящее мое положение не лишено поэзии.

Напившись чаю, я набил дорожную мою трубку и от нечего делать стал производить наблюдения над моим хозяином.

Ему, по-видимому, было не более сорока лет; но болезненное выражение лица и резко выдававшиеся морщины говорили ясно, что буря жизни состарила его преждевременно. Но сам ли он был виною своих несчастий или провидение очищало его душу в огне искушений — это оставалось для меня пока тайною. Только одно казалось несомненным, что он боролся мужественно, и если изнемогал в борьбе, то для того только, чтобы встать с новою силою. Я не говорю уже, что вздор, рассказанный мне глупым старостой, рассеялся при первом взгляде на это хотя суровое, но благородное лицо, в котором сам Лафатер не нашел бы ни одной черты злобы или притворства. Он был в глазах моих жертвою ошибки или обмана, но никогда — преступления.

Наблюдения мои прерваны были приходом слуги, который тихо и почтительно подошел к своему господину и, наклонившись почти на ухо, сказал: «Скоро будет час, сударь!».

Незнакомец вздрогнул.

— Хорошо, поди спать, — сказал он, проведя рукой по лбу, как бы отгоняя какую-то беспокойную мысль.

Слуга вышел.

Незнакомец тяжело вздохнул.

— Итак, снова иду беседовать с тобой, мой ангел! Снова иду молить за тебя вечное правосудие!

Слова эти, произнесенные довольно явственно, отзывались такою грустию, что, казалось, вся душа его трепетала в этих звуках.

Обернувшись от камина, незнакомец увидел меня. Он на минуту остановился и с каким-то недоумением меня осматривал.

— Да, — прошептал он про себя, как бы припоминая что-то, — это тот... да! — и потом, помолчав немного, прибавил: — Ну, так что же? Неужели я для него должен забыть свой долг? — Тут он оборотился ко мне и сказал: — Спокойной ночи! Желал бы я очень, чтоб вы теперь спали сном мертвого.

Вы легко поверите, что последние слова отозвались не слишком весело в моем слухе.

— Извините меня, — сказал я ему. — Если присутствие мое вас беспокоит, скажите слово, и я уеду сейчас же, хотя бы пришлось провести целую ночь в каком-нибудь овраге.

Слова мои, казалось, смягчили его. Он посмотрел на меня более с грустию, чем с неудовольствием, и сказал:

— Нет, нет, оставайтесь здесь. Я не гоню вас. Мы ведь сошлись не для знакомства. Утром мы будем далеко друг от друга и вряд ли когда увидимся. Об одном прошу вас, забудьте, что вы были здесь, и пусть ни одно воспоминание об этой ночи не тревожит вашего счастия. Прощайте!

Я не мог преодолеть себя.

— Тысячу раз простите мою нескромность. Но если уж судьба, против моего и вашего ожидания, соединила нас хоть на одну минуту, почему ж в этом случае не видеть указания на лучшее? Правда, я молод; но в сердце моем всегда было участие к страданиям подобных, и язык мой, может быть, и для вас найдет слово утешения.

Незнакомец посмотрел на меня пристально.

— Утешения, говорите вы. Как легко говорят это слово! Людские утешения — хороший пластырь только для домашнего обихода. Но если в душе кипит ад, если сердце точится тысячью жал, упреков и угрызения, — что значат все слова в мире! Разве вы можете хоть один миг прожить чужою жизнию? Разве в вашей власти — испытывать на самом себе муку больного, которого вы так смело беретесь лечить?.. Утешения! Нет, молодой человек, пусть болезнь эта всем острием своего жала вопьется в собственное ваше тело, и только тогда, если еще голос участия не замолкнет под воплем боли, беритесь утешить несчастливца.

Что-то особенно поразительное было в этих звуках скорби. Напрасно я искал слов для продолжения разговора; оставалось молчать и только взором выразить мое участие.

После короткого промежутка молчания незнакомец снова начал:

— Но все-таки благодарю вас за доброе намерение. Благодарю не столько за себя — вы утешить меня не можете, — а за других, которые в свою очередь услышат от вас слово участия и, может быть, найдут в нем целительный бальзам для своего сердца. Мое же утешение — там, — сказал он, указывая на небо. — Верховный судия есть вместе и ходатай! Он знает — когда мне изречь прощение и исцелить это страждущее сердце. А до тех пор пусть кара гнева Его всею силою тяготеет над головою

убийцы!.. Вы содрогаетесь? Да, молодой человек, пред вами убийца. На этом самом месте отнял я жизнь прекрасного создания! Этой рукою брошен пагубный свинец в грудь той, которая была для меня дороже жизни и счастия! И с того дня — нет мне отрады. Я скитаюсь, как Каин между живущими. Закон людей оправдал меня; но есть другой закон — безжалостный, неумолимый — закон совести. И он-то мстит мне и при свете дня, и во мраке ночи. Теперь проклинайте меня, если можете. Я еще живу — значит, мера проклятий еще не исполнилась.

Сказав эти слова, незнакомец захватил свою голову обеими руками и быстро ушел в другую комнату.

До сих пор еще этот вопль страдальческой души обливает холодом мое сердце. Можете представить себе, каково было мое положение в настоящую минуту. С стесненным сердцем я бросился на диван, но напрасно старался успокоить свое волнение. Ужас преступления, может быть, и ненамеренного, невольное участие к душевным страданиям несчастливца, мысль о том, чтó ждет его в сокровенном будущем, — все это тяжелым гнетом давило мою грудь. Но что не могло сделать усилие рассудка, то произвело простое физическое утомление. Я стал засыпать.

Вдруг сквозь тонкий сон почуял я запах ладана; мгновенно мысль о гробе, об умерших стрельнула в голову и в сердце. Сна как будто не бывало. Я быстро присел на постели и оглядывался кругом себя, желая найти разгадку. Вскоре слух, возвративший свою деятельность, поражен был глухим протяжным чтением: голос, казалось, выходил не из груди, а из могилы. Решившись во что бы то ни стало проникнуть тайну этого полночного чтения, я воспользовался небольшою щелью в стене перегородки, отделявшей меня от таинственного чтеца, и приложил к ней зоркий глаз. Картина, представившаяся глазам моим, была поразительна. Две лампады ярко освещали иконы Спасителя и Богоматери; под ними курилась небольшая кадильница с ладаном. Посреди комнаты поставлено было что-то вроде налоя, и перед ним с зажженной свечой в руке стоял несчастный незнакомец и молился. Теперь очень явственно доходили до моего слуха печальные слова надгробного канона. Можно было думать, что в молитве о упокоении своей жертвы он надеялся найти спокойствие и для своей совести. Каждый

раз, как произносил он: *упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея*, — он обращал глаза к иконам и делал медленно и твердо крестное знамение. Но когда он дошел до места, самого трогательного в целом каноне: *со святыми упокой* — голос его задрожал; он пал на колени, едва выговаривая слова, задушаемые рыданием. Я не мог вытерпеть. Стесненное мое сердце излилось слезами. Я осторожно сошел с дивана и пал тоже на колени перед образом. Чувствовала ли страдальческая душа его в это время, что вовсе незнакомый ему человек, с которым судьба нечаянно столкнула его на одну минуту, молился за него, как за брата, как за самого себя; молился за несчастную жертву его злодейства или ослепления. Нет, тот не имеет сердца, тот христианин только по имени, кто остается равнодушным в эти торжественные минуты беседы страждущей души с Богом! И за себя ли молился он? Себе ли он просил прощения? Нет, он, казалось, безропотно предал себя гневу Божественного правосудия; молитва его за нее, может быть, им любимую и от него же погибшую жертву.

Успокоенный молитвой, я снова подошел к перегородке. Незнакомец все еще продолжал чтение канона, однако ж более спокойно, чем прежде. Я мысленно повторял с ним те слова молитвы, которые доходили до моего слуха. Наконец голос на минуту замолк; казалось, страдалец собирал все силы, чтобы произнести раздирающие слова замогильного прощания: *вечную память*! Но тут все мужество его оставило; он упал на пол и долго лежал ниц, вздрагивая по временам всем телом.

Я не мог более видеть этой сцены и отвернулся. Последовало молчание. Когда же, почти чрез полчаса, я взглянул в отверстие, страдалец уже сидел в креслах, опустив голову на руки, лежавшие на коленях.

Утомленный душой и телом, я бросился на диван и вскоре погрузился в глубокий сон.

День был уже в полном блеске, когда я проснулся. Яркое солнце сияло всею силою — светоносных лучей своих. Казалось, оно хотело вознаградить природу за вчерашнее ее страдание. На столе кипел самовар, и Иван, как он сказал мне после, не-

сколько уже раз входил в комнату, но, не имея приказания, боялся меня разбудить. Узнав, что хозяин еще не выходил, я старался всеми силами, чтобы не потревожить его покоя, может быть, единственной отрады в несчастном его положении.

Во время чая я нечаянно увидел на стене завешенную картину. Мысль, что это, может быть, портрет жертвы, подстрекнула мое любопытство. Я тихонько подошел к картине и приподнял завесу. Даже и теперь живо помню ее содержание. Картина изображала дикую местность. Солнце садилось за лесом. Человек в охотничьем платье держал за уздцы двух лошадей. Прекрасная женщина, с бледным лицом, с полузакрытыми глазами, прижав руку к груди, лежала на траве. Высокий мужчина на коленях, с выражением отчаяния на лице, держал в руках своих другую ее руку. Вдали лежало изломанное ружье. Несколько человек с заплаканными глазами доканчивали картину. В человеке на коленях я сейчас узнал моего хозяина; умирающая женщина, вероятно, была его жертва.

Но напрасно в мастерском очерке картины я старался угадать смысл содержания. Тут не могло быть убийства в настоящем смысле. Этому противоречила окружающая группа людей. Правда, изломанное ружье и кровь под рукою женщины давали мысль, что выстрел был орудием смерти. Это подтверждали и слова незнакомца, сказанные им вчера в порыве увлечения. Но как случилось это? Какие обстоятельства сопровождали эту драму? Этого я не мог объяснить себе никакими догадками.

Я столько углублен был в рассматривание картины, что вовсе не замечал Ивана, который пришел мне напомнить, что лошади готовы. Наконец он принужден был дотронуться до моей руки, чтоб обратить мое внимание.

— Хорошо, уложи мои вещи. Я сейчас выйду. Да скажи, чтоб колокольчики были подвязаны.

Когда Иван вышел, я вынул записную книжку и, оторвав листок бумаги, написал карандашом следующие строки к хозяину:

«Я уезжаю, не простившись с вами. Это было ваше желание. Но будьте уверены, что каково бы ни было ваше преступление или, скорее, несчастие (вы не способны быть преступником), участие мое к вам будет всегдашнею думою моего сердца. Свято исполню желание ваше — хранить молчание. Но вы не можете требовать, чтоб я когда-нибудь мог забыть о вашем положении:

это выше сил моих. Примите искреннюю благодарность за приют от непогоды, и да поможет вам Бог также найти скорее приют от душевной бури вашей! Б.».

Я оставил записку на столе и, мысленно пожелав спокойствия несчастливцу, вышел из комнаты. Мы тихо выехали со двора. Невольный взгляд, брошенный на окрестность, был поражен сходством картины с окружающим меня ландшафтом. Так вот что значили слова: «На этом самом месте я отнял жизнь прекрасного создания», думал я, грустно оглядывая дикую окрестность. Поворот дороги, закрыв обитель несчастия, представил глазам моим другие виды, более веселые. Я вздохнул легче. Светлый день, сиявший с безоблачного неба, отразился и в моих думах; дождевые капли, кой-где сохранившиеся на листьях дерев и на траве, сверкали в душу мою искрами утешения. Вскоре я готов был слушать даже разговор ямщика с моим Иваном о проведенной ночи. К этому присоединилось желание узнать что-нибудь от них о моем хозяине.

— Нет уж, сохрани Господи, чтобы я в другой раз поехал на ночь по этой дороге, — говорил ямщик своему товарищу. — Натерпелся же я страху вдоволь! Легко сказать, всю ночь пролежал на печи, не смыкая глаз. Того и думаешь, что вон этот немой верзило подойдет к печи да пырнет ножом под самые вздохи. А ты, брат, храпишь себе во всю ивановску, ино злость берет.

— А что ж мне было делать, — отвечал казак с невозмутимым спокойствием. — Слуга молчит, ты залез в самый угол. С собой, что ли, толковать будешь? Да этак, пожалуй, скука возьмет.

Желая дать другое направление их разговору, я спросил ямщика:

— А что, Сидор, ты никогда не слыхал, что это за барин такой?

— А леший его знает. Вишь, мы здесь новосельные. Нет и трех лет, как барину нашему пришла блажь выселить нас на это место из старой деревни. Там, говорит, земли в обрез, а здесь, говорит, хоть катайся по полю. Я же у вас, говорит, и почту устрою. Заживете, говорит, припеваючи.

— Да ведь слухом земля полнится, Сидор. Вероятно, вы что-нибудь слыхали от соседей.

— Слыхать-то слыхали, да только правды-то не могли добиться. Вишь, говорят, что в прежнее время здесь была его вотчина. Да и теперь вот все это место по самую поганую тропу ему принадлежит.

— А не знаешь, зачем он живет один в этом захолустье?

— Слыхал и об этом, да что говорить на ветер. Я хоть и не совсем верю, что он колдует... какое колдовство в нашу пору? Острог хоть какого колдуна выведет на свежую воду... Да все же не большое веселье столкнуться с ним в ночную пору. Кто знает, неровен час, захочет вспомнить старину да влепит в лоб свинцовую горошину, так, небось, пройдет охота за ним подглядывать.

— А разве он сделал какое убийство?

— Да так немножко... Застрелил молодую свою хозяйку.

Так вот кто была его жертва! Узел начинает распутываться.

— А неизвестно — за какую вину?

— А Бог их ведает. Ведь чужая душа потемки.

— Да как же суд упустил это дело?

— Да, вишь, говорят, что убил-то ее ненароком. Ну, слава тебе, Господи, — вскричал он, перекрестившись, — вот и на прямую дорогу выехали. Ей вы, соколики! С горки на горку, даст барин на водку!

Лошади понеслись. Ямщик затянул бесконечную песню. А я снова предался мыслям: вы угадаете предмет их.

Безруковский замолчал.

— И только? — спросил Академик.

— Чего ж тебе еще больше. Я исполнил свою задачу: рассказал, что случилось со мною в страшном лесу.

— Но послушай, приятель, это нечестно с твоей стороны так обмануть ожидание. Ты в этом рассказе, как хочешь, стоишь на втором плане. Главное лицо — твой незнакомец. А тут необходимы пояснения.

— А если я больше не узнал ни слова?

— Это плохо; но на твоем месте я сам приделал бы конец к рассказу. Терпеть не могу ничего неоконченного!

— Зато и концы твои притащены, как говорят, за волосы, держатся на прилепе, — сказал Таз-баши. — Я сам не охотник до недосказов; но уж, право, не возьмусь надевать сапоги им на ноги. Пусть идут босиком, коли родной отец так пустил.

— Я только жалею о том, что неизвестна будущность несчастливца, — примолвил Лесняк. — А хотелось бы знать — кто остался победителем в этой душевной борьбе — религия или отчаяние.

— А может быть, нашлась и более существенная утешительница, — прибавил Немец с легким сарказмом. — Впрочем, это было бы хорошо для него, а не для повести.

— Значит, большинство голосов в пользу продолжения, — сказал Безруковский. — Быть так. Я хотел только узнать — не утомил ли вас моим рассказом. Итак, извольте слушать окончание.

— Военная хитрость, — сказал Таз-баши с улыбкою.

— Впрочем, не беспокойтесь. Конец будет непродолжителен.

Безруковский взял сигару и стал продолжать свой рассказ.

Года через два после рассказанного случая мне привелось по поручению начальства быть в городе С. Исполнив поручение скорее, чем предполагал, я имел время на обратном пути завернуть к одному моему приятелю — помещику. Так как спешить было нечего, то я охотно принял радушное его приглашение — провести день-другой в его семействе. Решимость моя вознаграждена была нечаянным открытием. Войдя в кабинет хозяина, я неожиданно увидел знакомую мне картину памятного леса. Верно, удивление очень заметно выразилось на моем лице, потому что приятель мой невольно спросил — разве я знаю сюжет этой картины?

— И знаю, и нет, — отвечал я ему, не могши оторвать глаз своих от ландшафта. — Но каким образом эта картина у тебя? Два года назад я видел ее далеко отсюда,

— Тот, кому она принадлежала, вот уж год кончил грустную жизнь свою.

— Покой, Господи, его душу! — сказал я, невольно перекрестившись.

— Из твоего участия я заключаю, что ты знал бедного моего родственника А.

— Очень мало, — отвечал я, и, подумав, что смерть А. разрешила меня от клятвы хранить молчание, я рассказал приятелю моему все подробности нашей встречи.

— Теперь твоя очередь, — сказал я ему. — Объясни мне, пожалуйста, всю эту историю.

— Короче и проще ее быть ничего не может, — отвечал мой приятель. — А. был сосед по моему имению. Еще в ребячестве мы познакомились; вместе вступили в службу и почти в одно время ее оставили — я по делам моего имения, а он по живому своему характеру, для которого всякое принуждение было невыносимо. Исключая этого пункта, А. был человек благородный во всех отношениях. Другие видели только, как он рыскал по полям за зайцами; но мне, как искреннему его приятелю, были известны все прекрасные его действия в отношении не только к своим крестьянам, но решительно ко всем, кто только терпел нужду. Владелец большого имения, он смотрел на золото только как на средство *золотить жизнь* (собственное его выражение), то есть как можно более доставлять удовольствия себе и другим. Года через три холостой своей жизни он случайно увидел одну девицу — прекрасную, умную, дочь одного соседнего помещика — и влюбился в нее без ума. Он снискал ее взаимность, сделал предложение и получил ее руку. Казалось, все ручалось за продолжительность их счастия — довольство, молодость и взаимная любовь. Но судьбы небес неисповедимы! Зерно самого этого счастия заключало уже в себе зародыш будущих бедствий. Не люби он так страстно, он все бы с потерею ее рано или поздно нашел утешение. А то самая эта любовь, составлявшая все счастие его жизни, и довела его впоследствии до того положения, в котором ты его видел. Но станем продолжать.

Ровно через год последовала катастрофа. Желая отпраздновать годовщину своей свадьбы всеми удовольствиями, А. в этот день между прочим устроил охоту. Все шло как нельзя лучше. День был чудесный; гости веселы; молодые супруги не могли налюбоваться друг другом. Вот уж мы, исхлопав порядочную долю зарядов, возвращались домой веселые, беззаботные. Там ожидал нас богатый ужин, фейерверк и музыка. А. ехал подле жены, которая, кажется, никогда не была так хороша, как в

этот роковой для нее час. Движение разлило румянец на полных щеках; губы горели избытком жизни, глаза были полны неги и удовольствия. Порой долетал до нас звонкий смех ее, вызванный шуткою мужа или проделкою которого-нибудь охотника. Подъезжая к одному косогору, А. предложил жене своей проскакать на гору. Хлыстики взвились, и лошади понеслись во весь карьер. Тут несчастная мысль пришла в голову А. Верно, желая придать более эффекту своему наездничеству, он вздумал разрядить ружье на всем скаку. Но едва только он взвел курок, вдруг лошадь его споткнулась на передние ноги, выстрел грянул – и прямо в несчастную женщину. Она вскрикнула и пошатнулась. Мы бросились к ней стремглав: кто сдерживал лошадь, кто снимал ее с седла. Осторожно положив ее на траву, мы в ту же минуту послали одного служителя за доктором, а другого в поместье за экипажем. И между тем как посланные понеслись во весь опор, я, по праву родственника, разорвал ее корсаж и старался унять текущую кровь. Надежда спасти несчастную не совсем еще нас оставила. Близость города, а следовательно, и пособий питала эту надежду. Но приезд медика потушил последнюю ее искру. «Заботьтесь больше о живом, – сказал он с мрачным видом, – а здесь скоро нужно будет другое что, *а не микстура*». Эти безнадежные слова раздались как смертный приговор в ушах наших. Вид умирающей женщины, за минуту еще полной жизни и счастия, столь пленительной своею красотою и любезностию, леденил кровь в жилах. Но что было с несчастным А., невольным убийцей своей жены? Я не найду слов описать его отчаяние. В первые минуты он стоял как окаменелый, опираясь на проклятое орудие убийства. Казалось, он не понимал, что́ происходило пред его глазами. Но когда омраченный рассудок несколько возвратил свое действие, первым движением его было ударить ружье о землю, что он сделал с такою силою, что оно разлетелось пополам. Вы видели эти геркулесовские плечи. Придайте к тому порыв отчаяния – эту нравственную силу, которая иногда поспорит с физическою, – и вы увидите, что я не преувеличиваю. Тут он бросился к жене своей и схватил ее руку, опущенную на траву. Он силился произнести какие-то слова, но отчаяние задушало их в груди, и только невнятные звуки вылетали из его губ. – Но зачем распространяться в изображении этой мрачной картины несчастия? Мы

схоронили несчастную женщину; целый месяц поочередно сидели у постели больного А. и, смотря на его страдания, не один раз дерзали просить Бога, чтобы Он прекратил жизнь его. Но судьбы Божии определили иное. Крепость телесных сил превозмогла жестокую нервическую горячку. А. ожил для новых страданий. – Зная религиозное его чувство, мы пригласили одного почтенного священника, который почти два месяца был при А. неотлучно. Он молился с ним на могиле умершей, терпеливо слушал его беспрестанно повторяемые рассказы о прошлом, пользуясь всяким случаем влить в душу его утешения религии. По желанию А. священник доставил ему книгу с молитвами о усопших. С этих пор у несчастного не было другой молитвы. Часто, встав с постели в глубокую полночь, он уходил в свой кабинет и там читал похоронный канон. Казалось, что эти молитвы – трогательное излияние чувств веры и скорби – доставляли ему облегчение. По крайней мере, после них он становился спокойнее и забывался сном.

Спустя год после потери жены А. продал свое имение, не имея сил жить в местах, бывших свидетелями прежнего его счастия, а сам отправился в небольшую деревню в другой отдаленной губернии. Но продавая свое поместье, он удержал за собою небольшой участок земли, где он сделался невольным убийцею. Здесь, на самом месте печального события, он построил себе небольшой дом, и каждый год в июле месяце, когда случилось несчастие, он ездил туда с одним преданным ему слугою и проводил несколько дней в тоске и молитвах. В это время он был решительно недоступен, и ваше пребывание у него я считаю особенною жертвою его самоотвержения. Остальное время, как я сказал, он жил в своей деревне, мало заботясь о своем существовании.

В прошлом году я получил письмо от его управителя, который писал мне, что барин очень нездоров и просит меня к нему приехать. Я в тот же день собрался в дорогу, спеша застать его в живых. А. действительно был очень болен. Продолжительные страдания мало-помалу истощили этот крепкий состав и приблизили его к давно желанной могиле. Он желал умереть в своем уединении и просил меня быть исполнителем последней его воли. Я обещал ему все. Пригласив того же почтенного священника, который был утешителем его в первые дни несча-

стия, мы отправились в известную вам пустыню. И здесь-то, недели через две по приезде, напутствованный утешением религии и слезами дружбы, несчастливец тихо угас на моих руках. Последние слова его были: «Наконец я вижу тебя, мой ангел! Ты исполнила мою просьбу – пришла за мною – руководить меня в этом пути. Дай же твою руку и веди меня к общему нашему Отцу и Богу».

Предав тело его земле, подле гроба жены, я, согласно с завещанием умершего, выхлопотал позволение выстроить небольшую церковь на месте его пустынного дома. И теперь крестьяне перестали бояться этого места и вместе с священником усердно молятся о успокоении душ Александра и Марии.

———

После небольшого молчания со стороны всех собеседников Безруковский сказал:

– Рассказ мой кончен. Прошу не прогневаться, господа, если что пересказано или недосказано. Притом же вы знаете, что первый блин всегда комом. Погодите, со временем научусь стряпать вкуснее.

– Конец у тебя лучше начала, – сказал Лесняк, сидевший у стола, подперев рукою голову. – Религиозный элемент для меня всякую картину облекает особенным светом. А где свет небес, там житейский мрак – ничто. Умри твой А. жертвою отчаяния, – Боже мой! – сколько бы жизнь его потеряла цены своей! Он, может быть, возбудил бы сожаление: мы жалеем даже о животных; но нашел ли бы он это участие, которое сердце наше питает к высокой доблести покорного страдания?

– Ты прав, – сказал Академик. – Человек без религии – не человек, а жалкая игрушка воли и обстоятельств. Вера в Бога и Искупителя есть та печать, которая дает ценность всем нашим действиям, как бы они маловажны или велики не были. Что бы ни говорили о прогрессе, об усовершенствовании человеческого рода, без печати религии – это все фальшивые штемпеля. Они касаются настоящего, одной минуты нашего существования, а целая вечность будущего для них как бы не существует.

– Но ради Бога, господа, – прервал Таз-баши, – говоря о таких предметах, вы заставите нас спрятать в карман наши рас-

сказы. По мне одно – либо рассуждать, либо рассказывать. Если этот вечер должен быть посвящен рассказам, то рассуждения – в сторону. Для них мы выберем другое время, к которому и я, может быть, поумнею. Посмотрите, как задумался Немец. Впрочем, не трудно угадать, о чем он думает.

– Любопытно видеть опыт твоей проницательности, – сказал Немец, подняв голову.

– Ты думаешь, если не о плане своей повести, так, наверное, о каких-нибудь недомолвках в рассказе почтенного нашего хозяина. Ну что, не правда ли?

– Первое – ложь; а во втором есть несколько правды. Я точно думал о том – найдется ли в наше время муж, подобный А., который десять лет не мог утешиться в потере жены?

Собеседники улыбнулись.

– Но тут, дорогой мой Немец, дело не о простой потере, – возразил Академик. – А угрызения совести, я думаю, существуют и в наше время.

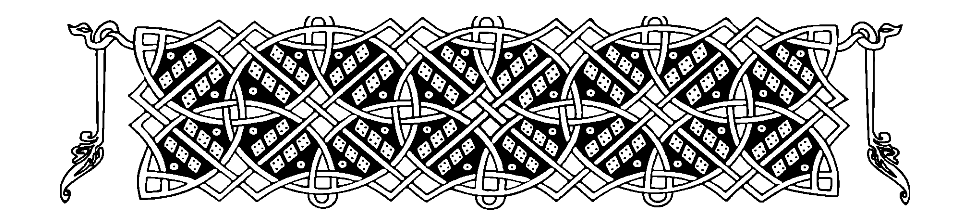
– Спорить не буду, может быть, – отвечал Немец, приподняв слегка нижнюю губу.

– Кто же теперь станет рассказывать? – спросил Безруковский, посмотрев на своих гостей.

– Только не я, – сказал Таз-баши. – Мои рассказы будут десертом после сытных ваших повестей. Впрочем, я охотно переменю эту очередь, если увижу, что после чьего-нибудь рассказа глаза начнут терять свою ясность, и тотчас же берусь или совсем помрачить их, или привести их в нормальное положение.

– Не станем спорить об очереди, – сказал Академик. – Кто начнет, тот и рассказывай. Вот, например, не угодно ли вам прослушать былину доброго старого времени.

Собеседники охотно изъявили согласие, и Академик начал:



ДЕДУШКИН КОЛПАК

В некотором царстве, в некотордм государстве, в Сибирском королевстве жил-был когда-то один купецкий сын по имени Иван Жемчужин. Были у него батюшка и матушка, как и у других купецких сыновей, да то ли им Бог веку не дал, то ли им жизнь скучна показалась, только они один за другим померли, когда у Иваши и коренные еще не прорезались. Но как на белом свете не без добрых людей, то нашлись такие благодетели, которые круглого сироту призрели, вспоили-вскормили и грамоте выучили. И вышел мой Иваша молодец молодцом, и румяным лицом, и кудрявым словцом.

— Но пощади, любезнейший Академик, — прервал Таз-баши с умоляющим жестом. — Твоя сказка напевом своим так смахивает на Лазаря, что надобно быть слепым, чтобы найти удовольствие в этом мурлыканье. Поневоле закачается голова под такт напева, а там, пожалуй, и на стол свалится.

Гости засмеялись выходке Татарина.

— Нечего делать, — отвечал Академик, тоже рассмеявшись. — Надобно в угоду тебе перестроить гусели на новый лад. Но уж извини, если старая песня порой отзовется в рассказе. Извольте ж слушать.

Из начала моей сказки вы могли уже видеть, что Иван Жемчужин был малый хоть куда. Мастер и поплясать, мастер и дело сделать. Поэтому нечего дивиться, что красные девицы его жаловали, а своя братья — молодые купчики — просто его на руках носили. Но если, с одной стороны, это было хорошо, так с другой — не слишком. Частые гулянья да вечеринки не раз отвлекали его от дела и приучали к праздности. Еще пока были живы его воспитатели, так он все-таки был на привязи; но когда Бог прибрал и их, Жемчужин пустился по всем по трем. Поплакав, как водится, на могиле своего отца и матери и заказав две-три обедни за упокой, он решил, вместе с приятелями своими, что сделал все, что было надобно. Не то, чтобы у него было злое сердце, а то, что в голове у него ветер ходил. Да и то сказать, кто станет требовать благоразумия от 20-летней головы. Это такое сокровище, которое копится годами и опытами. Да хорошо еще, если родовой капитал имеется. А то без него года проскрипят себе, как колеса под телегой, а опыты — как от стены горох! И в 70 лет останешься 7-летним ребенком... Ну, ну, не хмурься, Таз-баши. Ты знаешь мою привычку идти останавливаясь...

Так вот Иван мой принялся хозяйничать. Нечего и говорить, что хозяйство его было — разлюли! Выручит рубль, а убьет два. Благодаря такому хозяйству и добрым приятелям мой Иван в один прекрасный летний день остался совсем без копейки. Кинулся было он к тому-другому из приятелей, да, на беду, у одного у самого денег нет, а у другого — есть, да в долгах ходят, а третий — ужó, подумает. Нашлись и такие молодцы, которые насмеялись ему прямо в глаза. Что тут делать? Побить их, подлецов, — сил не хватит; упрашивать — душа не воротится. Можно бы еще рискнуть попробовать счастья у знакомых отца либо воспитателя; да у них с тех пор, как он пустился в разгул, для него были все двери заперты. Оставалось только идти к кому-нибудь в услужение, да и тут беда: добрые люди не возьмут, а к худым самому идти не хочется. Продумал бедняга целую ночь, а ровно ничего не выдумал. Да как и выдумать, когда голова его никогда не работала над такими пустяками. Не то, чтобы у него ума не было, а то, что этот ум еще молоко сосал. Решился наконец Иван продать отцовский дом. Хоть и жалко было расставаться с местом своего рождения, да что ж делать,

когда не оставалось другого средства. В этих мыслях он лег соснуть, примолвив в ободрение себе: утро вечера мудренее. Не успел он утром протереть глаза, как вдруг дверь настежь и к нему пожаловали гости: полицейский чиновник, да из думы гласный, да еще несколько лиц безгласных. И видится и не верится! А вот когда полицейский чиновник объявил во всеуслышание, что дом купецкого сына Ивана Жемчужина берется за долги под казенный присмотр, так у бедного просто руки опустились. Но закон не потачник мотыгам; не смотрит ни на слезы, ни на жалобы. У него: прав – так ступай с Богом, а виноват – так милости просим. Крайне не весело было Жемчужину уходить из отцовского дома, особливо, когда он надеялся поправить им свое состояние. Да делать нечего. Поклонившись со слезами на все четыре угла, Иван выбежал из дому и пошел куда глаза глядят. Сначала глядели они на гору, в поле; да бес, который никак не утерпит, чтобы не воспользоваться хорошим случаем, шепнул ему на ухо: «В поле теперь жарко, поди лучше к реке, там хоть прохладишься немного». Послушал Жемчужин бесовских внушений и повернул к реке; бесенок бежит с ним о бок да то и дело подталкивает. Подойдя к реке, Иван сел на крутой берег и задумался. Сначала он думал о том, что река куда уж какая широкая: любой пловец вернется с половины; потом пришла ему и глубина в голову; а там дальше, дальше – и задумал он одним разом рассчитаться с долгами и с жизнию. Нечего и говорить, что все это была работа того бесенка, который шепнул ему – свернуть с прямой дороги. Вот стал Иван раздеваться для того, чтобы люди не подумали, что он бросился в воду с намерением. Коли увидят платье на берегу, думал он, подумают, что я утонул, купаясь, и хоть крест поставят на могиле. Знать, что христианская душа не совсем еще в нем заснула. Вот он скинул свой кафтан и расстегнул рубашку. В это время ангел-хранитель его показал ему крест на груди. Посмотрел на него Иван, и взяло его раздумье. Невольно он припомнил себе благословение родительское и святое крещение; припомнил и наставления отца Игнатия, своего духовника. Ангел-хранитель уже радовался, что не погибла христианская душа. Но и бес не оставался без дела. Подвернувшись с другой стороны, он показал Ивану ожидавшую его будущность: бедность, позор, оскорбления – все, что только могло возмутить и не такую твердую

душу, какая была у Ивана. Адский выходец попробовал потолковать ему и из богословия, что, дескать, видно так Богу угодно; что смерть еще на роду всем людям написана; что Бог милостив к православным; что хоть на первый раз и накажет его, но потом и помилует. Это иезуитское толкование искусителя решило Ивана. Он снял с себя крест – последнее, что удерживало его от гибели, и смотрел уже – где бы лучше кинуться ему в воду. Взмолился ангел-хранитель к Богу о спасении крещеной души, и Господь его услышал. Спаситель стоял уже за спиною Ивана.

Надобно вам сказать, что с того самого времени, как Жемчужин повернул к реке, за ним невдалеке следовал один старичок и не спускал глаз с Ивана. Когда Иван шел, и старик шел; когда Иван сел на берег, и старик остановился. Теперь он подошел к Ивану и как бы случайно спросил: а что, молодец, не купаться ли здесь думаешь?

Иван вздрогнул, как вор, пойманный в краже, и оглянулся. Старик спокойно продолжал:

– Берегись, приятель, здесь место очень глубокое, да и спуск не податлив.

– А если я пришел утопиться, – сказал Иван, может быть, желая посмотреть, как испугается старик. Ведь самолюбие и при гробе не покидает человека.

– Топиться? Ну, это дело другого роду, – продолжал старик также спокойно. – Лучшего места для этого в целой реке не сыщешь.

Иван с изумлением посмотрел на старика.

– Хорош гусь, – сказал он ему с досадой. – Али тебе смерть человека плевое дело? Али жалости вовсе не ведаешь?

– Жалости? – возразил старик. – Вот хорошо! Жалеть о всяком дураке слишком будет убыточно.

Сказав эти слова, старик пошел себе назад, как будто и не его дело.

Озадаченный Иван несколько времени смотрел ему вслед. Мысль, что и при смерти его так обижают, задела молодца за живое.

– Постой же, проклятый старичонка, – сказал он с досадой. – Это тебе даром не пройдет. Утопиться я и завтра утоплюсь, а прежде все бока тебе отделаю.

Говоря это, Иван поспешно оделся и пустился догонять старика. Но то ли старик увидел погоню, то ли так пришло желание, только он стал ускорять шаги, а когда Иван был уже от него недалеко, он пустился со всех ног: откуда прыть взялась.

— Постой, старый хрен, постой! Я тебе дам дурака с кулака, — кричал Жемчужин вслед старику.

Старик не отвечал ни слова и бежал, не останавливаясь. Иван за ним. Бегут, только пятки мелькают.

Вот уж Иван стал нагонять старика, как вдруг тот шмыгнул в ворота одного дома и хлопнул калиткой.

— Что это с вами, дедушка? Зачем вы так бежите? — спросила с испугом молоденькая внучка старика, когда тот, облитый потом и едва переводя дух, вбежал в комнату.

— Ничего, ничего, Анюша. Ступай гостя встречать, — сказал старик, уходя в другую комнату.

И прежде чем хорошенькая Аннушка могла объяснить себе, что это за гость такой, Иван — пых в комнату!

Но как бы ни был рассержен он на старика-насмешника, он все-таки сохранил столько ума, чтобы не принять молоденькую девушку за старого хрена. Растерявшись совсем при этом неожиданном превращении, он остановился посреди комнаты и только отпыхивался.

Между тем Аннушка, или Анюша, как называл ее старик, испуганная в свою очередь подобным посещением гостя, прижалась в угол и смотрела на Ивана наполовину со страхом, наполовину с любопытством.

Несколько минут продолжалось молчание, во время которого слышалось только легкое покрякивание старика в другой комнате. Аннушка первая пришла в себя и, отойдя немножко из угла, обратилась к гостю с вопросом:

— Вам кого надобно?

Голос, которым сказаны были эти слова, окончательно расстроил бедного Жемчужина. Надо сказать, что голос Аннушкин был что твой соловушко! Но так как нужно же было отвечать, то Жемчужин, собрав все силы, пробормотал:

— Мне-с?.. ничего-с... Как ваше здоровье?

Аннушка готова была принять его за полоумного, если б только в этом не разуверяли ее глаза Ивана, в которых было что-то такое, что чрезвычайно понравилось девушке.

— Я слава Богу, — отвечала она на ловкий вопрос Жемчужина. — Как ваше?

— Мое-с?.. так, ничего-с... слава Богу.

И снова замолчали. А дедушка продолжал себе покрякивать в другой комнате.

Наконец Иван почувствовал, какой он дурак, и в этой смиренной мысли он стал ни с того ни с сего кланяться Аннушке.

Аннушка тоже почла нужным отвечать на поклоны Ивана.

— Извините-с, — сказал наконец Иван, пересиливая свое замешательство. — Мне сказали, что здесь пускают на хлебы. Так я и пришел узнать — за какую цену? Извините, пожалуйста.

— Ничего-с, ничего-с, — отвечала девушка. — Но только вам напрасно сказали, что мы держим нахлебников. Да у нас нет и лишнего помещения.

— Извините, пожалуйста. А позвольте спросить, кто вы такие?

— Я — Аннушка, внучка дедушки... знаете, Якова Степаныча.

— Как не знать, слыхал-с, — отвечал Жемчужин уверенно, хотя совесть и говорила ему: врешь, разбойник! — Еще прозванье его, кажется... — Иван замялся.

— Петриков-с.

— Да, точно, Петриков. Так у вас не принимают на хлебы?

— Никак нет-с.

— Извините, пожалуйста. Ведь чего, подумаешь, люди не выдумают! За тем прощу прощения, — сказал Иван, пятясь к дверям, хоть ему и очень не хотелось так скоро оставить Аннушку.

— Прощайте-с.

Жемчужин еще раз поклонился и вышел, уж разумеется, не так скоро, как вошел.

Чудная перемена произошла с Иваном. Топиться уж и в помине не было. Он даже нашел, что жить гораздо веселее, чем умереть, и что в воде уж, верно, нет таких хорошеньких рыбок, как на земле Аннушка.

Между тем старик с веселым лицом вышел из-за перегородки.

— Ну, что, Анюша, каков твой гость? — спросил он Аннушку, которая, не знаю для чего, протирала стекло в окне, выходившем на улицу.

— Я его прежде не видала, дедушка.

— Мало ли кого ты не видала, — возразил старик. — А каков он тебе показался?

— Мне-с?.. он, кажется, скромный такой, — отвечала Аннушка, покраснев немного.

— Вот угадала, так угадала! Особливо, я думаю, он скромно вошел. Так, что ли?

Девушка не отвечала.

— Да, да, — продолжал старик. — Всем бы хорош, да только вот тут посвистывает, — сказал он, показывая на голову. — Он, кажется, на хлебы просился? А? Ну, ничего, даст Бог, и свой найдет. Да что толковать об нем. Дай-ка лучше перекусить чего-нибудь.

И разговор прекратился.

Возвратимся к Жемчужину. Вышед из дома Петрикова, он на минуту остановился: то ли хотелось ему посмотреть на дом, который он в первые минуты попыхов хорошенько не заметил, то ли для того, чтобы подумать — куда бы на этот день приклонить голову. Думал, думал и решился идти к одному бедняку — знакомому, с которым он в прежнее время удостоивал перемолвить слово. Богатые отказали, думал он, авось, бедняки будут жалостливее. И точно, на этот раз надежда его не обманула. При бедности кармана у знакомого его была душа богатая. Он принял Жемчужина с таким радушием, что у Ивана почти слезы навернулись.

Таким образом приют нашелся. Оставалось теперь подумать о средствах найти трудовой кусок хлеба. Посоветовавшись с знакомым, Иван решился смирить свою гордость и на первый раз поискать где-нибудь места сидельца. К счастью его, один из старых знакомых его воспитателя принял участие в положении Жемчужина. Он достал ему место сидельца у одного зажиточного купца, с порядочною платою. Жемчужин засел за прилавок, и так как он был малый смышленый, то вскоре умел заслужить доверенность хозяина. Сидя весь день за прилавком, Иван утешал себя надеждою пройти еще засветло мимо дома Петрикова и полюбоваться — как хорошо сделаны у него окна, особенно одно угловое, с горшком <г>ерани и с белой, как снег, занавеской. Иногда случалось ему встречать самого Петрикова, и Жемчужин за несколько шагов снимал уже свою шапку и кла-

нялся в пояс. Старик с обычною своею усмешкою ласково отвечал поклоном на поклон, но тем дело и оканчивалось.

Один раз, не помню в какой-то праздник, Жемчужину привелось стоять в церкви недалеко от Аннушки... Надобно вам сказать, что он, не знаю почему, особенно полюбил церковь, в приходе которой числился дом Петрикова. Правда, Жемчужин говорил, что уж куда какой тут голосистый дьякон, вот так бы его все и слушал; но так как дьякон вскоре переведен был в собор, а Жемчужин по-прежнему продолжал посещать церковь, то я не могу вам сказать – на сколько правды было в словах Жемчужина... Ну, так я сказал, что в один праздник ему привелось стоять подле Аннушки. Все видели, как он усердно молился, а одна Аннушка заметила – как он поглядывал на нее. Обедня кончилась. Иван выждал выхода Петриковых и пошел за ними, посматривая так пристально по сторонам, как будто он в первый раз видит эту улицу. На повороте к известной калитке Жемчужин низко поклонился старику, поздравил с праздником и, должно быть, нечаянно обернулся к Аннушке, которая, отстав от своего деда, спешила теперь догнать его. Как-то, тоже, верно, нечаянно, глаза их встретились. Девушка рассмеялась и покраснела, а Иван остановил свою шляпу на половине пути к ее месту назначения. Наконец, вероятно, припомнив, как надевается шляпа, он поспешил привести ее в надлежащее положение и пошел к своему хозяину. Можно было заметить, что ему в голову пришла какая-то необыкновенная мысль, потому что он два раза спотыкнулся по дороге да пять раз натыкался на встречных прохожих.

Хозяин Жемчужина был купец старого покроя. Простой, добрый, любивший в иное время поболтать всякий вздор со своими сидельцами, а в другое порядком их пожучить. На этот раз он был более расположен к первому. Увидев Ивана, который, помолившись наперед иконам, поздравил его и сожительницу его – в два обхвата в объеме – с праздником, хозяин приветливо пригласил его выкушать чашечку чаю.

– От обедни, верно, Иван Петрович? – спросил хозяин.

– Точно так, Поликарп Ермолаич, от обедни.

– А уж, верно, из Архангельской? – продолжал хозяин, посмеиваясь. – Да ведь, кажись, нет уж любимого твоего дьякона... али кто другой нашелся ему на смену? А?.. Ну, а скажи-ка

мне — от кого читали сегодня Евангелие? — спросил купец с лукавым видом, прищуривая левый глаз.

— От Матфея, батюшка, или, постой, от Луки... так, кажется.

— То-то от Луки! Верно, в голове ходило не евангельское.

— Виноват, Поликарп Ермолаич. Чего таиться, грешный человек.

— Ох, уж вы, молодые головы! И в храм Божий ходят с житейскими помышлениями.

— Уж коли вы сами начали, Поликарп Ермолаич, так уж, верно, вам так Бог внушил. Благословите, батюшка, на злат венец, и вы, матушка Аграфена Ивановна, — сказал Жемчужин, встав с места и низко кланяясь своим хозяевам.

— Э, так вот куда речь идет? Ну, ладно, ладно. Лучше завести свою, чем на других губы облизывать.

— Уж как же вам не стыдно, Поликарп Ермолаич, — вступила в речь его сожительница. — Хоть бы для святого праздника удержались говорить такие речи.

— И, матушка, — отвечал купец, — говорю я правду, а правду не грешно сказать и в праздники... Ну, а кого ты там заметил, — продолжал он, обращаясь к Жемчужину.

— Вы, верно, знаете, Поликарп Ермолаич, мещанина Петрикова?

— А! Это, что со внучкой ходит? Знаю, брат, знаю. Хоть и не наш брат купец, а хороший человек. А внучка его — что твоя малина-ягода! Вижу, Иван Петрович, что губа-то у тебя не дура.

— Так уж сделайте такую божескую милость, Поликарп Ермолаич, и вы, матушка Аграфена Ивановна, не откажите помочь мне, а вам за это Бог заплатит.

— Сватать, что ли? Ну, ладно, ладно. Ты малый честный. Почему же не помочь тебе в добром деле. Сегодня уже поздно ехать, а вот завтра подумаем.

Жемчужин низко поклонился хозяину и поцеловал руку у почтенной его сожительницы.

Остальной разговор прошел в шутках со стороны хозяина и в беспрестанном повторении: Уж как же вам это не стыдно, Поликарп Ермолаич! — со стороны хозяйки.

Ивану опять пришлось не спать целую ночь. Верно, под сердцем кусалось.

На другой день хозяин Жемчужина, надев свое праздничное платье и помолившись иконам, отправился к Петрикову, а Жемчужин сам не свой пошел к обедне.

Вероятно, он был в особенном благочестивом настроении духа, потому что дьячок, смотря на усердные его поклоны, не удержался толкнуть в бок пономаря и шепнуть ему: «Вишь, как молится, должно быть, имянинник сегодня».

По окончании обедни Жемчужин еще положил три земные поклона перед образом Михаила Архангела и пошел к хозяину ни жив, ни мертв.

Вскоре приехал хозяин.

— А славная погода сегодня, Иван Петрович, — сказал хозяин, снимая свой сюртук. — Не худо бы этак вечерком съездить в поле — чайку напиться. А, как ты думаешь?

— Хорошая погода, Поликарп Ермолаич, — отвечал Жемчужин в огне, как в пытке.

— Этакое, подумаешь, благодатное лето выдалось, — продолжал хозяин, по-видимому, желавший помучить бедного жениха. — Только жаль, что грибов мало. А? Не правда ли?

— Да, точно неурожай на грибы, — отвечал Жемчужин, мысленно проклиная все грибы на свете.

— Ну, да вот Бог даст дождичков, так, авось, и грибы покажутся.

— Да уж полноте вы, Поликарп Ермолаич, мучить Ивана Петровича, — вступилась добрая сожительница. — Посмотрите-ка, у бедного ино слезы навертываются.

— Ничего, матушка, ничего; потерпит, дело не к спеху. — Но то ли положение бедного Жемчужина тронуло наконец веселого купца, то ли истощился запас его шуток, только он вдруг принял серьезный вид и сказал, разглаживая окладистую свою бороду: — Ну, Иван Петрович, был я и у Петриковых.

Жемчужин весь превратился в слух.

— На первый раз, — продолжал хозяин, — пока похвалиться нечем. Старик не прочь, да говорит, что у него мало, а у тебя — ничего, так чтобы не каяться. Вот, говорит, как Бог поможет ему зажить своим домком, так я и по рукам. А до тех пор не даю слова.

Бедный жених опустил голову.

— Ну, что ж, чего печалиться? — сказал купец, невольно тронутый горем своего сидельца. — Старик ведь не отказывает. Бог милостив, год-два... веди себя только хорошо — будет и у тебя копеечка.

— Да ждать-то бы еще ничего, — сказал Жемчужин. — Да как в это время сыщется жених побогаче? Тут как быть, батюшка Поликарп Ермолаич?

— А быть, как Господь на ум положит. И полно горевать, любезный! Суженого конем не объедешь. Коли Бог судил Анюше быть за тобой, так и семь ворожей отвода не сделают. Живи себе честно да молись Богу, и все ладно будет,

С этими утешениями хозяин отпустил Ивана.

На первых порах после неудачного своего сватовства Жемчужин ходил как сам не свой. Даже единственная отрада — пройти мимо дома Петрикова — не приходила ему в голову; а если когда и приходила, то стыд отказа сейчас же ее и прогонял. Он сделался задумчивым, скучным, и хотя продолжал вести дела хозяина по-прежнему, однако ж без особенного в них участия.

Но судьба бодрствовала над ним невидимо.

Однажды, когда он сидел за своим прилавком, перекидывая на счетах, вдруг в лавку вошла молодая женщина в сопровождении Аннушки. Иван не верил глазам своим. На него нашел какой-то столбняк, так что он и видя не видел, и слыша не разумел. И только уже после вторичного вопроса аннушкиной спутницы он пришел в себя и вспомнил, что в лавку, кажется, для всех вход открыт. Выложив требуемый товар, Жемчужин решился спросить о здоровье Петрикова. В это время вошла в лавку третья покупательница, знакомая аннушкиной спутницы, и они, как водится, не упустили случая пострекотать немножко. Иван мог свободно говорить с Аннушкой; но язык, как на беду, совсем забыл, что есть русская речь на свете. Наконец кой-как собравшись с духом, он спросил вполголоса Аннушку, не сердится ли она на него за то, что он смел ее сватать.

Аннушка, покраснев как маков цвет, сказала тоже вполголоса, что сердиться тут, кажется, не за что.

— Вот вы так, верно, сердитесь, — говорила она, не поднимая глаз. — С того самого дня вы ни разу не проходили по ули-

це. И дедушка не раз спрашивал: что это с вами сделалось? Уж не больны ли вы?

— А вы, Анна Васильевна, желали бы, чтоб я проходил по вашей улице? — спросил Жемчужин с необыкновенною смелостию.

— Я очень желала бы этого, — отвечала Аннушка со всей откровенностию невинной души.

— Ну, так я с сегодняшнего же дня стану опять ходить мимо вашего дома. Только уж вы, Анна Васильевна, пожалуйста — того — удостойте этак взглянуть на меня. А то мне и ночь не уснуть спокойно.

Между тем третья покупательница вышла, и Жемчужин смекнул, что разговор должен кончиться. С живостию он вытащил кусок сукна, подвернувшийся ему под руку, и сказал громко:

— Ну, уж этого ситцу лучше во всем гостином нет.

— Спрячь-ка, батюшка, свое сукно подальше, — сказала аннушкина спутница, — да лучше скажи: али порог высок у Якова Степаныча? али собаки больно кусаются?

Жемчужин оторопел.

— По-моему, не мешало бы почтить старика, — продолжала женщина. — Не всякий те раз пойдешь в лавку. У людей зорки глаза.

Сказав это, аннушкина спутница пошла в другую лавку. Аннушки же давно уж и след простыл.

Долго стоял Жемчужин за прилавком, пощипывая сукно, пожалованное им в ситцевый чин, и раздумывая, что бы значили эти слова. Но наконец, припомнив свой разговор с Аннушкой, он ухватился за слова Петрикова насчет его здоровья и тут же положил — в первое воскресенье отправиться к старику с поклоном.

Воскресенье наступило. Верный своему слову, хоть и не без страха — каков будет прием, Жемчужин отправился к Петриковым. Старик принял его приветливо, поблагодарил за сделанную честь предложением, посадил подле себя, и так как в купеческих домах в праздничные дни чай всегда пьют после обедни, то нечего говорить, что Ивану вынесли чашку чаю.

Разговор сначала шел о погоде, о празднике, о том, кто был в церкви, и о других не менее важных предметах. Наконец Петриков сказал:

— Вглядываюсь я в тебя, Иван Петрович, и вижу, что ты матушкин сынок. Те же глаза, тот же нос, да и в голосе есть что-то такое, что поневоле напоминает дорогую твою родительницу.

— А вы разве знали моих родителей, батюшка Яков Степаныч?

— Вот на! Не только знал, да и хлеб-соль с ними важивал. Христианские были души, упокой их, Господи!

— Да как же я вас ни разу не видал у моих воспитателей?

— С теми я не был знаком; хоть они были тоже люди хорошие, да как-то не привелось познакомиться. Ну, а что, молодец, как дела твои? Благословил ли Господь усердие?

— Оно нельзя сказать, батюшка Яков Степаныч, чтобы я жаловался на мою участь. Хлеб есть, хозяин жалует, добрые люди слово-речь ведут. Да все же далеко до того, чего душа желает.

— Чего же тебе хотелось бы?

— Да хотелось бы на первый раз свой дом иметь, а там, коли Богу угодно, завести и свою лавочку.

— Доброе дело, Иван Петрович, доброе дело, — сказал старик с лукавою улыбкою. — Ведь коли вздумаешь жениться, так надо жену в дом принять: да время и самому приняться за хозяйство. Ну, а подумывал ли ты — как бы приступить к этому?

— Думать-то, почитай, кажный час думаю, да на беду ничего не могу придумать,

— А это почему так? — спросил Петриков.

— Да Бог весть, Яков Степаныч. Станешь думать об одном, а тут — то то, то другое со всех сторон лезет в голову.

— Вот оно что! Значит, ум еще молоденек. Ну, этому горю пособить можно. У меня есть одна вещица, которая полечит твою голову. Надо только принять ее с верою да выполнить кой-какие обычаи. Коли хочешь, я дам тебе эту вещицу.

— Вечно буду за тебя Бога молить, батюшка Яков Степаныч, — сказал Жемчужин, привстав со стула и низко кланяясь.

— Ну, ладно, Иван Петрович. Вот погоди немножко, я сейчас тебе ее вынесу.

Старик ушел в другую комнату, а Жемчужин стал думать — что бы это за вещица такая? Знать, что-нибудь непременно этакое. Между тем Петриков воротился с узелком в руках.

— Вот и вещица, — сказал он, развязывая узелок. — На вид-то она уж куда простенька, да за то в ней весь ум сидит.

Старик развязал платок и вынул простой вязаный колпак.

Жемчужин с изумлением смотрел то на колпак, то на Петрикова и не знал – шутит, что ли, али смеется старик.

— Вот видишь ли, – продолжал Петриков, как бы не обращая внимания на изумление Ивана, — коли хочешь о чем подумать, стоит только надеть этот колпак на голову и просидеть в нем час-другой, не думая более ни о чем, кроме своей думы. И скажу тебе — откуда мысли возьмутся! Не веришь? Ну, так сегодня же сделай пробу. Ведь ты говорил, что хотелось бы свой дом иметь! Вот и думай об этом крепко час-другой, не развлекаясь ничем прочим. Сам увидишь, что старик не лжет. А теперь пока до свидания. Мне надо кой-куда сходить. Прощай же, Иван Петрович, да сделай только все, как я тебе говорил.

Жемчужин взял узелок и простился с Петриковым.

— Да постой-ка на минутку, – сказал Петриков ему вслед. — Надо сказать тебе, что иной раз голова горяча, а на такой голове вещица не так хорошо действует. Постарайся прохладить свою голову, вот хоть, например, сосчитав, сколько петель по окраине. А не то подожди до утра, когда спокойный сон освежит голову. Теперь поди с Богом.

Жемчужин вышел и целую дорогу думал о чудесном колпаке. Уверительный тон, которым говорил ему Петриков, изгонял сомнение насчет действительности чудесной силы колпака. И хоть порой молодой ум на этот счет делал какую-нибудь выходку, но Иван всякий раз говорил насмешнику: цыц! Молчи до поры до времени! Дай сперва попробую!

Вы видите, что колпак и в кармане начинал уже обнаруживать свое действие.

По приходе домой Жемчужин спрятал подальше подарок старика, оставив пробу его до вечера, а сам пошел к хозяину обедать.

Но вот настал и вечер. Жемчужин заперся в своей комнате и вытащил колпак. Повертев его несколько времени в руках, он наконец – не без страха, однако ж, – решился надеть его на себя и принялся думать — чем бы поправить свое состояние?

Сначала мысли его были довольно смутны; колпак беспрестанно напоминал ему о себе, вероятно, по новости своего положения. Но чем более Жемчужин, по совету старика, углублялся в свой предмет, мысли все делались яснее и обильнее,

так что, наконец, он совсем забыл о новом своем украшении и совершенно увлекся своим предметом.

Результатом мыслей Жемчужина был следующий монолог, сказанный им, вероятно, в угождение доброму старому времени.

— «Да, я до сих пор был дурак дураком. Промотал отцовское наследство, потерял доброе имя, хотел даже топиться. Бог спас меня от гибели, я еще живу на белом свете. Да сделал ли я еще что-нибудь путное, кроме того, что питаю глупую утробу да грею грешное тело? А ведь вон, например, есть же люди, которые начали ни с чего, а теперь считают тысячи. Уж само собой, что они не сидели, как я, сложа ручки, довольствуясь насущным хлебом. Отчего бы и мне не попробовать своего счастья? Денег у меня, правда, нет, да ведь в свете не без добрых людей. Попытаюсь занять там грош, там копейку, — смотришь, алтын будет. А тут попрошу хоть вон Якова Степаныча али и своего хозяина — научить меня уму-разуму — как бы лучше этот алтын в рост пустить. Удастся, ну, и слава Тебе, Господи; не удастся, попытаем удачи на другом пути. Ведь Бог труды любит, говаривал покойный мой второй отец, а деньга деньгу в гости зовет. Я же теперь не один. Анюша хоть пока и не моя, да все уж родная мне. Завтра же переговорю с Яковом Степанычем и с хозяином; может, они научат меня — где денег взять. Благослови же, Господи Иисусе Христе, меня грешного на доброе дело!».

Сказав это, Иван снял колпак и стал класть земные поклоны перед образом своего ангела, единственным наследством, оставшимся у него от всего родительского имения.

И Бог благословил его!

В ту же ночь, разумеется, пока во сне, Жемчужин увидел себя обладателем огромного богатства: денег была у него куча, хозяин был главным прикащиком, а хорошенькая Аннушка сидела подле него с работой и смотрела на него так сладко, что сердце его прыгало от удовольствия.

На другой день в свободную минуту Жемчужин отправился к старику Петрикову с благодарностию за его подарок и за добрым советом.

Старик по-прежнему принял его ласково; но когда узнал причину его прихода, то, не пускаясь в дальний разговор, сказал только: к чему тут мои советы, когда у тебя теперь свой совет-

ник под рукой. Надевай с Богом колпак и подумай снова. Вот когда решишься на что-нибудь, так приходи ко мне, я послушаю; может, тогда и мне придет что-нибудь в старую голову.

Вечером Жемчужин опять сидел, запершись в своей комнате, в колпаке и думал думу – где бы лучше зашибить копейку? Мысли сегодня приходили еще легче. Много планов завертелось под колпаком, выбирай только. Но главных было три. *Первое*, сбиться как-нибудь, завести на первый раз хоть фурман и начать торговать какой-нибудь мелочью. Но это средство разбогатеть было слишком медленно. *Второе*, наняться в обозные прикащики к какому-нибудь купцу, имевшему дела в Кяхте, купить там чаю и сбыть его с барышом в городе. Но и в этом плане – богатство было слишком отдаленною наградой. Наконец, *третие*, ехать в Обдорский край, наменять лисиц и соболей и другого прочего и везти их на ирбитскую ярмарку. Правда, тут было много хлопот и лишений, но зато из-под шкурки чернобурой лисицы или соболя с проседью капитал выглядывал гораздо приветливее. Решено испытать последнее.

– Теперь надо подумать, откуда денег взять, – сказал Жемчужин, поправляя своего советника. Но прикоснувшись к голове, он заметил, что она у него довольно горяча, и потому решился отложить думу до утра, на свежую голову.

Утром, помолившись Богу, Жемчужин опять сидел под колпаком с думой – где бы вернее взять денег?

Стал перебирать он всех известных ему людей с достатком, начиная от хозяина до последнего мещанина в городе. Много насчиталось людей с капиталом, да колпак не указал ни на одного из них. Один был скуп, другой – глуп, третий – с пороком. Перевернув раза три своего советника, для большего его ободрения, и все еще не получая от него ответа, Жемчужин приплюснул его с досадою. Бедный советник съежился и должен был для спасения души своей сказать всю подноготную. «Да ведь где-то в Москве есть у тебя крестный отец, богатый купец», – шепнул он невольно Жемчужину. Иван готов был расцеловать советника. «И точно, – сказал он сам себе, – вот дурак-то я! Ищу под небом, а дело под но-сом. Дай-ка пошлю грамотку к крестному, расскажу все без утайки и попрошу деньжонок на разживу».

Сказано – сделано. В ту же минуту Иван взял листок бумаги и написал следующее письмо:

«Милостивый государь, крестный батюшка Егор Дмитрич.

Много виноват пред тобой, мой крестный государь батюшка, что до сих пор не послал тебе грамотки и не просил родительского твоего благословения, навеки нерушимого. А вся причина тому глупый мой разум и беспамятство. И скажу тебе, мой крестный государь батюшка, о себе всю правду-истину, без утайки и по совести. Жил я до сих пор дурак дураком, не было кому побить меня и попестовать. Батюшка и матушка в сырой земле, а ты в каменной Москве. А нынче, благодаря Господа и святых Его угодников, я за ум взялся. Хочу в прежних грехах покаяться да зажить по христианскому обычаю. Да только у меня не на что дело начать. Жалованье у меня убогое, а от имения родительского остался один крещеный крест. Взмилуйся надо мною, мою крестный государь батюшка, да пришли мне на разживу сколько тебе Господь в твой ум вложит. А я, вот те Христос, нынче совсем поправился: вина не пью, а о сикере вовсе не думаю. Вот хоть спроси у моего хозяина Поликарпа Ермолаича Троелисткина. А за это тебе, мой крестный государь батюшка, я покон веку слуга, со всем моим будущим родом и племенем».

Так как тот день был почтовый, то Жемчужин снес тотчас же свое письмо на почту и стал молиться Богу в ожидании будущих благ. Иногда он прибегал к своему советнику, но тот упорно стоял на одном: «Подожди ответа».

Через месяц или около того хозяин Жемчужина позвал его к себе на половину. Серьезный вид его говорил, что разговор будет серьезный, Иван поклонился хозяину и стал смиренно у дверей.

— Садись, садись, Иван Петрович, – сказал хозяин ласково. — Мне надо кое о чем потолковать с тобой.

Иван сел.

— А что, Иван Петрович, я, кажись, до сих пор не слыхал, что у тебя жив еще твой крестный отец.

— Да к слову не пришлось, Поликарп Ермолаич, – отвечал Жемчужин, а сердце его так и ёкало.

— А кто, бишь, твой крестный батюшка?

– Московский купец 1-й гильдии Егор Дмитрич Залетаев.

— Так и ко мне писано. Вот тебе от него грамотка.

Иван дрожащею рукою взял от хозяина письмо и прочел: «Спасибо, крестничек, что вспомнил о своем крестном отце. Больно жалел, что молодость твоя неразумная; а исправлению твоему сердечно порадовался. По просьбе твоей я посылаю тебе тысячу рублев денег на имя твоего почтенного хозяина. Дай Бог, чтоб ты разжился с моей легкой руки, и на это тебе мое благословение».

У Ивана готовы были брызнуть слезы от радости. Тысяча рублей! Да это такая благодать, о которой моему Ивану и во сне не грезилось.

— Ну, что ж ты, как думаешь, Иван Петрович? — сказал хозяин. — Теперь ли деньги возьмешь, али ужó по расчете? Ты ведь, наверное, теперь сам собою торговать захочешь.

— Не погневайтесь, батюшка Поликарп Ермолаич. Хотелось бы попробовать удачи своим умом-разумом.

— В добрый час. Вот на этой неделе мы покончим с тобой дела по лавке, а там начинай себе жить с Богом по своему разумению.

Иван, простившись с хозяином, с письмом крестного отца в кармане, со всех ног пустился к Петрикову.

Добрый старик душевно порадовался неожиданному счастию Жемчужина и спросил, что он намерен теперь делать.

Иван объяснил ему свой план ехать в Обдорск за соболями да за лисицами.

— Что ж, доброе дело, — сказал старик. — Я знал многих, которые в этой торговле клад нашли. Только одно, Иван Петрович, при торговых делах своих не забывай почаще надевать мой колпак, — прибавил он с какою-то странною улыбкою.

Иван уже начинал понимать, в чем дело, и тоже улыбнулся.

Теперь он принялся приводить в порядок счетные книги хозяина. Так как он вел дело исправно, то счеты были скоро кончены. Он получил причитавшееся ему жалованье и простился с добрым хозяином.

Надо было подумать о квартире. Колпак указал ему на прежнего его знакомого бедняка, у которого он нашел первый приют. Дело было слажено, и теперь Иван, разумеется, тоже по совету колпака вошел в знакомство с прикащиками тех купцов, которые вели торговлю пушным товаром. Они научили

его, как и что и где делать надобно. Сметливый ум Ивана или, скорее, колпак дедушки Петрикова пособил ему отличить шелуху от зерна и решил его – не тратить времени по-пустому. Не прошло и месяца по получении от крестного денег, как Иван шел уже проститься с Петриковым.

То ли старик был в добром расположении, то ли желал утешить его на предстоящую долгую разлуку, только на этот раз Аннушка не подглядывала уже в дверную скважину, а сидела с дедушкой и гостем в одной комнате.

– Ну, Иван Петрович, – сказал старик между прочим, – начинай пробовать свое счастие. Ты знаешь меня, я никогда не отпирался от своего слова. Собьешь капиталец – невеста налицо. А до тех пор, извини, мы только знакомые.

Жемчужин взглянул на Аннушку, которая от стыда не знала, куда деваться, и сказал Петрикову:

– За такой клад я рад душу свою положить, Яков Степаныч. Не забывай только порой порадовать меня об ней весточкой.

– Ладно, коли случится оказия, не премину. Так ты завтра и в путь-дорогу?

– Да, батюшка Яков Степаныч. Схожу на могилу своих родителей, да отслужу напутственный, да и отправлюсь в дальний путь, с благословением твоим и крестного.

– Дело, Иван Петрович, дело. А чтоб благословение мое было не на одних словах, погоди, вот я вынесу тебе образ Николая Угодника.

Старик вышел.

Мысль, что он в последний, может, раз сидит с своей Аннушкой, придала Жемчужину решимость. Он подошел к девушке и сел подле нее.

– А вы, Анна Васильевна, каким словом напутствуете меня на дорогу?

– Я буду молиться за вас, – отвечала Аннушка, не поднимая глаз от шитья,

– И вашу молитву, верно, Господь услышит. Каждый раз, как мне будет горько, я припомню себе, что вы за меня молитесь, и горе как рукой снимет.

– Только вы уж, пожалуйста, Иван Петрович, – решилась промолвить Аннушка, взглянув на Жемчужина, – не слишком

вдавайтесь в опасности. Там, говорят, медведи днем ходят по улицам.

— Так что ж, Анна Васильевна. Умереть, так умереть. Кто о сироте пожалеет?

— Бог с вами, Иван Петрович. А вы и забыли об нас, — сказала Аннушка с упреком. Слеза невольно навернулась на ее живых глазках.

— Простите меня, пожалуйста, Анна Васильевна. Это, ей Богу, не знаю, как вырвалось. Не гневайтесь на прощанье. Может быть, мы долго не увидимся.

— Я не гневаюсь, Иван Петрович. А только больно обидно было... ну, да уж Бог вас простит. Вперед только не говорите мне этого.

Послышались шаги старика; Жемчужин пересел на прежнее место.

После трогательного благословения образом Николая Чудотворца Петриков обнял Жемчужина и пожелал ему счастливого пути. Едва удерживая слезы, Иван посмотрел на Аннушку, хотел что-то сказать, но вдруг заплакал и вышел из комнаты, взяв только благословенную икону. Аннушка убежала в свою комнату, всхлипывая.

На другой день Жемчужин отправился на дальний север с целым возом разных разностей, необходимых при мене с инородцами. Разумеется, что колпак занимал у него первое место в шкатулке. Он так привык к своему советнику, что без него, казалось, голова его не родила бы ни одной порядочной мысли.

Я не поведу вас по дороге за Жемчужиным. Скажу только, что путь его был не розовый. И теперь еще в зимнее время из Березова в Обдорск ездят по указанию светил небесных, а тогда эта астрономическая беспутица начиналась гораздо ближе. Полыньи в аршин, суметы в сажень, недостаток корма, холод за 40°, убийственные бураны, незнание языка инородцев, приятные встречи с волками и медведями, собачья езда и другие разные разности составляли не слишком веселую обстановку дороги. Зато перспектива была приятная. Край, куда ехал Жемчужин, в то время был еще мало початый рудник. Соболей, как говорят, бабы коромыслами ловили на улицах. За полштофа водки глупый остяк отдавал голубого песца или лисицу. А мелочи — белок и горностаев — за один стакан кидали десятками.

Надо было только уметь пользоваться случаем. И Жемчужин, как увидим, не давал промаху.

Теперь посмотрим, что делают Петриковы. Проводив Жемчужина, они принялись за свои обыкновенные работы; старик за продажу и покупку, Аннушка за хозяйство и вышиванье. Случалось, что в иную минуту дедушка заводил разговор о Жемчужине, но все в таких общих выражениях, как бы дело шло о постороннем человеке. А девушка не смела или стыдилась заговорить посердечнее. Вот прошло полгода – вестей не было. Минуло еще три месяца – никакого слуха! Сам старик стал заботиться, хотя и не подавал вида своей внучке. Под рукой разведывал он от всех, имевших дела в Обдорске, – не слыхали ли чего о Жемчужине; но ответы были мало удовлетворительны. Сказывали только, что Жемчужин был в Березове и отправился в Обдорск; но тем сведения и оканчивались. Бедная Аннушка совсем изменилась в характере, сделалась грустна, сидела большею частию молча. Куда девались ее звонкие песни, ее веселые проказы, которые, бывало, так тешили дедушку? Петриков не на шутку задумался.

Ровно в год по отъезде Жемчужина, раз, когда дедушка со внучкой сидели вечерком за чаем и напрасно пытались завести какой-нибудь веселый разговор, вдруг застучала калитка и кто-то вошел во двор.

– Кто бы это такой? – сказал старик, прислушиваясь. Чашка у Аннушки осталась недопитою. Сердце ее, по какому-то тайному предчувствию, билось без милосердия. Она остановила глаза свои на двери и, кажется, сама бы в нее выпрыгнула.

Она угадала. Скоро вошел в комнату Иван Жемчужин.

– Дорогой гость! Да как снег на голову, – вскричал Петриков с невольною радостию. Аннушка не могла встать с места, и только слезы тихо катились по ее щечкам.

Помолившись иконам, Жемчужин бух в ноги Петрикову.

– Что ты? Что с тобой, Иван Петрович? – сказал тронутый старик, стараясь поднять Ивана. – Надо Господу Богу, а не мне кланяться.

– С радости, батюшка Яков Степаныч, с радости, – сказал Жемчужин со слезами на глазах. – Ведь подумаешь, целый год не видал вас, мой благодетель.

Тут Жемчужин обратился к Аннушке, хотел тоже сказать что-нибудь, но язык прилип к гортани. Он только низко поклонился.

— Садись-ка, садись, дорогой гость, — начал Петриков, — да расскажи, что ты это запропал. Хоть бы одну весточку послал с дороги! Ну, сказывай же, что, как дела твои? Благословил ли Господь твои труды? А коли язык примерз, так вот тебе Анюша чайком его отогреет.

И Жемчужин начал историю своих похождений — где и как и что было, и кого видел, и что перенес, и, наконец, что Бог послал за труды. Итог вымененных им пушных товаров был так значителен, что старик, перекрестившись, сказал:

— Велики щедроты твои, Господи! Ну, а что ты намерен теперь делать с своею рухлядью? — спросил он, обращаясь к предмету разговора.

— А вот сегодня вечерком надену твой колпак да подумаю, — сказал Жемчужин с усмешкой.

Старик тоже рассмеялся.

— Но уж, наверное, не шубу шить, — сказал он весело.

— Э, куда нам, батюшка Яков Степаныч, такие шубы носить! Есть у нас и тулуп для этого. Вот если бы дело шло об Анне Васильевне, так бы не жаль чернобурую.

— Ну, для этого еще придет очередь, — сказал старик. — А прежде надобно овчинки свои обменять на светлые копеечки. Кстати, и Ирбит близко.

— Я так и думаю, Яков Степаныч. Вот подыщу попутчиков, да и пущусь на Святую Русь, за твоим благословением.

Так как разговор затянулся допоздна, то Петриков оставил Жемчужина отужинать. Ужин был небогат, да зато все гости веселы. И наговорились, и нагляделись досыта.

Через неделю Жемчужин был снова в дороге. Бог, видимо, благословлял его труды. Путь был благополучный; покупщики тороваты. Продав свой товар гораздо выгоднее, чем рассчитывал, и закупив кой-каких вещей на всякий случай (сережек, да перстеньков, да подобного вздору), Жемчужин вернулся в свой город с очень порядочными деньгами. Он был уже не тот бобыль, что прежде, и похаживал в лисьей шубе и в бобровой шапочке. Снова прежние приятели стали с ним разговаривать, но он отплачивал им такими же сладкими словами, и тем дело

кончалось. Один только остался у него приятель, помните, у которого он нашел приют и квартиру. Жемчужин уговорил его идти к нему в пособники и стал приучать его к торговому делу.

Между тем время шло. Посоветовавшись с своим колпаком, Жемчужин решил, что хорошего начала покидать не следует, и стал снова собираться на север, и хотя Аннушка, услыша об этом от своего деда, надула было свои розовые губки, но и она вскоре успокоилась. Может быть, думала она, это будет последняя поездка и воротится он раньше прежнего, а там... там... Тут, верно, мысли ее приняли веселый оборот, потому что глазки ее засверкали, будто звездочки, а на лице так румянчик и поигрывал.

Незадолго до второй поездки Ивана старик Петриков праздновал день своего рождения. В числе гостей был, разумеется, и Жемчужин. За закуской хозяин развеселился и велел подать бутылку заветного.

Рюмки поднесены гостям, кроме одного Жемчужина.

— А поди-ка сюда, Анна Васильевна, — сказал старик, посмеиваясь. — Вишь, обнесли беднягу Ивана Петровича. Поправь-ка ошибку, да подай ему вот эту рюмочку из своих белых ручек.

Аннушка, не зная, к чему идет дело, взяла поднос и подошла с рюмкой к Жемчужину.

— Ну, Иван Петрович, авось, из рук *невесты* винцо слаще будет.

Поднос затрясся в руках Аннушки. Жемчужин не верил своим ушам.

— Ха! ха! ха! вишь, как их отуманило! Небось, дело нежданное. Ну, что же ты, молодец, церемонишься? Али винцо худо, али невеста не глянется?

Жемчужин взял рюмку и выпил, сам не зная, что делает.

— Вот это так! А вы, господа честные, — продолжал старик, обращаясь к гостям, — поздравьте-ка жениха и невесту.

Начались поздравления. Новые излияния последовали за первыми, и развеселившийся старик заставил Жемчужина, по русскому обычаю, при всех гостях поцеловать свою невесту.

Подали ужин, Жемчужина посадили подле Аннушки, вероятно, для того, чтобы дать им случай наговориться досыта. Но не тут-то было.

Весь ужин они молчали и только порой друг на друга умильно взглядывали.

— Ну, что, Иван Петрович, верно, теперь не станешь мне сулить дурака с кулака? А? — спросил старик во время ужина, захохотав.

— Полноте, батюшка, Яков Степаныч, — сказал Жемчужин. — Ведь знаете русскую нашу пословицу: кто старое помянет. А только все-таки скажу вам, что верно сам Господь надоумил вас посмеяться тогда над моею глупостью. Кто знает, кабы вы стали жалеть меня да упрашивать, так, может, я и совершил бы свой злой умысел, хоть вот бы, например, для того, чтоб вы хорошенько обо мне поплакали.

Рассказ мой приходит к концу. Жемчужин снова съездил в Обдорск и в Ирбит и опять получил знатную выручку. Через несколько времени сыграли свадьбу. Петриков выкупил родовой дом Жемчужина и подарил его молодым. В этот год Жемчужин не ездил сам в Обдорск, а посылал своего пособника, который тоже был малый со смыслом и исполнил свое дело как нельзя лучше. К довершению всего вышесказанного крестный отец Жемчужина, узнав от верных людей о поведении своего крестника, прислал ему несколько тысяч рублей на первое, как он писал, обзаведение по хозяйству. Жемчужин попал теперь в число почетных купцов, и хотя прежний его хозяин не пошел к нему в прикащики, однако ж при свидании с ним частенько первый снимал свою шапку.

А дедушкин колпак? — спросите вы. Колпак всегда хранился в шкатулке Жемчужина, и не один раз, беседуя с Петриковым, Иван Петрович говорил, что этот колпак научил его уму-разуму и был после Петрикова и Аннушки первой виной его счастья.

Академик замолчал.

— Исполать твоему колпаку! — сказал Таз-баши. — Теперь придется дать этому словечку более завидное значение. И будь уверен, что при новом издании академического словаря я непременно сделаю это. Одно только мне не по сердцу. В колпаке твоем, несмотря на весь его ум, довольно лишних петель, которые если бы и спустить, колпак бы не разъехался.

— Ну, уж каков связан, таков и носи, любезнейший. Иглы мои любят широкую вязку, — отвечал с улыбкой Академик.

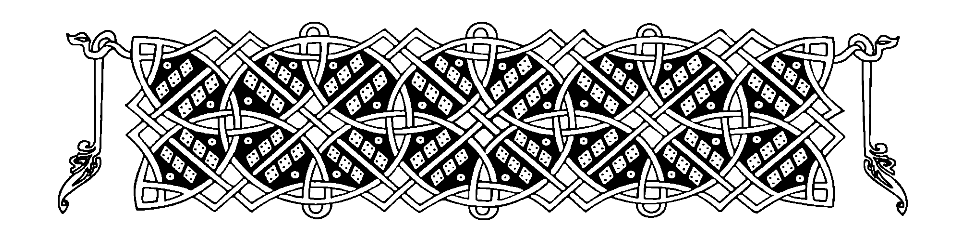
— Эти *привязки* к колпаку — не даром, — сказал Безруковский. — Не почувствовала ли голова Таз-баши, что ей не худо бы в иную пору примерить этот колпак на себе?

— Нет уж, ваше высокоблагородие, прошу меня уволить от этого. Я небольшой охотник ни до чего академического.

Взаимные шутки продолжались еще несколько времени. Наконец Безруковский взглянул на часы и сказал:

— Как незаметно идет время! Скоро двенадцать.

— Другими словами, что г. полковнику спать хочется, — сказал Таз-баши, взглянув искоса на Академика. — Значит, теперь моя очередь. Ваш слуга, г. полковник! — Господа! Места и внимания!



РАССКАЗ
О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕДУШКА МОЙ, БЫВШИЙ У ЦАРЯ КУЧУМА ПЕРВЫМ МУФТИЕМ, ПОЖАЛОВАН В ТАКОЙ ЗНАТНЫЙ ЧИН

— Впрочем, прежде чем приступлю к своему рассказу, почитаю нужным предупредить вас, что это будет не повесть, а только предисловие к тем повестям, которые я намерен предложить вашему вниманию. Пожалуй, назовите его эпиграфом, или аракчином, или чепухою, я не стану отвечать на подобные вздоры и начинаю.

Дедушка мой Сафар Маметев происходил от знатного рода. Отец его Маметь был главным кухмейстером при дворе Кучума и знал дело свое так отлично, что на всем пространстве — от Иртыша до Енисея — не нашлось ни одного человека, который бы осмелился поспорить с ним в этом благородном искусстве. Особенно же он был неподражаем в пилаве с бараниной и в пельменях из конины. По сказанию современников, это было сладость неизреченная! И что за страсть к своему искусству была у моего прадедушки! Чуть только заслышит он, бывало, звон кастрюль и сковород, как в ту же минуту, где бы он ни был, летит варить и жарить все на свете! — Но и прабабушка моя занимала не менее важную должность во дворце Кучума. Обязанность ее состояла в том, чтобы шить и штопать на его ханское величество, что и исполняла она с неподражаемым искусством. Один татарский летописец говорит даже в своей хронике, что

царь Кучум нарочно рвал свое белье, лишь бы только иметь удовольствие видеть работу моей прабабушки.

Но как известно, что гении сходятся, поэтому нет ничего мудреного, что прадедушка мой влюбился в прабабушку, а прабабушка в прадедушку. Разумеется, что они по тогдашним летам своим были еще очень далеки от этих почтенных имен; но для ясности рассказа я должен состарить их преждевременно. – Тот же летописец придворных дел царя Кучума сказывает, что прабабушка моя была красавица и что прадедушка был молодец хоть куда! Я охотно верю этому, происходя от них по прямой линии. Пожалуй, русский вкус скажет, что это должно быть самое темное место летописи, требующее пояснения; но уж известно, какою славою пользуется русский вкус в деле эстетики. Притом же вы знаете, что узкие глаза не то, что широкие, и потому не подлежит ни малейшему сомнению, что прадедушка и прабабушка мои были Аполлон и Венера в своем роде. Итак, это дело решенное. Я не стану распространяться о том, каким образом Амур – этот татарский божок с колчаном и луком – поддел на свою стрелу нежные сердца прадедушки и прабабушки. Скажу только, что в каждый праздник лучший кусок с кухни царя Кучума, неизвестно каким образом, являлся на столе у моей прабабушки; а в каждый байрам прадедушка щеголял в новой куртке из царского гардероба. Эти взаимные одолжения дошли наконец до того, что в один прекрасный день главный мулла с великим удовольствием прочитал брачную молитву над головами прадедушки и прабабушки, а еще с большим удовольствием сел за свадебный стол, на котором надеялся найти пилав и пельмени. – Плодом этого брака был мой дедушка. Долг историка заставляет меня сказать, что дедушка мой родился таким маленьким и худеньким, что прабабушка моя, увидав его, невольно покачала головой, а прадедушка не мог удержаться, чтобы не сказать: «Должно быть, дрянь будет». Таким образом первый привет моему дедушке был не очень лестен для его самолюбия. Но кроме этого неважного обстоятельства, все остальное обстояло благополучно. День был из числа счастливых; планеты стояли в самых благоприятных соединениях, и даже, как говорит летопись, в самую минуту рождения дедушки главный мулла громозвучно чихнул в своей комнате, как бы почуяв необыкновенное событие.

Я не буду много говорить о детстве дедушки. Этот возраст так бесцветен, что в нем самый зоркий глаз не отличит дюжинного ума от гения. Правда, и в детстве своем дедушка, по примеру маленьких великих людей, обнаруживал свою гениальность многими проблесками остроумия и проницательности; но как в то же время другие его подвиги сильно отзывались всею бестолковостию ребенка, то сам главный мулла в предвещании о будущем назначении дедушки возложил все упование свое на Аллаха.

Так продолжалось до десяти лет, когда г. Маметь, посоветовавшись с главным муллой, решил отдать молодца в учение татарской грамоте. При этом неожиданном известии дедушка мой отчаянно замотал головой и заткнул себе пальцами оба уха. Сколько г-жа Маметь не утешала его, сколько г. Маметь ему ни грозил, дедушка мой не хотел и слышать о таком неслыханном мучении. Наконец г-же Маметь пришло в голову — между прочими представлениями пользы грамоты — сказать следующее: «Учись, Сафарчик! Выучишься грамоте — муфтием будешь!».

В этих словах, как они просты ни были, слышался голос судьбы, и потому они не могли не произвести впечатления на ребенка. Правда, дедушка мой не понимал еще всей важности слова «муфтий», но припоминая себе, с каким благоговением отец и мать и их знакомые произносили его имя, как низко кланялись, встречая его на улицах, он возымел огромную идею о могуществе муфтиев. Держать всех в руках, кушать, когда захочется, спать, когда вздумается, — все это мгновенно победило его упрямство, и он тут же, к величайшему удовольствию отца и матери, сказал решительно: «Учите грамоте, хочу быть муфтием!».

Это честолюбивое желание было главное зерно всех приятностей и неприятностей будущей его жизни!

Известно, что татарская грамота не то, что русская, поэтому бедный дедушка с самого первого дня получил уже печальную идею о трудностях к достижению муфтиевской должности. Когда же к этому впоследствии присоединились страдания ушей, рук, ног и прочего, то хотя он и не отказался от желания быть муфтием, однако ж всегда, при встрече с своим предместником, он печально оглядывал его со всех сторон, как бы опа-

саясь найти в нем еще новые признаки, необходимые на пути к муфтийству. Одни только волосы его не были учены грамоте, да и то потому, что рука брадобрея подсекала их под самый корень.

Но время шло. Дедушка привык и к буквам, и к наказаниям и смотрел уже на них спокойным оком философа. Не один раз, потирая за спиной, он говорил сам себе с настойчивостию, достойною времен Муция: «А все-таки муфтием буду!».

Эта настойчивость характера была вторым зерном всех приятностей и неприятностей будущей его жизни!

Таким образом к 15-летнему возрасту, в который сыны Ислама особенною процессиею посвящаются в возраст мужей, характер дедушки уже образовался окончательно. Оставалось только случаям и обстоятельствам развить его и упрочить. Разумеется, что судьба, всегда благоприятствующая своим избранникам, не замедлила доставить ему те и другие в изобилии.

И во-первых, честолюбие дедушки было отчасти удовлетворено назначением его к царю Кучуму на посылки. Здесь он имел случай изучить характер Кучума и роли, которые придворные — волею или неволею — играли во дворце. Здесь же он узнал то неоцененное искусство: видя, не видеть и, слыша, не понимать, — которое глазам и ушам придворных дает особенную организацию, совершенно противоположную физическому их назначению. Но изучив это искусство, дедушка мой пошел далее. Благодаря своему гению он приобрел еще другую способность: видеть, не смотря, и слышать, не слушая. И эту, собственно ему принадлежавшую способность беспрестанными упражнениями он довел до того, что довольно было для него одного слова или жеста, чтобы угадать, в чем дело, и действовать сообразно обстоятельствам.

Что ж касается до настойчивости характера, то она ограничивалась пока постоянным желанием его — при первой оказии занять место муфтия.

Чрез несколько лет после посвящения моего дедушки в мужи, а потом и в мужья одной молоденькой татарочки, обещавшей со временем сделаться садом для глаз и малиной для рта, отец его Маметь Ниясов совершил последний важный подвиг на этом свете, то есть взял да и умер. Прабабушка, поставив огромный сруб над его прахом, несколько времени не могла

утешиться. Потом вздумала было искать развлечения в новом муже; но так как отцветшая красота ее составляла очень небольшую приманку для ветреных сынов Ислама, то г-жа Маметь, совершенно справедливо заключив, что эта жизнь гроша не стоит, решилась последовать примеру незабвенного своего супруга.

Теперь, ознакомив вас с родителями дедушки и с его характером, я приступаю к тому достопамятному случаю, который осуществил любимую его идею и дал ему муфтиевскую куртию.

Летопись говорит об этом следующее.

В тысячу... таком-то году (извините, хронология моя часто спотыкается), Аминь, первый муфтий его ханского величества царя Кучума, после долгого и блистательного отправления должности своей, был, хотя и без всякой со своей стороны просьбы, неожиданно приглашен Азраелем пожаловать к нетерпеливо ожидающим его гуриям магометова рая. Место первого муфтия очистилось и, как водится, зашевелило не одно честолюбие в кругу придворных царя Кучума. Но вероятно, Кучум не решался вдруг сделать такой важный выбор, а может, ждал указания судьбы, только несколько недель стул муфтия сиротел в одиночестве. Кажется, нечего говорить, что искательство не дремало. Один припоминал свою долголетнюю службу, другой — военные подвиги, третий — административную свою способность, четвертый — ласковый взгляд, брошенный на него когда-то царем, пятый — родство с одною из жен Кучума, шестой — свойство с одною из его любимиц, седьмой надеялся на глупое счастие, восьмой — на ошибку судьбы и пр. и пр. Но как ни различны были причины претензий на звание муфтия, однако ж всякий был внутренно убежден, что он один только и способен заменить умершего муфтия. Я нарочно умолчал о своем дедушке, чтобы рельефнее выставить право его на звание муфтия. Но пусть он сам говорит за себя медоточивым своим языком.

— Дурачье! — говорил мой дедушка, лежа на нарах в своей комнате и подняв туфли под прямым углом. — Выставляют свои достоинства, свои дела, а разобрать, так, право, все заслуги их не стоят засаленного аракчина. Я, говорит, одержал победу над остяками и вогулами... Да, большой труд поколотить трусов, имея притом у себя десять на одного! Я, говорит, управлял де-

лами всего государства. Глупец! А взгляни-ка на свое управление чужими глазами, так и увидишь, что тут вздор, здесь чепуха, а там еще хуже чепухи! Хороши будут муфтии! Да и давно ли они осмелились подумать о муфтийстве? Могла ли в три какие-нибудь недели созреть в них мысль о назначении муфтия? Другое дело я, – продолжал мой дедушка, выводя туфлем по стене какой-то вензель. – Я признан муфтием еще в то время, когда другие не имеют отличить муфтия от конюха. С самой первой буквы азбуки судьба готовила меня на это место. И теперь еще, как вспомню о моем учении, муфтийство так и ходит по всему телу, начиная от ушей до подошвы включительно. В течение 30 лет я так сроднился с этою мыслию, что я и муфтий, муфтий и я составляем одно неделимое. И оторвать эту мысль у меня значило бы оторвать сердцевину от дерева. И я буду муфтием! Непременно буду! – вскричал мой дедушка с каким-то вдохновением, вскочив с нар, – хотя бы для этого мне должно было снова пройти всю муфтиевскую азбуку с дополнениями.

Сказав эти слова, дедушка мой, сам не постигая своей решимости, поспешно оделся в лучшее свое платье и, руководимый судьбою, пошел в царский дворец.

— Дитя не плачет, мать не разумеет, – говорил он сам себе, переступая порог приемной залы царя Кучума. – Может быть, царь сам досадует на свою нерешительность в назначении муфтия. Я успокою его душу, показав ему лицо, назначенное судьбою для этого чина.

Рассуждая таким образом, дедушка мой, вероятно, в увлечении забыл придворный этикет и без доклада очутился в царской опочивальне лицом к лицу с его ханским величеством. На беду или, может быть, к счастию дедушки, царь Кучум был не один. На коленях у него сидела любимая его жена – черноглазая Сузге. При нечаянном появлении дедушки, прервавшем нежный поцелуй на половине, Сузге вскрикнула и порхнула в другую комнату, а Кучум в бешенстве, с сверкающими глазами кинулся к нежданному гостю.

— Дерзкий раб! – вскричал он таким голосом, что у будущего муфтия не один раз кольнуло под ложкой. – Как смел ты без доклада войти в мою опочивальню? Или голове твоей надоело сидеть на плечах?

Чувствуя, что это решительная минута его будущности, дедушка мой призвал на помощь все свое мужество и упал к ногам гневного хана.

— Отвечай, я тебя спрашиваю, — вскричал снова царь, ударив ногой в пол.

— Гнев царя — туча громовая, — начал дедушка нараспев, поднявшись на колени и опустив голову. — Гром вылетает из уст его; молния сверкает в его взорах. Бедный червяк прячется от дуновения бури и ждет, пока свет солнечный оденет небо чела повелителя.

Известно, что царь Кучум был поэт. Блестящие метафоры дедушки, как светлые искры, отразились во мраке его гневной души.

— Встань и говори, чтó тебя привело ко мне, — спросил он немного спокойнее.

Дедушка мой, не переменяя своего положения, продолжал в том же тоне:

— Пред кротким веянием ветерка цветок поднимает свою головку, наклоненную бурей. Из чашечки его льется аромат благодарности; лепет листков — гимн милосердию.

— Встань, говорю я, — повторил царь Кучум еще снисходительнее прежнего.

Дедушка решился встать на ноги, со сложенными на груди руками и с поникшей головой.

— Теперь объясни свою дерзость, которая заставила тебя нарушить закон дворца.

— Хан ханов! Царь и повелитель Сибири! Участие в твоей печали заставило презренного раба преступить закон священных палат твоих.

Кучум посмотрел на него с удивлением.

— Говори яснее, — сказал он дедушке.

— Первый муфтий твой (да ниспошлет ему Алла все удовольствия рая!) оставил своего повелителя. Стул его сиротеет без наместника.

— Знаю, что ж из этого следует?

— Слабый ум твоего раба дерзнул проникнуть тайную мысль повелителя. Медленность твоя в назначении такого важного сановника сказала ему о твоей мудрости.

— Другими словами, мудрость раба превзошла мудрость его повелителя и нашла человека, достойного быть первым муфтием. Кто ж этот избранник, по твоему мнению? — спросил царь Кучум с невольною усмешкою.

— Раб твой готов принять на себя всякую должность от руки властителя, — отвечал мой дедушка таким тоном, в котором под нищенским плащом смирения самонадеянность выглядывала во все его прорехи.

Царь Кучум разразился неудержимым смехом.

«Значит, дело идет на лад», — подумал дедушка и даже осмелился поднять глаза на Кучума.

После нескольких порывов веселости царь Кучум сказал дедушке:

— Для такого муфтия, как ты, надо придумать и новый церемониал избрания. Да сверх того, так как расстояние от настоящей твоей должности — состоящего на посылках — до должности первого муфтия очень велико, то ты должен предварительно пройти все степени чиноначалия.

И повернув при этих словах моего дедушку, царь Кучум стал угощать его ударами ноги в приличное место, приговаривая при каждом разе: «Вот тебе казначей! Вот тебе кравчий! Вот тебе постельничий!».

Разумеется, что при таком необыкновенном производстве каждый новый чин невольно приближал дедушку к дверям с необыкновенною быстротою, так что чин постельничего достался ему уже в прихожей. Здесь царь оставил новопожалованного и воротился в свою комнату.

Другой, не столь честолюбивый, как мой дедушка, и не одаренный такой проницательностию, довольствовался бы и этим. Но дедушка мой думал иначе. Приподнявшись с полу вследствие последнего производства, он, с обыкновенною своею настойчивостию в достижении цели, привел свое платье в надлежащее положение и снова вошел в опочивальню Кучума.

Изумленный такою неслыханною дерзостию, царь Кучум несколько минут не мог выговорить ни одного слова. Этим молчанием дедушка мой воспользовался как нельзя лучше.

— Раб твой не найдет слов для выражения благодарности. Но, хан ханов! доверши свои милости и произведи уж меня в чин муфтия.

Сказав эти слова, дедушка мой принял положение, самое удобное для производства в такой знатный чин, и стоял в ожидании.

Царь Кучум не долго медлил своим решением. Но судя по тому, что чин муфтия был верхом почестей, можно было предвидеть, что и производство в него должно было сопровождаться особенною торжественностию. Прежние чины – казначея, кравчего и постельничего – побледнели при блеске муфтиевского, и что там происходило по степеням приближения к дверям прихожей, то здесь совершилось одним разом, и притом с таким великолепием, что дедушка мой долго не мог привстать под бременем нового чина.

Царь ушел в свою опочивальню, а дедушка мой, отдохнув от избытка счастия, медленно отправился домой,

На другой день, ко всеобщему изумлению двора, дедушка мой сидел на стуле первого муфтия, хотя на первый раз и не очень спокойно, по некоторым обстоятельствам.

История моя кончена. Хотя летопись в этом месте наполняет несколько страниц о причинах, которые решили царя Кучума выбрать дедушку первым муфтием, но как они состоят из одних догадок и предположений, то я, из уважения к исторической критике, оставляю их без внимания. Разве приведу только последние слова летописца, которые гласят так: «Воля хана – воля повелителя. Ум его – солнце, которого луч проникает в самые тайные убежища, и там, где простой глаз видит зерно ничтожества, око властителя созерцает росток величия».

— Ну, г. Таз-баши, – сказал Безруковский, когда тот кончил свой рассказ, – твоя история заставит многих, говоря по-вашему, положить в рот палец удивления. Слыхали и мы на своем веку о подобных производствах, но вряд ли кому придет в голову выбрать их сюжетом для своих повестей.

— Отдавая всю справедливость замечанию вашего высокоблагородия, – отвечал Таз-баши, – я все-таки позволю себе

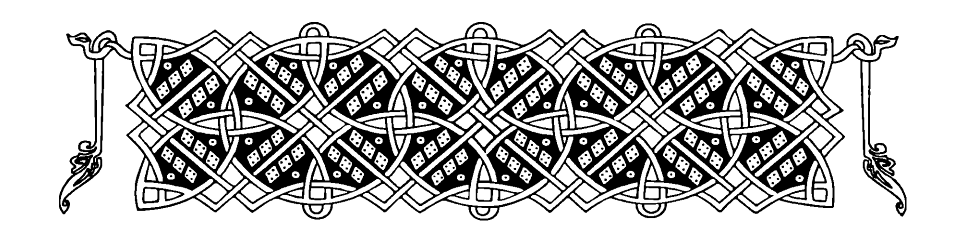
спросить с должным почтением: по какому пункту вашей эстетики сюжет мой осуждается на отсечение руки? Если по своей необыкновенности, то летопись защитит меня, а если только по особенной организации вашего русского вкуса, который часто видит черное в белом, то я, право, не виноват, что судьба очернила мое лицо татарской физиономией и разлила эту черноту по всей крови моей. Сами согласитесь, что мне легко бы пожаловать моего дедушку в чин муфтия с подобающею важностию, но мог ли я, не кривя душой, говорить против достоверных сказаний летописи. Я друг эстетики, но еще более друг истины.

— Высказывая свое мнение, полковник, вероятно, имел в виду одну особу, называемую грацией, — сказал Академик с улыбкой.

— Так что ж из этого? — отвечал Таз-баши, умышленно давая другой смысл словам Академика. — Вольно же было сухопарому греку создать такую щепетильную особу! У нас, татар, — своя грация. И право, как взглянешь на нее, толстушку-смугляночку, когда она идет свободною поступью, посмеиваясь весело и побрякивая серебряными своими запястьями, так невольно глаза подернутся нектарной влагой, а на сердце падет манна амброзии.

— Самый татарский оборот, от которого, впрочем, не отказался бы любой иезуит, — сказал Немец с обычною насмешливостию. — Однако ж из него все-таки видно, что Таз-баши внутренно согласен с замечанием Академика, только по татарской привычке не хочет сделать этого гласно.

— Ну и оставайтесь на здоровье с этим предположением, если оно вам нравится, — возразил Таз-баши. — Ни я, ни вы ничего не проиграем от этого.



ВЕЧЕР II

ЧУДНЫЙ ХРАМ

Через два дня после описанного вечера наши приятели снова собрались у Безруковского. Разменявшись вопросами о здоровье, о новостях, потолковав о литературе и политике, они по приглашению хозяина по-прежнему составили кружок около чайного стола и как бы по взаимному согласию обратили глаза на Лесняка.

— Принимаю, господа, ваш безмолвный вызов, — сказал Лесняк с меланхолическою улыбкою, — и открою этот вечер преданием, которое мне удалось услышать в одно из моих странствований по пустыням Сибири.

— И разумеется, это предание будет иметь основою мир невидимый, а атрибутами леших, русалок и их причет, — сказал Таз-баши, лукаво улыбаясь.

— В основании ты не ошибся, — сказал Лесняк, — но все прочее в сторону.

— Как? — вскричал Таз-баши. — Твой рассказ и не будет ни одного чертика. Это вещь необыкновенная.

— Мир духов состоит не из одних выходцев ада, любезный Таз-баши, есть там и райские жители.

— Понимаю. На этот раз явятся души блаженных и крылатые жители небес. Значит, это будет что-то вроде христианской эпопеи.

— Назови эпизодом христианской эпопеи, и твои слова будут иметь несколько правды.

— Ну, я теперь отдыхаю, — продолжал Таз-баши. — А то прежние твои рассказы о сизых душах умерших и о черных телах демонов заставляли меня беспрестанно придерживать свои волосы. Изволь же начинать свои les harmonies du ciel.

Лесняк начал:

—

Наступила Страстная седмица. Христиане всякого пола и возраста спешили в храмы очистить души свои покаянием и причащением, чтобы в белых одеждах чистоты и невинности встретить величайший праздник христианского мира. Вот уже приступили они к жертвеннику примирения и из рук пастырей приняли страшные Тайны Христовы. В соборе совершился трогательный обряд умовения, и наступил великий Пяток — день скорби и траура для душ христиан. Казалось бы, в эти торжественные дни ни одно из земных помышлений не должно было омрачать мыслей православных, — но не так было на самом деле. Большая часть людей, хотя более в простоте незнания, думали, что, очистив внутреннее, они должны были очистить и внешнее, чтобы достойнее встретить светлый праздник. В домах хлопотали об уборке; рынки были наполнены припасами; ремесленники, заваленные работой, не могли и подумать — хоть раз побывать в церкви. Правда, в часы богослужения и без них храмы были полны народа; но зато остальное время все посвящалось суете мира.

В это время два брата случайно услышали от приезжих крестьян, что недалеко от города показался медведь. Так как они были страстные охотники, то эта весть заняла все их мысли и желания. Место было не дальнее: до праздника оставалось еще два дня. Авось, можно будет заполевать зверя и воротиться в город накануне Пасхи. Сколько домашние ни упрашивали братьев, сколько ни представляли им убеждений о неуместности их желания, два брата решительно отвечали, что такие случаи очень редки, что они с удачей или нет — непременно воротятся к празднику. Делать было нечего; оставалось предоставить их собственному произволу.

И вот братья, вооруженные винтовками и ножами, отправились полевать зверя. Хотя Пасха в том году была ранняя и снег не думал еще сходить, однако ж погода стояла тихая и теплая, обещавшая приятную охоту.

В шести верстах от города, по указанию крестьян, они свернули в лес, по следам зверя. Не будь они заняты мыслию — скорее встретиться с своим косматым противников, они невольно остановились бы полюбоваться представлявшимся им ландшафтом. След зверя вел их редким лесом, часто прорезывавшимся прогалинами, которые открывали приятные виды в отдаленность. Деревья в зимней своей одежде из белого бархата рисовались такими разнообразными группами, что глаз затруднялся решить — которая лучше. Здесь низкий боярышник или калина представляли шалаши из сетчатой ткани, опушенной зубчатою бахромой; тут высокая рябина выдавалась из купы кустарников павильоном в китайском вкусе; там березы, соединенные ветвями, образовали длинные переходы со стрельчатыми арками и с кистями по обеим сторонам перспективы, в которой стволы деревьев заменяли колонны. Прогалины, словно огромные залы, покрытые белым пушистым ковром, под голубым сводом неба, разрисованным гротесками выдающихся вершин, придавали новое очарование зимнему ландшафту. Там и сям небольшие холмы рисовались лагерем таинственных воинов леса. Этот оптический обман еще более увеличивался разбросанными одинокими деревьями, которые с простертыми своими ветвями и в плюмаже вершин казались стражами этого лагеря. Если к этому прибавить контраст зелени высоких сосен и елей, сохранивших свою летнюю одежду под холодом зимы и представлявшихся как бы странниками между белыми жильцами лесов, вы будете иметь идею о ландшафте, который окружал охотников.

Простите меня за длинное описание. Я люблю зиму почти столько же, сколько и лето. В моих глазах зима не смерть природы, а только время ее успокоения. Снаружи бездейственная, безмолвная, зимняя природа сосредоточивает свою работу внутри, и кажется, думает о том, каким образом с первым лучом весеннего солнца развернуть свою мысль в красоте видимого образа. Зима — это углубление природы в самое себя, зерно будущего ее развития, то мрачного и угрюмого, то веселого

и пленительного, соответственно разным частям плана той огромной картины, которую она во время весны и лета развертывает на протяжении полмира, оживляя пластику образов жизнию людей и животных.

Но охотникам, как я сказал, было не до созерцания. Они видели в лесу одни деревья, покрытые снегом, а на земле только след зверя — единственный предмет, наполнявший их мысли. Размениваясь изредка словами о дороге и об охоте, они, по указанию следов, все шли далее и далее в лес. Сильное желание их — скорее встретиться с медведем — заставило их даже пренебречь обыкновенною осторожность охотников, то есть они шли, не замечая пути, который беспрестанно переменял свое направление. С наступлением вечера братья решились остановиться и провести ночь в лесу, очередуясь на страже. Нарубили сучьев и развели огонь. Рюмка вина и кусок хлеба удовлетворили неприхотливый аппетит охотников. Младший из них, завернувшись в свою шубу, тотчас же заснул; а старший сел к огню, положив на колени к себе винтовку, и то поправлял огонь, то оглядывал окрестность. Беспрестанное ожидание встречи с неприятелем изгоняло всякую другую мысль из его головы. Изредка запевал он в полголоса песню или делал несколько шагов подле костра, чтобы размять свои члены, а потом снова сидел молча на своей страже. Чрез несколько часов он разбудил брата и сам лег уснуть.

Мысли меньшего стража сперва колесили около тех же мыслей, что и у старшего; но вскоре приняли другое направление, более приятное. Он вспомнил серенький домик в городе, с небольшим садом подле ворот и с светлыми комнатами. Там он видел молодую девушку, которая своим взглядом заставляла сердце его биться особенно приятным образом. Ему пришла на память первая встреча с нею в летний день на берегу реки; робость его вопросов, застенчивость ее ответов; потом знакомство с ее родителями, которые приняли его с патриархальным радушием. Дни за днями проходили в его воображении — то с веселою улыбкою награжденного ожидания, то со вздохом обманутой надежды. Но вот он дошел до того дня, когда он несвязным своим признанием похитил из уст робкой девушки сладкое слово взаимности. Тут следовало согласие родителей и мена колец на вечную верность. Живо представился ему насту-

пающий праздник, в который он — по праву жениха и по христианскому обычаю — в первый раз напечатлеет горячий поцелуй на розовых губках невесты. Мысль его забежала вперед — за окончание праздника. Вот уж он ведет к алтарю свою возлюбленную: священник благословляет союз их; веселый поезд сопровождает его домой вместе с супругой. Стол блестит приборами и ломится под кучею блюд. В перспективе комнат видна парадная постель с закрытыми занавесями, как символ тайны и скромности. Сердце его бьется неудержимо: сладкая слеза готова вырваться из глаз...

— Хорош караульный! — вдруг раздался голос старшего брата. — Спит себе как будто дома на кровати. Хоть бы за огнем-то присмотрел немного. Смотри, уж одни угли остались.

Вырванный из чар воображения незавидною действительностию, мечтатель, казалось, был сброшен с неба на землю. Но не желая даже родного брата посвятить в заветные свои думы, он охотно перенес незаслуженный упрек в дремоте и сказал:

— Виноват, Федя, вздремнул немножко.

— Да, видно немножко, — возразил брат. — Взгляни-ка на восток: там уж заря свой костер зажигает. Перекусим чего-нибудь и вперед. Если до полудня удастся встретить мишку, так хорошо, а не удастся, так надо повернуть оглобли.

Братья вынули из сумы убогий завтрак и, подкрепив им силы, отправились далее.

Лес становился чаще и чаще. Березы, пробужденные присутствием людей, точно с досадою осыпали их снежною пылью; длинные ветви цеплялись за их платье, будто желая остановить их. Но след зверя, словно обманчивый вожатый, манил их все дальше и дальше и с каждым шагом решительнее обещал довести их до берлоги медведя. Время близилось уже к полудню. Решившись еще час попытать удачи, братья, уже усталые не столько от утомления, сколько от напрасного ожидания, сделали еще несколько верст вперед. Вдруг погода, до того времени тихая, внезапно изменилась. Снег повалил хлопьями прямо в глаза охотникам и вскоре замел не только след зверя, но даже их собственные следы. Братья решились воротиться. Оглядев местность, сколько позволяла им снежная непогода, они повернули назад и пошли лесом напрямик, держась направления к западу, где лежал город. Молчание их прерывалось только трес-

ком сучьев, которые отбивали они на пути, и изредка несколькими словами, сказанными кем-нибудь из них по случаю небольшого обхода. Снег все усиливался и наконец пошел так густо, что нельзя было различить самых близких предметов. В это время характер братьев выразился в различных чувствах, наполнявших их души. Старший, с твердою волею и неизменяемым хладнокровием, шутил насчет неудачной охоты; младший же готов был сердиться на каждую снежинку, которая попадала ему в лицо:

— Ну, брат Саша, — говорил старший, — теперь очередь медведю за нами охотиться. А впрочем, это было бы очень скверно, если б г. Мишук напал на подобную мысль.

— Сердце мое чувствовало, что охота наша будет неудачна, — отвечал младший. — И признаться, я пошел только потому, что не хотел тебя одного предоставить опасностям охоты.

— Спасибо, Саша. Зная твою ко мне привязанность, я не удивляюсь этому. Вот на днях надеюсь отблагодарить тебя, выпив лишнюю рюмку вина на твоей свадьбе.

— Полно, Федя, говорить об этом. Каждый шаг теперь кажется мне остяцкой верстой, и я охотно бы уступил всех медведей в мире за тощую клячу, которая бы дотащила меня до города. Сердце так и ноет, как подумаю, что теперь делает моя Лиза.

— Ничего, Саша. Сердце хотя и вещун, но иногда делает ужасные промахи. Вот хоть бы мое. Когда я услышал о звере, так оно застучало так, как бы медведь лежал уже под выстрелом моей винтовки. Ну, а на деле почтеннейший Михайло Иванович, вероятно, приаппетитно сосет теперь свою лапу и посмеивается над нашим донкихотством.

Еще несколько времени продолжался разговор в том же тоне. Но когда короткий день свечерел, а большая дорога скрывалась еще в тумане неизвестности, шутки прекратились и нетерпение овладело даже душой старшего брата. Молча они шли еще несколько времени, осыпаемые снегом и сражаясь на каждом шагу с ветвями дерев. Темнота постепенно увеличивалась, и вскоре мрак вечера соединился с мраком непогоды. Тоска овладела младшим. Он бросил свою винтовку и кинулся на снег.

— Нет сил больше идти, — вскричал он в порыве отчаяния.

Старший принялся утешать его, представляя, что по всем приметам они уже недалеко от города, что еще час-два и они будут дома. Но как утешения эти выходили не из уверенности, то они только увеличивали тоску младшего.

— Оставь, пожалуйста, братец, свои утешения, — сказал он тоном досады. — Вот привел Бог узнать на опыте, как сладкие слова в иную пору хуже горькой редьки.

— Эх, Александр; я не ожидал от тебя такого малодушия, — отвечал старший, остановясь подле брата. — В прежнее время ты был гораздо бодрее. Вспомни хоть ночь под Искером, когда мы на дырявой лодке ночью переправлялись через шумящую реку. Или уж любовь так разнежила твое тело, что сделала тебя слабее женщины.

— Ни слова о любви, Федор, если не хочешь меня оскорбить. Напоминание об ней теперь — острый нож прямо в сердце.

— Ну, о любви в сторону. Я сказал об ней только в надежде, что ты найдешь в ней новые силы продолжать путь.

— Я сказал, что не могу идти. Ступай, если хочешь, а меня оставь на волю Божию.

— Брат! — сказал старший с упреком.

Александр почувствовал свою неосторожность и подал брату руку в знак примирения.

— Вот этак лучше, — сказал старший, пожимая брату руку. — Хоть убей меня, а я так убежден, что мы воротимся здравы и невредимы, что готов прозакладывать свою голову за орешную скорлупу. Вот отдохнем немного, — продолжал он, садясь подле брата, — выпьем винца и вперед.

Сказав эти слова, Федор выпил вина и, снова наполнив рюмку, передал ее брату. Но тот с досадою оттолкнул рюмку.

— Если не хочешь, так по крайней мере не проливай вина, — сказал Федор, выливая вино в баклагу... — А посмотри-ка, Саша. Я иногда мастер угадывать. Снег помельче. Даст Бог, через час совсем прекратится.

Александр взглянул вокруг себя, и слабая надежда затеплилась в его душе.

— Пойдем, — сказал он, вставая.

Братья снова пошли.

Снег действительно скоро перестал, но зато мрак ночи быстро надвигался на предметы. Пройдя около часу лесом, братья наткнулись на шалаш, вероятно, сделанный пастухами или охотниками.

— Вот и признак жилья, — сказал старший. — Теперь совет: дождаться ли здесь утра или идти вперед ощупью? Ба! скоро уже 10 часов, — продолжал он, подавив репетир часов. — К заутрене все-таки не поспеем.

Младший вместо ответа бросил свою винтовку и лег в шалаше, не говоря ни слова. Федор покачал головой при виде такого малодушия своего брата, наломал сучьев и развел огонь у входа в шалаш. Закурив сигару, он сел подле огня и дал волю своим мыслям.

Главная дума его была о наступающем празднике и об их положении. Верно, думал он, Господь прогневался на них за то, что они в такие великие дни допустили овладеть собою житейским мыслям, и в наказание лишил их христианской радости — встретить Воскресение Спасителя в храме Божием. Ему сделалось грустно. Он мысленно просил у Бога прощения в своем грехе и дал обет — целую неделю Пасхи ходить ко всем службам. Успокоенный обетом, Федор стал мысленно припоминать знакомые ему молитвы и в этой внутренней беседе с Богом, казалось, забыл и брата, и свое незавидное положение.

Между тем Александр, завернувшись в шубу, предался овладевшей им тоске. Но у него дума имела более житейское направление. Мысль о невесте, о поцелуе христосованья затмила все другие мысли, которые приближение великого праздника вызывало из христианской души. Поэтому вместо спокойствия она только разжигала его малодушие, так что наконец он не мог удержать себя и горько заплакал. Но в этих слезах, хотя источник их был не без упрека, благость небес послала ему отраду. Наплакавшись вдоволь, он заснул глубоким сном.

Так проходили для братьев последние часы той Великой субботы, в которую Богочеловек снова почил от великих дел Своих. Не знаю, найдется ли хоть один сколько-нибудь питающий религиозное чувство, кто бы в это навечерие великого дня по крайней мере одну минуту не посвятил духовному размышлению. Великость события, в котором небо, земля и ад были сценою, в котором любовь Божества превозмогла над неумолимым правосудием и смерть Бессмертного отворила заключенные

врата вечной жизни, это событие, подавляя плоть и ум, окриляет душу и все сердце обращает в одно чувство, полное неизъяснимого блаженства. Никогда мысль о бессмертии не представляется так ясно пред очами веры, как в эти минуты совершившегося искупления. Кажется, что во мраке Голгофы с самой минуты: совершилася! – заблистал уже неугасимый свет новой жизни. И когда апостолы еще оплакивали смерть своего Учителя, на небе и в сени смертной раздавался уже победный клик Воскресения!

Между тем ночь субботы оканчивалась. Федор вынул часы и при свете костра следил за движением стрелки – единственной вестницы наступления праздника. Вот уже осталось пять минут.

«Скоро, – думал он, – раздастся звон колоколов и обрадует православных. Мы одни, по собственной вине своей, будем лишены этой радости. Но творись воля Божия! Для христианина везде храм и Божество. Мы огласим этот пустынный лес гимном воскресения, и бездушные деревья отзовутся на наш христианский привет!».

Поправив огонь, Федор снова взглянул на часы. Оставалась одна минута. Встав на колени и сняв шапку, он смотрел на стрелку часов, бывших у него в левой руке, а правою готовился осенить себя крестом со словами: Христос воскресе! Но едва только стрелка указала на 12 и рука поднялась для осенения крестом, вдруг звучный благовест поразил слух Федора. Изумленный этою неожиданностию, он удержал крестное знамение и, казалось, не верил ушам своим. Но вскоре повторяемые звуки колокола уверили его, что он не ошибся. Это был действительно благовест – ровный, звучный, торжественный. Слезы брызнули из глаз Федора. Он сделал земной поклон и несколько времени лежал ниц, повторяя вполголоса: «Христос воскресе! Христос воскресе!».

Потом он кинулся к своему брату.

– Саша! Саша! Вставай! Бог милостив еще к нам. Слышишь?

Александр проснулся и с удивлением смотрел на брата, у которого слезы восторга капали из глаз.

– Что с тобой, Федя? – спросил он, быстро вставая. – Ты плачешь?

– Да, да! Плачь и ты, Саша. Слышишь?

Александр прислушался, и вскоре благовест коснулся и его слуха.

— Это благовест, — сказал он с непритворною радостию. — Значит, близко деревня.

— Да, да. Ну, что же ты? Христос воскресе, Саша!

— Во истину воскресе, Федя.

И братья со слезами кинулись друг другу в объятия.

Тут рассказчик на минуту замолчал. В звуках голоса его дрожала слеза. Казалось, он сам был одним из братьев или был очевидцем этого торжественного объятия христиан во имя Христа воскресшего. Слушатели были тоже тронуты. Через минуту Лесняк стал продолжать рассказ.

Нечего, кажется, говорить, что братья поспешно отправились в ту сторону, откуда слышался благовест. Сердца их были так полны, что вместо всякого разговора они говорили только по временам: Христос воскресе! Между тем благовест с каждым шагом их делался все слышнее. Нельзя было описать впечатления, производимого колоколом. Это была звучная серебряная струя, которая катилась ровно и торжественно, изредка дрожа на волнах воздуха. Что-то особенное слышалось в этом звуке, по крайней мере для слуха братьев. Они внутренно сознавались, что ни один колокол не производил на них такого сладкопотрясающего чувства; казалось, что это был голос неба, а не земли.

Часа через полтора они увидели на небольшой поляне одинокую церковь, ярко освещенную внутри. Но никакого жилья, даже признаков обитания не было поблизости. Между тем чрез окна виднелась в церкви толпа народа всякого пола и возраста.

Не дошед нескольких шагов до храма, братья увидели торжественную процессию встречи воскресшего Спасителя. Веселый звон колоколов сливался с радостным пением гимна: «Воскресение Твое, Христе Спасе!». Блеск множества свечей в руках молящихся озарил окрестность на большое расстояние. Впереди за св. иконами, с крестом и пасхальною свечою шел

седой священник величественной наружности. Ему сопутствовал диакон в самом цвете молодости и поразительной красоты. Казалось, это был ангел, принявший вид человека.

Братья, оставив свои охотничьи принадлежности под одним деревом, подошли к процессии и вместе с нею вступили в церковь. Старый придверник вручил им свечи с радостною улыбкою и с приветствием: «Христос воскресе!». Но к удивлению их, он не взял денег, а просил отдать их первому нищему, который будет просить милостыни во имя Христа. Братья со свечами в руках прошли вперед. Народ, пропуская их, приветливо им кланялся и говорил: «Христос воскресе!».

Первые минуты посвящены были обзору церкви, которая им была совершенно неизвестна. Это был небольшой храм в византийском вкусе. Иконостас не блестел золотом, но архитектура его и живопись икон невольно привлекали зрение величественною своею красотою. Кроме лампад, множество свечей освещали иконы и, сливаясь с блеском свечей в руках народа, разливали яркий поток света. Но этот свет, казалось, был только отражением того блеска, которым горел алтарь, а особенно престол, хотя на нем, кроме обыкновенных подсвечников, ничего другого не было. Трудно было угадать – откуда изливалось это море сияния: от иконы ли Воскресения, стоявшей пред престолом, или с алтарного купола, закрытого иконостасом. Самый дым фимиама над престолом являлся прозрачным облаком, невольно напоминавшим собою путеводный столп израильтян в пустыне. – Клиросы были пусты, но зато весь народ составлял один согласный клир. Тут звучали все голоса, начиная от нежного детского и женского до могучего мужского, и ни один неверный звук не расстроивал этой дивной гармонии – пасхального напева. И что более увеличивало торжественность службы, так это благоговейное спокойствие молящихся. В продолжение всей службы ни один не перешел с своего места, кроме священнослужителей, ни одно дитя не обернулось в сторону. Все взоры были устремлены на алтарь и иконы, и только движение губ при пении и благоговейный образ креста доказывали, что это живые существа. Братья так увлечены были этим величественным спокойствием, что невольно приняли те же чувства, то же положение и так же невольно присоединяли голоса к общему канону.

Наконец заутреня кончилась. Народ облобызал животворящий крест и образ Воскресения и при братском объятии друг друга разменялся пасхальными приветами. Сколько братья ни вслушивались, они не слыхали ни одного слова, которое напомнило бы мир с его суетою. Не было даже произнесено никакого имени, кроме одного великого: Христос.

Между тем двери храма отворились, и молящиеся с радостными лицами стали выходить из церкви. Братья следовали последние.

Было еще темно. Снова оглядев окрестность в надежде открыть какое-нибудь жилье, чтобы приютиться до рассвета, братья не видали ни малейшего признака обитания. Тогда Федор обратился к одному из богомольцев.

— Здесь должно быть близко село, — сказал он, похристосовавшись.

— Не только село, но и город близко, — отвечал с улыбкою старик.

— Как же мы не могли увидеть? — спросил Федор с невольным изумлением.

— Должно быть, вы шли в другую сторону; притом же ночью не мудрено просмотреть.

— Но мы блуждаем целые сутки, и ни один признак не показал нам близости города.

— Это место редко посещается городскими жителями, хотя оно и недалеко от города. Вот подите отсюда прямо к оврагу; тут поверните направо до мостика. А там тропинка выведет вас на большую дорогу. Я бы сам взялся проводить вас до оврага, да у меня есть дело. Впрочем, скоро рассветает и вам нельзя заблудиться, а до того времени подождите у церкви.

Братья взглянули друг на друга. У них была одна мысль: отчего же не приглашают их в село. Старик, должно быть, угадал их мысль, потому что прибавил с улыбкою:

— В нашем селе вам нельзя быть до времени. Да это сверх того отдалило бы вас от города, где, чай, давно уж вас ожидают.

Старик поклонился и пошел по направлению к ближнему лесу. Братья, подумав, что это должно быть старообрядческое село, не хотели нарушать их обычая своим неуместным приходом и решились сождать рассвета у церкви.

Но вот на востоке забрезжил свет. Окрестность постепенно как бы выходила из тумана. Взяв свои охотничьи вещи, они пошли по указанному пути. При входе в лесок, они оглянулись на церковь и — остановились в изумлении. Вместо нового красивого храма стояла деревянная полуразвалившаяся церковь, почерневшая от времени, с разбитыми окнами. Высокие стебли трав, видневшиеся из-под снега, покрывали не только крыльцо, но проглядывали даже во многих местах ветхой кровли. Все дышало мраком и запустением.

Братья посмотрели друг на друга.

— Неужели это та самая церковь, в которой мы слышали заутреню? — сказал Александр. — Глазам не верится.

— Я сам не могу понять этого превращения, — отвечал Федор. — Но может быть, освещение придало этому храму тот чудный вид, который поразил нас ночью. Притом же я слыхал, что старообрядцы берегут древность как святыню и, если украшают церковь, то только внутри.

— Но посмотри. Все стекла выбиты, стены наклонились, а по этой траве, которая покрывает крыльцо, можно полагать, что нога человека тут сто лет не ходила.

— И странная вещь, — прибавил Федор, — сколько ни напрягаю зрения, кроме наших, никаких следов не видно. А ведь такая толпа народа могла бы протоптать порядочную дорожку.

— Это непостижимо! Я бы подумал, что все виденное нами был сон, если б эта разрушенная церковь и ясное воспоминание о службе не противоречило этому. Не знаю, как ты, а мне даже страшно становится.

— Признаюсь, и я начинаю чувствовать беспокойство. Но пойдем скорее отсюда. Может быть, дорога успокоит нас или мы узнаем разгадку этого чудесного превращения.

Перекрестившись на храм, братья молча пошли указанной тропинкой. Вскоре достигли они глубокого оврага, повернули направо и чрез несколько времени увидели полуразломанный мостик. Все было так, как сказал старик, и через полчаса они вышли на большую дорогу, прямо к верстовому столбу.

Поблагодарив Бога за окончание своего пути, они разрядили винтовки и весело отправились в город, куда и пришли перед поздней обедней. Домашние осыпали их расспросами, но они на все вопросы отвечали: после, после, — и стали переодеваться к обедне. По окончании службы оба они отправились в

дом родителей невесты Александра и, разговевшись, стали рассказывать свои приключения: Федор хозяину и гостям, а Александр своей невесте.

— Удивительно, — сказал хозяин. — Если бы не вы, я принял бы это за сказку. Кажется, как коренной житель, где я ни шатался по окрестностям, а подобной церкви не только не видал, но и ни от кого об ней не слыхивал. Вот ты, матушка, не слыхала ли чего на своем веку об этой церкви, — продолжал хозяин, обращаясь к восьмидесятилетней старушке, совей родственнице.

— Слыхала, батюшка, слыхала, — отвечала старушка. — Покойный отец мой говаривал, что где-то вблизи была в старое время церковь во имя Воскресения Христова. Церковь эта сгорела во время пожара, который выжег и всю деревню. Крестьяне расселились по другим местам и церковь больше не возобновляли.

— Но ведь они видели не сгоревшую церковь, а только ветхую, — сказал хозяин.

— Так, батюшка, так. Но у Господа Бога нет ни старого, ни нового, ни целого, ни сгоревшего. Притом же покойный мой батюшка говаривал, что не раз бывали явления на тех местах, где стоял храм Божий. Мудрено ли, что Господь внял раскаянию двух душ христианских и сотворил чудо.

— Другим ничем нельзя объяснить этого случая, — сказал хозяин. — А вот по весне, Бог даст, отправимся на розыски. Верно господа охотники не забудут к тому времени дороги.

Этим прекратился разговор о чудном храме.

Что ж сказать вам еще. Весною в один хороший день все участники этого рассказа в сопровождении братьев отправились на розыски. В числе прочих лиц тут были и Лизанька, теперь уже жена Александра. Но сколько ни исходили лесу, они не нашли ни малейшего признака существования церкви. Даже та тропинка, по которой братья вышли на дорогу и которая им была очень памятна, исчезла совершенно.

— Наш любезный Лесняк все-таки верен своей идее — таинственности, — сказал Академик, когда тот кончил свой рассказ о чудном храме. — Но признаюсь, я был бы очень недоволен, если б это видение оказалось существенностию.

— Притом, как это предание народа, то естественная развязка отняла бы у него много поэтического колорита, — сказал Безруковский. — Народная фантазия имеет свои привилегии, и всякое объяснение холодного разума тут было бы пустой придиркой скептицизма. По мне, пусть мечта будет мечтой, а действительность действительностию. Лишь бы только эта мечта не нарушала тех вечных законов души, с которыми связано все наше существование.

— Совершенная правда, — отвечал Академик. — Кроме общего, так сказать, ощутимого порядка в явлениях мира есть еще другой порядок мира высшего, к которому мы принадлежим бессмертной душой. И здесь-то разгадка всего, что носит название тайны или чудес на нашем языке. Но пока смерть или особый случай не раздернет средостения между нами и миром чудес, до тех пор будем довольствоваться одною мыслию явления, которая всегда светится в этом облаке над святилищем и которой достаточно для того, чтоб согреть душу и раздвинуть пределы знания.

Разговор продолжался еще несколько времени в том же тоне. Наконец Таз-баши, которому подобный предмет был не совсем по сердцу, воспользовался минутою молчания и обратился к Немцу:

— Теперь очередь вашей германской премудрости. Усладите наш слух какою-нибудь гисторией, только без цитат, пожалуйста.

— Не беспокойся. История моя такого рода, что цитат не потребует, — отвечал Немец.

— Тем лучше, — сказал Таз-баши. — Иначе Академику нечего будет делать после твоего рассказа. А позволь узнать, что это будет такое: факт действительности или акт вымысла?

— Просто сказка, — отвечал Немец.

— Сказка? — спросил Таз-баши, стараясь выказать удивление.

— Да, русская народная сказка, ничего больше.

— Скажите, пожалуйста. У этих обрусевших немцев один напев. Вот и в Питере есть один немец, который до того привя-

зался к православному народу, что, кажется, готов за одну русскую побасенку отдать всех своих нибелунгов. Ну, да и мастер, злодей, писать по-русскому. Поговорки, присловья, пословицы — вот так и сыплет бисером. А порой ввернет такое словечко, что ни в старом, ни в новом словаре со свечой не сыщешь.

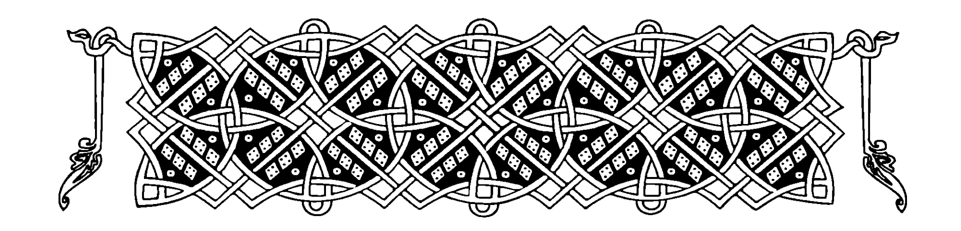
— Ну, нет, любезный Таз-баши. В этом отношении я не стану состязаться с питерским твоим приятелем. У меня красное словцо будет по золотникам развешено. Иначе пересластишь, пожалуй. А форму сказки я выбираю для того, чтобы не задеть кого-нибудь ненароком.

— Об ком же твоя сказка: об Иване-дураке али об Иване-царевиче? — спросил Безруковский.

— Нет, моя сказка — об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел.

— Это, должно быть, прекурьезная история, — сказал Таз-баши. — Начинайте же. Я уж наперед вешу оба свои уха на твой рот, говоря по-нашему.

Немец начал:



ОБ ИВАНЕ-ТРАПЕЗНИКЕ И О ТОМ, КТО ТРЕТЬЮ БУЛКУ СЪЕЛ

Мне бы следовало начать обыкновенным присловьем сказок: в некотором царстве, в некотором государстве; но как г. Академик угостил уже вас подобным вступлением, то я начну попросту:

В старое время, когда на Руси верили еще в Перуна и Волоса, с их причтом, жил-был при капище Даждь-Бога один старый служитель Иван, трапезник по-нынешнему. Обязанность его состояла в том, чтобы подметать крошки от трапезы жрецов, которые каждую ночь, благодаря усердию поклонников, пировали в запертом храме, кушая на здоровье принесенных Даждь-Богу телят и баранов и запивая вкусным цареградским винцом. Иван служил при капище целые 30 лет в надежде что-нибудь вымолить, если не у Даждь-Бога, так по крайней мере у жрецов. Но, видя, что ему от них остаются только огрызенные кости да пустые кувшины, а от Даждь-Бога ровно ничего, он наконец в один день пришел в такую досаду, что бросил дверные ключи в голову кумиру и сказал: «Пусть же тебе служит кто другой, а не я. Лучше просить милостыню у людей, чем ждать милости от тебя – глухого». Сказав эти слова, он взял свой костыль и отправился куда глаза глядят.

Вот он идет путем-дорогой, раздумывая о том, как бы где на клад набресть. Вдруг на распутье двух дорог навстречу ему вышел старец-прохожий, с костылем в руке, с сумой за плечами и

с завязанною головою. Иван, смекнув по виду встречного, что он должен быть не простого роду, снял свою шапку и низко ему поклонился. Прохожий отвечал на поклон и спросил:

— Куда путь-дорога, старичок?

— А еще и сам не знаю, — отвечал Иван. — Иду помыкать по белому свету да поискать счастия, чтобы на старости лет иметь теплый угол.

— Так нам по дороге, — сказал прохожий. — Я тоже иду попытать удачи. Пойдем вместе, и чур, горе и радость — все пополам.

Иван был рад этой встрече, хотя бы вот для того, что было с кем перемолвить слово. И пошли они вместе, разговаривая о своем житье-бытье. Слово за слово, они коротко познакомились. Иван узнал, что прохожий точно не простого рода, хотя тоже не таланлив, как и он.

— А можно спросить у твоей чести, отчего у тебя голова подвязана? — спросил Иван прохожего.

— Да так, старичок. Повстречался я с одним задорным нищим, который просил у меня милостыни; а как у меня на ту пору ничего не было, так он хватил меня батогом по голове и чуть не проломил голову.

— Вишь, озорник какой, — сказал Иван. — А ты бы его под себя да тем же батогом перещупал у него все ребра.

— И, старик! Коли за всякий вздор щупать ребра, так, право, не нашлось бы никого на белом свете, у кого бы под старость бока не болели. Притом же, может быть, он попал в меня ненароком али в припадке досады. А сам знаешь, что у гнева глаза завязаны.

«Должно быть, добрый человек, этот прохожий, — подумал Иван. — Его бьют, а он еще озорника оправляет».

Между тем они все шли потихоньку и под вечер пришли к одной реке. Не видя нигде переправы, они решились провести ночь на берегу. Выбрали себе уютное местечко под двумя березами и сели рядком на травке.

— Теперь и перекусить не мешает с устатку, — сказал прохожий, вынимая из своей сумы три небольшие булки. — Вот эта тебе, старик, — продолжал он, подав одну булку Ивану, — эта мне, а третья сгодится на завтрак к утрему.

Так как у Ивана запаса не было, то он очень охотно взял булку и съел ее так проворно, что у прохожего еще оставалась половина, когда у него уж и крошки были подобраны. Окончив свой скромный ужин, путники напились воды из реки и расположились уснуть. Прохожий скоро заснул, а Иван долго еще ворочался, хоть лег и раньше прохожего. Может быть, ему спать не хотелось, а может, неугомонный желудок требовал еще подачи. В последнем, кажется, было больше правды, потому что Иван, лишь только приметил, что прохожий спит крепким сном, потихоньку привстал и, как добрый вор, вытащил из сумы прохожего оставшуюся булку и съел ее за три приема. После такого подвига он растянулся себе на траве и вскоре захрапел на всю реку.

Утром, едва только заря стала брезжиться на востоке, прохожий проснулся и стал будить Ивана.

— Вставай, старик, время в путь-дорогу.

Иван поднялся, зевая и потягиваясь.

— Заморим червяка немножко, — продолжал прохожий, — а там и в путь. Может, к полдням добредем до какого-нибудь села, где добрые люди нас накормят.

Говоря это, прохожий взял свою суму и удивился, не найдя в ней булки. Он взглянул на Ивана, а тот себе смотрел так усердно на реку, как будто на дне клад видел.

— Да где же булка? — спросил прохожий. — Разве ты съел ее?

— Вот на? — отвечал Иван спокойно. — С чего я стану брать чужую вещь! Слава Богу, я не вор какой.

— Так куда же она могла деваться? Кажется, я при тебе положил булку в суму, ложась спать.

— А ты разве не видел, что я лег прежде тебя, да и теперь бы еще спал, если бы ты не разбудил меня.

— Так ты взаправду не брал булки? — снова спросил прохожий, смотря пристально в глаза Ивану.

— Да ты не веришь, что ли? — отвечал Иван с досадой.

— А побожись.

— Вот пусть я провалюсь скрозь землю, коли взял твою булку, — сказал Иван и хоть бы заикнулся.

— Ну, так и пропадай она, — сказал прохожий. — Когда-нибудь узнаем вора. А теперь пойдем дальше.

Они пошли берегом реки, высматривая лодки. Наконец увидели они под ивой привязанную лодку с веслом и по обычаю старины, не расспрашивая, кто были ее хозяева, отвязали ее от дерева и поплыли. Сначала все шло хорошо. Но подплывая к середине реки, они заметили, что вода стала просачиваться в лодку. Прохожий взялся грести, а Иван принялся выливать воду своею шляпой. Но сколько он ни бился, вода все больше и больше прибывала, так что наконец стала заливать лодку.

— За что такая немилость Божья, — сказал прохожий. — Кажется, мы с тобою ничего худого не сделали.

— Вот ты поди, — отвечал Иван почти со слезами. — Добрые люди тонут, а воры и мошенники живут на свете.

В это время лодка пошла ко дну. Прохожий был мастер плавать, и потому, бросив весло, принялся работать руками и ногами. Жутко приходилось Ивану, который не знал даже, как и поднять руку на воде. Видя явную гибель, взмолился он прохожему:

— Батюшка, отец родной! Не погуби души человеческой! Помоги мне скорее! Тону, совсем тону!

Прохожий оглянулся.

— А послушай, старик. Я помогу тебе, только скажи мне правду: ты съел булку?

— Экой какой! Да ведь я тебе сказал, что не ел булки. Вот хоть сейчас же захлебнуться.

Прохожий, верно, подумал, что не станет же человек лгать, находясь на волоске от смерти, только он без дальних расспросов подплыл к Ивану и сказал:

— Держись за платье.

Иван ухватился за прохожего обеими руками и доплыл с ним до другого берега.

Тут, раздевшись донага, они выжали свое платье и развесили по деревьям на ветер и солнышко, а сами нарвали травы и обложились ею по самую шею. Иван скоро заснул, а прохожий смотрел за платьем, мурлыча про себя какую-то песенку.

Когда платье высохло, прохожий разбудил Ивана и вместе с ним пошел по тропинке, которая вдолги ли вкоротки вывела их на проезжую дорогу.

К полдням они дошли до большого города, в котором княжил молодой князь. Случай или судьба привела их к дому золо-

тых дел мастера; хозяин принял их ласково, угостил обедом и отвел в особую комнату на покой.

В это время в городе были большие хлопоты. Молодой князь нашел себе невесту и готовил свадебный пир и подарки. Все мастера завалены были княжеской работой; трудились с раннего утра до поздней ночи, рук не покладывая. В числе прочих и хозяин путников работал для княжны дорогие серьги и запястья. Уложив своих гостей, он отправился в свою мастерскую и принялся стучать молотком. Так как мастерская его отделялась от комнаты путников только перегородкой, то стук молотка не давал покою Ивану. От нечего делать, а может, из любопытства он подошел к стене заглянуть в щель – что это стучит хозяин. Разгорелись глаза у Ивана, когда он увидел золото и дорогие каменья, лежавшие на столе. Невольно подумал он, что и десятой части этих сокровищ довольно бы, чтоб обеспечить его старость. Злая мысль закралась ему в голову: как бы стащить одно запястье. Хотя совесть и говорила ему, что это будет плохая благодарность за гостеприимство, но Иван успокоил ее обещанием, что это в первый и последний раз и что потом он заживет честным человеком.

Заметив заранее место, где лежало запястье, Иван в ту же ночь отправился на промысел. Хозяин и прохожий спали крепким сном. Ивану некого было бояться, разве только своей совести, но я уж сказал, что ум – этот податливый молодец, готовый на *да* и на *нет*, смотря по обстоятельствам, – успокоил уже сердечного судью. Иван на цыпочках вошел за перегородку и ощупью отправился к замеченному месту. Вероятно, Меркурий светил ему, потому что рука Ивана прямо попала на ящик с драгоценностию. Осторожно вынув запястье и спрятав его за пазуху, Иван также тихо вышел из мастерской и лег себе спать как ни в чем не бывал.

Рано утром Иван разбудил прохожего и сказал, что время в путь-дорогу. Прохожий сначала удивился этому предложению, потому что накануне не было и в помине о дальнейшем пути.

– Да что тебе так скоро надоел город? – спросил он Ивана.

– А что в нем путного, – отвечал Иван. – Милостыни подают мало, работы по силам нет. Да надо и стыд знать: ведь хозяин не обязан кормить нас даром.

Такие честные речи заставили прохожего мысленно похвалить Ивана, и он стал собираться в дорогу.

Между тем проснулся хозяин. Узнав, что гости его уходят, он приказал подать сытный завтрак, накормил их вдоволь и на прощанье дал каждому по монете.

Прохожий взял деньги, пожелав хозяину, чтоб Бог возвратил ему сторицею. Но Иван не решался принять денег, говоря, что он не заслужил их.

— Возьми, старик, — говорил прохожий. — Может быть, эти деньги принесут тебе клад со временем.

Но как Иван, по честности своей, все отговаривался взять незаслуженные деньги, то хозяин насильно положил их к нему в запазуху, нисколько не подозревая, что кладет их в соседство с своим запястьем. Потом проводил их до ворот и, пожелав счастливого пути, воротился.

Нечего говорить, что Иван спешил так, как будто бы кто его гнал по пятам. А как прохожему торопиться было нечего, то у них произошла размолвка, которая скоро перешла в ссору. Иван хотел уже идти один, но на беду его крупный разговор привлек праздную толпу, которая от нечего делать обступила двух спорщиков и по русскому обычаю подстрекала их кончить спор тычком и зубочисткой.

Но между тем как толпа шумела, мешая Ивану продолжать путь, золотых дел мастер открыл похищение. Случай или судьба, не знаю, навели затмение на Ивана во время кражи, и он оставил ящичек, где лежало запястье, незакрытым. Хозяин в ту же минуту бросился из дома. Добежав до толпы и рассказав, в чем дело, он тотчас же кинулся на прохожего и стал его обыскивать. Разумеется, что, кроме монеты и еще двух-трех пузырьков с какими-то снадобьями, у него ничего не оказалось. Иван было вздумал защищать свою честность кулаками; но толпа тотчас же схватила его за руки и за ноги и в одну минуту раздела его донага. Запястья не было. Хозяин кинулся к ногам путников и просил не взыскать за обиду.

— Вещь дорогая и притом княжеская, — говорил он, плача. — Кроме вас у меня никого не было, так поневоле подозрение пало на вас. Простите, ради Бога, за неумышленную обиду.

Прохожий сказал только, чтоб он на будущий раз был осторожнее и не клеветал среди белого дня на безвинных. Но Иван расходился на чем свет стоит.

— Нет, приятель, заплати за бесчестие, — кричал он, одеваясь. — Это тебе даром не пройдет. Вишь, что у него много денег, так и давай обижать всякого. Пойдем-ка к тиуну на расправу.

Напрасно прохожий уговаривал его бросить иск, хотя бы в благодарность за угощение. Иван не хотел и слышать.

— К тиуну! К тиуну! — кричал он во все горло. — Да вот вместе и этих приятелей, которые осрамили меня на всю улицу.

Толпа бросилась со всех ног врассыпную. Один только молодец оплошал и попался в руки Ивана. Началась борьба. Дело дошло до рукопашного. Получив хорошую затрещину от Ивана, молодец схватил его за большую бороду и рванул сколько было силы. Борода уцелела, да только в руке молодца осталось запястье, которое было подвязано под бородой.

Разумеется, дело тотчас приняло другой оборот. Ивана схватили. Разбежавшаяся толпа, услышав такую весть, снова собралась, и несчастного вора потащили к тиуну, угощая его и руками, и ногами, и побранками. Прохожий пошел вслед за Иваном более, кажется, из любопытства, чем из участия.

Тиун еще спал. Надобно было ждать, пока ему угодно будет проснуться. Этот час ожидания был для Ивана настоящей пыткою. Побои, ругательства, насмешки сыпались со всех сторон. И на беду он так растерялся, что не имел даже единственного утешения отплатить хоть десятью за сто.

Наконец тиун встал и потребовал к себе истца и ответчика. Выслушав хозяина и свидетелей, он потер себе лоб и наконец дал следующее решение.

— Вору отрубить правую руку по локоть; с золотых дел мастера взять на казну по проценту с цены украденной вещи; а с народа за шум в раннее утро взыскать по деньге в пользу благочиния.

Так как в то время апелляций не было, то, по всем вероятностям, приговор был бы исполнен немедленно. Но к счастию Ивана, в ту самую минуту, как готовились отрубить ему руку, новый шум еще больше прежнего раздался на улице. Гонцы скакали по всем улицам с криком: «Скорее, скорее во дворец искусного лекаря!». Причиною этой тревоги была внезапная болезнь невесты княжеской. Разумеется, что в таком важном деле было не до Ивана. Приказав держать его под стражей, тиун кинулся со всех ног во дворец. И вслед за ним все, кто только

знал, как ставят хреновик к затылку, пустились лечить княгиню. В доме тиуна остался только Иван с прохожим да два человека стражи.

Выждав удобную минуту, прохожий подошел к Ивану и сказал:

— Теперь тебе запираться, кажется, нечего. Улика налицо. Но если хочешь сберечь свою руку, признайся: ты съел мою булку?

— Я сказал тебе, что не я. И знать не знаю, и ведать не ведаю, — отвечал Иван решительно.

Прохожий покачал головой. Но не делая больше расспросов, он вышел из дому и пошел во дворец.

Там от вопля нянюшек и мамушек можно было оглохнуть. Несчастный жених рвал на себе волосы и обещал груду золота, если кто спасет его возлюбленную. Прохожий, назвав себя лекарем, пробрался до той комнаты, где лежала девица. Если бы даже князь не обещал богатой награды за излечение, то одни вид умирающей красавицы заставил бы лететь спасти несчастную. Бледна как полотно, с полузакрытыми глазами, с руками, опущенными на парчовое одеяло, княжеская невеста лежала без движения, словно мраморная статуя. И только по высоко вздымающейся по временам груди и слабому стону, вырывавшемуся из бледных губ, можно было заметить, что она еще жива.

Прохожий посмотрел на нее пристально и сказал:

— Помочь можно, дайте полчаса времени.

Князь кинулся обнимать его.

— Помоги, помоги только, вся казна моя тебе в награду.

— Спасибо, князь. Я сейчас пойду приготовлю лекарство и ручаюсь головой за жизнь ее.

Прохожий вышел в сопровождении придворных и отправился в дом тиуна.

Между тем тиун, очень справедливо заключив, что болезнь княжны не должна же препятствовать исполнению правосудия, отдавал уже приказ — отрубить воровскую руку. С Ивана сбросили кафтан и засучили рукав рубашки у правой руки. Еще минута — и бедняк, верно, недосчитался бы одной руки, но в это время вошел прохожий.

— Погодите, — вскричал он, удержав руку палача, — мне надобно с ним поговорить немного.

Тиун, увидев придворных, дал приказ остановить казнь. Прохожий подошел к Ивану и сказал ему шепотом:

— Еще раз спрашиваю: ты съел булку?

Вероятно, он надеялся, что желание сохранить руку заставит Ивана сказать всю правду.

— Ей-Богу, не я, вот хоть сейчас рубите обе руки, — отвечал Иван, бледный как рубашка.

— Ну, коли не ты, так и дело кончено, — сказал прохожий. И потом, оборотясь к одному из придворных, он прибавил. — Скажи князю, что я спасу его невесту, если он простит этого бедняка, моего товарища.

Придворный кинулся со всех ног во дворец.

Нечего, кажется, и говорить, что князь в эти минуты готов был простить даже закоренелого своего злодея, лишь бы спасти свою возлюбленную.

Ивана освободили, и он вместе с прохожим пошел во дворец.

Там уж стали терять последнюю надежду. Больная едва дышала, и холод смерти начинал покрывать прекрасное тело. Прохожий поспешно вынул из сумы пузырек с какою-то жидкостию и влил несколько капель в рот умирающей. Едва только чудесная влага была проглочена, вдруг легкий румянец заиграл на бледных щеках, опущенные руки зашевелились, дыхание сделалось свободней и через несколько минут открылись прекрасные глаза.

— Ах, как я тяжело спала и какой страшный сон видела, — сказала девица, проводя рукою по лбу.

Нельзя было описать восторга князя. Он кинулся целовать руки и ноги своей невесты, обнимал прохожего, нянюшек, мамушек, Ивана — всех, кто только подвертывался ему под руки.

— Теперь проси у меня всего, чего только желает твоя душа, — сказал он прохожему.

— Я, князь, получил уже награду, — отвечал прохожий. — Другой мне не надобно.

— Это своим порядком, — сказал князь. — А я обещал богато наградить спасителя и сдержу свое слово.

— Спасибо, князь. Но куда мне деваться с твоим золотом. Торговать я не привычен, а хоронить его — одни хлопоты.

«Экой старый дурак», — подумал Иван и не удержался, чтоб не толкнуть локтем прохожего.

— Хоть на мою-то долю возьми, — шепнул он ему на ухо.

К счастию Ивана, князь не хотел слышать никаких возражений и тотчас же велел отсыпать лекарю полную шапку золотых монет. Кроме того, дал приказ – отвести прохожим лучшую комнату во дворце и угощать их со своего княжеского стола. Прохожий стал было отговариваться и от этого, но когда княжеская невеста сказала ему: «Хоть для меня, прохоженький, останься на день, дай посмотреть на моего спасителя», — прохожий не имел сил противиться этому приглашению от такой прекрасной девицы. Он остался.

Между тем слух о необыкновенном излечении княжеской невесты распространился за пределы княжества и дошел до другого князя, у которого единственный сын целый уж год был болен. Сколько лекаря и ворожеи ни употребляли усилий поднять больного, ему все делалось хуже и хуже, а в это время он находился уже в безнадежном положении. Немного надобно догадки, чтобы смекнуть, что скоро явился посол к чудесному лекарю.

— Наши князь и княгиня, – говорил посол, – сто́ят того, чтобы не поставить за труд к ним приехать. Они князья только по имени, а по душе — отцы наши. Последний раб готов отдать за них свою душу.

Прохожий, неизвестно почему, колебался решением. Но Иван, по доброте своей, стал посредником.

— Пойдем, прохожий, — говорил он своему спутнику. – Для доброго дела и сто верст не околица. А сколько бы радости ты принес для родителей, а для себя какую бы великую стяжал награду.

— Идти, пожалуй, можно, да почему я знаю, что помогу ему.

— О, я в этом так уверен, что голову отдаю на отсечение, если ты ему не поможешь, — отвечал Иван с уверенностию. — Только пойдем.

Тут приступили к нему князь-жених с невестой и говорили, что как ни приятно им удержать его при себе подольше, но они охотно отпустят его для такого доброго дела.

— Нечего делать, — сказал прохожий. — Когда мир говорит: иди, — надо идти, хотя бы и ног не было.

Тотчас же подали княжескую колесницу, и прохожий с Иваном и послом отправился к новому князю.

Там уж все глаза просмотрели в ожидании лекаря. И только что колесница остановилась у крыльца, князь и княгиня не утерпели, чтобы самим не выбежать навстречу. Они взяли прохожего один за одну, другая за другую руку и повели во дворец.

— Если ты, добрый человек, вылечишь нашего сына, — говорил князь, — то проси любой посад из моего города — отдам обеими руками.

— На что мне, князь, твой посад, — отвечал прохожий. — Принять его — взять на себя лишнюю обузу. Скажешь спасибо, для меня и довольно. Покажи-ка лучше своего больного.

Князь и княгиня повели прохожего в комнату, где лежал их бедный малютка. Иван пошел за ними.

Грустно было взглянуть на страдальца. На исхудалом лице его едва приметен был след жизни. От ручек остались одни только косточки, обтянутые бледной кожей. А между тем при входе лекаря малютка протянул к нему обе ручки; на глазках задрожала слезинка; он пролепетал:

— Дедушка, милый дедушка! Вот уж год, как я не встаю с постельки. Не играю, не бегаю. А хотелось бы, дедушка, побегать по травке.

У прохожего навернулась слеза. Иван чуть не всхлипывал.

— Добрый человек, — сказала княгиня, плача. — Он у нас один, один!

— С ним кончится род наш, — мрачно промолвил князь, кусая нижнюю губу.

Прохожий молчал.

— Дедушка, — начал опять малютка. — Али я что сделал такое, что уж и прощенья не будет. Пожалей обо мне бедненьком, добрый дедушка. Вот тут все так и сосет у меня, — говорил он, показывая под грудкой.

Прохожий быстро повернулся и ушел в другую комнату. Князь с княгиней и Иван вышли за ним.

— Разве нет надежды? — спросил князь голосом отчаяния.

— Повремени, князь, вот я немножко подумаю.

— Ради Бога, добрый человек, — сказала княгиня. — Все, что у меня есть драгоценного, все отдам тебе, только возврати мне сына.

Она вышла с князем.

— Ну, что же ты, товарищ? — начал добрый Иван. — Али у тебя каменное сердце, али уж настала смерть для ребенка.

— Смерть не смерть, — отвечал прохожий. — Только болезнь его такого рода, что надо взять крутые меры. А, право, глядя на бедняжку, рука не поднимется.

— Скажи мне, что делать, я все сделаю, хотя бы для этого снова пришлось отрубить мне руку по локоть.

— Рубить тебе руку незачем. Но мне-то надо быть спокойным, чтоб не дать промаху. А с тех пор, как потерялась у меня булка, я только и думаю — кто бы это мог ее украсть.

— Опять за старое! Да ведь я тебе уж сказал, что знать не знаю.

— Чудное дело! Впрочем, задумаю: коли булку взял не ты, так леченье будет удачно, а коли ты, так ребенок умрет. Согласен?

— У этих лекарей вечно какие-нибудь глупости, — сказал Иван. — К чему тут заметки, коли дело идет о спасении души. Ребенок может умереть и без леченья, коли Бог судил быть этому. Да я-то за что прослыву вором без причины,

— А запястье? — спросил прохожий.

— Ну, запястье — другое дело, Хоть я его взял и тихонько, но все хотел возвратить по времени, когда разбогатею немного. Притом же известно, что все мастера не чисты на руку. В пяти золотниках уж верно на три меди положат. Так не большое воровство стянуть у вора. Вот ты другое дело; кроме сумы, кажется, тогда у тебя за душой ничего не было. Да и булка-то не Бог знает клад какой, чтоб на нее позариться.

Прохожий, вероятно, признал справедливость рассуждений Ивана, потому что, подумав немного, сказал:

— Ну, так заметки в сторону. Но уж как хочешь, сам я не берусь лечить ребенка.

— Да ведь я тебе уж сказал, что научи только. Рука у меня не дрогнет.

— Коли так, пожалуй. Вишь, у ребенка жилы перепутались. Надо вспороть ему живот и распутать жилы. Ну, что, согласен?

Иван, услыхав о таком леченьи, сперва было замялся. Но тут пришли ему на мысль исцеление княжеской невесты и богатая награда, и он решился.

— Пойдем. Я так уверен в твоем леченьи, что готов не только вспороть ребенку живот, но и отрубить ему руки и ноги, а пожалуй, и голову, коли это будет нужно.

Прохожий с Иваном вошли к больному. В глазах отца и матери можно было прочесть нетерпеливый вопрос ожидания.

— Оставьте нас одних, — сказал прохожий. — Попробуем. Авось, Бог поможет.

Князь и княгиня вышли из комнаты, мысленно творя молитву об успехе леченья.

Оставшись один с Иваном, прохожий вынул из сумы пузырек и дал понюхать малютке. Через минуту им овладел такой глубокий сон или, лучше, оцепенение, что даже дыхание едва слышалось. Ребенка раздели и положили на кровать на спинку. Прохожий подал Ивану острый ножик и сказал: «Начинай же».

Иван, в уверенности на знание прохожего, а может быть, отуманенный наградой, взял ножик и воткнул его в живот малютке. Невольное трепетение тела заставило Ивана вздрогнуть. Он оставил нож в животике и опустил руки.

— Ну, что же ты, храбрый человек? — сказал прохожий с усмешкою. — Еще ничего не сделал, а уж дрожишь, как вор, пойманный в краже. Распарывай.

— А если он умрет? — спросил Иван, бледнея.

— Об этом надо было прежде подумать, — отвечал прохожий. — А теперь уж дело сделано.

В новом тумане страха Иван разрезал живот, но при виде крови, полившейся ручьем, он задрожал и кинулся от кровати.

Малютка перестал дышать.

— Что же ты? — спросил прохожий так же спокойно, как бы дело шло о баране.

— Соблазнил меня дьявол, — завопил Иван. — Погубил я невинную душу.

— Выходит, что так. Ну, что ж? Ведь больше одной головы с тебя не снимут, да может быть, пожарят немножко в пытке — и все тут.

— Батюшка мой, отец родной! — вскричал Иван со слезами. — Не погуби меня ради моего безумства.

— Хм, пожалуй! Да все-таки я спою старую песню. Скажи: ты съел булку?

— Ей-Богу, не я! Вот хоть сейчас пропасть, не я! Может быть, как мы спали, проходил зверь и съел булку.

Прохожий покачал головой.

— Должно быть, зверь был мудреный, что умел развязать и завязать суму, вытаскивая булку. Ну, да что толковать об этом, скорее к делу.

Сказав эти слова, он подошел к больному, сделал еще поперечный разрез в животе и всунул внутрь руку, вероятно, для того, чтоб распутать жилы. Потом зашил кожу и помазал рубцы какой-то мазью.

Малютка оставался без движения.

— Теперь вымой кровь и перемени белье на кровати, — сказал прохожий Ивану; и между тем, как Иван со всех ног кинулся исполнить приказ, прохожий вынул другой пузырек и влил несколько капель в рот ребенку.

— Все идет как нельзя лучше, — сказал он, внимательно смотря на ребенка. — Даст Бог, через полчаса совсем очнется.

И точно, через полчаса малютка открыл глаза и несколько времени смотрел то на прохожего, то на Ивана. Наконец, всплеснул ручонками и сказал:

— Ах, это ты, дедушка? А как же мне легко теперь. Вот так бы, кажется, вспрыгнул с кроватки и побежал. А где же батюшка и матушка? — спросил малютка, посматривая кругом.

— Вот и они, — отвечал прохожий, отворив дверь и пригласив знаком князя и княгиню.

Зачем описывать последовавшую сцену? Ребенка чуть не задушили поцелуями, и только замечание прохожего, что надо малютке дать отдых, заставило обрадованных родителей прийти в себя.

— Благодетель наш, — сказал князь, обняв прохожего. — Выбирай любой посад в награду.

— Я сказал уж, что мне твоего посада не надобно. Князю прилично владеть людьми, а простому страннику, как я, и не совладеть с ними.

— Так я тебя осыплю золотом, — сказал князь и, не дожидаясь ответа, ушел в свою комнату вместе с княгиней,

Через несколько времени двое придворных вынесли золото и драгоценности и положили перед лекарем. Он было отговариваться, но Иван, не говоря ни слова, загреб подарки в суму прохожего, может быть, рассчитывая, что и он имеет на них право, как первый начавший леченье.

Угощенные донельзя и напутствуемые благодарностию и благословениями, наши странники снова пустились в путь-дорогу. Ивану, правда, не слишком любо было променять княжеские яства на сухой хлеб путника, но сума прохожего имела та-

кое сильное притяжение, что он пошел бы за ней хоть на край света.

Долго еще ходили они из города в город, то прося милостыни, то леча больных. Сума прохожего прибывала с каждым днем, но он и не думал воротиться. Иван не раз заговаривал, что довольно уже помыкали по свету, пора и восвояси, но прохожий на все представления его отвечал: погоди, вот сыщу того зверя, что съел мою булку, да и домой. Делать было нечего. Приходилось снова шататься по свету, исполняя прихоть упрямого спутника.

Раз пришли они в один большой город, столицу княжества, и остановились на подворье. А в те поры были большие смуты в городе. Старый князь помер; надо было выбрать из четырех сыновей его наследника. Это бы ничего, да дело в том, что в этом княжестве был обычай, по которому из сыновей должен был княжить тот, кто предъявит княжеский перстень. И хоть перстень был отдан покойным князем младшему сыну, но тот по неосторожности уронил его в море во время купанья. Теперь старшие братья стали претендовать на княжеский престол, а народ, не зная, как поступить ему в этом случае, по совету жрецов решился кончить жеребьем. День, назначенный для этого выбора, был уже близко, а младший князь при всех усилиях не мог сыскать перстня. Все лучшие водолазы, не только из его подданных, но и из соседних княжеств, кидались в море, но или платили жизнию за свою отвагу, или выходили с пустыми руками. Нечего говорить, что награда за отыскание перстня была несметная, и потому, несмотря на гибель, много являлось охотников поискать счастия. Однако все по-пустому.

Когда наши странники узнали об этом, добрый Иван решился подстрекнуть своего спутника – попробовать удачи.

– Ты ведь плаваешь, как рыба, – сказал он ему. – Отчего бы не сделать доброго дела для князя.

– Плавать-то я плаваю, – отвечал прохожий, – да нырять-то не большой мастер. Коли хочешь, пробуй сам.

Иван почесал за ухом.

– Оно бы нешто попробовать, да надо прежде плаванье-то в толк взять. Вот выучи меня, товарищ, так, авось, и на мою долю выпадет копеечка.

Прохожий рассмеялся.

— Ладно, но прежде дай поворожу — найдется ли перстень. А то ты по-пустому будешь трудиться, а я не получу ни пула за ученье.

Сказав это, прохожий начертил углем на столе круг с разными перегородками и взял ячменное зерно. Пошептав над ним какие-то тарабарские слова, он закрыл глаза и бросил зерно на круг. Потом внимательно посмотрел на место, куда оно упало, и сказал:,

— Перстень точно найдется. Его, видишь, проглотила меч-рыба. Стоит только поймать разбойницу.

— А ты, верно, знаешь и место, где найти эту рыбу? — спросил Иван, дрожа в нетерпении, как в лихорадке.

— Ну, этого пока сказать не могу наверное. Хоть у рыбы ног и нет, да все же она не сидит на одном месте. Вот еще брошу зерно и посмотрю, что оно скажет.

Прохожий начертил новый круг и снова бросил зерно, закрыв глаза.

— Завтра, об эту пору, рыба будет отдыхать в одной версте от города, — сказал он, внимательно осмотрев круг.

— Так чего же мы ждем, — сказал Иван, вставая. — Пойдем на взморье.

— Оно бы почему ж не пойти, — отвечал прохожий, — да только эта рыба без завету не дается.

— А что завету? — спросил Иван с нетерпением.

— Видишь, надо кинуть уду чистою рукою, которая никогда не маралась кражей или по крайней мере омыта была искренним признанием.

— Так что же? Разве ты крал когда-нибудь, что боишься попробовать.

— Кажись, что не крал, да Бог весть, не касалась ли эта рука руки тайного вора, — отвечал прохожий, пристально смотря на Ивана.

Иван мысленно проклинал прохожего, смекая — в чей огород камешки бросают.

— Да ведь на всякий зарок есть крючок, — сказал он, помолчав немного. — Можно отвод сделать.

— Почему ж не можно, — отвечал прохожий, посмеиваясь. — Надо только найти воришку, который бы без улики, сам по себе признался в своем воровстве, и бить его батогами во все время, как уда будет лежать в воде. Ну, а сам подумай, кому же охота

назвать себя вором при всем народе да еще подставить спину под батоги?

— Вишь ты, какая мудреная эта рыба. А если воришку будут бить, а она не клюнет, тут что?

— Уж я тебе сказал, что это быть не может.

— Так спросить в городе. Город большой, как-петь воришек не водится.

— Попробуй поискать, может быть, и найдешь на счастье.

Прохожий лет отдохнуть, а Иван под предлогом найти воришку вышел с подворья и прямо отправился к молодому князю. На вопрос князя: что ему надо, — Иван отвечал:

— Я странник. Слышал, что ты потерял перстень, и пришел научить тебя, как воротить твою потерю.

— Я тебя осыплю золотом по самую бороду, — сказал обрадованный князь, — если только найду мой перстень. Но что же надо делать, говори скорее.

— Дела тут немного. Со мной вместе идет прохожий — лекарь и ворожея. Приструнь его порядком, и он тебе все скажет. Только уж не выдавай меня. Старик больно сердит, того и гляди, поколотит.

— Ладно, — отвечал князь и, дав пройти несколько времени по уходе Ивана, послал за двумя прохожими и приказал привести их непременно.

Странников привели к князю.

— Послушай, добрый человек, — сказал князь, обращаясь к прохожему. — Я узнал, что ты мастер ворожить. Погадай-ка мне — где я могу найти мою потерю.

Прохожий поглядел на Ивана, а тот также посмотрел на него, как будто спрашивал: откуда это князь узнал сб этом.

— Да, князь, — сказал наконец прохожий. — Я знаю, где найти твой перстень. Но надо завет исполнить. Вишь, перстень заветный.

— Все сделаю, что можно, — отвечал князь, — скажи только, в чем дело.

Прохожий объяснил о завете. Князь задумался.

— Народ мой торговый и промышленный, — сказал он, — так как-петь рука не замарана. А пытать всех мало времени. Видно, пришлось проститься с княжеством.

— Да есть отвод, князь, — сказал Иван, не могши удержаться.

— Какой отвод? — спросил князь.

Иван рассказал все дело.

— Вот это повернее, — вскричал князь и тотчас же послал сыскать человека, который бы для пользы князя решился признаться в тайном воровстве и вытерпеть удары батогами.

Но или граждане были честны донельзя, или спины их не жаловали палочных угощений, только в целом городе не нашлось ни одного воришки без улики.

Князь не на шутку рассердился.

— Этакие негодяи, — вскричал он с досадой. — Ни одного вора в целом городе! Да нельзя ли без этого сыскать перстень? — спросил он прохожего.

— Нет, князь, — отвечал тот решительно.

Князь потерял уже надежду, но тут Иван стал на выручку.

— Нечего делать, берите меня, — сказал он. — Служа при капище, я частенько таскал принос богомольцев. Винюсь в этом.

— А батоги? — спросил прохожий.

— Ну, так что ж? Батоги так батоги! Для такого князя можно пожарить спину немножко.

Князь в восторге тотчас же велел идти на морской берег. Толпа народа провожала их. Прохожий вынул уду и передал ее князю, вероятно, в убеждении, что княжеские руки должны быть чисты. Ивана же привязали к столбу и стали угощать батогами.

Несколько времени продолжался отвод завета. А рыба и не думала клюнуть червячка, несмотря на отчаянный призыв Ивана.

Тут прохожий подошел к Ивану и сказал ему вполголоса:

— Уда не действует. Верно, ты утаил какую-нибудь кражу.

— Ей-Богу, все сказал, — отвечал тот, едва переводя дух. — Разве признаться о запястье, да это уж дело известное.

— Ну, а булку не ты съел?

— Провались ты с своей проклятой булкой, — отвечал Иван. — Сто раз тебе говорил, что не я, все не веришь.

Прохожий отошел в сторону, и батоги снова начали гулять по спине Ивана. Исполнители отвода так усердно работали, что скоро уж не стало слышно Иванова голоса.

Наконец судьба сжалилась над ним. Поплавок запрыгал, и князь вытащил окаянную рыбу. Сейчас же распластали ее, и перстень нашелся.

— Ура! — заревела толпа. — Да здравствует наш князь!

Князь, надев перстень, посадил с собою прохожего в колесницу и поехал во дворец. Полуживого Ивана тоже отвязали и понесли туда же.

Как только слух о находке разошелся по городу, старшие братья стремглав прибежали к князю, наполовину веря, наполовину не веря. Но когда они увидели перстень на его руке, то первые поклонились ему до земли и признали своим властителем. Князь в благодарность странникам наградил их так щедро, что от золота едва не прорвалась дорожная сума прохожего. Иван благодаря лечению своего товарища, на другой же день как бы ни в чем не бывал. Но то ли он утомился странствованием, то ли последнее угощение не больно пришлось ему по сердцу, только он стал умолять прохожего воротиться. Прохожий наконец согласился, и они, простившись с князем, пошли в обратный путь.

Шли, шли и наконец дошли до того самого берега, где потерялась булка. Тут прохожий сел на траву и сказал:

— Теперь мы дома. Разделим золото и пойдем каждый в свой угол.

— Ладно, — отвечал Иван в радости, что утомительный путь кончился и он воротится не с пустыми руками.

Развязали суму, высыпали золото, и прохожий начал дележ. Но к удивлению Ивана, он вместо двух кучек делил на три.

Иван не утерпел.

— Да ведь нас только двое, — сказал он. — Кому же третья кучка?

Прохожий не отвечал ни слова и продолжал раскладывать кучки. Наконец, положив последнюю монету, он сказал:

— Вот эта кучка мне, эта кучка тебе, а это кучка тому, кто третью булку съел.

Иван почесал голову, поглядел направо и налево и сказал:

— Доехал-таки, доехал! Ну, уж чего греха таить. Винюсь — я съел третью булку.

Прохожий поглядел несколько времени на Ивана, а потом смешал все кучки в одну.

— Давно бы так, — сказал он, усмехаясь. — Вот все кучки твои. Живи себе счастливо да не бросай больше ключей в мою голову.

Едва только прохожий сказал эти слова, как вдруг из старика превратился в прекрасного юношу, и Иван узнал в нем

Даждь-Бога. Но прежде чем он пришел в себя от изумления, Даждь-Бог исчез. Одна только груда золота свидетельствовала, что это не сон.

Немец замолчал.

— Знатная сказка, — сказал Академик. — Тут достается на калачи не одному Ивану-трапезнику. Да только вот что, г. Немец, откуда в древнюю Русь забрело столько князей, сколько у тебя их в сказке?

— Цитата № 1-й, — сказал Таз-баши, обращаясь к Безруковскому.

— Вероятно, из Греции или Германии, — отвечая серьезно рассказчик. — Ведь вы знаете по Гомеру и Нибелунгам, что в этих странах с давнего времени что город — то царь, что деревня — то конунг.

— Или на основании правдоподобия, требуемого от сказки, — прибавил Лесняк, улыбнувшись. — Ведь сказка такой мешок, в который клади что хочешь, лишь бы только швы не разъехались.

— Резонно, — сказал Академик. — Только для меня чудно еще одно обстоятельство. Как честному Ивану во время дороги не пришло искушения стянуть золото у прохожего.

— № 2-й, — снова промолвил Таз-баши.

— Должно быть, прохожий со времени покражи булки, стал осторожнее и клал суму себе под голову, — отвечал Немец с прежней серьезностию.

— Значит, дело приведено в совершенную ясность, — сказал Безруковский. — А уж о том, что трапезник при капище носит крещеное имя, кажется, и говорить не стоит. Мало ли имен напрокат берутся! Во всяком случае за практическую мысль сказки я готов простить 1001 нелепость, не требуя доказательства.

— Ну, теперь Немцу есть за что быть благодарным, — примолвил весело Таз-баши. — Кланяйся, дружок, г. полковнику.

Так как было еще не поздно, то хозяин предложил начать новый круг рассказов.

— По-настоящему, очередь теперь за мною, — сказал Безруковский. — Но на грех я вспомнил одну историю, порядочно длинную. Поэтому позвольте мне занять вас в следующий вечер. А теперь не угодно ли любезному Академику потешить нас какой-нибудь былиной старого времени.

— Да только, пожалуйста, не лазаревым напевом, — прибавил Таз-баши.

— Постараюсь выполнить то и другое желание, — отвечал Академик. — Впрочем, былина моя не очень стара: так, лет десятка полтора будет.

— Такая определительность времени говорит уже, что эта былина действительная, — заметил Безруковский.

— Да, и не только действительная, но даже одно из действующих лиц этой были теперь налицо пред вами.

— Интересно послушать твоих похождений, — сказал Таз-баши. — Тут должно быть все такое чинное, серьезное, длинное и... и... как бишь, это?..

— Скучное, хотел ты сказать, — отвечал Академик. — И то быть может. Да тебе, кажется, нечего бояться этого. Напротив, ты можешь еще из этого незавидного качества извлечь большую для себя пользу.

— Это каким образом?

— Очень просто, любезный Таз-баши. Чем скучнее будет мой рассказ, тем приятнее будет слушать похождения твоего дедушки. Ведь после меня твоя очередь.

— Ну, я не хотел бы, чтобы дедушка мой выезжал на твоих плечах; у него, я думаю, и свои ноги прытки, — сказал Таз-баши, покручивая свой ус с важностию.

— К делу, господа, — заметил хозяин с улыбкою.

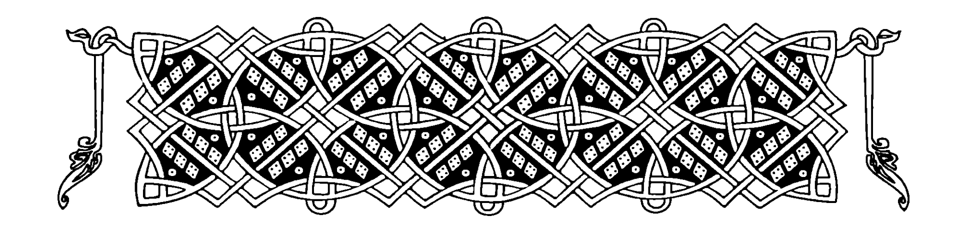
— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал Таз-баши, привстав со стула и поднося руку ко лбу, по-военному.

— Повесть мою я готов рассказывать, — начал Академик, — только, право, затрудняюсь — какое ей имя дать?

— Вот в чем затруднение! — возразил хозяин. — Назови просто: *повесть*, и только.

— А я, — прибавил Таз-баши, — готов быть восприемником твоего детища и, следовательно, имею право дать ему имя после — по достоинству.

— А до того времени, чтоб дитя мое не было без рода и без имени, я назову его хоть —



ПАНИН БУГОР[1]

— Это чудесно! — вскричал Таз-баши. — Повесть твоя не только современная, но и местная. Но берегись, приятель, ты взял на себя двойной труд; посмотрим, как-то его выполнишь. Я наперед говорю, что не позволю ни одной ошибки ни в нравах, ни в местности.

— Ну уж как сумею, любезный Таз-баши. Прошу не прогневаться.

Лет 15 тому назад, когда натурально я был немножко моложе, а следовательно, покрепче и подеятельнее, я задал себе задачу — в свободное от службы время исследовать все окрестности нашего города. Поэтому каждое утро и каждый вечер, лишь только служба давала мне право снять мундир, я отправлялся в свои путешествия. Обыкновенный мой маршрут был — поднявшись на Панин бугор, спуститься по казачьему взвозу, обогнув архиерейскую рощу и загородный дом, или через Жуково вернуться нашей Швейцарией, которая, к сожалению, носит такое антипоэтическое название — *тырковки* или, вернее, *торковки.*

[1] Панин бугор есть возвышение, окружающее город Т. с восточной стороны. На севере находится другое возвышение, известное под именем Береговой горы, на которой расположена другая часть

Я говорю: вернее, потому что в часы филологического вдохновения, думая о корне этого слова, я должен был наконец остановиться на свойстве самой местности, именно — на *торканье* колес о миллионы кочек, кочующих с незапамятных времен по нашей Швейцарии, Но это между прочим. Дело в том, что Береговая гора и Панин бугор были две главные площади, которые я с утра до вечера измеривал с похвальным усердием. Когда-нибудь я блесну описанием замеченных мною ландшафтов в надежде прибавить несколько страниц к описательной поэзии, а теперь обращаюсь к моей повести.

Не один раз, проходя Паниным бугром, я замечал на яру молодого человека, который постоянно сидел на одном месте. То ли он был любитель живописи и любовался панорамою города, опоясанного светлой лентой Иртыша, за которым стлались поля и пестрелись деревеньки на синеющемся грунте отдаленного бора; то ли он разрешал философическую задачу жизни, для чего, как вы знаете, требуется известная высота и спокойное положение; или, наконец, углублялся он во мрак времен, спрашивая у воздушных атомов ответа на исторические вопросы Сибири. Не споря и о том, что, может быть, он сидел тут с тою же целию, с какою сидят десятки тысяч людей на всех высотах и положениях, т. е. затем, что надобно же было где-нибудь да сидеть. Как бы то ни было, но постоянные встречи его на одном и том же месте не могли не подстрекнуть моего любопытства. К тому же в это время, исследовав природу моего маршрута вдоль и поперек, я хотел пополнить мои знания исследованием встречного человека. Само собою разумеется, что виденный мною незнакомец сделался первою жертвою моей страсти к любознанию. Я хотел узнать не только, *кто* он и *что* он, но зачем *тут* он. Вы, может быть, заметите, что для этого не нужно было ломать голову, а просто подойти к нему и начать с ним речь — вот хотя о местоположении. А если в продолжении разговора удастся попотчевать его сигарой, так и дело кончено. Но согласитесь сами, что такой пошлый способ узнавать людей был не достоин претендента на философа. Что за важность называть вещь по имени, когда вы осмотрели ее со всех сторон. Нет, угадать вещь на расстоянии, едва доступном глазу, объяснить ее свойства и отношения к другим вещам, еще менее видным, при помощи только умственных соображений —

вот где достоинство философии. В этой мысли, выбрав одно местечко на Панином бугре, откуда я мог видеть всего незнакомца, а для его наблюдений предоставить только один мой нос, которого, увы, я не мог бы скрыть при всем моем старании, я стал производить свои исследования. Первое, что мог я заметить, было то, что молодой человек имел характер, потому что по получасу и более он сидел на одном месте, не переменяя положения. Второе, что он не был чужд философической важности, потому что в иное время он тихо вставал с места, обращал взор свой к небу и медленными пифагорейскими шагами спускался с бугра. Наконец, третье мое замечание, правда, сбивавшее меня с толку при сравнении со вторым, состояло в том, что у молодого человека не было недостатка и в поэтической живости движений, потому что не один раз случалось мне видеть, как он вдруг вспрыгивал с места и уходил так поспешно, то недоставало только атома скорости, чтобы шаги его назвать побежкой. Так прошли недели две: он в известные часы сидел на прежнем месте, а я в своей философской обсерватории.

Но как жажда познаний, так хорошо олицетворенная греками в лице Тантала, не удовлетворялась сделанными мною наблюдениями, то я решился наконец потеснить философию для простого любопытства. Другими словами, я решился поближе посмотреть, что этот NN тут делает. Выбрав минуту, когда мой сюжет сделал одну из тех быстрых побежек, о которых я уже имел честь вам докладывать, я с решительностию стоика подошел к тому месту, где обыкновенно сидел мой незнакомец, и стал смотреть направо и налево. Ну, ровно ничего особенного. Ряды домов, линии улиц, прогуливающиеся коровы, босоногие мальчишки в ссоре с гусем, старуха с повойником на голове, кляча извозчика – все это такие прозаические предметы, от которых нельзя было ни прыгнуть, ни возвести очей на небо. Посмотрим, что далее. Столбы дыма и пыли, маленький офицерик в грозной позиции перед длинным солдатом, трое приказных, потчевающих друг друга табаком, полицейский солдат навеселе – ну, и это все вещи не большой важности. Постой же, подумал я, вид веши часто зависит от точки зрения. Дай сяду так, как сидел незнакомец, и кто знает, может быть, чудеса увижу. Сказано – сделано. Приняв то самое положение, в каком я чаше всего видал незнакомца, т. е. положив локоть пра-

вой руки на траву и подперев голову, я закрыл на минуту глаза, чтобы вдруг открыть их на первый предмет, который и должен быть разгадкою всего дела. Тьфу пропасть! Какой-то грязный мальчишка, в костюме золотого века, полощется в луже, спиною ко мне. Стоило закрывать глаза, чтобы потом увидеть подобную картину! Тут пришло мне в голову: не в том ли вся сила, что надо прыгнуть или встать с достоинством, обратив глаза к вечному эфиру. Попробуем и эти фокусы. Сначала встанем философически: прыгнуть можно и после – хоть с досады. Полежав несколько минут, я стал подниматься с такою величавостию, что, право, готов был сам себя принять за Юпитера. Но к сожалению, первый предмет, который встретился глазам моим на пути в Олимп, был не молниеносный орел, а простая дурацкая сорока, с глупейшим своим щекотаньем. Оставалось прыгнуть Юпитеру. Но тут тучегонитель оплошал, и так неловко, что едва было не отказался от всех наблюдений. В горячке исследований, не сообразив самого простого обстоятельства, что я стою в двух вершках от края бугра, я прыгнул – прямо вниз. К счастию моему, бугор на этом месте имел небольшой выступ, и потрясение мое ограничилось только прыжком в 6 футов. Но довольно было и этого, чтобы встряхнуть в голове моей все великие вопросы и заставить меня вскарабкаться наверх самым прозаическим образом.

Но тут судьба, как бы в награду моих трудов, услужила мне сверх ожидания. Я случайно увидел сафьянный бумажник и тотчас же заключил, что он непременно должен принадлежать моему незнакомцу. Вы можете себе представить мою радость. Без всяких расспросов, всегда щекотливых, я могу теперь узнать историю молодого человека. Потому что в бумажнике у него, вероятно, как у всякого порядочного человека, должна заключаться куча бумаг, относящихся к делу. Поднявшись на бугор, я развернул свою находку и начал исследования. В одной стороне лежало несколько ассигнаций разного достоинства (правда, не очень высокого), а в другой было несколько лоскутков бумаги с самыми иероглифическими надписями. Я говорю иероглифическими только по смыслу, потому что надписи были сделаны на общем языке православных. Очень помню, что на одном клочке было написано: *в пятом часу на кладбище*; на другом: *не сомневайся*; на третьем: *ей-Богу, я осержусь*. Четвер-

тый клочок содержал две надписи разными руками – вверху: *дядюшка не позволит*, а внизу: *старый черт*! Верхняя надпись была очевидно сделана женскою рукою, как и на первых клочках, а нижняя отличалась энергическим почерком мужчины. Еще было несколько клочков бумаги с подобными же иероглифами да два или три со стихами, похожими на эпиграфы; не припомню их за давностию. Больше всего ломал я голову над одним иероглифом, который выражал одно только слово *насмешка*, но не потому, что принимал это на свой счет по случаю моей находки; к какой стати, я лицо тут вовсе постороннее; а просто потому, что хотел угадать – чтó это была за насмешка.

Вы, верно, подумаете: нехорошо, что я так хозяйничал в чужом бумажнике. Винюсь в этом. В 20 лет бес любопытства сильнее гения скромности. Но в оправдание свое скажу, что едва только пришло мне в голову, как дурно я делаю, распоряжаясь чужим добром без позволения хозяина, я тотчас же закрыл бумажник. К большей похвале моей правдивости я должен сказать и то, что мысль укора пришла мне в голову, когда уж бумажник перерыт был сверху донизу. Но согласитесь сами, ведь надобно же было мне узнать хозяина моей находки, Может быть, бумажник принадлежал вовсе не моему незнакомцу. Но как бы то ни было, а дело сделано. Узнав все, что только можно было узнать из иероглифов, т. е. почти ничего, я еще несколько времени посидел на месте в надежде, не воротится ли молодой человек, отыскивая свою потерю. А между тем, ревнуя славе Шампольонов и Гульяковых, я стал вытягивать смысл из иероглифов и складывать их в связную речь.

Здесь затруднение состояло в том, какому порядку следовать в разборе иероглифов. *Старый черт* хоть и написан внизу, но может быть, он должен занимать первое место. Но могло статься, как и следовало подобному господину, место его в заключении: ведь известно, что эти черти всегда являются при развязке. Но здесь ли, там ли, только уж, наверное, не в средине. Потому что тут ввернуть черта значило бы испортить все дело. Вдруг новая мысль пришла мне в голову. Чем трудиться угадывать порядок в таком безалаберном деле, как иероглифы, не лучше ли просто поискать смысла, в каком бы порядке не пришлись надписи. Станем разгадывать. Почерк мужеский и женский – значит, есть любовишка. Кладбище – это, верно, свида-

ние. Ведь целый свет знает, что покойники большие потворщики живым. Старый черт — это препятствие. Не сомневайся — тут недостаток или неуверенность в взаимности. Ей-богу, осержусь — это, может быть, в том же роде или ответ на слишком пылкое требование другой стороны. Все это очень ясно. Но вот эта проклятая насмешка, как спица в глазе. Прах его знает, к кому отнести ее из трех действующих лиц. Коли к нему — худо, к ней — еще хуже. Так пусть же старый черт дядюшка за нее отвечает. И стар, и насмешлив — решительно дядюшка всех веков и народов! Но в то время, как я восхищался моею проницательностию, вдруг звучный незнакомый мне голос прозвенел над моими ушами:

— Позвольте, милостивый государь, обеспокоить вас моим вопросом. Сегодня утром я обронил здесь мой бумажник — из красного сафьяна с золотыми вышитыми буквами. Не заметили ли вы его где-нибудь?

Я оглянулся. За мною стоял мой незнакомец, высокий молодой человек с открытою физиономиею, которая для меня лучше всякой приятности, хотя и в этом отношении он не имел недостатков.

— Вы угадали, — отвечал я, вставая. — Я точно нашел здесь такой бумажник, какой вы описали, и давно уж здесь сижу в надежде встретить хозяина. Не этот ли? — прибавил я, подавая ему мою находку.

— Он самый, — вскричал весело молодой человек, взяв бумажник. — Благодарю вас. Очень рад, что вы, а не другой кто нашел его, а еще более рад, что он не совсем потерялся.

— Очень благодарен за доброе обо мне мнение. Но признаюсь, вряд ли бы вы стали благодарить меня, если б знали мою нескромность.

Молодой человек немного смешался.

— То есть вы полюбопытствовали узнать его содержание. Ну, что ж? У меня нет таких тайн, за которые бы я стыдился. Притом всякий бы на вашем месте сделал то же, чтоб узнать — кому принадлежит бумажник.

— Но я и в этом не был счастлив. И если бы вы сами не пришли сюда, едва ли бы я по одному вензелю А. и С. мог бы скоро отыскать вас.

— Ваш слуга Александр Сталин, — сказал он мне, приподнимая шляпу.

— Николай Алексеев Соловьев к вашим услугам, — отвечал я, подавая ему руку.

Пожатие рук заключило наше знакомство. Так как нам идти было по пути, то мы и отправились вместе, меняясь самым обыкновенным разговором. Между прочим я узнал, что новый мой знакомец служит столоначальником в одном присутственном месте, не имеет никого родных, зато бездну знакомых, любит в свободное время заглядывать в книги, которыми снабжает его библиотекарь гимназии, и, наконец, что он хорошо принят у некоторых значительных лиц города. Проводив его до квартиры, которая лежала по дороге к моей, я взял с него слово бывать у меня и сам обещал порою к нему завертывать.

— А чтоб слова были самым делом, — сказал я, — так не угодно ли вам будет, Александр... Александр...

— Петрович, — отвечал он с улыбкою.

— Александр Петрович, завтра же пожаловать ко мне откушать хлеба-соли. Вот адрес моей квартиры, — продолжал я, подавая ему карточку, — а обедаю я обыкновенно в час.

— С большим удовольствием. Тем более, что завтрашний день у меня не много занятий и я скоро могу отделаться.

И мы расстались.

Назавтра Сталин пришел ко мне ровно в назначенный час. Желая поближе узнать молодого человека, а еще больше — проникнуть в бугорную его тайну, я решился предложить ему разные роды искушений и между прочим шипучую влагу, развязывающую язык. Но к удивлению моему, смешанному, впрочем, с удовольствием, от живой воды он отказался, а от разного рода других водиц отведал по полурюмке. Надобно было прибегнуть к мерам более утонченным. С этою целию я взял на себя роль простачка и пустился рассказывать о себе всякую всячину. По крайней мере, вежливость, думал я, заставит его отплатить мне подобною же откровенностию. Но и этот способ поймать его на удочку имел небольшой успех. Он тоже рассказал свою историю, но такую обыкновенную, что даже моя собственная была перед нею настоящим романом. А о Панином бугре — злодей, хоть бы полслова. Нет, подумал я, птичка, хоть и молодая, но верно себе на уме. Станем ждать всего от времени. Авось, он

опять потеряет свой бумажник, и я найду новые иероглифы, более прозрачные. Но как ни обмануто было мое ожидание на откровенность Сталина, я все-таки душевно полюбил его. В его характере и образе мыслей было столько самостоятельности, что не будь он 22 лет и только столоначальником, можно бы принять его за человека, который жил не даром на свете. Порою только в разговоре проскакивали у него резкие выражения, отзывавшиеся насмешливостию, но очевидно против воли, потому что он в ту же минуту или старался смягчить свою фразу, или переменял разговор, как бы опасаясь поддаться увлечению. Нечего говорить, что свидания наши были довольно часты. У меня была порядочная библиотека на русском и французском языках, а у него было много охоты читать. Заметив из слов его, что он жалеет о незнании им иностранных языков, я предложил ему учиться по-французски. Он благодарил меня с такою живостию, что я заранее ожидал найти в нем усердного ученика. И в самом деле, успехи его были удивительны. В короткое время он мог уже читать французские книги. И я, право, не постигал, как он, между службой и занятиями, находил еще время для своих прогулок. Не проходило дня, чтобы он в известное время не сидел на бугре, и иногда довольно подолгу. На шутки мои об его любимой прогулке он отвечал тоже шутками, а когда, бывало, я ловил его на месте, у него как раз являлась в руках какая-нибудь книжка или картинка с заречным видом.

Но знакомство с Сталиным не мешало мне время от времени навещать и других моих знакомых. Особенно я любил бывать у старика Горина, отставного чиновника, благородного, умного, но упрямого в высшей степени. Стоило ему что-нибудь однажды взять в голову, и никакие человеческие силы не могли извлечь его из предубеждения. Оттого все жители нашего города у него разделены были на три разряда: одних он любил и готов был пожертвовать для них всем на свете; других ненавидел, хотя – к чести старика – ненависть его не доходила до желания зла; о третьих же он молчал, как не заслуживших ни любви его, ни ненависти. Я познакомился с ним по случаю письма, которое он привез мне от одного моего знакомого из России. Надобно сказать, что Горин не более двух лет приехал в Т., желая принять в опеку сироту, дочь любимой им сестры. Разные

обстоятельства по долгам и наследству удерживали его в Сибири, хотя он никак не прочил себя в Т. Племянницу свою он любил, как отец. И точно, нельзя было не любить этой милой девушки. С чрезвычайно приятною наружностию Оленька соединяла столько милого в характере, что, грешный человек, мне не один раз приходило на мысль связать судьбу ее с моею. Но верный своему правилу – все делать с обоюдного согласия, – я ждал времени, когда Оленька будет ко мне неравнодушна. Но или сердце ее еще не созрело для чувства любви, или идеал ее был совсем в другом роде, не подходивший к моей особе, только долгое время я не мог получить от нее ничего, кроме особенной, почти даже родственной ласковости. Она обращалась со мною, как с братом, и не скрывала от меня ничего. Да кажется, и скрывать было нечего, особенно от такого проницательного человека, каким я считал себя в то время.

Раз вечером, соскучившись моим одиночеством, я вздумал навестить Горина – поспорить с ним и поболтать с Оленькой. Старика не было дома. Оленька приняла меня с обыкновенною своею ласковостию.

— Вы нынче совсем забыли нас, Николай Алексеич, — сказала она, усаживаясь подле меня на диване. – Дядюшка начинает даже хмуриться.

— А вы, Ольга Николавна, верно, были так добры, что постарались разгладить его морщинки.

— Кажется, нечего сомневаться в этом. Только все-таки лучше, что вы пришли. А то, право, я была бы в большом затруднении – чем наконец оправдать вас. А скажите, пожалуйста, где вы были? Неужели все время сидели дома?

— Где был я? Спросите лучше – где я не был? Есть ли хоть вершок земли в окрестностях, который бы я не осмотрел тысячу раз.

— Ну, а какое же место имело удовольствие видеть вас чаще прочих? Мне хотелось бы сделать комплимент вашему вкусу.

— А вот, например, Панин бугор. Что вы на это скажете?

Оленька живо повернулась.

— Панин бугор? Фи, какое прозаическое место! Пустырь, на котором нет даже порядочной зелени, а чтоб дойти до лесу, надобно запастись другими башмаками.

— Зато сколько там картин совершенно идиллических.

— Да, это правда, — вскричала Оленька, засмеявшись. — Каждое утро и вечер ваш любимый бугор стонет от мычания идиллических животных.

— А что вы скажете о картине города и реки, которую можно видеть с бугра?

— Согласна, что картина не дурна, но ею можно пользоваться и с береговой горы.

— У вас, верно, есть какое-нибудь предубеждение к бугру. Хорошо, что не все разделяют его с вами.

— А разве нашелся еще какой-нибудь любитель вашей идиллической высоты?

— Да, и очень интересный любитель — молодой и любезный, которого я почти каждый день встречаю на бугре и, что удивительно, всегда на одном месте... Но что это вы обронили, Ольга Николавна? — спросил я, увидев, что Оленька ищет чего-то на ковре у стола.

— Так, пустяки... мне показалось, что светила иголка, — отвечала Оленька с живым румянцем, вероятно, от наклонения.

— Так изволите видеть, — начал я, возвращаясь к предмету разговора, — вкус мой не так дурен, как вы думаете.

— Не буду спорить с вами, хоть потому, что о вкусах не спорят, — отвечала Оленька.

— Но все-таки вы позволите мне сразиться теперь с вашим дядюшкой. Он тоже почему-то не жалует Панина бугра. Но что мне до этого. С таким союзником, как Сталин, я надеюсь одержать блистательную победу.

Сказав это, я посмотрел на Оленьку, желая узнать — одобрит ли она мое намерение. Потому что милая девушка не совсем жаловала наши вечные споры. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел, что лицо Оленьки, за минуту горевшее таким ярким румянцем, теперь покрыто было смертною бледностию. Но только что я хотел спросить о причине такой перемены, в передней послышался голос Горина. Оленька вспрыгнула с дивана и, шепнув мне почти испуганным голосом: «Ради Бога, не поминайте о бугре перед дядюшкой», — побежала встречать старика.

Я посмотрел на нее с удивлением. И между тем как Горин вешал свою шинель и снимал калоши, вдруг мысль об одном иероглифе блеснула в голове моей. Те-те-те! уж не это ли ста-

рый черт дядюшка! ай да Оленька! тьфу, пропасть, какая у меня проницательность!

Приход Горина прервал мои догадки. Побранившись вместо здорованья, мы сели за шахматы, до которых старик был большой охотник, а Оленька стала готовить чай.

— Да что это с вами, Николай Алексеич, — вскричал Горин, когда я, в раздумье от всего слышанного и виденного, сделал один глупейший ход. — Вы как будто в первый раз взяли в руки шахматы. Ходите слоном по-конину.

— Извините, Иван Васильевич, — отвечал я, приходя в себя. — Я немножко расстроен сегодня.

— Ну, так давно бы и сказать об этом, чем заводить пустую игру, — сказал старик, мешая шахматы. — А можно узнать, что за причина вашего расстройства?

Не зная, что отвечать на вопрос Горина, я решил соврать немножко.

— Да так... дела... по службе... — отвечал я, ставя мысленно между каждым словом несколько точек.

— Эх, Боже мой. Не люблю я этих полуобъяснений. Надо или все говорить, или молчать.

«Вот тебе и Панин бугор!» — подумал я, стараясь приискать что-нибудь похожее на правду, хоть столько же, сколько иной перевод на подлинник.

— Да видите, почтеннейший Иван Васильич. До меня дошел слух, что мне назначается дальняя командировка, а мне, право, не хотелось бы оставлять свой теплый угол.

Старик посмотрел на меня как будто с удивлением. Ну, теперь его очередь кручиниться, подумал я. Ведь когда я уеду, кто ж с ним будет играть в шахматы.

— Стыдись, молодой человек, — сказал наконец Горин серьезно. — У нас, кто поступает на службу, тот принимает присягу, а принявши присягу, грешно и стыдно отнекиваться.

Вот тебе и пожалел! Что мне было делать? Оставалось только молча проглотить пилюлю и в утешение разве взглянуть на проклятый бугор.

Старик еще несколько времени мылил мне голову, и только благодаря заступничеству Оленьки, которая вовремя ввернула старику стакан чаю, мне удалось несколько посушиться после неожиданной бани. Нечего говорить, что я не замешкался. Ста-

рик и прежде не имел обычая кого-либо удерживать, а теперь и подавно. Незадолго перед уходом, когда Горин зачем-то вышел в другую комнату, я успел обменяться с Оленькой несколькими словами.

— Признаюсь, Ольга Николавна, сегодняшний случай сильно поколебал во мне убеждение о прелестях Панина бугра.

— Но,ради Бога, скажите откровенно, Николай Алексеич. Вам все известно? — прошептала Оленька, сильно сконфузившись.

— Ровно ничего, Ольга Николавна, или разве только одно то, что г. Сталин, выходит, преопасный человек.

Оленька сконфузилась пуще прежнего.

— Вы его знаете? — спросила она после некоторого молчания, не смея поднять глаз.

— Не только знаю, но на беду свою люблю его, как родного брата.

— На беду?

— Да, Ольга Николавна. Но об этом после. Завтра, если вам угодно, я явлюсь к услугам вашим.

Тут вышел старик.

Простившись с Гориным, я отправился — домой, вы думаете, или к окаянному Сталину? Ничего не бывало, а на проклятый бугор, прямо к известному месту. Мне хотелось сделать топографическую проверку, чтобы подтвердить свои догадки. И точно. С того самого места, где сидел Сталин, можно было провести прямейшую линию к окошкам дома Горина, который стоял у бугра. Как я ни любил делать открытия, но при подобной находке страсть моя к любознанию сделала удивительно-кислую гримасу. Хорошо еще, что Оленька была ко мне только ласкова, а то я готов был с Панина бугра прыгнуть прямо в Захарьевскую улицу, в квартиру Сталина, и решить с ним дело огнем и мечом. Но и теперь я не останусь неотмщенным. Завтра же поймаю молодца на месте преступления и заставлю его не один раз провалиться сквозь бугор в преисподнюю. Ай да смиренники! да они этак, пожалуй, поцелуются у нас под носом, а мы со старым чертом дядюшкой и не заметим этого. Одним словом, я тогда был так сердит, что еще немного, и я бы скомкал весь Панин бугор и бросил его в голову Сталину.

На другой день, в уреченное время, я сидел уже в засаде, выжидая моего любезника. Не хочу говорить, сколько в ожидании его я пролил крови, душа комаров, которые, как бы проникнув злые мои намерения, налетели ка меня с целой округи. Но эта борьба спасла Сталина. Потому что, когда он явился на свое место, я был уже так утомлен, что не имел сил даже дать ему сзади толчка по направлению вниз горы. Наконец сообразив, что крутые меры редко удаются, я решился напасть на него другим образом. Незаметно подошел к нему сзади и положил руку к нему на плечо. Кажется, в руке моей не было ни капли электричества, но тут она сделала чудо. Сталин так вздрогнул, что я невольно сделал шаг назад.

— Ах, это вы, Николай Алексеич, — сказал он, стараясь скрыть свое замешательство, а может быть, и досаду. — Признаюсь, вы порядочно испугали меня.

«Эге, приятель, — подумал я, — коли одно простое рукоположение так тебя испугало, посмотрим, что с тобою будет, когда я стану колотить тебя прямо в сердце».

— Но скажите, пожалуйста, Александр Петрович, — сказал я, принимая вид самого простодушного человека в свете, — что за удовольствие находите вы сидеть каждый день на одном и том же месте.

— Так... прихоть, если хотите, ничего больше, — отвечал он еще простодушнее.

— Что же вы видите отсюда особенного, — продолжал я тем же тоном. — Ведь не с закрытыми же глазами вы сидите.

— Что вижу! Взгляните сами, и вы верно не станете повторять вашего вопроса.

— Но положим, что я близорук, а очень желал бы знать, что там находится.

— Ну, я сказал бы вам: вот тут город, там река, а там заречье.

— Хм! Видно, у вас страсть к подобным ландшафтам. А если бы я был на вашем месте, я лучше бы смотрел вот на этот хорошенький домик, что прямо под нами.

Сталин взглянул на меня с удивлением, смешанным, как мне казалось, с другим более тревожным чувством.

— Этот? С зелеными ставнями? — спросил он, показывая совсем на другое строение.

— О, нет, а вон тот, что так весело глядит на нас двумя боковыми своими окнами.

— Что ж вы находите в нем особенного? — спросил Сталин, смотря на меня с заметным беспокойством. — Дом как дом, есть тысячи гораздо лучше.

— По форме так, — продолжал я лукаво, — а уж, верно, не по содержанию.

— Жаль, что содержание его мне неизвестно, — отвечал Сталин, все не сводя с меня глаз.

— И я жалею об этом, потому что вы тогда имели бы предмет для созерцания гораздо интереснее, чем город, лес и заречье.

— Вы, верно, знакомы с жильцами этого дома? — спросил Сталин после некоторого промежутка молчания.

— И очень. Если угодно, я отсюда познакомлю вас с ними, а коли хотите, так, пожалуй, и оттуда, — отвечал я, показывая вниз.

— Благодарю вас. У меня и старых знакомств так много, что я едва успеваю поддержать их... А впрочем, не мешает знать — чей это дом.

— Дом этот, изволите видеть, одного почтенного старика Ивана Васильича Горина или, лучше, одной прехорошенькой девицы Ольги Николавны Тиховой, которая приходится Горину не более не менее как родная племянница. Неужели вам никогда не случалось встречать ее? Кажется, вы любитель всего прекрасного.

— Может быть, и встречал, но право, не помню, — отвечал Сталин, жестоко муча свою шляпу.

— Ну, так я вам скажу, что девушка не дать не взять — прелесть. Правда, мне не годилось бы слишком хвалить ее, — продолжал я, повертывая в сердце у него воткнутое шило, — потому что г-жа Тихова скоро должна будет переменить свою фамилию на Соловьеву; но в качестве жениха, кажется, похвалить немножко позволено.

Можете себе представить, какое действие произвела моя ложь. Вся кровь кинулась ему в лицо, а потом отхлынула к сердцу. Бледный как полотно, Сталин посмотрел на меня сверкающими глазами, и так страшно, что я за него испугался.

— Так вы... жених... этой... девушки? — спросил он, едва выговаривая.

Я решил ослабить впечатление.

— То есть кандидат в женихи, если вам угодно, — отвечал я с улыбкою. — Формального предложения еще не было.

— А скоро... можно будет... вас поздравить? — Снова спросил Сталин так же невнятно.

— И этого не могу вам сказать, — отвечал я. — Дело в том, что при всем моем старании я до сих пор не мог еще снискать полного расположения. А без взаимности, согласитесь сами, что за женитьба.

Легкий румянец заиграл на лице Сталина.

— Ваша правда, — сказал он более ясным голосом. — Брак без любви — одно бремя. И тот варвар, по моему мнению, кто, не получив взаимности, ведет девушку к алтарю.

Последние слова сказаны были с особенной энергией.

«Сам ты варвар, — подумал я. — А любить без позволения дядюшки, хотя бы и старого черта, разве не варварство?».

— Да, вы правы, — отвечал я ему, — Жениться без любви и искать в девице без согласия родных — для меня две вещи равно неблагородные.

Сталин снова смешался.

«Что, дядя, гриб съел, — снова подумал я, в удовольствии от искусной парировки. — Нет, голубчик, я ведь не кто другой. Со мной держи прямо, а не то разом на кочку наедешь».

Надобно вам сказать, что в продолжении разговора я частенько поглядывал на известные окна. Какое-то предчувствие говорило мне, что они недаром смотрят на бугор, хотя и закрылись занавесками. Предчувствие не обмануло меня. К концу нашего разговора одна занавеска откинулась, и что-то вроде Оленьки показалось у окна. Этот призрак Оленьки поставил на окно горшки с цветами в каком-то рассчитанном порядке и скрылся. Я взглянул на Сталина. Он уже был в нескольких шагах от меня по дороге домой. Видел ли он эти горшки, я не знаю; знаю только, что он шел ахиллесовым шагом. Я пустился догонять его.

— Погодите, Александр Петрович, — кричал я ему вслед. — Ведь нам по пути.

Вместо ответа Сталин обернулся и что-то вроде «черт возьми» прошипело в воздухе. Разумеется, что я не обратил внимания на подобные пустяки и стал толковать Сталину о ка-

кой-то, не помню, французской книге. И мне было просторно истощать свое красноречие, потому что, кроме «да» и «нет», он не сказал ни слова во всю дорогу.

Проводив его до квартиры, я пошел домой переодеться, чтоб идти к Горину – пошпиковать скромную Оленьку. Меня удержали обедать. Старик имел похвальный обычай после обеда вздремнуть часика два, и я воспользовался этим случаем, чтобы узнать всю подноготную.

Не стану описывать своего разговора с нею. Скажу только, что с самым милым замешательством она призналась мне во всем. Я расскажу вам, в чем было дело, дополняя признание Оленьки исповедью Сталина, которую я услышал после.

Родители Оленьки были из России. Отец ее Николай Иванович Тихов сначала служил на своей родине, но потом переехал в Сибирь, чтобы воспользоваться чином 8 класса, дававшим в то время право потомственного дворянства. Верно Сибирь ему понравилась, что он и по окончании срока сибирской службы решился остаться в Т. Семейство его состояло из него, жены и Оленьки. С порядочным жалованьем, при строгой экономии Тихов жил не только безбедно, но мог еще каждый год откладывать малую толику на приданое единственноей своей дочери. Все шло как нельзя лучше. Даже был в виду и жених Оленьке – один молодой человек, служивший у отца ее помощником столоначальника. Вы, верно, догадываетесь, что этот жених был не кто другой, как Сталин. Он часто бывал у Тихова и по делам службы, и по расположению к нему начальника. К этому вскоре присоединилось еще и влечение более нежного свойства. Тиховы не без удовольствия видели искательство молодого человека, который, несмотря на свои годы, пользовался самою завидною репутацией – и как хороший чиновник, и как скромный молодой человек. Но пока не подавали еще ему никакого ободрения, может быть, более потому, что Оленьке было еще только 15 лет. Между тем молодые люди делали удивительные успехи в одном приятном занятии, называемом любовию. Не проходило дня, чтоб Сталин где-нибудь не раскланялся с Оленькой, а Оленька не послала к нему обворожительной улыбки. Молоденькая кокеточка (за Оленькой, как за всякой хорошенькой девушкой, водился этот грешок) находила тысячу случаев затронуть сердце молодого челсвека. Сегодня удиви-

тельно любезная, с постоянною улыбкою, завтра с опущенными глазками, или с сердитой гримасой, или наконец с маленьким капризом, смотря по ходу дел и по погоде, – она всеми манерами умела обворожать Сталина. Так что наконец бедняжке стало невмочь, и он решился приступить к делу на законном основании. Признавшись Оленьке в своем намерении (чувства его были ей давно известны), он просил у нее позволения искать ее руки. Нечего сомневаться, что Оленька не противоречила. Выбран был день, признанный обеими сторонами за самый счастливейший для подобных начинаний, именно день рождения Оленьки. Но человек предполагает, а Бог располагает. Дня за два до назначенного срока с матерью Оленьки, женщиной полнокровной, сделался удар. Сколько медики не истощали усилий возвратить ее к жизни, Провидению не угодно было наградить их стараний. Тихова умерла. Отец Оленьки, горячо любивший свою жену, был совершенно убит своей потерей. Не слушая никаких убеждений, он каждый день ходил на могилу жены и проводил там по нескольку часов сряду. Один раз застигла его непогода. Занятый единственно милым прахом, он не взял предосторожности и простудился. С ним случилась горячка, и в девятый день он лежал уже на столе, едва успев написать письмо к брату своей жены, чтобы он поспешил взять сироту его под свою защиту. Можете представить себе убийственное положение бедной Оленьки. Она едва сама не последовала за своими родителями, и только любовь к Сталину удержала ее в живых. Начальник отца ее принял участие в бедной сироте. Он уговорил одну благородную вдову перейти в дом к Оленьке до приезда ее дяди и выхлопотал сироте пенсию. Несчастия переменили характер Оленьки. Из резвой, почти ветреной девушки она сделалась скромною девицею. Она по-прежнему любила Сталина, но обращение с ним приняло более серьезности. О свадьбе не было и в помине. Они виделись только в церкви или на кладбище, и то в присутствии вдовы, и весь разговор их ограничивался вопросами о здоровье и погоде. А иногда дело кончалось одним молчаливым поклоном. В половине траурного срока приехал наконец давно ожидаемый дядя. Оленька ожила. Но опять повторю: человек предполагает, а Бог располагает. Приезд дяди или, лучше, неосторожность Сталина перевернула все дело. Надобно было случиться,

что в самый день приезда Горина Сталин гулял у Подчувашской пристани. В это время причалил паром. Между телегами Сталин заметил простую рогоженную кибитку и подле нее старика не очень завидной наружности, в нанковом халате, подпоясанном платком. Старик был чем-то осержен и громко бранил одного перевозчика. Негодяй отвечал грубостями. Сталин от нечего делать подошел посмотреть на эту фламандскую сцену.

— Бездельники! — кричал старик. — Нисколько не имеют уважения...

— Было бы к чему, — отвечал грубиян перевозчик.

— Эх, братец, да вот хоть к новому халату, — сказал Сталин, не могши без смеха смотреть на карикатурное положение старика и приняв его за мелочного торговца.

Перевозчики захохотали во все горло.

Старик взглянул на Сталина, и глаза его засверкали. Но вскоре он принял спокойный вид и только сказал:

— Глупо было бы сердиться на мужика, когда и лучше его люди поступают по-мужицки.

Вместо ответа Сталин только засмеялся.

Бедняжка и не думал, что этот смех скоро вызовет горькие слезы, потому что смешной старик в нанковом халате был не кто другой, как дядя Оленьки.

Не зная ничего о происходившем на берегу, Оленька через несколько дней известила Сталина о приезде дяди. Надежда на счастие заговорила в сердце молодого человека, и в первый воскресный день он явился к Горину с визитом. Представьте же себе его удивление и вместе беспокойство, когда в Горине он узнал того самого старика в халате, над которым он так некстати посмеялся. Старик тоже узнал Сталина, но он имел довольно над собой власти, чтобы скрыть свое негодование.

— Позвольте узнать, государь мой, — сказал он Сталину, — чем могу я служить вам?

Сталин пробормотал что-то вместо рекомендации.

— Помнится мне, что мы уже отрекомендовались друг другу на перевозе, — отвечал Горин. — Кажется, с нас, особенно с меня, очень довольно подобной рекомендации. Не трудитесь, пожалуйста, — продолжал старик, заметив, что Сталин хочет извиниться. — Объяснения хороши там, где они нужны. А как

мы, вероятно, больше с вами не встретимся, то и объясняться, я думаю, незачем.

Старик холодно поклонился Сталину и ушел в свою комнату.

Так кончился первый визит и знакомство Сталина с дядей Оленьки.

Нечего говорить, как встревожилась Оленька, узнав о происшествии на перевозе. Хотя характер дяди ей был еще не известен, однако ж она была столько опытна, что могла понять — как опасно затронуть самолюбие человека, а еще больше незаслуженною насмешкой. Она и сердилась на Сталина, и жалела об нем. Единственная надежда ее теперь была на будущее. Несколько времени Оленька убегала всех случаев встретиться со Сталиным, но когда во время одной прогулки на кладбище она увидела его бледное похуделое лицо и грустную физиономию, сердце ее сильно заговорило в его пользу. Она позволила ему писать к ней и сама отвечала теми иероглифами, над которыми я столько ломал голову. Вы, может быть, спросите — кто же был посредником в этой переписке. О, это был посредник самый безмолвный в мире — надгробный памятник ее матери. Утром он получал вопрос, а вечером ответ, а иногда вопрос и ответ встречались в одно время. И кому бы пришло в голову, что холодная доска скрывает такие жаркие объяснения! Но между тем надобно же было знать той и другой стороне — когда послать вопрос и когда прийти за ответом. Этому помогли горшки с цветами, которые в известные часы то ставились, то снимались с окна, выходившего на Панин бугор. Как не сказать, что любовь — чудотворица. Она не только оживила могилы умерших, но и дала смысл таким глупым вещам, каковы, например, горшки. Когда-нибудь я напишу об этом диссертацию с подобающими цитатами от троянской Елены до т-ой г-жи NN включительно, а теперь стану продолжать свою повесть.

— Вот вам, добрый Николай Алексеевич, откровенная моя исповедь, -- сказала Оленька, кончив свой рассказ. — Вполне предаю себя вашему суду, не прося ни извинения, ни защиты.

Помолчав несколько времени, как прилично человеку, у которого просят совета в важном деле, я наконец бросил крылатое слово.

— Не берусь ни извинять вас, ни оправдывать. Тут такое столкновение обстоятельств, что надобно юридическую голо-

ву, чтобы решить — кто прав, кто виноват. А как военный человек, думаю, что на вашем месте я поступил бы не лучше вашего. Но позвольте спросить, что вы намерены предпринять далее?

— Я сказала уже вам, что я поручила себя в волю Божию. Если суждено мне счастье, я день и ночь буду благодарить Господа, а если нет, я постараюсь малодушный ропот подавить молитвой.

— Это делает честь христианскому вашему чувству. Но я желал бы знать, на что решитесь вы, если бы вам дали на выбор принять ту или другую сторону.

— В таком случае я молила бы Бога, чтоб Он взял меня к себе, — отвечала Оленька с влажными глазами.

Этот ответ милой девушки решил меня.

— Исповедь за исповедь, Ольга Николаевна. Не зная, что ваше сердце уже занято, я надеялся по времени обратить его на свою сторону. Но теперь, узнав все дело, я не только отказываюсь от всякой дальнейшей попытки на вашу взаимность, но употреблю все усилия переломить упрямство вашего дядюшки. Надеюсь, любовь сестры будет наградою за мое старание.

Оленька вместо ответа обняла меня обеими руками и крепко поцеловала.

Не беду говорить, что происходило тогда в моем сердце. Я должен был вытерпеть порядочную борьбу обманутой надежды с обязанностями долга. Но Бог помог мне. Этот самый поцелуй, который в прежнее время обхватил бы молнией все мое существо, теперь канул целебною росою на мое сердце. Я полюбил Оленьку больше прежнего, но любовь моя была уже совсем другого рода.

Так как до обыкновенного пробуждения Горина оставалось еще довольно времени, а мне надобно было обдумать план действий, то я решился идти домой, не дождавшись выхода старика.

— Может быть, я сегодня же увижусь с Ал<ександром> Петр<овичем>, — сказал я, прощаясь с Оленькой, — так не угодно ли вам, милая Ольга Николавна, уполномочить меня на полную откровенность вашего жениха.

Оленька немножко подумала.

— Погодите, Николай Алексеевич, я сейчас принесу вам полномочие.

Она ушла в свою комнату и через минуту воротилась с небольшим пакетцем.

— Отдайте это Александру Петровичу. Я уверена, что он не будет скрываться пред вами.

Я взял пакетец и простился с Оленькой.

В тот же день вечером я пошел к Сталину. И несмотря на отзыв слуги, что барин нездоров и вряд ли может принять меня, я сказал, что пришел его вылечить, и без церемонии вошел в кабинет Сталина.

Бедняжка сидел у стола с поникнутой головой. По выражению лица его можно было заключить, что мысли его были не радостные.

— Что это с вами, Александр Петрович, – сказал я, располагаясь спокойно на стуле. – Вы, кажется, утром были совершенно здоровы?

Сталин старался подавить чувство досады, которую возбудил неожиданный мой приход.

— Не знаю, Николай Алексеич, так что-то дурно себя чувствую, — отвечал он довольно холодно.

— Дайте-ка ваш пульс, – продолжал я, улыбаясь. – Я немножко маракую в медицине и, может быть, могу вам дать добрый совет.

Сталин с видимою неохотою протянул мне руку.

— Ого! Да у вас рука как огонь, а пульс бьет тревогу. Велите поскорее поставить самовар да выпейте-ка залпом стаканчика два-три китайской травы. Я, пожалуй, помогу вам.

— С удовольствием, – отвечал Сталин, хотя выражение лица его говорило противное, и велел подать самовар.

— А в ожидании чаю займемся-ка чем-нибудь поинтереснее, — сказал я, подвигая свой стул к Сталину. – Знаете ли, что мне привелось сегодня исправлять две должности – духовника и лекаря. Сейчас только я исповедал одну хорошенькую девицу.

Сталин посмотрел на меня с таким видом, который ясно говорил, что я или лишнее выпил, или помешался.

— Да, Александр Петрович, — продолжал я, полушутя, полусерьезно. – И хоть исповедь была не совсем мне по сердцу, однако ж я нашел утешение в том, что могу сделать одно доброе дело. Вы верно не забыли утреннего нашего разговора. Простившись с вами, я пошел к знакомому своему, Горину, с твердым намерением узнать расположение Ольги Николавны.

— Что ж вы узнали? — спросил Сталин нетвердым голосом, видя, что я остановился.

— Очень плохую весть, любезный Александр Петрович. Медленность погубила меня. Я опоздал.

— Объяснитесь лучше.

— Ольга Николавна отдала уже свое сердце одному молодому человеку.

— И вы знаете его имя? — спросил Сталин после минутного молчания с видимым замешательством.

— Да. Его зовут — Александр — Петрович — Сталин, — отвечал я, произнося каждое слово отдельно.

Сталин вспыхнул.

— Николай Алексеич, — сказал он, дрожа от волнения. — Если это шутка с вашей стороны, то согласитесь, что она оскорбительна.

— Какая шутка, Боже мой! Посмотрите на меня пристально. Кажется, так не шутят.

— С каким же намерением вы говорите мне об этом?

— А с таким, чтоб вы были со мной откровеннее.

— Позвольте вам сказать, что я все-таки не могу понять, чего вы от меня хотите.

— Странная вещь! Чего хочу я? Откровенности, говорят вам, полной, подробной, без утайки. Или вы полагаете, что отнять у меня мою задушевную мысль так же легко, как отделать какого-нибудь халатника на перевозе?

— Боже мой! Так вам все известно?

— Или вы думаете, — продолжал я с жаром, — что могильный камень не заговорит когда-нибудь о неосторожности молодых людей, которые святость могилы оскорбляют житейскими мыслями, как бы издеваясь над близорукостию родных, впрочем, почтенных и благородных людей? Что ежедневные прогулки на одно известное место и перестановка цветов на окнах не обратят наконец внимания посторонних людей и не сделают имени благородной девицы предметом двусмысленных разговоров?

Сталин был уничтожен. Он закрыл лицо рукою, и слезы готовы были брызнуть из его глаз.

— Извольте же оправдаться, молодой человек, — сказал я более дружественным тоном. — А чтоб вы не подумали, что я допрашиваю вас, не имея на то права, так вот вам мое полномочие.

Сказав это, я подал Сталину пакет, который мне дала Оленька. Сталин поспешно развернул его и вынул записку. В ней написано было только три слова: «Вверьтесь ему совершенно».

– Ну что ж, Александр Петрович. Еще ли намерены со мною скрываться?

Сталин крепко сжал мне руку.

– Простите меня, Николай Алексеич, – сказал он с чувством. – Я хотя с первого свидания стал уважать вас, но есть вещи, которые опасаешься вверить даже родному брату. Теперь же, когда вам все известно и когда сама Ольга Николавна разрешила меня на откровенность с вами, я не утаю от вас ни одной иоты. А чтоб вы более поверили моей искренности, так вот вам полная исповедь всей моей жизни.

Сказав эти слова, Сталин открыл ящик письменного стола и подал мне свой дневник. И между тем, как он ходил по комнате, я принялся читать рукопись.

Признаюсь, что чтение этой рукописи возвысило на несколько процентов уважение мое к Сталину. Не потому, чтобы дневник его состоял только из одних похвальных действий, нет! тут были и темные страницы, но потому, что я никак не ожидал найти в Сталине такого пылкого чувства, такой жажды к образованию, такого светлого взгляда на жизнь. Кроме того, самое изложение носило печать таланта. Много страниц написано было с увлекательным красноречием сердца, блестящими красками воображения. Но что важнее, весь дневник был проникнут такою искренностию откровенности, которая не оставляла ни малейшего сомнения, что перо было полным выражением души. Не могу забыть и религиозных чувств, очень часто проявлявшихся на страницах рукописи, особенно в мрачные дни испытаний.

Окончив чтение дневника, я положил его на стол. Сталин посмотрел на меня вопросительно. Вместо ответа я встал и подошел к нему.

– Вы достойны Оленьки, – сказал я Сталину, обняв его несколько раз. – Теперь располагайте мною, как человеком, который готов для вас сделать все на свете.

Сталин крепко сжал мне руку.

– Подумаем вместе, что нам предпринять на первый раз, – продолжал я, садясь на стул. – Ведь главное – помириться со старичком. Что вы об этом думаете?

— С моей стороны, Николай Алексеич, я готов Бог знает какие принести извинения, лишь бы он забыл неуместную мою шутку.

— Так как вам видеться с ним вряд ли есть возможность, то попробовать разве обратиться к нему письмом.

— Готов и на это, хотя и не льщу себя надеждой на успех.

— А между тем, как вы обдумаете ваше письмо, я сделаю на Горина нападение — и с своей стороны, и со стороны общих наших знакомых. Нет сомнения, что и наша Оленька не откажется участвовать в этом деле.

— О, я в этом не сомневаюсь. Боюсь одного только, чтобы откровенность ее не рассердила дяди и не расстроила их отношений.

— Ну, так оставим Оленьку в резерве. Если дело пойдет на лад, мы выпустим ее из засады и окончательно срежем упрямца; а если нет, так по крайней мере она безопасно может сделать отступление.

Условившись таким образом о плане действий и подкрепив себя чаем и надеждою на будущее, мы расстались. Я пошел домой сделать роспись тем лицам, которых хотел напустить на старика и которые стояли у него в первом разряде, а Сталин, вероятно, целую ночь продумал о письме к Горину.

На другой и следующие дни я обошел всех общих наших знакомых и с возможною осторожностию объяснил все дело. Не было ни одного из них, который бы не изъявил согласия — действовать в пользу Сталина, одни, зная его лично, другие, утверждаясь в моей рекомендации.

Но увы! Успехи наши были менее чем сомнительны. Несмотря на всевозможные похвалы, прямо и косвенно расточаемые Сталину, старик или молчал, или старался переменить разговор. Кажется, что упрямство его возрастало по мере наших усилий. Я бесновался внутренно и наружно, и были даже часы, когда я готов был употребить со стариком последний аргумент убеждения, называемый ученым образом argumentum baculinum[1].

---

[1] Довод «палкой», палочное доказательство (т. е. убеждение насилием). — *Лат.*

Наконец решились отправить письмо, писанное и переписанное десять раз. Я ценсировал это послание с такою пунктуальностию, что, право, мог бы получить место главноуправляющего ценсурой, по крайней мере в делах подобного рода. Не было ни одной фразы, не слишком ясной, которой бы я не перевернул тысячу раз из опасения – затронуть щекотливость старого упрямца. Но все-таки дело кончилось тем, что письмо отправлено так, как оно первоначально было написано Сталиным. Жаль, что я не снял копии с этого письма. Оно могло бы занимать не последнее место в красноречии убедительном. Главная мысль письма – извинения в шутке, сказанной вовсе без намерения оскорбить. Далее следовали объяснения отношений Сталина к родителям Оленьки, его надежды на их согласие, намек на взаимность Оленьки и настоящее положение безнадежности. В заключении красовались цветы благодарности к Горину, в случае забвения неумышленной обиды, и радуга семейного счастия, утвержденного на взаимности.

Выбрав добрую минуту, когда старик был в веселом расположении, мы вручили ему письмо Сталина, разумеется, через посланца. Я нарочно был в это время у Горина, чтобы видеть – какое действие произведет письмо на старика. Но верно, судьба подрядилась преследовать голубков, поставив между ними такого упрямого коршуна. Старик прочитал письмо и сделал только какую-то странную гримасу. Хорошо, что Оленьки тут не было. Бедняжке несдобровать бы от этой гримасы.

— Скажи своему барину, — сказал Горин посланцу, — что я не замедлю ответом.

Эти слова были сказаны таким ледяным тоном, от которого можно бы среди лета получить насморк. Уж лучше бы упрямец рассердился!

И точно, ответ не замедлил. Но какой ответ? Бедный Сталин совершенно растерялся.

Старик писал, что он нисколько не сердится на Сталина, что безрассудно было бы сердиться на каждого встречного; далее, что он не сомневается насчет хороших отношений Сталина к Тиховым и даже насчет расположения к нему Оленьки и что предоставляет племяннице своей свободный выбор между дядею и женихом. Наконец, что об одном только можно ска-

зать утвердительно, именно, что по различию характеров он не может жить вместе со Сталиным.

После подобного ответа оставалось только сказать: «Пиши пропало!» – и скакнуть в реку. Но так как ни та, ни другая сторона не решилась на подобный скачок, то мне предстояла новая довольно трудная обязанность – быть утешителем обеих сторон. Затруднение увеличивалось еще тем, что Горин знал уже о знакомстве моем со Сталиным и о любви к нему Оленьки. Но упрямец выбрал проклятую методу показывать вид, что он нисколько не занимается подобными пустяками. Этим самым он лишал меня единственного утешения – с ним побраниться. Впрочем, все шло по-прежнему, исключая только двух обстоятельств: на Панином бугре гулял я один, а горшки на окнах возвратились к первоначальному своему назначению – бестолковости.

Теперь приступаю к катастрофе, послужившей развязкою любви молодых людей.

Прошло полгода после получения ответа от Горина. Игра судьбы была расположена следующим образом. Старик занимал место короля, окружив себя башнями упрямства. Оленька и Сталин шли по дорожке черных клеток, а ваш покорный слуга, в качестве ферязи, бросался во все стороны, чтобы дать по крайней мере шах королю; но вся моя энергия разбивалась у подножия проклятых башен.

Один раз я пришел навестить Горина. И без большой проницательности можно было заметить, что старик чем-то встревожен, хотя и старался скрыть свое волнение. На вопрос об Оленьке он отвечал, что она немножко нездорова и вряд ли выйдет ко мне. Я не очень обеспокоился этим известием: Оленька, как и всякое нежное создание, нередко прихварывала, но зато никогда долго не была больна и почти всякий раз обходилась без лекаря. Но когда в продолжение разговора с Гориным вдруг неожиданно появился доктор и, поздоровавшись с стариком, отправился прямо в комнату Оленьки, я встревожился не на шутку. Верно, подумал я, болезнь довольно серьезная, что понадобился эскулап. Но все-таки я не решился передать своих мыслей Горину. К счастию моему, доктор скоро вышел к нам. На вопросительный взгляд старика он положил шляпу на стол и потребовал перо и бумаги.

— Надобно будет, — сказал он, — прописать еще рецептик.

— А разве вы нашли Оленьку хуже? — спросил старик с заметным участием.

— Нельзя положительно сказать, что хуже, но у нас правило: коли не лучше, значит, лекарство не действует как надобно.

Это медицинское утешение усилило мое беспокойство.

— А есть надежда, что будет и лучше? — спросил я доктора.

— Не надобно никогда терять надежды, особенно, если пациент молод, — отвечал он довольно двусмысленно.

Доктор стал писать рецепт, а я поспешил проститься с Гориным и пошел тихо по улице в намерении остановить эскулапа и выпытать у него всю правду. Вскоре экипаж доктора поравнялся со мной; я просил остановиться на минуту.

— Ради Бога, Алексей Федорыч, не скрывайте от меня истины. Ольга Николавна очень больна?

— С вами скрываться нечего, Николай Алексеич. Болезнь ее сама по себе не важна, но быстрота, с которою она действует, может быть гибельна для больной, особенно при тревожном состоянии, которое в ней очень заметно. Надеюсь, что слова мои останутся при вас.

— Но позвольте еще сказать одно слово. Если вы сомневаетесь в вашей больной, так не согласитесь ли вы... — Я остановился.

— На консилиум? — договорил доктор с улыбкою. — Не беспокойтесь, я без претензий. Посмотрю, что скажет завтрашний день, а там и сам предложу Ивану Васильичу пригласить кого-нибудь из наличных медиков,

— А давно вы пользуете Оленьку?

— Сегодня четвертый мой визит. Но она, должно быть, сделалась больна гораздо раньше. По крайней мере я застал ее уже в постели и в очень незавидном положении.

Доктор поехал своей дорогой.

Мне сделалось тяжело и грустно. Мрачные мысли до того овладели мной, что я вместо квартиры отправился в поле, чтобы рассеяться. В четырех стенах мне было бы душно. Ну, если... Боже мой! Придется зараз хоронить двух любимых мною особ. А нет сомнения, что Сталин не переживет этого удара при мысли, что он сам главною его причиною. Проклятый старик! Чтобы ему вместо их протянуть свои ноги!

Назавтра я снова был у Горина и нашел старика еще грустнее прежнего.

— Нет лучше, — сказал он, как бы предугадывая мой вопрос. — Через час назначен консилиум.

Понимая, что я тут совершенно лишний, я пожал руку старику и пошел домой, грустный как нельзя более.

Часа через два зашел ко мне Сталин. Я постарался принять самый спокойный вид, чтобы его не встревожить, если болезнь Оленьки еще ему неизвестна. К удовольствию моему, впрочем, довольно грустному, я заметил, что он ничего не знает об Оленьке. Но то ли это было предчувствие любящего сердца, или уверенность в непреклонном упрямстве старика, только не один раз вырывались у Сталина слова, что вряд ли он больше увидит Оленьку.

— К чему такое малодушие, — сказал я, стараясь казаться веселым. — А я, напротив, уверен, что вы скоро увидитесь.

Я сказал эти слова без особого значения, но вдруг мысль о загробном свидании мелькнула в голове моей, и вся кровь прилила к сердцу. Должно быть, я переменился в лице, потому что Сталин покачал головою и сказал:

— Выражение вашего лица говорит совершенно противное.

Я не отвечал. И что мог бы я сказать, чтоб объяснить мое волнение.

— Знаете ли что, Николай Алексеич, — сказал Сталин после минутного молчания. — Передумав все прошлое и обсудив настоящее мое положение, я решился бежать из Т.

— Это зачем? — спросил я, изумленный его словами.

— А затем, что разлука, может быть, успокоит Оленьку. О себе я ровно не забочусь. А то, при всем старании избежать встреч, они случаются против воли и только раздражают наше мучение. На днях я подам в отпуск и уеду далеко-далеко отсюда, унося только воспоминание о счастии.

Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы отвлечь мысль его об Оленьке. Стали выбирать — куда бы ему лучше ехать. И хотя имя милой девушки не редко проскакивало в нашей беседе, но все-таки оно поглощалось другою идеей. И вечер прошел без большой тревоги.

На другой день утром я снова был у Горина в надежде услышать добрую весть. Но Горина не было. Он с полчаса как ушел

в аптеку. Мне пришла мысль навестить Оленьку, и я послал служанку спросить у нее — может ли она меня принять. Через минуту я был в спальне у Оленьки. Боже мой! Это вовсе не Оленька! Это какое-то бледное привидение, которое приняло только черты Оленьки. Слеза невольно выкатилась у меня из глаз.

— Добрый Николай Алексеич, — сказала больная, протянув ко мне маленькую бледную ручку. — Не тревожьтесь. Ведь вы знаете, что наружность обманчива. А я, право, с некоторого времени чувствую себя гораздо лучше.

И она силилась улыбнуться.

— Я не тревожусь, милая Ольга Николавна. Слеза моя только дань чувству при виде такой перемены с вами. Не тревожусь тем более, что медики нашли вас далеко не в опасном положении.

— Вы думаете? — сказала она, грустно улыбнувшись. — Ну, это дело они знают лучше меня. Но что говорить о таком скучном предмете. Скажите лучше, что *он*, все ли грустит по-прежнему?

— Если бы я сказал, что он спокоен, вы бы сами этому не поверили. Но он не теряет надежды на благость небес. В чувствах же ваших он не смеет сомневаться.

Оленька приметно сделалась веселее.

— А знает он о моей болезни?

— Нет, я не говорил ему об этом. Да и зачем тревожить его? Бог даст, вы скоро сами расскажете ему о вашей болезни.

В это время вошел старик и разговор прекратился.

В тот же день я обегал всех докторов, бывших в консилиуме. Но на беду, от всех слышал двусмысленные выражения, с вечною ссылкою на молодость и свежий организм. Потеряв надежду на людей, я прибегнул к Богу. Вечером того же дня я пошел в собор и отслужил молебен Спасителю о здоровье Оленьки. Нечего говорить, что я молился усердно. Какая-то неизъяснимая отрада разлилась в моем сердце, когда во время чтения Св. Евангелия священник произнес слова: приидите ко мне вси труждающиися и обремененнии и аз успокою вы[1]. Надежда на помощь доброго Пастыря засветилась во мне новым светом. Я пошел домой, облегченный и утешенный.

Но меня ожидало еще новое испытание.

---

[1] Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28.

Едва только вошел я в дом, человек мой подал мне записку от Горина. Старик просит немедленно прийти к нему.

Боже мой! Ужели Оленька?.. Ноги у меня подкашивались. Я почти без памяти выбежал из дома, взял первого попавшегося мне извощика и велел скакать к Горину. Вдруг на повороте в кузнечную улицу, где жил старик, я неожиданно встретил знакомого доктора Д., который шел ко мне навстречу. Мне тотчас же пришло в голову его искусство и решительность. Вспомнил об отчаянно больных, от которых отказались все другие медики и которых он возвращал к жизни. Правда, решительность его в некоторых случаях, имевших печальный конец, пугала меня, но я тотчас же подумал, что не мог же он остановить жизни, когда ей назначено было оставить земную свою храмину. А может быть, это посланник Божий?.. И не раздумывая более, я остановил лошадь, попросил доктора сесть ко мне на дрожки и повез его к Горину.

Старик ходил по зале, ломая руки. В несколько дней он постарел десятью годами.

Чтобы предупредить его о приезде доктора Д., я, не снимая шинели, вошел в залу и сказал:

– Я привез к вам доктора, на которого можно положиться. Ведите скорее его к больной.

Горин машинально подал руку доктору.

– Покажите вашу больную, – сказал Д., кладя на стол свою фуражку.

Его провели в спальню Оленьки. Мы пошли за ним.

Вы знаете Д., знаете магнетический взгляд его, который редко кто выдерживает. Не мудрено, что Оленька при своей слабости не могла вынести этого огня, который горел в глазах Д. Она закрыла глаза.

Доктор молча взял ее руку.

Мы не смели дохнуть. Вопрос шел о жизни или смерти. Глаза наши были прикованы к Д. Малейшее движение в лице его могло убить нас отчаянием или оживить сладкою надеждой. Я внутренно взывал к Целителю душ и телес, прося Его всемогущей помощи. Что думал старик, я не знаю; но вид его был не краше приговоренного к пытке.

Пощупав пульс, доктор подошел к столику, на котором стояли лекарства. Он отведал почти из всех стклянок и сделал небольшую гримасу.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, обращаясь ко мне, — как давно она больна?

— Будет около двух недель.

— Ну, а не можете ли сказать причины ее болезни.

— Кажется, простуда, — отвечал я, посмотрев на Горина.

Старик утвердительно качнул головой.

— Нет, не то, Николай Алексеич, мне нужно знать, не было ли какой-нибудь психической причины, — продолжал Д., выходя с нами в комнату, соседнюю со спальней. — Мне кажется, что к больной нельзя применить известной пословицы: в здоровом теле здорова и душа, — а разве наоборот: при здоровой душе здорово и тело. А? Как вы думаете?

Вопрос был довольно щекотлив. Я взглянул на Горина. Он сделал какой-то неясный жест рукою и ушел в залу. Я намекнул доктору о несчастной любви.

— Ну, так в этом случае лекарства не помогут. Что это — отец больной? — спросил Д., указав на залу, в которой расхаживал Горин.

— Нет, дядя.

— А! — и с этим звуком Д. вошел в залу.

— Милостивый государь, — сказал он, подходя к Горину. — Извините, что я не знаю ни имени вашего, ни отчества. Ваша больная — на волосок от смерти. Одно средство попытаться спасти ее — это сильное потрясение. Радость, испуг или что-нибудь подобное. Предоставляю на вашу волю выбрать такое, какое заблагорассудите. Ваш покорный слуга.

И Д. вышел из комнаты.

Я взглянул на старика. Он как бы прирос к месту, где оставил его доктор.

Последовало молчание — не долгое, но убийственное. Я боялся нерешимости Горина. Что думал старик, это вы узнаете из его слов, которые он наконец вымолвил.

— Послушайте, Николай Алексеич, поезжайте к Сталину и привезите его сюда.

Не отвечая ни слова, я со всех ног бросился из дома и поскакал к Сталину. Через четверть часа я привез его в дом старика. Бедный молодой человек, которому я дорогой намекнул о болезни Оленьки, не помнил себя от волнения. Он вошел с таким

расстроенным видом, что можно было опасаться за его рассудок.

— Молодой человек, спасите Оленьку, и она ваша! — сказал Горин, почти не поднимая глаз на Сталина.

Сталин бросился в комнату Оленьки, но я успел удержать его.

— Подождите здесь. Надобно немного приготовить ее.

И оставив его у дверей, я вошел к больной.

При моем входе Оленька открыла глаза и силилась улыбнуться.

— Вот видите ли, Ольга Николавна, — сказал я весело, подходя к ней. — Вчера вы сомневались в моих словах насчет скорого свидания. А Бог сделал это скорее, чем мы ожидали.

Глаза Оленьки раскрылись с особою живостию.

— Ваша болезнь была лекарством любви. Дядюшка ваш наконец готов простить Александра Петровича.

— Не обманывайте меня, Николай Алексеич, — сказала Оленька с сомнением.

— Сохрани Бог, чтоб я осмелился шутить такими вещами. Скажу вам более. Иван Васильич уже помирился с Александром Петровичем, и если хотите, так вы сегодня же можете его видеть.

Оленька не отвечала ни слова. Грудь ее сильно поднималась, и легкий румянец пробежал по ее бледному лицу.

— Что же вы не отвечаете, Ольга Николавна. Согласны вы видеть Александра Петровича?

— Боже мой! — сказала наконец Оленька, и слеза скатилась по ее щеке. — О, если б я уверилась, что вы говорите правду.

— Так подите же сюда, Александр Петрович, — сказал я, обращаясь к дверям, за которыми стоял Сталин, — и уверьте вашу *невесту*, что я ее не обманываю.

Слово «невеста» я сказал с особенным ударением.

Сталин быстро вошел в комнату и, рыдая, упал на колени подле кровати Оленьки.

— Господи, спаси ее! — сказал я мысленно, отходя к дверям.

Несколько времени продолжалось молчание. Сталин осыпал поцелуями протянутую к нему ручку Оленьки, а Оленька, закрыв другой рукой лицо свое, шептала едва внятно:

— Боже мой! И это не обман! не сон!

— Теперь довольно, — сказал я Сталину, спустя четверть часа после их безмолвного свидания. — Доктор запретил сильное движение. Вот вечером Ольга Николавна успокоится, и вы можете снова навестить ее.

Не без труда отвлек я Сталина от постели Оленьки и увез к себе домой. Старик не показывался.

Вечером того же дня я заехал за Д., рассказал ему сцену свидания и просил посмотреть — какое действие оно произвело на больную.

Горин ждал доктора с нетерпением.

— Вы, я слышал, были немножко сегодня встревожены, — сказал Д., войдя к больной. — Позвольте-ка ваш пульс... А что, уснула ли ваша племянница? — продолжал Д., обращаясь к Горину.

— Да, доктор, она спала несколько часов и только незадолго пред вами проснулась.

— Значит, недаром сказано, что сон — целитель недугов. Пульс так хорош, как только можно ожидать после такой слабости. Теперь можете поздравить себя с племянницей.

Горин вместо ответа кинулся обнимать доктора, а я подошел к Оленьке и расцеловал ее ручку.

— Но вы, доктор, верно, посетите еще больную, — сказал Горин,

— Непременно, хотя, правду сказать, в этом нет большой надобности. Но у нас лекарей есть маленькая слабость — восхищаться своими успехами. Теперь эту батарею в сторону, — продолжал Д., указывая на стклянки. — А дайте ей лучше немного супу из курицы или крепительного бульону. До завтра, сударыня. Советую уснуть хорошенько, чтобы приготовить ножки ваши пройтись — вот хоть сначала до этого окна.

Уходя домой, Д. столкнулся со Сталиным, которого нетерпение привело к Горину раньше назначенного срока. Д. взглянул на меня.

— Александр Петрович Сталин, жених вашей пациентки.

Д. окинул Сталина огненным своим взглядом.

— Да, Александр Петрович, — сказал он с улыбкою, — вам можно дать степень доктора медицины и хирургии без экзамена. Один ваш визит больше сделал, чем вся наша латынь.

— Но, доктор, вы не сомневаетесь в излечении Ольги Николавны? — спросил Сталин в волнении.

— Будьте спокойны. Меньше чем через месяц вы можете пригласить меня на вашу свадьбу.

Сталин крепко сжал руку Д.

Теперь другая сцена ожидала Сталина. Первый предмет, попавшийся ему на глаза при входе в залу, был Горин. Сталин поклонился и невольно остановился у дверей.

— Подойдите сюда, молодой человек. Не бойтесь меня. Когда я прощаю, то прощаю от чистого сердца. Но чтобы не было больше недоразумений между нами, я по праву старика и дяди вашей невесты позволяю себе сказать несколько слов о первой нашей встрече. Прошу не прерывать меня. Вы верно считали меня жестоким эгоистом, упрямцем, а насмешку свою легкою шуткою. Смею возразить вам в обоих случаях. Если каждый человек, сколько-нибудь чувствующий свое достоинство, обязан защищать себя от оскорблений, то это чувство охранения чести становится еще необходимее в мои годы и в моем положении. Для старика путь уже кончен. Не сделав ничего, в чем могла бы упрекнуть его совесть, старик считает свои седины щитом, охраняющим его от оскорблений, а путь, пройденный им в течение многих лет не без успеха, — это диплом его на уважение других. И вдруг этот старик случайно встречается с молодым человеком и без всякого повода со своей стороны делается предметом его насмешки только потому, что у него не коляска, а рогоженная кибитка; что он не в дорогом плаще, а в простом нанковом халате. И что всего прискорбнее, что этот молодой человек становится в ряд грубой черни и тешится одобрительным их хохотом. — Согласитесь сами, что есть вещи, которые долго помнятся, и что этот поступок молодого человека принадлежит к числу этих вещей. Но дело кончено. Судьба заступилась за вас. Болезнь Оленьки или, скорее, чувство, которое вы ей внушили, — были нашими примирителями. Обнимите меня и счастием Оленьки постарайтесь изгладить малейшее воспоминание о вашем поступке.

— Поверьте, Иван Васильич, — отвечал Сталин с горящим от стыда лицом и со слезами внутреннего укора, — поверьте, что никто, может быть, столько не упрекал меня в необдуманном поступке, как я сам. Бог свидетель, что я никогда не имел

намерения оскорбить – не только вас, но и никого на свете. Это был горький урок человеку, которого все называли рассудительным. Страдать одному тяжко, а видеть страдания другого лица, за которого готов бы отдать душу, и чувствовать с тем, что ты сам виною этих страданий, – о, это такая мука, которой не дай Бог испытать ни одному человеку! А я – я испытал это...

– Ну, Бог вас простит, – сказал Горин, обняв Сталина. – Пойдем к Оленьке.

Оленька только увидела, что дядя держит дружески Сталина за руку, всплеснула ручками и вскричала:

– О, теперь я чувствую, что я не умру.

Что же вам сказать еще? Разве только то, что Оленька была больна в мае, а в феврале следующего года я пил уже у Сталиных за здоровье новорожденного Вани.

Академик замолчал и пошел набить себе трубку.

– Завтра же отправляюсь на бугор – сделать ревизию дому, – сказал Таз-баши, ероша свой чуб.

– Напрасный труд, любезный Таз-баши, – отвечал Академик. – Этот дом теперь так изменился, что вряд ли сами герои моей повести, если б они приехали из России, могли узнать его.

– Так отправлюсь к Д. и спрошу его о пациентке двадцатых годов.

– Это немного повернее. Может быть, доктор помнит еще Оленьку.

– Ну, а вы о чем задумались, г. полковник, – продолжал Таз-баши, приметив, что Безруковский сидит повеся голову.

– Мне хотелось бы узнать, какую мысль можно извлечь из рассказа, – отвечал Безруковский.

– Э, ваше высокоблагородие, чем затрудняться изволите! Да тут мыслей больше, чем у старухи зубов. Хотите, я тотчас брошу уду и выловлю их несколько штук. Например: кстати сделанный прыжок может иногда привести к важному открытию;

или – не должно смеяться над человеком в халате, потому что это может быть дядя твоей возлюбленной; или – весь мир наполнен обманами.

– Ну, эти мысли годны только для твоего масштаба, – сказал Безруковский, рассмеявшись.

– А вам хотелось бы отыскать мысль по масштабу полковничьему? Признаюсь, ум мой не созрел еще до подобной высоты, и всего-то он только в капитанском ранге.

– Не знаю, как вам понравится, – сказал Лесняк, – а я бы извлек следующую мысль: не должно никогда отчаиваться. Провидение может употребить самое несчастие средством для нашего счастия.

– Это в религиозном отношении, – сказал Безруковский, – часто малейший случай, на который мы не обращаем внимания, решает всю нашу будущность.

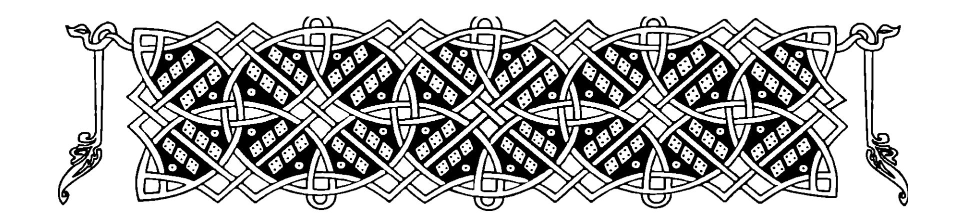
– Ну, а ты что ж, дер-фон? Вытягивай мысль из этого глубокомысленного рассказа, – сказал Таз-баши, обращаясь к Немцу.

– Изволь, если тебе угодно. Например, как тебе понравится следующая: из беседы каждый выносит что-нибудь по своему разумению – кто светлую мысль, кто доброе чувство, а кто только одну прибаутку.

Таз-баши состроил гримасу; но прежде чем он успел отразить шутку, Безруковский сказал:

– Полно, любезный Таз-баши, хлопать пустые заряды. Подумай-ка лучше о своей очереди. Дедушка твой, чай, давно уже выставил из могилы своей ухо, чтоб слушать рассказ внука об его похождениях.

Таз-баши вместо ответа отпил до половины стакан с чаем, взял новую сигару, разгладил усы и начал:



ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЙ ДЕДУШКА, БЫВШИЙ ПРИ ЦАРЕ КУЧУМЕ ПЕРВЫМ МУФТИЕМ, ВКУСИЛ РОМАНЕИ И КАК ТРИ КУПЦА ХОДИЛИ ПО ГОРОДУ

(рассказ, исполненный грации)

— Романея и грация! — заметил, как бы про себя, Академик.

— Уж известно — татарская, — отвечал Безруковский с улыбкою.

Это было в тысячу... в тысячу... Одним словом, в пятый год правления дедушки. Не подумайте, однако ж, чтобы в первые четыре года дедушка мой не сделал ничего достойного истории. Совсем нет! Вся жизнь дедушки могла бы доставить богатые материалы и для историка, и для философа, и для романиста. Но я хочу пользоваться правом рассказчика — заставить читателей или слушателей прыгать чрез целые пятилетия. Для меня это весело, а для них подобное движение полезно. Впрочем, по окончании наших вечеров, когда мне удастся хоть сажени на две исчерпать глубину похождений дедушки, я постараюсь исправить каприз рассказчика и представлю вам хроноло-

гический перечень главнейших событий в жизни дедушки. Это долг мой пред отечеством, человечеством, и особенно пред теми лицами, которых судьба возводит на высшие ступени лестницы чиноначалия.

Я сказал уже, что это случилось в пятый год правления дедушки. А это *это* состояло в следующем.

Однажды секретарь дедушки вошел к нему не в уреченное время. Дело, должно быть, было очень важное, потому что дедушка не любил, чтобы в свободное время его развлекали делами. Взглянув грозно на своего секретаря и потом на стоявшую в углу бамбуковую трость, дедушка мой сделал какой-то масонский жест рукой. То ли он этим выражал: *говори*, — или только простое: *поколочу*, — право, я не могу вам сказать этого. Но верно, секретарь хорошо знал привычки дедушки, потому что вместо ответа только наклонил голову. Дедушка смягчил свой грозный вид.

— Говори, Нияс, — сказал он наконец, — мы слушаем.

Секретарь поднял голову.

— Из-за рифейского камня от московитских стран к нам пришли гяуры, — сказал он тихим голосом.

Дедушка встрепенулся.

Гяуры, ты говоришь? — вскричал он, и глаза его невольно обратились в другой угол, где висела его сабля. — Ну, что ж! Добро пожаловать! Сабли наши еще не приросли к ножнам.

— Гяуры пришли не за нами, а за нашими кисами. Это не воины, а купцы, — продолжал секретарь тем же голосом.

— А! — сказал дедушка, успокаиваясь от вспышки воинственности. — А сколько гяуров?

— Трое, ваше высокомочие.

— Э! А много у них товаров?

— Кладь порядочная.

— О! Что ж ты сказал им?

— Я говорил им, что без разрешения муфтия они не могут продать ни на одну полушку.

— Ну?

— А чтоб получить разрешение, надобно им внести известную пошлину — в государственную казну.

«Секретарь у меня не дурак», — подумал мой дедушка.

— Что ж гяуры? — спросил он вслух.

— Они сказали, что для вашего высокомочия у них приготовлены дары, но что они желают вручить их лично.

Как дедушка ни желал поскорее видеть подарки, но долг муфтия обязывал его медлить и показать этим гяурам, что доступ к муфтию великого хана Кучума не так-то легок, как они по простоте своей, может быть, думают.

— Скажи им, что я завален делами и не раньше, как через три дня, могу допустить их к себе, а до тех пор товары их припечатать.

Секретарь поклонился.

— Да не мешает намекнуть этим торгашам, что я пустяками рук не мараю.

Секретарь опять поклонился и вышел из кабинета дедушки так же тихо, как и вошел.

«У этих московитян, говорят, жены что твоя луна, а дочери краше шиповника, — думал дедушка, поглаживая свою бороду. — Не дурно было бы этак двух-трех гяурок завербовать в свой гарем. А то хан Кучум смеется, что у первого муфтия его всего-то одна жена».

Занявшись такими приятными мечтами, дедушка мой забыл даже, что ему в этот день надобно было отколотить нескольких правоверных, которые имели несчастие заслужить его немилость.

Но вот прошли трое суток.

Накануне дня, назначенного для приема, дедушка отдал приказ убрать кабинет свой лучшими коврами, какие только могли найтись в его кладовой, а сам приготовился облечься в праздничное платье, чтобы гяуры по этой роскоши могли иметь высокую идею о великолепии кучумова двора.

Наконец яркое солнце возвестило наступление давно ожидаемого дня. Кабинет дедушки превратился в великолепный чертог, а сам дедушка сиял таким блеском наряда и величия, что можно было страшиться за глаза гяуров. К довершению эффекта у дверей стояли два старые татарина в красных халатах с палками в руках. О, дедушка мой умел показать себя, когда было нужно.

Секретарь ввел русских купцов. Их было трое: Иван Буренин, да Сидор Дуренин, да Кузьма Беремин. У каждого из них

под мышкой был порядочный узел, должно быть, с дарами для муфтия. Поклонившись в пояс, купцы остановились у дверей, поглаживая свои бороды.

— Спроси, что им надобно, — сказал дедушка толмачу, развалившись на наре с великим достоинством.

Толмач обратился к купцам с вопросом.

— Мы пришли из-за рифейского камня, из Святой Руси, — отвечал старший из купцов, — поклониться его высокомочию вот этими дарами. Пусть обрадует нас его милость принятием наших товарцев.

Толмач перевел слова купца.

— Хорошо, пусть покажут, — отвечал дедушка с небрежным видом, хотя, правду сказать, глаза его давно уж рылись в узлах у купцов.

Купец Буренин развязал свой узел и вынул цветной кусок чего-то похожего на сукно и положил его к ногам дедушки.

— Это вашему высокомочию на кафтан, — сказал он с низким поклоном.

Дедушке, отличному знатоку в вещах, очень понравился яркий цвет материи, и он сделал одобрительное кивание.

— Что далее? — сказал он толмачу.

Тут развернул свой узел купец Дуренин.

— Вот это для сожительницы его высокомочия, — сказал он, положив желтую шелковую материю к ногам дедушки.

— Идет, — сказал дедушка. — Только передай торгашу, что хоть теперь у меня одна жена, но что я сосватал уже двух невест разом.

Толмач перевел купцу слова муфтия.

— Доложи его высокомочию, — отвечал Дуренин, — что я не знал этого и потому принес только один кусок, но что вечером постараюсь доставить еще два, не хуже этого.

— Далее, — сказал дедушка.

Выступил Беремин и вынул из узелка своего разные разности, начиная от серег до тесемки включительно.

— Вот это для деток его высокомочия, коли они имеются.

— Хорошо, — сказал дедушка.

— А это что у него за пазухой, — продолжал он, указывая на Буренина, у которого что-то торчало из-под кафтана.

— Это тоже подарок его высокомочию, — отвечал Буренин, вынимая из-за пазухи тщательно закупоренную флягу.

— А какой бес в ней посажен? — спросил дедушка с любопытством.

— Это наша романея, — был ответ Буренина.

— Романея! — вскричал дедушка, удивленный таким неслыханным названием. — Этого слова нет в нашем языке. А что за хитрость — романея?

— Это, видишь, питье, которое веселит сердце человека, чем бы он окручинен ни был.

— Так поэтому, должно быть, знатная вещь — романея! Ладно! Сложить все это в угол и спросить торгашей, что еще им надобно.

— Во всем свете ходит слух, — отвечал Буренин, — о богатстве сибирской земли, особливо насчет пушнины. Так мы желали бы обменять наши товары на мягкую рухлядь.

— Дело возможное, — сказал дедушка, приняв важный вид. — Пусть меняют. Только чтоб они на этот раз не смели никого обманывать...

Тут дедушка подал условный знак; один из стражей передал его в сени, и только что толмач успел перевести купцам слова министра, в комнату вошел татарин с блюдом, на котором красовалось не более, не менее, как человеческое ухо.

При виде этого кушанья Буренин спрятался за Дуренина, Дуренин за Беремина, а Беремин обеими руками схватился за свои уши, к явному удовольствию дедушки и его свиты.

Надо вам сказать, что это ухо была одна из дипломатических тонкостей дедушки. Ухо это было отрезано еще в день приезда купцов, кажется, за любопытное желание одного правоверного подслушать секретный разговор муфтия с одной особой, но дедушка, удивительно умевший пользоваться всяким случаем *для достижения своих целей*, приказал держать его на льду до дня приема.

«Теперь эти гяуры будут держать ухо востро», — подумал дедушка, видя, какое действие произвела на купцов его дипломатика.

— Хорошо, — сказал он вслух, насладившись испугом купцов. — Бросить его собакам, а торгашам сказать, что я даю им

позволение производить мену в продолжение целых трех дней. А коли они захотят продлить срок мены, то пусть явятся за новым позволением.

Купцы вышли. Подарки размещены в кладовые по надлежащим отделениям. Только фляга с романеей осталась подле дедушки.

Оставшись один, дедушка взял флягу и стал рассматривать ее с большою своею проницательностию. Несколько времени он вертел ее в руках, подносил к свету, постукивал пальцами. Особенно темно-вишневый цвет романеи обратил его внимание.

— Теперь попробовать, что это за вещь — романея, — сказал дедушка, откупоривая флягу.

Его ожидало новое наслаждение.

Едва только пробка вынута была из своего заключения, вдруг разлился такой аромат, пред которым побледнел запах липы и шиповника. Невольно дедушка закрыл глаза и несколько раз втягивал в нос свой воздух, напитанный благовонием романеи.

— Коли вкус также приятен, как запах, — сказал наконец дедушка, начавший чувствовать наркотическое влияние напитка, — то надо сознаться, что эти гяуры не совсем бестолковые головы.

С этими словами он поднял флягу обеими руками и сделал несколько глотков. Одобрительная усмешка и щелканье языка говорили ясно, что русский напиток пришел по его вкусу.

— Да, недурно! И если правда, что она еще веселит сердце, то это выходит просто клад! Повеселимся же немного, сначала так — для пробы.

И дедушка стал время от времени прикладываться к фляге. Сколько сделал он глотков, об этом нет ничего в летописях, но должно быть не мало, потому что вскоре лицо дедушки засияло удовольствием самого красного цвета, а глаза плавали в неге упоения.

— На первый раз будет, — сказал дедушка, тщательно закупоривая флягу. — Посмотрим — как продолжительно действие романеи.

Дедушка встал и запрятал флягу в самое неприступное место. И хорошо, что он это сделал, потому что через минуту во-

шел к нему посланец от Кучума. Надев платье попроще, дедушка немедленно отправился во дворец в самом приятном расположении духа.

Хан Кучум не мог не заметить особенного удовольствия, сиявшего на лице его первого муфтия. И лишь только тот сделал ему обычный поклон, хан спросил его:

— Поэтому добрые вести, Сафар, что ты так весел?

— Великий хан! Может ли раб не быть в восторге, когда повелитель удостоивает его своим вниманием, — отвечал дедушка с подобающим благоговением.

— Все так, да сегодня у тебя лицо что-то чересчур светло. Или нашел наконец другую жену под пару первой? А?

— На что мне еще жен, повелитель, когда их у меня и без того много.

— Как это? Разве недавно? А то всего-то у тебя была только Зюльма.

— Это последняя моя жена, повелитель. Первая жена моя — безграничная к тебе преданность; вторая жена — забота о твоем обширном царстве; а Зюльма, выходит, жена последняя.

Кучум внутренно был восхищен красноречием дедушки и возымел высокое понятие об уме своего муфтия.

— А кстати, — сказал хан, — я слышал, что к нам приехали московитские купцы. Ты видел их?

— Видел, повелитель.

— Ну, что, зачем они к нам пожаловали?

— Дело известное, повелитель. Чему быть на уме у торгашей — кроме барышей. Они приехали променять свои товары на наших лисиц и соболей.

— Смотри, так ли это, — сказал хан, глядя пристально на дедушку. — У гяуров хитрости больше, чем волос на их головах.

— Успокойся, повелитель. Стоит взглянуть только на этих купцов, чтоб оставить всякое опасение. Лица у них так глупы, что только разве в насмешку можно их назвать хитрецами.

Дедушка говорил это от чистого сердца. Ему и в голову не приходило, что чрез несколько лет он будет жестоко оплакивать свою ошибку. Так ошибаются и великие люди!

Но об этом вы узнаете после. Не будем упреждать происшествий.

— Ну их к диву! — сказал хан, сделав презрительный жест рукой. — Я позвал тебя не затем, чтоб заниматься этим дрязгом. Сегодня я худо спал и скучаю немилостиво. Ты иногда умел развлекать меня.

Сказать в настоящее время об этом дедушке значило выманить весною соловья на песню. Он, по знаку Кучума, занял место у ног его и раскрыл медоточивые уста свои во всю их широту. О, зачем я не имею таланта моего дедушки, чтоб передать вам цветы его красноречия! Это был бы такой рассказ, после которого всякий книжник, тешащий публику подобными изделиями, с отчаяния сломал бы перо и в целую жизнь не провел бы ни единой черты на бумаге. И чего тут не было — в этом потоке импровизации! Анекдоты сменялись остротами, остроты — алкораном, алкоран — рапсодиями. Попеременно то поэт, то оратор, дедушка иногда бросал лиру и громы, надевал шутовской колпак и тешил хана Кучума побасенками. Кучум таял от наслаждения. Хлопанье в ладоши или порывы смеха выражали овладевавшие им чувства. В один этот вечер, благодаря романее, дедушка вырос в глазах Кучума на две четверти, что с обыкновенною его мерою давало ему около двух с половиной аршин.

Наконец не истощение красноречия дедушки, а поздний час и, может быть, потребность для хана других удовольствий прекратили беседу. Кучум отпустил дедушку, но, отпуская, сказал:

— Спасибо, Сафар. Ты доставил мне приятный вечер. Завтра постараюсь наградить тебя по-хански.

Можете угадать, как горделиво вышел дедушка из дворца. Воротясь домой, он еще приложился к чудесной стклянке, навестил Зюльму и уснул, упоенный настоящим и будущим.

Так прошел первый день с приема купцов и романеи. А купцы все время ходили по городу и меняли товары.

На другой день странный шум около дома извлек дедушку из сладкого сна. Желая узнать, что значит этот шум, он набросил на себя халат и вышел в сени. Здесь первый предмет, поразивший дедушку, были царские носилки.

«Что бы это значило», — подумал дедушка, немного встревоженный этим видом.

Тут подошел к нему один из носильщиков.

— Хан прислал подарок вашему высокомочию, — сказал носильщик с низким поклоном.

— А где же он?

— В вашем гареме.

«А! Это, должно быть, что-нибудь для Зюльмы», — подумал дедушка и тотчас же отправился в гарем обревизовать подарок.

Но каково было его удивление, когда он в гареме, кроме Зюльмы, увидел другую женщину в богатом наряде, под покрывалом. Не понимая, что это значит, он смотрел вопросительно то на Зюльму, то на незнакомку.

Наконец незнакомка подняла свое покрывало, и дедушка мой в испуге узнал в ней одну из жен Кучума. Догадка о награде заставила дедушку сделать два шага назад.

— Доволен ли ты, Сафар, подарком хана, — сказала отставная ханша, стараясь улыбкою придать приятности сорокалетнему своему лицу.

Дедушка мысленно желал бы провалиться сквозь землю вместе с подарком; но страх — оскорбить Кучума — заставил его проглотить свою досаду.

— Повелитель награждает меня выше заслуги, — отвечал дедушка, сложив с покорностию руки на груди.

— Отчего же твое смущение, Сафар? — спросила сорокалетняя красавица.

— Прекрасная ханша! Другого имени не будет тебе. Как мне не смущаться от такой высокой награды! И могу ли я быть столько дерзок, чтобы надеяться, что и тебе не противно это перемещение.

— Я раба хана, и мое удовольствие — исполнять его повеления.

— О, я счастливее теперь пророка, — вскричал дедушка, — и бегу упасть к ногам повелителя.

Дедушка точно пошел к хану, но верно, больше по обязанности, чем по желанию. Потому что прежде чем пришел он во дворец, он обошел кругом почти всю столицу.

— Я был уверен, что ты останешься доволен моею наградой, — сказал Кучум, когда дедушка кончил приготовленную им

рацею. — Фатьма — добрая жена. Больше 20 лет я был счастлив с нею. Надеюсь, что и тебе немножко достанется счастия.

По возвращении Домой дедушка заперся в своем кабинете и, должно быть, с радости хватил двойной прием романеи.

Волшебный напиток не замедлил произвести свое действие. С каждой минутой испарялась печаль дедушки, и место ее заняла неизъяснимая отрада. Приняв самое удобное положение на своей постели, дедушка мой совершенно предался влиянию очаровательницы. И она начала свою волшебную игру. Прокатила успокоительный трепет по всем его жилам, зарумянила щеки огнем своего дыхания, весело посмотрела ему в глаза и стала ласкать его сердце чудесною своею ручкой. Растаяло ретивое дедушки под ласками русской красавицы. Застучало о каждую жилку и нервочку. Хотело бы из груди вырваться и понестись туда, куда с солнечным лучом летит жаворонок. Но это было только начало чар волшебницы. Встрепенув сердце, она перенеслась в голову дедушки, подула на его мозг чудным обаянием и стала рисовать на нем пленительные образы. И чего только, подумаешь, тут не было! Вот дом дедушки, но такой убранный, украшенный, раззолоченный, что пред ним дворец Кучума был только лачужка! Вот его Зюльма — да такая милочка, что перед нею были меньше, чем ничто, самые гурии. Даже сорокалетняя Фатьма явилась не более не менее, как владычицей всех глаз и сердец. Дедушка не один раз задумывал посмотреть — так ли хороша она в действительности, но ему было жаль расстаться с своей постелью. Наконец волшебница стала накидывать на глаза дедушки покрывала все темнее и темнее. Глаза его, не видя ничего более, закрылись; одна рука опустилась на нару, а другая закинулась на изголовье. Он заснул в самых приятных грезах.

Так прошел второй день после приема купцов и романеи. А купцы все ходят себе по городу да меняют товары.

На третий день, только что дедушка проснулся, за ним явился посланец ханский.

— Что, верно, хан опять хмурится, — спросил дедушка, спеша одеваться.

— Да, ваше высокомочие. Повелитель больно сердит сегодня.

— Ну, хорошо, постараемся разгладить его морщины, — сказал дедушка весело и пошел за посланцем.

— Поди сюда! — закричал царь Кучум, едва только дедушка переставил ногу за порог дворца. — Или милость моя совсем отуманила дерзкую твою голову, или мой дар мал для такого ничтожного раба, как ты.

Этот прием так озадачил дедушку, что он осатанел на месте.

— Говори, я тебя спрашиваю, — снова вскричал Кучум, видя, что дедушка не отвечает.

— Повелитель Сибири, — сказал наконец дедушка, опустив голову. — Ум твоего ничтожного раба так мал, что не может изъяснить твоего ханского гнева.

— А почему ты отвергнул ласки Фатьмы и оставил ее вдовою в первый день твоей женитьбы? А?

Наконец дедушка понял, в чем дело. Сорокалетняя красавица, верно, нажаловалась царю на его холодность. Едва эта мысль мелькнула в голове дедушки, ум его уже нашел увертку.

— Удостой выслушать мое оправдание, повелитель. Не холодность к Фатьме, как ты думаешь, но другое более достойное чувство удержало мои порывы. В такое короткое время я не мог свыкнуться с мыслию — быть мужем той, которую повелитель так долго удостоивал своей любви.

Кучум, видимо, смягчился.

— Хорошо, — сказал он спокойнее. — Но надеюсь завтра услышать, что Фатьма тебе жена не по одному имени.

Дедушка отправился домой в досаде на хана, на Фатьму, на целый свет. Выходит, подумал он, что эта романея имеет тоже свои неприятности.

Вечером того же дня мой дедушка долго ходил по своей комнате, грызя ногти. Главная дума его была Фатьма и сделанный ей визит. Но верно, эта дума не много заключала в себе удовольствия, потому что лоб дедушки был нахмурен больше обыкновенного. Наконец, то ли наскучив своей прогулкою, то ли желая изгнать тяжелую думу, он сел к тому месту, где хранилась заветная фляга. Медленно он вынул ее из-под спуда, посмотрел к свету на остаток — и осушил ее всю разом.

Но увы! Или волшебница потеряла свою силу, или осердилась на дедушку за дерзкое с нею обращение, только она сыгра-

ла с ним жестокую шутку. Вместо того, чтоб по-вчерашнему — разлить в сердце его спокойствие и отраду, она подняла всю желчь ему в голову. Дедушка стиснул зубы, и первым движением его был удар кулаком по стене.

— Да что ж наконец, — вскричал он, сверкая глазами. — Я раб хана, но не раб жены своей. Разве не в моей власти запереть ее в темный угол, осудить на хлеб и воду? И покрепче ее я свертывал в бараний рог по своему желанию. А уступить женщине, да еще жене своей — да после этого мне стыдно будет назваться не только первым муфтием, но даже мужчиной. Нет, — продолжал мой дедушка, повторив свой грозный жест по другой стене. — Я докажу, что после хана я первый повелитель Сибири. Я заставлю ее, как милости, испрашивать одного моего ласкового взгляда... Я доведу ее до того, что она простой привет мой будет почитать великим праздником... я... но что ж я медлю?.. иду к ней... разражусь над нею!.. испепелю ее!.. уничтожу!..

Сказав последние слова с большими расстановками, дедушка мой хотел вскочить с места и бежать в гарем. Но едва только он привстал с места, как вдруг какая-то невидимая сила схватила его за полу кафтана и снова притянула к нарам. Он пробует подняться во второй раз — та же история, в третий — то же.

Дедушка не мог постигнуть, какой бес хватает его эа кафтан. Он хочет по крайней мере излить гнев свой словами, но и язык его кто-то держит на привязи. Вдруг окна, двери, нары, столы, сундуки начали около него какую-то круговую пляску. Дедушка хватился обеими руками за подушку, чтоб не увлечься общим движением. Но в ту же минуту кто-то набросил ему на голову темный келпак, и он опрокинулся навзничь, поперек постели.

Но это было только началом его мучений. Спустя несколько времени после падения вдруг дедушка, не зная сам как, очутился в своем гареме. Здесь первый предмет, поразивший его, была какая-то старая, беззубая, безобразная старуха, с одним клоком седых волос на голове, с глазами, утонувшими в глубоких ямах. Она била костлявымп руками его милую Зюльму, бледную, плачущую. Дедушка бросился на старуху, но удар туфлей по лицу заставил его отскочить назад, и в то же время раздался гневный голос Кучума: «Дерзкий раб! Осмелишься ли ты поднять руку на мою жену?». Дедушка кинулся со всех ног из гарема.

Но едва только выбежал он на улицу, вдруг три купца ему навстречу.

— Злодеи! — вскричал дедушка, вне себя от гнева. — Это все ваша работа! Вот я вас, проклятых дивов!

С этими словами он кинулся на купцов.

В одно мгновение купцы сбросили с себя длиннополые кафтаны и превратились в воинов. В руках их сверкнули какие-то неслыханные оружия, из которых вылетали гром и молния. Дедушка бросился в другую улицу, закрыв глаза и заткнув уши.

— Куда, беглец? — раздался громовой голос.

Дедушка открыл глаза. Перед ним Кучум — с саблею в руке. Дедушка пал на колени.

— Ставь свою глупую голову, — кричал Кучум, размахивая саблей.

Но в это время раздался оглушительный крик. Сзади показалось множество людей в коротких кафтанах, с остроконечными шапками, и перед ними осанистый витязь в блестящей кольчуге.

— Горе мне! Горе Сибири! — завопил Кучум, убегая от витязя.

Долго лежал дедушка на земле, не смея поднять головы. Давно уже с гиком пронеслись незнакомые воины. Наконец, не слыша более шума, дедушка осмелился приподняться. Смотрит — и не верит глазам своим. Кругом степь. Ни одной живой души ни на земле, ни в воздухе. Солнце распалило песок и палит дедушку со всех сторон. Нестерпимая жажда жжет ему язык; голова горит мучительным огнем. Дедушка прощается уже с жизнию. — Но вот наступает вечер. Жар стих. По телу дедушки разливается успокоительная прохлада. Грудь его начинает легче дышать. И новый сон, долгий, глубокий, смыкает глаза его.

А между тем, как спит дедушка, три купца все ходят по городу и меняют товары.

Проснувшись, дедушка видит себя в своей комнате, на своей постели, только не в надлежащем положении. Долго он смотрел кругом себя, как бы сомневаясь в истине виденного. Трогал

свою бороду, щупал нос – все на своих местах. Он решается наконец присесть.

«Что за дьявольщина, – подумал дедушка, припоминая все с ним происходившее. – Я, кажется, как я, а голова точно не моя. Не действие ли это... как бишь ее... проклятой романеи?.. а что ты думаешь... Эти московитяне, известно, первые слуги сатаны. Постойте же вы, распроклятые гяуры. Я вам так отплачу за ваш подарок, что вы у меня нос за глаза примете! Гей!» – вскричал дедушка, стуча кулаком по нарам.

На призыв его вошел секретарь, который давно уже дожидался в соседней комнате.

– Привести ко мне этих проклятых торгашей, сейчас, сию минуту!

– Их уже нет в городе, ваше высокомочие, – отвечал секретарь с низким поклоном. – Они уехали еще вчера вечером.

– А кто их смел отпустить без моего позволения? – вскричал дедушка, почти задыхаясь от гнева,

– Ваше высокомочие изволили им дать только три дня для торговли. Вчера срок кончился.

– Сейчас же нарядить лучших всадников... скакать за ними... привести их ко мне живыми или мертвыми!..

Секретарь кинулся исполнить приказ первого муфтия.

Дедушка стал ходить по комнате в сильном волнении. Иногда он останавливался и обеими руками хватал за свою голову. Во время одной из этих остановок он вдруг увидел пустую флягу, и глаза у него засверкали.

– Гей, сюда, – вскричал он в порыве гнева. – Позвать мою стражу.

Два татарина явились у порога.

– Возьмите эту проклятую вещь и разрубите ее на мелкие части.

Татары подняли флягу, поставили ее посредине комнаты и несколькими ударами палок разбили ее вдребезги.

Дедушка как будто немного успокоился.

Через сутки посланные в погоню за купцами воротились назад и донесли, что не открыли даже и следов их.

Дедушка приказал отколотить их палками по пятам и – снова принялся за дела.

В этом месте рассказа Таз-баши встал с места и поклонился хозяину.

— То есть повесть кончена, — сказал Безруковский. — Да, любезный Таз-баши, я начинаю мириться с татарской грацией. Она, *выходит*, очень недурна собою.

Таз-баши снова поклонился.

— Только уж предоставляю самому тебе отыскать мысль в этой красавице.

— С вашего позволения, г. полковник, мысль в ней самая очевидная, самая практическая.

— А например?

— Все хорошо в меру; или — что чудесно в малом, то часто очень гадко в большом; или — что русскому здоровье, то татарину смерть; или...

— Или... или... — прервал Безруковский. — Не намерен ли ты разыграть роль Санчо Пансы и угостить нас тысячью и одной пословицей?

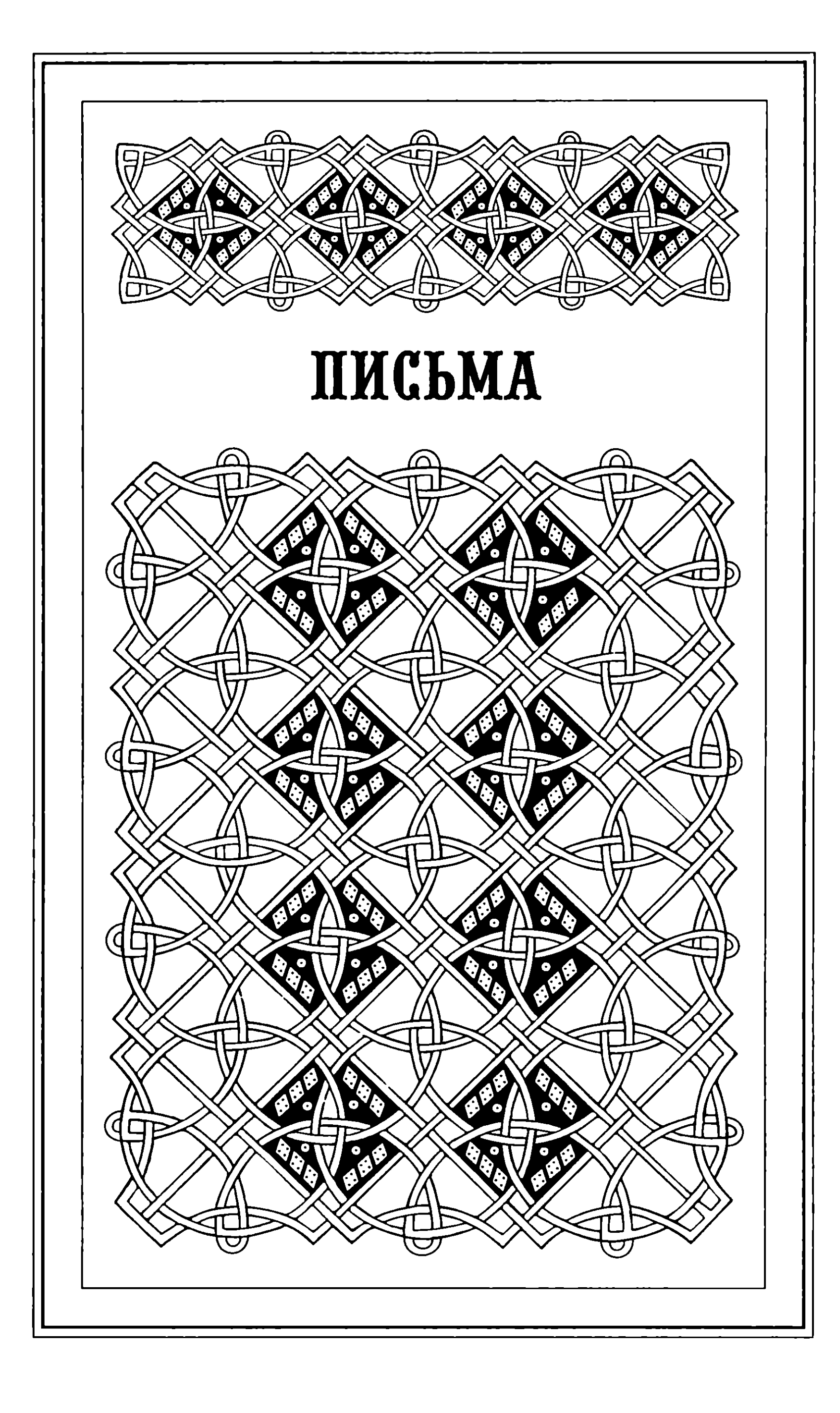
— Если только угодно вашему высокоблагородию, за мной не будет остановки, — отвечал Таз-баши.

— Нет уж, слуга покорный! Ведь сам же ты сказал, что все хорошо в меру, ну, и следуй этому манеру.

— А нам пора и на квартеру, — подхватил с улыбкою Академик, вставая за фуражкой.

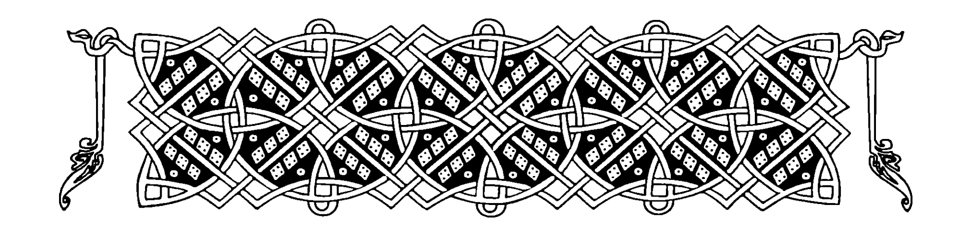
— И мы *сему* последуем примеру, — примолвил Немец, тоже вставая.

— Желаем многих лет отцу и командеру! — крикнул Таз-баши, вытянувшись во фронт перед полковником.



ПИСЬМА


Видъ
Сполденъ
города
табольс
ка 1816 года



А. В. НИКИТЕНКО

23 января 1835. Санкт-Петербург

Пользуясь полученным от вас позволением — писать к вам, я беспокою вас новою просьбою. В министерстве народного просвещения еще не получено от князя Корсакова известия о моем желании быть учителем. Сверх того я узнал, что новый штат еще не введен в сибирские гимназии и преподаватели остаются на старом окладе, т. е. по 700 руб. Это, признаюсь откровенно, весьма малое пособие в расстроенном моем положении. В таком случае я решаюсь сперва к вам прибегнуть с покорнейшею моею просьбою: не можно ли положить то жалованье, какое введено новым штатом? или по крайней мере сделать прибавку до преобразования сибирских гимназий? В случае невозможности я, к сожалению, может быть, должен буду отказаться от службы и занимать какие-нибудь частные должности, которые могли бы обеспечить мое состояние.

Оканчивая письмо сие, я остаюсь в полной уверенности, что вы, по влиянию своему у г. попечителя, сделаете все возможное для вашего ученика.

P. S. Прошу покорнейше сказать подателю письма сего, когда я могу быть к вам за ответом.

А. В. НИКИТЕНКО

26 марта 1835. Санкт-Петербург

Сделайте милость – выведите меня из недоумения. Я решительно не понимаю, что мне предлагают и чего хотят от меня. В воскресенье я получил приказание явиться сегодня к г. попечителю. Я исполнил. – Князь встречает меня вопросом: в какой город вы хотите?

Я отвечал: в Тобольск, – не понимая, впрочем, о чем идет дело. Князь продолжает, что министр согласен дать мне звание корреспондента и что теперь от меня зависит *окончание.* Мне хотелось бы знать: одну ли должность корреспондента предлагают мне или вместе с учительскою? Какое жалованье для той и другой? Какую обязанность я должен принять на себя, согласившись на звание корреспондента? Вот вопросы, которые вы одни только можете объяснить мне, и зная ваше сердце, я не сомневаюсь в исполнении моей просьбы. Что до меня, то, если для корреспондента назначено будет довольное жалованье, я с охотою приму эту должность и откажусь от учительства. Здоровье мое очень расстроено: медики советуют мне ехать на родину, и потому я должен буду благодарить этот случай, что не по-пустому сделаю трехтысячное путешествие.

Уверен, что вы не оставите без ответа покорнейшей моей просьбы.

P. S. Еще одно: звание корреспондента будет ли считаться в действительную службу?

В. А. ТРЕБОРНУ

16 октября 1836. Тобольск

Тысячу, сто тысяч раз благодарю тебя, мой милый Владимир, за сердечное письмо твое. Не зная, не ведая, а только догадываясь о моем приезде на место, ты пишешь за 3000 верст – Бог знает куда, Бог знает к кому, да еще просишь извинения в своей медленности! Нет, не ты, а я должен просить прощения за то, что смел сомневаться в твоих чувствах. Но это в сторону: ты великодушно наказал меня милым твоим посланием. Итак,

ты все такой же славный малый, беззаботный весельчак, поэт шуток и знакомец целого Петербурга; по-прежнему выдумываешь занятия и никогда ничем не занимаешься. Да, я уверен, что и новый 1837 год пройдет так же для тебя, как и предшествующие, т. е. в одних проектах и много, если в четвертном исполнении. Да оно и лучше! Что хлопотать из пустяков! Живи, шути, влюбляйся в танцах и танцуй от любви. «А слава?» — скажешь ты. Вот вздор какой! Ни один из искателей славы не получил ее; а кому судьбой назначено быть славным, к тому она сама завернет. <...>

<...> По крайней мере набросим хоть эскиз великолепной картины, в которой главное лицо я, а рамы — пространный город Тобольск. Слушай же. Я приехал в Тобольск 30 июля, ровно в вечерню, и остановился в доме моего дяди. На другой день, приодевшись как следует, явился по обязанности сначала к директору, потом к губернатору, потом к князю. Директор принял меня ни то ни се; князь сначала был довольно холоден, но впоследствии изъявил торжественно — при всем собрании здешних чинов и властей — свое удовольствие, что Ершов служит в Тобольске. Но зато губернатор обласкал меня донельзя. Ну-с, через неделю я вступил в должность латинского учителя и целый месяц мучил латинью и себя, и учеников. <...>

<...> Но как во всех вещах есть конец или, как говорит блаженной памяти Гораций, modus in rebus*, то и наша обоюдная мука кончилась к совершенному удовольствию обеих сторон. И в половине сентября я торжественно вступил на кафедру философии и словесности, в высших классах, и получил связку ключей от знаменитой, хотя и не утвержденной в этом звании гимназической библиотеки. Но главное в том, что я пользуюсь совершенным раздольем: часов немного и учеников немного.

Но из всех их (сослуживцев по гимназии. — *В. З.*) я более сошелся с моим предшественником — Б-баловским, над фамилиею которого так много смеялся М-ский. И скажу от души, что редко встретишь человека с такими достоинствами. Я провел с ним лучшие часы в Тобольске; но теперь он от меня в таком же точно расстоянии, как я от тебя, т. е. в 3000 верстах — в Иркутске. Из других знакомых моих я назову тебе только двоих:

---

* Часть афоризма Горация: est modus in rebus, sunt certi donique fines — есть мера вещей и существуют известные границы.

В-лицкого, воспитанника Парижской консерватории, и Ч-жова, моряка, родственника (племянника) нашего профессора Д. С. Ч. Читаю редко, да и не хочется; зато музыка — слушай не хочу! Каждую среду хожу в здешний оркестр, состоящий из шестидесяти человек, учеников Алябьева, которыми нынче дирижирует В-лицкий. Играют большею частию увертюры новейших опер и концерты. <...>

Пиши как можно чаще и как можно больше, ответом не замедлю. Маменька тебе кланяется. Она все скучает здоровьем.

В. А. ТРЕБОРНУ

12 декабря 1836. Тобольск

<...> что ни говори, а ты, Требониан, славный малый, и не только празднуешь получение писем любящих тебя друзей, но и тотчас же отвечаешь им. А это в нынешние времена — особенно в Петербурге — большая редкость. Разумеется, что о нас, провинциалах, тут и слова нет: мы ждем не дождемся московской почты, чтобы тотчас же бежать в почтовую контору — спрашивать — нет ли писем, и если счастие нам поблагоприятствует, то мы трубим всеобщую тревогу и тут же садимся писать ответ, каков бы он, на радостях, ни вышел. Да мы об этом и не заботимся, лишь бы не замедлить. Поэтому, гг. столичные обитатели, просим вас покорно не слишком строго взыскивать за наши маранья, а более смотреть на наше усердие. Притом вы живете в таком мире, где каждый час приносит вам что-нибудь новенькое; а наши дни проходят так однообразно, что можно преспокойно проспать целые полгода и потом без запинки отвечать — *все обстоит благополучно.* Ты просишь моих стихов, но надобно узнать прежде — пишу ли я стихи, и даже — можно ли здесь писать их. Твой *обширный* Тобольск, при хороших ногах, можно обойти часа в три с половиной, а на извозчике, или по-здешнему на ямщике, — довольно и одного часа. Разгуляться можно, не правда ли? К числу редкостей принадлежит одна только погода. И в самом деле, я не могу понять — что сделалось с Сибирью? Или это мистификация природы, или Сибирь вспоминать начинает свою старину, т. е. времена допотопные, когда водились здесь мастодонты и персики. Представь себе —

12 декабря, время, в которое, за 6 лет, нельзя было высунуть носа, под большим опасением, теперь термометр Реомюра стоит на 3°! Только что не тает. Но, несмотря на эту умеренность, здешняя атмосфера тяжела для головы и для сердца. С самого моего сюда приезда, т. е. почти пять месяцев, я не только не мог порядочно ничем заняться, но не имел ни одной минуты веселой. Хожу, как угорелый, из угла в угол и едва не закуриваюсь табаком и цигарами. Кроме ученой моей должности, решительно не выхожу никуда, даже к дяде, который меня очень любит, и к тому являюсь только по воскресеньям и то поутру, не более как на полчаса. Ты, может быть, скажешь, что я скучаю по недостатку в знакомых. Не думаю. Правда, здешние знакомства мои очень ограничены – два-три человека, но таких людей поискать и в Петербурге. Я, помнится, писал к тебе о них в прошлом письме. Читать теперь совсем нет охоты, да и нечего. Гимназическая библиотека, которую я, как библиотекарь, знаю как мои пять пальцев и на которую я дорогой надеялся, представляет так мало пособий, что нельзя сказать; а если из этой малости выкинуть еще сор, то и останется ровно ничего. А назначено 700 рублей ежегодно на книги: кажется, можно бы кой-что завести. Да, благо, некому подумать об этом. Ко всему этому присоедини еще мое внутреннее недовольство всем, что я ни сделал, что я ни думаю делать, и ты будешь иметь довольно верное понятие о теперешнем моем положении. Скоро 22 года; назади – ничего; впереди... Незавидная участь! <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

5 марта 1837. Тобольск

<...> В прошлую субботу (это было на маслянице) сидел я в ожидании будущих благ под окном и зевал по обыкновению. Народ толпами шел по улице, кто за блинами, кто от блинов, – здесь уже обычай таков. <...>

<...> Новый год я встретил нерадостно. Зато маслянку отвел до желань сердца. Был и в киатре, который устроили наши молодцы – ученики гимназии, и сказать тебе не в шутку, играли ей-же-ей порядочно. К Пасхе готовится новое, и я, от нечего делать, написал для дружков две пьески презатейные: одна –

Сельский праздник, народная картинка, в двух частях, для хороводов; а другую еще пишу: это будет прекомическая опера, а растянется она на три действия, а имя ей дается: *Якутское*. Еще приятель мой Ч-жов готовит тогда же водевильчик: *Черепослов*, где Галю пречудесная шишка будет поставлена. А куплетцы в нем — что ну да на, и в Питере послушать захочется. <...>

Е. П. ГРЕБЕНКЕ

5 марта 1837. Тобольск

Уф! сейчас только кончил два письма к Треборну и Пожарскому, весь смысл свой поклал туда, и потому не прогневайся, если станешь читать бессмыслицу. Начну по пунктам.

1. Болезнь твоя, мой милый Евгений, вовсе ни к селу ни к городу. И вздумалось же слечь, когда нужно писать. О, это верно все наговор Гудимы (которому я кланяюсь). Дело ведь шло к маслянице, а ты знаешь, что блин есть вещь неделимая, по крайней мере, судя логически...

2. Радуюсь, что четверица наша живет здорово. Только собрания ваши для меня невыгодны. Вы себе остритесь на чем свет стоит, а я должен только смотреть на вас. К слову, я думаю, что Гришка не упускает случая щелкать меня по носу. Сердце мое мне это сказывает. Ох, бедная харя моя! А все этот окаянный Мокрицкий! Ведь надоумил же его Господь найти время для рисования.

3. Это будет статья нарочитой важности. Дело идет о таком человеке, который проглотил всю монгольщину и об уме своем черт знает какого мнения. Пишешь ты, что этот язычник вздумал издать свою (тьфу!) Историю в 10 томах с комментариями. Мысль чудесная, сказать нечего. Она могла родиться только в такой же голове, которая устояла против всего напора вандальского. Вот подумаешь, медь-голова! Хоть сейчас за деньги показывай. А что ты думаешь! Собрать все нераспроданные экземпляры и те, которые он навязывал на шею всякому встречному и поперечному, соорудить из них род налоя и поставить туда Отрепьева, а самому, вымазавшись, как требует приличие, кричать во все горло: не хотите ли, господа честные, видеть чудо чудное, дивное! оно не привезено из чужой земли, а свое домо-

рощенное, ну и прочее, что Савка лучше меня знает. А Отрепьеву для большего эффекта кланяться во все стороны и говорить: се аз и дети мои! Ведь картина хоть куда.

Мои занятия идут по-прежнему, кроме того, что я пустился теперь писать для театра, который смастерили ученики здешней гимназии. Вследствие чего я написал *Сельский праздник*, черт знает что такое в двух частях, говоря по-романтически; теперь пишу комическую оперу *Якутка* в трех актах, в которой хочу пародировать все оперы, начиная с Matrimonio segretto до знаменитого Роберта-Дьявола. К этому присоединяется желание надорвать у всех животы, и потому можешь заключить, что дело идет тут не на шутку. Да сверх того, вспоминая *Лунных жителей*, мы с Чижовым стряпаем водевиль *Черепослов*, в котором Галь получит шишку пречудесную. Куплетцы— загляденье! Вот уж пришлю их к тебе после первого представления. Со второй недели поста начнутся малеванье декораций, сцены хоров, репетиция актеров, одним словом — все театральные хлопоты. И черт меня возьми, если театр будет не на славу. Вот хоть сами посмотрите. Что вам театр? так... плевое дело!.. история монголов!.. присказки Гребенки!.. А наш театр — настоящий Конек-Горбунок!

Теперь к делу. Извещаете вы о смерти Пушкина, о чем мы здесь и по газетам знаем, а не пишете, отчего и как, и когда и где, и при какой помощи. Пожарский же вас умнее. Он рассказал всю подноготную, да только, прах его возьми, прибавил к концу, что это может и не так. Напиши же, моя гребеночка, все, что знаешь.

А кстати, спасибо тебе за привет твой в Пчелке. Это, нечего сказать, по-приятельски. Я и сам за это отслужу тебе. Только выйдут твои стихотворения, так тотчас же прочту их моим ученикам, людям зело талантливым, которые знают почти всего Бенедиктова и собираются во время Великого поста изучать некоторые Истории. — Кланяйся Калашникову и скажи ему, что Петр Андреевич Словцов здоров, что занимается приведением к концу Сибирской истории (ох! уж с этими историями наживешь историю) и что он писал к нему 19 декабря 1836 года.

Ну, теперь поклон всем нашим и вашим. Да скажи им, начиная с себя, лентяи-де вы первостатейные! пишите к Ершову письма, а он-де ответами своими вас до животов порадует.

Вот и все. I ex W.

В. А. ТРЕБОРНУ

2 июля 1837. Тобольск

<...> Еще за два месяца до прибытия Его Высочества в Тобольск получено было здесь о том известие и тотчас же сделаны были распоряжения об устройстве дорог и города. Сибирь пробудилась: куда ни взглянешь, везде жизнь, везде деятельность. Гимназия наша тоже последовала общему примеру, и нам, сиречь учителям, навязано было дел по самую шею. Особенно работал я, грешный. Как учитель словесности, я должен был приготовить сочинения учеников, т. е. дать им такой вид, чтобы Его Высочеству можно было на них взглянуть. Как библиотекарь, должен был составить новый систематический каталог книгам, классифицировать их, лепить номера и, за неумением писцов дирекции иноязычной грамоте, должен был и переписать каталог набело — так листов до двацати пяти. Наконец, как человек, который занимается виршеписанием, я должен был, по поручению генерал-губернатора, приготовить приветствие. Из всего этого ты можешь заключить, что работы у меня было довольно. Государь Наследник приехал к нам в ночь с 1 на 2 июня и остановился в генерал-губернаторском доме, насупротив моей квартиры. Поутру 2 числа я отправился к В. А. Жуковскому и был принят им как друг. Во время посещения гимназии Государем Наследником вся наша братия была представлена Его Высочеству. Когда очередь дошла до меня, то генерал-губернатор и Жуковский сказали что-то Его Высочеству, чего я не мог слышать, и Его Высочество отвечал: *«Очень помню»*; потом обратился ко мне и спросил, где я воспитывался и что преподаю? Тут Жуковский сказал вслух: *«Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири»*. Вечером Великий Князь был в собрании и остался чрезвычайно довольным. Надобно сказать правду, что и город не щадил ничего для принятия. Одних посетителей было до пятисот человек. Государь Наследник, кроме польского, протанцевал четыре французские кадрили. Здесь он был в казачьем мундире; в прочее же время носил мундир Преображенского полка. Остальное узнаешь из газет, если уже не узнал. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

26 ноября 1837. Тобольск

<...> Взамен известий твоих о делах и службе, я напишу также, как я убиваю время. Встаю обыкновенно в 9 часов и, отправив все обязанности человека и христианина, приготовляюсь к моим лекциям (которые у меня теперь только по послеобедам). В 12 часов обедаю и, в исходе первого часа, иду в гимназию на три часа – от 1 до 4. Потом прихожу домой, пью кофе и или читаю что-нибудь, или мечтаю, или – просто ничего не делаю. После – я сажусь заниматься, если не расположен идти к кому-нибудь из своих знакомых. В 9 часов ужинаю и потом, когда все в доме угомонится, я снова обращаюсь к своим занятиям, и просиживаю обыкновенно до 2 и до 3 часов утра, а иногда даже до 7, что, впрочем, очень редко. Наутро та же история. По вторникам у меня сбор приятельский: играем в шахматы, болтаем всякий вздор, не исключая совсем и дельного разговора, а если есть, то читаем что-нибудь из своих сочинений. О картах в доме моем нет и помину. И я, с самого приезда сюда в Тобольск, только два раза садился за зеленое поле, и то – не мог отказаться. Ну-с, по воскресеньям езжу иногда в здешнее собрание, особенно если знаю, что там будут некоторые особы. Впрочем, я там более наблюдатель, нежели действователь. Вот, кажется, и все. Ты видишь, что я не могу пожаловаться на недостаток единообразия, а следовательно – и скуки. Что ж делать? Станем сидеть у моря да ждать погоды. С нетерпением жду весны, с которою снова намерен начать мои прогулки по всем четырем сторонам, и особенно – посетить холм *Сузге*, о котором ты, может быть, узнаешь из «Библиотеки для чтения», куда я отправил, уже с месяц, небольшую повесть под названием *Сузге* и потому не объясняю теперь, что это за известие... <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

14 февраля 1838. Тобольск

<...> На маслянице же тешился в театре, да, в театре, который мы (т. е. учителя гимназии) построили на свой счет в зале

гимназии, чтобы доставить развлечение ученикам и потешить собственную охотку. Играли все ученики гимназии, а чтобы сказать тебе, что они недурно знали свое дело, то напишу, что режиссером их был я. Но шутки в сторону. Театр наш шел славно, говоря и не о Тобольске. Обширная сцена, хорошие декорации, отличное (восковое) освещение, увертюры из лучших опер в антракте, разыгрываемые полным оркестром, и, наконец, славные костюмы (особенно в волшебной пиесе *Прекрасный принц*) – все это сделало спектакль хоть куда! Всего было три представления (по пяти пиес, в одном действии каждая): первое – только для учителей гимназии, а два последних – для всей публики; из них в одном было до 400 человек, а в другом – столько, что едва вмещала зала. Знай наших! И скажу тебе еще: один из игравших учеников – если б дать ему надлежащее сценическое воспитание – был бы из первых актеров и на вашей сцене. Чудо! Каждое его слово, каждый жест, каждое движение лица было комическим в высшей степени. С самого появления его на сцену до выхода – рукоплескания не умолкали. Он нынче выходит из гимназии и должен прослужить шесть лет в ученой службе; а там я посоветую ему – ехать в Петербург и прямо на сцену. Фамилия его Рихтер. Опять немец! Ведь нам без немцев нет спасенья! Радуйся, сын Германии!..

<...> Что ж бы еще написать тебе такое? – В самом деле, если б сделать меня корреспондентом тобольских новостей, то я порядком бы призадумался. Писать же, что я думаю, что намерен сделать, – недостанет бумаги. Ты, по крайней мере, тем счастлив, что можешь описывать любовные свои похождения, а я, брат, с самого моего приезда сюда, еще ни разу не влюбился, хоть и было в кого, напр., та смазливая немочка (опять немцы), которую увидел я на акте, – помнишь? или одна... ну, не скажу всего, довольно, что никогда имя не приходилось так кстати: Серафима. Впрочем, сердечные мои подвиги ограничиваются одними взглядами, и то на почтительном расстоянии – через очки... Что до стихов, то доложу тебе, может быть, тебе уже известное обстоятельство, что посланная мною в «Библиотеку» повесть обракована Сенковским, разругана Б. и сравнена Г. с его историею моголов. Жду весны, чтоб снова начать *неудачи*.

Маменька очень слаба здоровьем.

В. А. ТРЕБОРНУ

4 октября 1838. Тобольск

Чрез столько лет молчания ты получишь это письмо; но не вини меня. Я целое лето был сам не свой, и только разве какая-нибудь необходимость заставляла меня браться за перо. Ты, верно, слышал о причине моего молчания, а если нет (что — вернее: в противном случае ты не поскупился бы письма на два), то вот тебе просто-напросто: с 16 апреля этого года я осиротел душой и телом, и в нынешнем месяце (т. е. в октябре) исполнится полгода, как я проводил мою маменьку в последнее жилище — в могилу. С ней схоронил я последнюю из *родных*: правда — *родственников* у меня много, но все они заменят ли одного *родного*? Ты понимаешь различие этих двух слов. — Теперь сам не знаю, на что решиться: ехать в Петербург? Но зачем? Успехи мои в службе или в занятиях порадуют ли кого-нибудь? — согреют ли охладевшее сердце матери? Ты скажешь: для себя, для себя собственно. Благодарен; но я не эгоист. Тобольск же привязывает меня к себе только (пока) могилою матери. Ей-Богу, не знаю, что делать. — Занятия мои двух родов: одни — гимназические, которые, кроме скуки, не приносят мне ничего, если не взять в соображение порядочное жалованье; другие же — домашние: все спускаю с рук и, разумеется, большею частию за безделицу. Когда окончу это, тогда подумаю покрепче о своей участи. А до того времени пусть все идет так, как угодно Богу. Притом затевать что-нибудь длинное и вовсе не намерен: телесный состав мой год от году слабеет; а настоящее одиночество поможет докончить его расстройство. Год, два — и ты можешь, идя на Охту, — помянуть с братом и меня. И прекрасно. — Зачем нет со мной теперь никого из моих старых приятелей. По крайней мере можно бы, разговаривая с ними, передать им и то и то и хоть немножко облегчить свое горе. Один и опять один!.. Я рад, что ты весел. Это могу заключить из последнего письма твоего, которое написано под влиянием веселости. И мой совет — не упускай случая:

Они проходят — дни веселья...

А! старые знакомые! стихи! Два года уже, как я не писал ни одного, и около полугода, как не читал ни строки. Сам удивляюсь моей деятельности. Иногда даже приходило мне на мысль: как бы сделать это, чтобы с первого моего дебюта пред публикою на Коньке-Горбунке до последнего стихотворения, напечатанного, против воли моей, в каком-то альманахе, все это — изгладилось дочиста. Я тут не терял бы ничего, а выиграл бы спокойствие неизвестности. Но к понизу этих великодушных мечтаний, *Иван-Царевич* (помнишь? поэма в 10 томах и в 100 песнях), приходит мне на ум, и я решаюсь ждать времени, когда стукнет мне 24 или лучше 25 лет. Это случится в 1839 или в 1840 году, и тогда —

> «В некотором царстве, в некотором государстве,
> и пр., и пр., и пр.».

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

12 сентября 1839. Тобольск

Милостивый государь братец Владимир Александрович и Милостивая государыня сестрица Марья Федоровна.

Из самого начала письма моего Вы увидите, что все уже кончено и самым счастливейшим для меня образом. 8 сентября, после поздней обедни, была скромная наша свадьба, и я теперь живу в Вашем доме и приготовляюсь хозяйничать. Позвольте снова принести Вам искреннюю мою благодарность за Ваше великодушное снисхождение и уверить Вас, что я чувствую его вполне. Поверьте, что Вы обязали человека, который умеет быть благодарным и который постарается по силам заслужить доброе Ваше мнение.

Вероятно, Вам любопытны будут некоторые подробности о нашей свадьбе. Сообщаю несколько. Серафиму Александровну благословлял Петро Дмитриевич с Натальей Ивановной; а меня — дядя Иван Васильевич с Марьей Александровной, Николай Степанович принял на себя все хлопоты, нужные при обряде. Желание Серафимы Александровны — сделать самую простую свадьбу и как можно при меньшем числе людей — было исполнено по возможности. Но несмотря на тайну, с ко-

торой мы хранили день венчания, церковь была полна. На третий день (в воскресенье) ездили с визитами почти в 30 домов, и я сделал много новых, приятных знакомств. Не было ни стола, ни вечера; выпили только по бокалу шампанского да по чашке кофе. Этим и кончились издержки первого дня. Теперь остается жить домом. Надеюсь, или лучше, уверен, при тех средствах, какие я имею, содержать приличным образом свое семейство. Оба дяди – Иван Васильевич и Николай Степанович – обещали помогать советами, и я уже испытал это. Одно желание мое – приобресть родственное Ваше расположение и успокоить любезнейшую Серафиму Александровну. Тогда счастье мое будет совершенно. Прощайте, братец Владимир Александрович и сестрица Марья Федоровна. Будьте здоровы и счастливы. Этого желает от души преданный Вам навсегда Петр Ершов.

В. А. ТРЕБОРНУ

26 октября 1839. Тобольск

<...> Ты спрашиваешь – каков я с директором? Ни хорошо, ни худо. Больше ничего сказать не могу. Но, во всяком случае, мне придется отказаться от награждения: потому что директор без просьбы не представит (хотя бы и следовало бы кой за что), а я просить вовсе не намерен. Пусть будет воля Божия да милость царская!

<...> Теперь следует развязка всех намеков, которыми наполнены были письма к тебе. Она коротка, только два слова, но зато какие два слова: я женат. Если ты любишь меня, то поздравишь и, верно, пожелаешь всего лучшего. Рассказывать тебе все обстоятельства – не позволяет ни время, ни осторожность переписки. Скажу только, что я был влюблен почти два года, испытал и доброе, и худое, что делает любовь раем и адом; два раза писал в Петербург о переводе меня туда и два раза возвращал с почты мои просьбы. Одним словом, был влюблен comme il faut*. Наконец, видя, что от борьбы моей с самим собою мне не лучше, решился поступить по-александровски – разрубить узел свадьбою. Но и тут судьба поиграла мною. На первое предложение мое я получил отказ. В первую минуту самолюбие или,

* Как следует *(фр.)*.

если хочешь, гордость взяла верх над страстию, и я решился вылечить себя. Но неделя, одна только неделя доказала мне, как слаба человеческая природа. Тоска, какой я не испытывал еще в жизни, до того овладела мною, что я Бог знает на что бы решился, без помощи добрых моих приятелей. «Нет! Счастье жизни дороже глупой гордости!» — сказал я, схватил перо и написал новое предложение. Тут разные обстоятельства тянули дело до конца августа; наконец 29 числа я получил согласие и на другой же день представлен был женихом. 8 сентября была скромная свадьба, после обедни — без всякой пышности. Вот тебе и объяснение. Если хочешь знать, кто моя жена, — скажу: вдова одного инженерного подполковника, Серафима Александровна Л-ова, а приданое — красота, ангельский характер и четверо милых детей. Так как я не искал ни знатности, ни богатства, то и надеюсь, что судьба наградит меня за доброе дело. Впрочем, я совершенно предаю себя воле Провидения. — С нынешней зимы хочу заняться посерьезнее: жалованья моего мне недостаточно; по крайней мере постараюсь литературными моими трудами дополнить недостаток. Здесь я желал бы поговорить с тобою откровеннее. Если не представится мне случая быть при здешней гимназии инспектором, то я думаю перебраться в Петербург. Там, если дороже содержание, зато много средств получать все нужное. Поговори-ка, мой милый Т[ре]борн, с Александром Васильевичем. Что он присоветует. Инспекторское место я мог бы получить таким образом: томский директор просится в отставку: нельзя ли будет здешнего (тобольского) инспектора перевести в Томск директором, а тут бы открылся и мне случай. Или, если этого сделать нельзя, то не отыщется ли мне место при министерстве просвещения с хорошим жалованьем; учителем же быть мне уже надоело: каждый день твердить одно и то же наскучит и Иову. Поговори об этом и с Петром Александровичем, вероятно, он помнит обо мне и не откажется помочь мне, если не делом, то хоть советом. Но во всяком случае уведоми меня, что скажут, чтобы не предложили мне такой должности, к какой я не способен. Когда же не удастся ни здесь, ни там, останусь при прежнем, с надеждою на Бога. Я теперь столько счастлив, сколько можно быть счастливым для человека. А если и желаю перемены, то это для пользы моего семейства. <...> Я привыкаю к новому роду жизни и к экономии. Но пословица «Женишься — переменишься» или не-

справедлива, или не имела надо мной силы. Потому что я такой же лентяй, как и прежде, так же без причины весел, без причины печален (последнее нынче реже), сижу по-прежнему дома или ребячусь с детьми, которые меня любят. Но не думай, чтоб я и не занимался: на все есть время (хотя на леность его всего больше).

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

27 октября 1839. Тобольск

Милостивый государь любезнейший братец Владимир Александрович и милостивейшая государыня любезнейшая сестрица Марья Федоровна.

Пользуюсь первою почтою, чтобы сообщить Вам известие об одном неожиданном случае, от которого пострадал почти весь Тобольск. 24 ч. сгорел дотла здешний гостиный двор со всем, что в нем было. Спасти его не было ни малейшей возможности, потому что он вспыхнул вдруг со всех четырех концов, и именно при воротах, что и заставляет приписать этот пожар умышленному злодейству. В то же время сгорел магистрат, новый ряд около моста и крыша в каменном доме дяди Ивана Васильевича (прежнем Кривоногова). Захарьевская церковь загоралась не один раз: все из нее уже было вынесено как вверху, так и внизу, но успели отстоять. Надобно благодарить Бога, что погода в то время была тихая, иначе огонь мог бы перелиться с одной стороны за речку к дому Романовых, а с другой к мясным рядам, и тогда дело приняло бы оборот гораздо опаснейший. 200 лавок. Можете судить о пожаре для города, полагая даже круглым числом по 10 т[ысяч] на каждую; а между тем у одного Потапова товарами и деньгами сгорело на 200 т. Гр. Сем. Струнин тоже почти лишился всего, кроме товара и денег, он незадолго свез в лавку большую часть своих вещей, посуду и прочее и теперь, как сказывают, остался при нескольких стах рублях. То же самое и с другим его однофамильцем Струниным. Магистрат теперь переведен в Кремлевский дом, а на площади базарной строят балаганы те из купечества, которые имеют что-нибудь для продажи.

На этом пожары еще не кончились. На четверг (26) в ночь поджигали дом купца Глазкова (бывший Фалецкого), а в чет-

верг сожжен дом Коновалова против Рождества, где жил частный пристав Петров. Дом Суханова был в большой опасности — все из него было вывезено; но его успели отстоять. <...>

Теперь позвольте пожелать Вам всего лучшего. Остаюсь душевно любящий и уважающий Вас, покорный слуга и брат

П. Ершов.

P. S. Милой Физочке посылаю подарок — на нужное и заочно ее целую.

В. А. ТРЕБОРНУ

28 декабря 1839. Тобольск

<...> Ты не поверишь, с каким нетерпением было ожидаемо письмо от тебя и с какою радостию прочитано. Оно успокоило меня насчет расположения петербургских моих знакомых и дало мне надежду когда-нибудь поправить мои обстоятельства. Но, для Бога, не укоряй меня в ветрености, ни в неблагодарности относительно добрейшего Петра Александровича. Правда, во все пребывание мое в Сибири я ни разу не писал к нему; но на это я имел причину, может быть, ошибочную, но тем не менее оправдательную. Ты знаешь мой характер: мысль обеспокоить кого-нибудь, особливо лицо, уважаемое мною, давит иногда самое пламенное желание. И о чем бы я стал извещать его из Сибири, где каждый день отмечается или новою глупостью, или новою сплетнею. А что уважение мое к Плетневу нисколько не изменилось, этому доказательством могут многие письма мои к моим знакомым, а особенно (если нужно явное доказательство) то, в котором я суждение о небольшой моей поэме *Сузге* отдал единственно П. А. — Ты можешь догадываться о щекотливости автора и потому поймешь, что нужно сильное доверие к кому-нибудь, чтобы утвердиться на его суждении, отказавшись от своего. Но я решился уничтожить мой труд, если бы мой цензор не нашел в нем ничего достойного. — Обратимся к делу. 25 декабря получено было письмо твое, и протекшие три дня посвящены были думе, на что решиться? И вот результат ее. Ехать в Томск директором — лестно, очень лестно для молодого человека. Но я и то отдален от милого Петербурга на 3000 верст; надо прибавить еще полторы тысячи, чтоб быть в Томске. А кто поручится — к каким попаду людям, каков будет начальник. И в случае чего неприятного — скоро ли услышится

мой голос за 4500 верст! Остаться в Тобольске инспектором — это несколько лучше, по крайней мере в том смысле, что я буду жить между знакомыми, в кругу родных; но и тут не без запятой. Отношения мои к директору не то, чтобы неприязненны, но и вовсе не дружны. Я теперь в стороне, занимаясь своим предметом; но и теперь много противных мыслей о преподавании разделяют нас. Что ж будет, если на месте инспектора я каждый день должен буду иметь с ним сношения и каждый день идти, положим, не совсем напротив, все-таки не по одной мысли! Три года службы хорошо познакомили меня с директором, и я знаю, что нам не дослужить вместе. Нет, лучше в Петербург, к людям, которые, несмотря на странность моего характера, поймут меня, снисходительно посмотрят на мои ошибки и отдадут должное заслугам, если они окажутся. Так, это решено. Я должен быть в Петербурге. Но как? Это — дело Провидения и милости моих покровителей. Ты пишешь слова П. А.: «если я имею возможность приехать на свой счет в Петербург и жить там полгода без жалованья, то чтобы ехал». Да дело-то в том, что нет возможности. Нельзя ли будет *перевести меня.* А я готов ждать здесь, на месте, моего перевода. Но только одно — чтобы должность была не трудная (напр., инспекторская) и чтобы жалованье было достаточное на содержание моего семейства. А я уверен, что ходатайство таких лиц, как Плетнев и Жуковский, сделает все возможное. — Другое обстоятельство. Князь Горчаков сегодня едет в Петербург и, вероятно, в половине января там будет. Нельзя ли намекнуть ему о каком-нибудь награждении, напр. годового или полугодового оклада. Князь, верно, не откажется, тем больше, что он сам при отъезде, благодарив меня за учение его детей, сказал: «Это за моих; скоро надеюсь поблагодарить вас и за общих наших детей» (намекая на учеников гимназии). Здесь кстати (хотя и совестно намекать на свои заслуги) прибавлю о приведении мною в новый порядок гимназической библиотеки к приезду Государя Наследника, о пожертвовании, более чем на 500 руб., книг и монет. Князю должно быть это хорошо известно. — Что ж касается о силе К-ва при князе, то это очень сомнительно. Князь не имеет любимцев; можно убедить его доказательствами истины, а не внешним влиянием. По крайней мере так я об нем слышал. — Ехать же пока в Вологду или Новгород я не решусь. Все это повлечет за собою лишние издержки; а мой карман нередко

вопиет к богине счастия. Нет, уж лучше, если нельзя прямо в Петербург *по казенной подорожной*, остаться при здешней гимназии и ждать благоприятной погоды. <...>

Если почтешь нужным, покажи это письмо П. А., извинясь наперед от моего имени в разных разностях, рассеянных на этом листе. Да, ради Бога, отвечай при первой возможности. Я не буду спокоен до получения твоего письма. <...>

Конька продал я, на второе издание, московскому купцу Шамову, половину в 12-ю и половину в 64 долю листа, на длинных условиях. <...>

Если ты знаком с Гребенкой, то спроси, отдал ли он мои стихи и на каких условиях, да скажи, что пора бы и отвечать ему мне. <...>

Скажи еще П. А., что, несмотря на мои причины ехать туда или сюда, я полагаюсь на его совет, как сделать лучше. — Прошу тебя, мой милый, в самый же день получения этого письма побывать у П. А-ча. Я писал к нему, что ты передашь ему мою личную просьбу.

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

12 февраля 1840. Тобольск

Душевно благодарю Вас, любезнейшие братец Владимир Александрович и сестрица Марья Федоровна, за приятные письма Ваши от 23 января. Для нас очень дорого участие, которое Вы принимаете в нашем положении. Надеемся, что Бог устроит все к лучшему. Сведения, полученные мной из Петербурга, тоже не совсем удовлетворительны; пока еще только начало; буду ожидать окончательного решения и тогда, сообразив все обстоятельства, стану действовать. А до тех пор утешаюсь мыслью, что обо мне не забыли, что берут во мне участие. На слова же П. А. Плетнева, что я много потерял, не оставшись в Петербурге, я прибавлю два слова: **только по службе**; зато, может быть, я много выиграл в семейном счастье и еще в кой-каких обстоятельствах, единственно касающихся меня. А впрочем, могу сказать, что жизнь для меня только что начинается. Много еще впереди для надежд, если только Богу угодно будет благословить нас. Скажу притом, что чиноначалие никогда не было главною целью моих желаний; честолюбие мое совсем другого рода. Оставить имя свое не последним в истории лите-

ратуры – вот постоянная цель моего стремления, дело тем более для меня лестное, что тут не нужно ни протекции, ни искательства. А если прибавить к тому достаточное состояние и обеспечение нужд (почему же и не маленьких прихотей) моего семейства, я не желаю ничего большего. У каждого свое назначение, и идти наперекор ему значило бы подтвердить слова остроумного Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник» и пр. Прощайте, любезнейшие братец и сестрица, до следующего письма. Искренне любящий и уважающий Вас, брат Петр Ершов. <...>

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

20 августа 1840 г. Тобольск

Любезный братец Владимир Александрович. От души благодарю вас за поздравление с дорогой моей имянинницей. Мы все здоровы и живем по-прежнему. Только семейство наше увеличилось еще одним человеком. Вы, верно, знаете Костю Широкова: он теперь у нас. Директор отказал держать его по малости помещения, а воспитательница Кости Соболевская упросила нас принять к себе сиротку. Это будет выгодно и для Саши. Широков очень хорошо знает языки и идет одним классом выше, а потому и может помогать своему товарищу.

Дело об опеке теперь почти кончено: Лещ[ев] отстранен, и Сер[афима] Але[ксандровна] осталась попечительницей. Остается теперь только испросить позволения на продажу вещей, подверженных порче, и об законном выделе, что и исполним не замешкав.

Новый губернатор еще не приехал; ожидают сегодня. У нас начались годовые экзамены, и Саша идет пока в числе лучших. Желаю Вам и люб[езной] сестрице Марье Федоровне всякого счастья, остаюсь искренне любящий Вас брат Ершов.

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

5 сентября 1840. Тобольск

Вы любопытствуете, любезный братец, знать о моих будущих намерениях. Жалею, что не могу сказать ничего положи-

тельно-верного. Одни обещания — и только. М. А. Фонвизин спрашивал при случае у князя обо мне. Князь говорил, что он имеет меня всегда в виду, но не имеет вакансии — куда бы поместить меня. Благодарю хоть за доброе желание. Впрочем, я довольно терпелив по службе. Дойдет когда-нибудь очередь и до меня. Дирекция представила меня к утверждению в 9 класс и вместе к производству в 8-й. Утверждение зависит от министра, и я получу его к новому году; но производство пойдет в Сенат, почему я и буду просить Вас, люб. братец, справиться там через кого-либо обо мне. Бываете ли Вы у Плетнева? Не говорит ли он чего-нибудь об моей просьбе? А я уже давно не имею оттуда никаких известий.

Академический год наш начали 2 сентября, и я от души поздравляю Вас и люб. сестрицу с достойным племянником. Несмотря на то, что прошлый год был гораздо труднее прежних, Саша удостоен первой награды. О будущем назначении его когда-нибудь поговорим поподробнее; теперь только замечу — не приготовить ли его в университет. Здесь он может заниматься и любимой своею живописью, и может выйти в военную службу, с тою разницею, что он получит здесь не одностороннее образование. Прошу Вас подумать об этом. С желанием Вам всех благ, остаюсь душевно любящий и уважающий Вас брат П. Ершов.

P. S. С Вами хотел познакомиться мой университетский товарищ Владимир Александрович Треборн. Он служит в Опекунском совете. Прошу обласкать его: он достоин этого по душе своей.

На другой день после акта я был представлен к новому губернатору, по его желанию, и был встречен комплиментом, что он давно знает меня литературно. Он обещал бывать иногда на моих лекциях в гимназии.

В. А. ТРЕБОРНУ

2 мая 1841 г. Тобольск

<...> Теперь хочется мне сообщить тебе поручение довольно щекотливое. Ты пишешь, что П. А. Плетнев жалеет, что судьба связала меня с С[мирд]иным и с С[енков]ским. Очень бы рад развязаться с ними, и все, что имею в голове и сердце, отдать «Современнику». Но вот видишь ли, мой милый, в чем останов-

ка. Литературные занятия для меня, как человека с небольшим учительским жалованьем и с порядочным семейством на руках, представляются мне, по крайней мере, по окончании трудов, средствами житейской прозы. И не обвиняй меня в этом: известность известностью, а долг обеспечить людей, которых судьба поручила мне и которые для меня милы, также что-нибудь да значит. Приятна мысль, что я тружусь и труды мои доставляют пользу моему семейству, — такая мысль много имеет влияния на труды и придает больше решимости. — Если бы (вот обстоятельство щекотливое) П. А. был так добр, что помог бы мне в этом случае, то я бросил бы и Смирдина и Б[иблиотеку] для ч[тения] и постарался бы не унизить себя в глазах добрейшего П. А. — Дело твое, мой милый Т[ре]борн, передать это самым деликатным образом издателю «Современника» и написать мне ответ и его условия. <...> Не напоминаю о долгах, зная, что ты и Э. И. Губер и без этого стараетесь об них. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

25 сентября 1841. Тобольск

Как и чем мне поблагодарить тебя, мой милый Владимир, за твою истинно дружескую заботливость о моих делишках! Думаю, думаю и не нахожу ничего лучшего, как просить у Бога, чтоб Он наградил тебя за твое доброе сердце. — Сказать откровенно — разутешил ты меня описанием разговора твоего с С[енковским]. Ай да барон! По его словам выходит, что и воздух, которым я дышу, и солнце, которое греет мои грешные кости, — все это дар могущественной его десницы! Ну, уж пусть бы говорил он, что по его милости я стал знаком с грамотной братией (хотя и здесь поневоле вспомнишь благородного А. С. Пушкина), — это было бы еще несколько похоже на правду; но утверждать, что и занимаемым теперь мною местом я обязан ему, — это уж из рук вон. Г. С[енковский] забыл, кажется, что, как кандидат университета, я всегда мог бы занять подобное место и не в Тобольске и что содействие князя Дондукова-Корсакова в этом случае было важнее ходатайства баронского. Но — Бог с ним! Когда-нибудь мы сочтемся с ним в обязательствах. Одно только желал бы я знать, в какой подлости заметил меня почтеннейший О. И.?..

<...> Но бросим эту глупую материю. Мне должно сообщить тебе гораздо важнейшее обстоятельство семейной моей жизни. Порадуйся и пожалей обо мне. 6 сентября Бог благословил меня во второй раз быть отцом дочери – тоже Серафимы. И хотя малютка подавала все надежды к жизни, однако ж, наученный первым опытом, я поспешил просветить ее христианским крещением – и хорошо сделал: в 11 часов ночи с ней сделался припадок, и я опять осиротел по-прежнему. <...> На другой день я должен был отвезти ее к старшей ее сестре. Нет, мой милый Т[ре]борн, ты не поймешь моего страдания: довольно, что я не спал трое суток; в каждой комнате слышался мне плач моей Серафимочки – и я невольно глотал свои слезы. Я уверен, что ты пожалеешь обо мне от души: два года и две потери...

Вот и теперь, когда пишу к тебе эти строки, сердце сжалось без милосердия, и, со всей охотой писать к тебе, я не знаю, что и как писать. Принужден думать над словами... Нет, лучше повремену, успокоюсь. – Прочитал письмо и хотел было разорвать его, так оно показалось мне приятно! Но подумал – что за счеты с приятелем, – и продолжаю. Начну с домашнего обихода. В три месяца (в которые я ждал да ждал от тебя весточки) ничего не произошло замечательного. Я в той же гимназии – гулял на вакации, сдал свои экзамены в августе, и с сентября опять считаю те же самые столбы по дороге, как и пять лет назад тому. Одна только перемена в моих классах: прежде я занимал лекции после обеда, а теперь выбрал утренние, а после обеда делаю кейф за чашкою кофе с трубкою табаку или с книгой на постели. Остальное все по-старому.

Говорят, что я приметным образом пополнел, да я не верю этому, хотя, правду сказать, прежнее платье далеко не сходится. А что постарел, так это уж не подлежит никакому сомнению. И теперь с бакенбардами во всю щеку и с очками на глазах представляю пресолидного мужа. Впрочем, это пустяки: сколько могу заметить, душа не потеряла юношеского жара, а сердце – доверчивой простоты. Так же опрометчиво сужу, так же прыгаю от удовольствия, как и во время оно, когда в блаженном звании студента, без копейки в кармане, сидел с Влад[имиром] Алек[сандровичем] за стаканом чаю и импровизировал напропалую. И если бы мне сохранить эту душевную свежесть навсегда, то хоть сейчас подставил бы голову под пудру седины:

так она не страшна мне кажется. Двигал было меня сначала, в первые дни женитьбы, бесенок честолюбия, чтобы доставить любимой мною жене более почетное место в обществе, чем то, которое я теперь занимаю, но, увидя, что плетью обуха не перешибешь и что милая Серафима любит меня и не в чинах, я бросил эту пустую затею – чинолюбия и доволен своим званием. Лишь бы только Господь дал мне средства обеспечить наше житье-бытье, и я вполне был бы счастлив. <...>

После откровенного объяснения твоего насчет «Современника» я оставляю свое желание и буду так просто делиться с добрейшим П. А. чем Бог послал. И в доказательство снова присылаю стихи Пушкина, в том виде, в каком они мне доставлены. Касательно их подлинности нет ни малейшего сомнения. Мне прислал их задушевный приятель Пушкина, лицейский его товарищ, тот самый, который доставил мне и первые. Об имени его – до случая. Только, во всяком случае, уверь П. А., что я не способен никого мистифицировать, да, признаться, и не умею. *Поездку мою* отдай П. А., пусть он печатает ее вполне или отчасти, – без всяких условий, нет, виноват, с одним условием – не переменять ко мне доброго расположения. Будет время, когда Ершов докажет, что он не напрасно провел столько лет в Тобольске, а пока – ожидание. <...>

Ярославцову дружеское пожатие. До него у меня просьба: не может ли он, хоть в твоем письме, переслать милый свой вальс, написанный им еще во времена студенчества и которым он меня утешал до души. Я думаю, он вспомнит о нем. В этом вальсе три части: в 1-й представлен грустный человек, до которого долетают звуки вальса; во 2-й этот человек бросается в вихрь вальса; в 3-й он опять представлен с грустью в самой высшей степени. – Да если у доброго Ярославцова есть и еще что своего, то пусть не поскупится переслать ко мне: у нас есть и фортепиано, и руки, умеющие перебирать клавиши: как раз вспомним приятеля. – Прощай.

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

1 января 1842. Тобольск

За обязательную вашу посылку следовало бы мне отвечать целою дестью благодарностей, милые мои Т[ре]борн и Ярославцов. Но вините мою болезнь, что я отплачиваю вам таким

коротеньким письмецом... Ноты разыграны были в тот же вечер, как их выдали под расписку моему поручителю. Особенно *Путешественник* прекрасен. Письмо же Ярославцова – правда и правда сущая! Всякий примет ее и душой и телом, тем более я. Но пусть будет спокоен гений-утешитель: поэт не забудет себя, своего назначения. – Ответ на все, лишь только раскланяюсь с болезнию. До тех пор терпение и терпение. <...> Вот вам экспромт на новый год – чудеснейший из всех:

Новый год! новый год!
Что забот, что хлопот!
Полон лоб, полон рот!
Так ревет весь народ
Натощак в новый год.

Это Т[ре]борну, а вот и Ярославцову:

12 бьет! 12 бьет!
И канул в вечность старый год,
Под ношей суетных стремлений
И прозаических забот.
Миг ожидания... и вот,
Как некий дух,-как светлый гений,
Вступает новый, юный год,
С надеждой Божеских щедрот
И утешительных видений.

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

7 марта 1842. Тобольск

Друзья мои, вы вправе бранить меня, сколько угодно, за долгое мое молчание. Что сказать мне в свою защиту? Тысячу раз брался я за перо и тысячу раз разные разности отрывали меня от дела и бросали то в служебные, то в семейные надобности. Наконец, сегодня, за три дня до почты, я сажусь с непременною мыслию отвечать на последние ваши письма. – И сначала к тебе, мой милый Ярославцов, поэт словом, и делом, и мыс-

лию! Благодарю тебя за твою обо мне память: она тем для меня дороже, что отозвалась в такое время, когда все обо мне забыли, даже и те, которые мильон раз называли меня другом и обнимали меня. Плачу им тем же забвением. Но напрасно ты винишь меня, будто бы служебные и семейные обязанности так овладели мною, что я совсем забыл поэзию. Напротив. Никогда я еще так не понимал ее, как теперь. Вот и главная причина, почему я бросил перо на время, пока зерно не созреет. А оно зреет, скажу без самохвальства, и, может быть, настанет время, когда душевный цветок раскинется под озарением *высшего солнца*. Ты поймешь мое направление. С некоторого времени оно теснит мои наклонности, показывает всю мелочность прежних целей и вдали, в отрадном свете, открывает другую высокую цель поэтическому призванию. Но довольно об этом. Я счастлив тем, что наконец выбираюсь на ту стезю, на которую смотрел я так жадно в первые годы сознания и с которой — бурная юность отвлекла меня в другую сторону. — Ты спросишь о теперешних моих занятиях. Каждый день сижу я несколько часов за переводом одной французской книги: *La douloureuse passion de N. S. Jesus Christ.* Не знаю, имел ли ты в руках эту книгу. А если нет, то скажу тебе, что я не читал ничего занимательнее. Это видения одной монахини о страданиях Спасителя, писанные со слов ее известным немецким поэтом Клеменцием Брентано. Эти видения имеют такой характер истины, что не смеешь сомневаться в их действительности. Достань и прочти. Мне хотелось бы перевод этой книги приготовить к изданию, но боюсь, чтоб наши духовные лица не восстали. Впрочем, я исключаю или применяю к нашим верованиям все, что могло бы броситься в глаза православию. Уверен, что успех этой книги несомненен. На днях жду немецкого подлинника: у меня есть знакомый, знаток немецкого языка, и мы поверим перевод. Но *об этом между нами.* Что нам до других, когда другим нет дела до нас. — Любопытен прочесть твою повесть. Это должно быть музыка в словах. Я говорю музыка — в высшем значении этого слова, т. е. вся душа наружу. Действуй, мой милый! Если мое желание нужно было бы для твоего успеха, то успех твой будет неимоверный. — Но знаешь ли что — я предчувствую в тебе сильную борьбу: музыка и слово — это две сестры одной матери, но несхожие; таинственность и глубина первой не поладят

с ясностию второй. Любопытно, на чьей стороне будет перевес. Боюсь за одну и радуюсь за другую. Опыт решит —

В словах ли музыка прольется,
Иль слово в звуках задрожит.

<...> 22 февраля, — день курения пятнадцати трубок, — проведен мною преприятно. Ученики сделали мне сюрприз — смастерили театр и сыграли моего *Сувофова.* В заключении спектакля была иллюминация с бенгальским огнем, который чуть-чуть не выел глаза всем зрителям. Но, знаешь ли — тут важное дело усердие и привязанность. Спасибо добрым моим ученикам. Не все учители, даже и повыше учителей, удостоиваются подобной чести. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

30 марта 1842. Тобольск

<...> Вы можете видеть, что я сегодня удивительно весел. А отчего? А оттого, что кончил одно дело, которое занимало меня четыре месяца. — Но больше не любопытствуйте. Я сделался ужасно скрытен: целые два письма буду вас мучить... Пишите чаще и чаще, больше и больше, хвалите меня и браните, утешайте и сердите, а на мои малые письма не смотрите: ведь я один, а вас двое. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

14 июля 1842. Тобольск

<...> Я сегодня что-то не в духе. Не то грустно, не то невесело. Мысли едва ползут из головы, слова не клеятся. Ну, да что за расчеты с приятелями. Критиковать не станут... <...> Друзья! Дайте мне ваши руки. Горячее пожатие их, молча, с слезой на глазах — довольно ли вам этого ответа? Прибавлю еще: теперь, не бойтесь, путь к вашей могиле тоже не зарастет травою: Бог

правосуден, а в людях живет еще добродетель. — Но, друзья, довершите уже ваше дело: 15 августа — день смерти *нашего* Николая, — посетите уединенную его могилу, и пусть голос веры прозвучит над ней молитвою пастыря. Еще одно слово. Помнится, я писал к Т-борну о гранитном кресте. Поставьте его — этот христианский символ! Не нужно никаких прикрас. Вырезать только: *Мир праху твоему!* Расходы на меня. <...> Напоминание о незабвенных днях залиговской жизни, о талисмане M. V. и пр... сколько дум навеяло мне это воспоминание! И где эти дни? Где эти исполинские планы? Все улетело с учительской профессией! Пусть теперь решат философы: или судьба индейка, или человек индюк. <...> У нас каникулы. Это видно, потому что учители сидят дома, ученики гуляют, а собаки бегают, высунув язык. Каникулы — кличка по шерсти. Далее. Покорный ваш слуга решительно бездельничает, т. е. не то, чтобы бездельничает, а сидит вовсе без дела. Читать жарко, писать жарко, мечтать жарко, да и мухи мешают. А вследствие всего этого выходит, что — время катит чередом, час за часом, день за днем, а Ершов сидит все пнем. Дурно, очень дурно, скажете вы; а я со всеуниженнейшим поклоном: что ж делать-с! ведь природы не перекокаешь. Да нет же, чёрт возьми! Этот пень сохранил еще корни. Дождется ясного солнца да питательного дождя и пустит ветви от моря до моря и от реки до пределов вселенной, разольет соки свои в ветви, зашумит зеленью и станет наливать плоды — раз — два — три — сто и тысяча. Кушайте, люди православные, себе во здравие, свету в утешение. — А что, братцы? ведь славно бы, когда б это случилось.

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

25 февраля 1843. Тобольск

<...> А вопросы о моих трудах невольно бросают кровь в голову. Вот и сегодня шутливо-ласковый вопрос князя (нашего генерал-губернатора, который приехал в Тобольск): «Часто ли ты куртизанишь с музами?» — заставил совесть мою встрепенуться. «Очень редко, ваше сиятельство», — отвечал я смиренно. — «И чересчур редко, — сказал добрый наш губернатор, —

он совсем изменил музам». — «Нехорошо, любезный Ершов, нехорошо, — продолжал князь, — это еще не причина, что ты нашел земную музу» (это комплимент моей жене). Все наше чиноначалие смотрело на меня почтительными глазами, видя ласку и доброе мнение обо мне князя; но мне, мне было стыдно до глубины сердца. «Раб лукавый и неверный, — подумал я, — для того ли Я тебе дал талант, чтоб ты зарыл его в землю?». Но... поставим несколько точек...

В. А. и М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

6 июля 1843.

Любезнейшие братец Владимир Александрович и сестрица Марья Федоровна. Первым словом будет благодарение Творцу за нашего Александра. Экзамен кончился для него очень удовлетворительно, и он выпущен с чином 14 класса. Завтра идет бумага к князю об отправке его в Казань. Бог поможет и здесь устроить как нельзя лучше. Единственное наше желание, чтобы он навсегда сохранил добрые чувства и охоту к занятиям: остальное придет само собой.

Другая новость касается лично до меня. Столько времени ожидаемый чин 8 класса наконец вышел со старшинством с 10 июня 1840 года; в нынешнюю сентябрьскую треть я буду представлен в надворные советники. Есть надежда и на повышение в должности, хотя откровенно сказать, настоящая моя служба гораздо спокойнее. <...>

Будьте здоровы и счастливы, душевно любящий Вас брат

П. Ершов.

Отец Стефан просил Вам поклониться, тоже и семейству Черкасовых.

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

22 июля 1843. Тобольск

Что сказать вам о себе? Я тот же старший учитель словесности, как и прежде, с тою только разницею, что титул благородия переменил на высокоблагородие. В июле я утвержден кол-

лежским асессором, со старшинством с 10 июня 1840 года, а нынче, в сентябре, представят меня в надворные. Это по части чиноположения. По части же поэтической я решительно живу одними проектами, и ни одного из них не привел еще в действие. Причина – отчасти служба, которая много уносит у меня времени то в классных занятиях, то в частных, то составлением записок по читаемым мною предметам. Что ни говорите, а вступив в службу и произнеся священные слова присяги, мне кажется, грешно и бесчестно делать, как многие, – между прочим. Притом, занимаясь добросовестно своим предметом, я и сам выигрываю в знании и спокоен в душе. А это что-нибудь да значит. Впрочем, не думайте, что я уж вовсе охладел к святому призванию. Нет! Будет время, когда колеблемость моя разрешится, и я выступлю на поприще поэзии не как робкий новичок, для которого хвала толпы составляет всю награду, а ропот ее – истинное наказание. Я буду действовать, как тот судия, который решает дело,

Не ведая ни жалости, ни гнева.

Огонь поэзии еще не потух в душе моей. При взгляде на мир, на судьбы людей, при мысли о Творце – сердце мое бьется по-прежнему юношеским жаром, но уже не испаряется в легких звуках, а крепко ложится на душу в важной думе. Веря в назначение, я спокоен в своей, покамест, медленности и жду минуты действия, как воин ждет сигнала к кровавой борьбе. Паду ли я или буду невредим – за все благословлю благое Провидение. Не упрекните меня в фатализме: вера в Провидение не однозначащее слово с предопределением. <...>

Ярославцову желаю душевно успехов в литературе. Что-то поделывает теперь любезный мой компонист? Но что бы ни делал, пусть помнит одно: журнальное порицание большею частию лай собаки. Если он в душе убежден в своей силе, пусть идет по избранной дороге, обходя терны и любуясь цветами. Но главное – пусть всегда помнит далекую цель своего пути и не скучает трудностями дороги. <...>

Пишите, пожалуйста, почаще и побольше. Не смотрите на мои медленные ответы. Помните только, что в глуши, в которой я обитаю, ваши письма для меня неоценимы. Пишите все, что придет в голову, мешая дело с бездельем. Да, для дружбы, не забудьте 15 августа посетить одинокую могилу моего милого брата.

В. А. ТРЕБОРНУ

13 ноября 1843. Тобольск

<...> особа моя наслаждается совершенным здравием, если не считать болезнию кашель и насморк, которые я разделяю с природой по сочувствию: *с природой я жизнью одною дышу.* Сверх того, изредка посещает меня бессоница...

Служебные мои подвиги увенчались начальственною милостию. Генерал-губернатор представил меня в инспекторы Тобольской гимназии, с оставлением при классе словесности и с полными окладами жалованья по обеим должностям... Читал на днях глупую критику *«Отечественных записок»* по случаю третьего издания *Конька.* Вот, подумаешь, *столичные* люди: одних бранят за нравоучения, называя их копиями с детских прописей, а меня бранят за то, что нельзя вывести сентенцию для детей, которым назначают мою сказку. Подумаешь, куда просты Пушкин и Жуковский, видевшие в Коньке нечто поболее побасенки для детей. Но я так уже привык к кривотолкам Краевского и К°, что преспокойно смеюсь над их философией. — Но что меня бесит, то это подлость людей, называющихся книгопродавцами. Можешь себе представить, что нынешний издатель *Конька*, некто Шамов, напечатал мою сказку прежде окончания с ним условий и не получив моего согласия. И до сих еще пор я не имею от него ни денег, ни назначенных экземпляров. С 1-го декабря, если не получу от него удовлетворения, заведу судебное дело: за правого Бог!.. В последний раз узнай, будет ли мне вознаграждение от Смирдина, по крайней мере, книгами, если он не имеет денег. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

17 декабря 1843. Тобольск

<...> Не удивляйся, что письмо мое к тебе короче утиного носа. Нет ни времени, ни охоты писать. Дом мой теперь настоящая больница — только и разъездов, что в аптеку да из аптеки. Особенно болезнь жены меня сокрушает. Вот уже полтора ме-

сяца, как она не встает с постели. Исповедалась и приобщилась. Были минуты, когда пульс переставал биться. Можешь судить о моем положении! Но теперь, благодаря Бога, есть надежда, хотя и не на скорое выздоровление. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

16 января 1844. Тобольск

<...> Теперь умываю руки и подаю их тебе и Ярославцову. С новым годом, кажется, я вас поздравлял, а если нет, то не погневайтесь: нынче мне совсем было не до поздравлений. А помолиться за вас помолился. Это, кажется, лучше пустых желаний. – Жена моя поправляется. Два месяца не вставала с постели и так переменилась, что теперь узнать нельзя. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

14 апреля 1844. Тобольск

Вместо обещанного тебе огромного письма судьба определила написать тебе скудное послание. Но вини в этом не столько меня, сколько окаянного Т[ре]борна. Начну, по старой привычке, письмом к нему и испишусь дотла, так что на твою долю приходит несколько строчек. Но я уверен, что ты ценишь дружбу не по количеству исписанной бумаги (чихай себе, г. Т[ре]борн). Притом же к почтеннейшему, Владимиру Александровичу, я привык писать всякие глупости (желаю здравствовать, г. Т[ре]борн), а к тебе ведь нужно писать о деле. Все это служит извинением моего многоглаголания к Владимиру и скудности писем к Андрею. – Первый вопрос мой о твоих занятиях. Что наполняет твои досуги – поэзия или музыка? И то, и другое, верно. Счастливец! Была пора, когда и я увлекался чем-то похожим на вдохновение. А теперь я принадлежу или, по крайней мере, скоро буду принадлежать к числу тех черствых душ, которые книги считают препровождением времени от скуки, а музыку заключают в марши и танцы. Не вини меня в

этом. Опытность научила меня дорожить существенностью, и польза берет перевес над звуками славы. Не подумай только, чтобы под пользой я разумел выгоду. — Бог милостив, я не дошел еще до этого очерствления; нет, я понимаю пользу в благороднейшем и, следовательно, в поэтическом ее смысле.

Не лучше ль менее известным,
А более полезным быть, —

повторяю я, садясь за учебную книгу или думая — нельзя ли как двинуть успехи учащихся. — Впрочем, все это собственно о своих занятиях. Но, сжимая воображение и чувство для себя, я готов открыть их для других, а тем более для друга. Успехи его всегда будут радовать мою душу и, в числе рукоплескателей, верно, явлюсь не последним. Итак, ты смело можешь говорить мне о своих занятиях, передавать мне свои мысли и желания. Другая цель не должна пугать тебя. И кто знает, может быть, судьба назначила тебе — заплатить старый свой долг. Помнишь ли, как я возбуждал тебя к деятельности, а если забыл, то хоть вспомни своего *Платона.* Теперь — твоя очередь... С весной начнутся ваши поэтические прогулки по обворожительным окрестностям Петербурга. Хочу и я снова обойти дикие наши пустыри и освежить прежние воспоминания. Может быть, явится повесть или рассказ, но уж, наверное, не в стихах. — Ради Бога, не считайтесь со мною письмами. Вам есть о чем писать, а я должен по большей части переливать из порожнего в пустое; а можете представить, как это скучно. — Будь здоров и счастлив, мой любезный Ярославцов, и среди поэзии не забудь прежнего ее служителя.

В. А. ТРЕБОРНУ

26 сентября 1844. Тобольск

Ты спрашиваешь, как я провел каникулы? Очень просто. Две недели сидел, за дождем, дома, а другие две недели шлепал грязь по окрестностям; в августе имел удовольствие за учебным столом дуться на хорошую погоду. А теперь снова расхаживаю

по классам, с тем только различием, что прежде расхаживал по одному, а теперь по всем по трем. — Теперь — на те вопросы, которых у тебя нет в письме. В жизни моей или, лучше, в душе делается полное перерождение. Муза и служба — две неугомонные соперницы — не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга. Муза напоминает о призвании, о первых успехах, об искусительных вызовах приятелей, о таланте, зарытом в землю, и пр., и пр., а служба — в полном мундире, в шпаге и в шляпе, официально докладывает о присяге, об обязанности гражданина, о преимуществах оффиции и пр., и пр. Из этого выходит беспрестанная толкотня и стукотня в голове, которая отзывается и в сердце. А г. рассудок — Фишер в своем роде — убедительно доказывает, что плоды поэзии есть журавль в небе, а плоды службы — синица в руках. — Вижу, какую кислую мину строит г. Ярославцов, держась за своего *Иоанна.* Да что ж мне делать. Обманывать честных людей нельзя, а тем больше приятелей. Жалейте лучше об участи земнородных!..

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

12 октября 1844. Тобольск

<...> В самом деле, последнее письмо твое, при всей своей краткости, заключает очень многое. Ты предлагаешь мне возможность быть в Петербурге, быть с вами — да это такая роскошь, от которой, не шутя, не спалось мне две ночи. Я еще не так стар, чтобы память не представила мне семилетней жизни в столице; воображение мое не замерзло еще до того, чтобы оставаться равнодушным при очарованиях северных Афин... Но, что ни говори, а все дойдешь до — *нельзя.* А почему? На это есть тысячи причин и причинок, которые имеют цену только для меня одного. Жалей обо мне, называй безумцем, делай все, что придет тебе на мысль, а все-таки дело *пока* кончено. Я говорю *пока,* потому что будущее неизвестно. Может быть, я еще погуляю на берегах Невы, побеседую задушевно с друзьями; только теперь нечего и думать об этом. Будем переговариваться чрез медленный телеграф почт, будем желать, ожидать, бра-

ниться, мириться, только бы не охладевать в приязни. Итак, *amen*!..

<...> Если же предчувствие меня не обмануло, то я жду той сцены вполне, где идет речь о Сибири. Как ни скучна моя родина, а я привязан к ней, как настоящий швейцарец. И то произведение для меня имеет двойной интерес, где выводится моя северная красавица на сцену. — Вот тебе между прочим одна из многих причин, которые приковывают меня к Тобольску. — Теперь следовало бы мне говорить и о моих трудах по части литературной, но, увы! самый отчаянный краснобай, умеющий из пустого переливать в порожнее, из мухи сделать слона, и тот должен отказаться от такого сюжета. Литературная моя деятельность ограничивается пока *теорией*, а практика существует в одном воображении. Скажу яснее. Вот уж полгода, как я готовлю мои записки или, лучше, гимназический курс словесности. Хочу отправить его в ваш департамент на рецензию. Если удастся, то буду просить о введении моего курса, по крайней мере, в нашей гимназии, а не удастся, — так sic transit gloria mundi! — и дело кончено. — Во всяком случае, с новым 1845 годом кончится мой теоретический труд, а начнется ли практический — об этом еще бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Все будет зависеть от того, какова будет погода — коли попутная, так — развернем свое ветрило,

В путь далекий поплывем...

а если противная, так — прощай, что сердцу мило!

Будем жить, как все живем.

При свидании с почтеннейшим Влад. Ал. скажи ему, что я жду книг и между прочим остатка «Вестника Европы», пребывающего в заповедных кладовых Смирдина. Он мне тем нужнее, что я сбыл «Вестник», и чтоб получить деньги, должен только доставить недостающие части. — Кстати, Т-борн пишет, что вы часто гуляете по окрестностям Петербурга. В этом случае я не только не отстаю от вас, но еще несколько сажень беру переда. Что ваши окрестности? — Тот же город, с прибавлением садов. Нет, наши окрестности — настоящая гомерическая природа. Одна из них так соблазняет вашего покорнейшего

слугу, что он хочет тряхнуть нетуговесным своим карманом и купить ее у хозяев. Настоящая Швейцария, как говорит один мой знакомый, толкавшийся по белому свету. Чудо чудное, прибавлю я, зная Швейцарию только по картинам. Если Бог велит приобрести мне такую диковинку природы, то пришлю вам две картины: одну – пейзаж, в настоящем его виде, а другую – в том виде, как хочет дать ему сибирское мое воображение...

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

7 января 1845. Тобольск

<...> Что до меня, то никогда я не проводил праздников скучнее нынешних. К тому же визиты на второй день Рождества наградили меня лихорадкой, и когда другие тряслись в танцах, меня трясло в постели. Надеялся было на дни после нового года: по крайней мере, говорю себе, хоть полюбуюсь на маскированных. А надобно тебе знать, что в Тобольске с незапамятных времен хранится обычай – начиная с нового года до сочельника одеваться и ездить по домам. Но и тут надежда меня обманула. То ли казенная квартира, то ли угол, в котором она заброшена, были причиною, что в течение маскарадных вечеров было у меня только масок до тридцати. Между тем как в старом нашем доме я их считал сотнями. Одна отрада была – собирать моих пансионеров да смеяться над их проделками в святочных играх. Прибавь ко всему *вышеизложенному* окончание года и, следовательно, начало годовых отчетов, разбросанные бумаги, раскинутые книги, бряканье счетами, отыскивание пропавшей без вести одной чети копейки, – и ты будешь иметь, хотя в миниатюре, мои рождественские занятия. Невольно вздохнешь о своей прежней профессии учителя словесности.

<...> Горе тебе (обращение к Ярославцову. – *В. З.*), если ты обманешь наши надежды, если предашься печальному бездействию, в котором, увы, как устрица в своей раковине, заключен твой доброжелательный собрат. И добро бы, если б это бездействие было только наружное, если б в тиши, в глубине коры готовилась драгоценная жемчужина... А почему ж и не так? Без-

действие часто признак будущей сильной деятельности – тишина пред бурей. – Скоро, скоро, может быть, вместо этого письма ты получишь целую кипу. Ни слова более...

В. А. ТРЕБОРНУ

12 апреля 1845. Тобольск

<...> а если ты хочешь удружить мне донельзя, то постарайся чрез твоих знакомых достать мне легонькие и хорошие ноты целой обедни, от придворных певчих. Я думаю, это не будет слишком трудно, а меня утешишь... Дело в том, что я из своих гимназистов состроил хор и уже имею удовольствие слышать их пение. Дирижирует ими один из учителей, и дело идет очень-очень на лад. Ну, а если ты и при каждом письме будешь вкладывать по страничке церковных нот (в партитуре – разумеется, письменной), то это я буду ценить как доказательство и пр. пр. Любезный Андрей Константинович, вероятно, поможет также в этом случае. Из всего этого ты можешь заключить, что я сделался любителем художеств, перестав быть жрецом их, и сказать на ушко, и хорошо сделал. – Уф, как осердится Ярославцов, прочитав последние строки. Вижу его гневный взгляд, слышу гремящее слово – и прячусь за твоею защитою. <...>

Какова у вас Пасха? А у нас – грязь по колена. Придется сидеть дома. Да вы еще тем счастливы, что не знаете глупых визитов. А здесь разом прослывешь гордецом пред низшими, невеждой пред высшими и нелюдимым пред равными, если в большие праздники не прилепишь карточки к дверям. О, Сибирь! – скажешь ты. О, Сибирь! – повторю и я, а все-таки должен буду месить грязь часов шесть сряду.

В. А. ТРЕБОРНУ

9 июля 1845. Тобольск

Любезный Т–борн. Не удивляйся короткому письму моему после долгого молчания. Ты поймешь все, когда скажу: милой жены моей уже нет на этом свете. Она скончалась после

родов, 25 апреля. Теперь я вполне одинок. Да, из всех потерь потеря жены самая горестная. Одна отрада у меня – ездить на ее могилу, смотреть, как дети усыпают ее цветами, стараясь превзойти друг друга, припоминать прошлую жизнь и в глубине души молиться об успокоении усопшей. – Передай мой поклон Ярославцову и скажи, что я люблю его по-прежнему. Ноты, какие ни пришлешь, – за все спасибо. А субсидий раньше января не обещаю. Употреби пока свои: в долгу не останусь. – «Галерею» получил я в исправности, равно и «Народную медицину» и «Касстет». Передай мою благодарность своему papa. <...> – Прощай, мой милый, до другого, более приятного письма.

В. А. ТРЕБОРНУ

30 октября 1845. Тобольск

<...> давно уже я собирался отвечать тебе, мой любезный Т[ре]борн, да, во-1-х, писать было не о чем, а во-2-х, и перо валилось из рук. Такая скука, что бежал бы за тридевять земель. Да и вы, добрые приятели, начали молчать по полугоду, чего прежде за вами не водилось. Ну, да уж Бог вам судья. 25-го октября минуло полгода после потери любимой мною жены, и я теперь начинаю показываться между людьми. Но опять неудача: проведешь вечер довольно весело, а воротишься – одиночество явится сильнее, чем прежде. Читать почти не могу ничего, кроме книг религиозного содержания. Другое развлечение мое – музыка и шахматы. Здесь невольно припоминаю стих Грибоедова:

«А мне без немцев нет спасенья».

Дело в том, что и здесь, в Тобольске, есть один полунемец, полурусский, как ты, который родился в Кронштадте и знал по-русски прежде, чем по-немецки, чему наметался уже обучаясь в Лифляндии. Этот полунемец такой же маленький, как ты, с такими же бакенбардами, как твои, и носит такое же прозвище без значения, как и ты. Одним словом, это учитель искусств в

нашей гимназии, Мертлич. Разница между вами только в том, что он имеет жену и троих детей... Этот Мертлич — воспитанник Академии художеств и на рисовании и черчении просто собаку съел. А как соотчич Моцарта — мастер фантазировать на фортепиано и плачет от мольных аккордов. Я с ним знаком был и прежде, но сблизился после смерти жены. Следствием этого было то, что Мертлич выстроил памятник на могиле моей жены, нарисовал миниатюрный ее портрет (на память) и каждый вечер сидел у меня до поздней ночи, то играя в шахматы, то фантазируя на фортепианах, то аккомпанируя моей флейте, то, наконец, рассказывая анекдоты о немцах и *оп исфошниках.* Часто мне приходит в голову: если немцы во всяком случае являются моими утешителями, то и потерянное счастье должна возвратить мне тоже немочка. <...>

Теперь к тебе несколько вопросов: 1) в прошлом году, в декабре месяце, из здешней гимназии в департамент министерства народного просвещения были отправлены три тетради моих *записок о словесности*, для пересмотра, можно ли ввести их в употребление, вместо прежних курсов. Но до сих пор об них нет и помина; 2) в прошлом же году в отчете гимназии послано было читанное мною рассуждение на акте: *О трех великих идеях истины, блага и красоты, о влиянии их на жизнь и о соединении в них христианской религии.* Я писал и Ярославцову — нельзя ли это рассуждение тиснуть в «Журнале министерства народного просвещения», если окажется того достойным, но ответа не было; 3) мне иногда приходит блажь — прокатиться в будущем году в Питер: так не будет ли какого места в департаменте народного просвещения, сообразного с моим чином (в будущем году я выслужу на кол[лежского] сов[етника]) и как велика благостыня; или не будет ли места преподавателя словесности в гимназиях? — Ответы на все эти вопросы ты постараешься послать, не медля много, вместе с «Галереей».

Ф. Н. ЛЕЩЕВОЙ

7 декабря 1845.

Когда это письмо придет к тебе, милая Феозва, экзамены Ваши, вероятно, будут уже кончены, и ты будешь готовиться к занятиям более приятным, напр., к Рождественским праздни-

кам, к свиданиям с родными. Но мне все хотелось бы, хоть бы только на этот раз, быть провидцем и узнать – чем кончилась история. О, с каким бы удовольствием поздравил бы я тебя с окончанием года и с наступлением нового, нового во всех отношениях. Надежда говорит мне, что ожидания мои не напрасны. Поспеши, мой друг, поскорее уведомить меня. Это будет мне подарком на Новый год.

Что сказать о себе? Все по-прежнему. Порой грустен, порой спокоен; думаю о прошлом и стараюсь заглянуть в будущее. То я один-одинешенек, то мысленно себя окружаю вами, кто мне так дороги. И время летит – в переплет грусти с радостью.

В будущем году кончится 10 лет сибирской моей службы, получу чин коллежского советника (NB, а как девицам наши гражданские чины не очень нравятся, то переведу на более понятный язык: чин полковника) и, может быть, надолго, если не навсегда, оставлю свою родину. Но куда? В столицу? Может быть. Но может быть, также в Одессу или куда-нибудь по соседству. Однако ж наперед увижу тебя: Саша шепчет мне, что ты похожа на маменьку. Это одно заставит меня взглянуть на милую Физу.

Я поручил Саше переслать от меня безделицу на конфеты, виноват – на булавки. Нынче не могу послать много, вот Бог даст, получу с своих крестьян поболе оброку и к Пасхе отправлю нарочного. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

24 января 1846. Тобольск

<...> поэзия не совсем еще замерзла в Тобольске, при 32° мороза за стенами и при 7° тепла в стенах. <...>

Некто Ершов просит О. И. сделать доброе дело. Вздумалось-де ему иметь полное издание «Эрмитажной галереи»; а как кармана его на это не хватает, то он решился опять печатать стихи по прежним условиям (1 руб. за стих асс<игнациями>); только желает, чтобы имени его не ставили: оно будет известно только одному барону. <...>

Да не обманывает тебя моя *Красавица*. Это не повесть сердца, как в *Воспоминании*, не голос сознания, как в *Ответе*, а греза воображения, взлелеянная портретом описанной красавицы. Сердце мое все еще живет около могилы незабвенной.

В. А. ТРЕБОРНУ

26 февраля 1846. Тобольск

<...> Надеюсь, что 22 февраля не было забыто г. Т-борном. А у меня в этот день к праздникам рождения и именин присоединился еще праздник причащения. В этот же день я получил новое доказательство привязанности ко мне моих гимназистов: хоры, вензеля, музыка, сюрпризы — все это было придумано, приготовлено, поднесено и, разумеется, принято с глубокою благодарностию. Одного только не доставало для полной радости: это — незабвенного ангела; но и он присутствовал в приятно-грустном воспоминании... Опять посылаю несколько стихотворений. Распорядись ими в «Библиотеку для чтения», по известному условию, или в «Современник», без всяких условий. <...>

Что сказать о собственной моей персоне? Ужасно пополнела телом и похудела душой. Скучал я и прежде, но теперь вижу, что скука одиночества скучнее всех скук на свете. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

30 мая 1846. Тобольск

<...> Не знаю, благодарить ли вас за такое высокое внимание к таланту автора *Конька* или сказать словами басни: ты слишком жалостлив. Не подумайте из этого, что я сердит за ваше откровенное мнение о моих стихах. О, нет! Гораздо хуже было бы, если б вы, присудив советом вашим сжечь их, написали бы мне об них великолепный панегирик. Итак, откровенность за откровенность. Я нынче посылаю их к П. А. Плетневу: пускай

уже он добьет их взором сожаления или словом укора — и дело будет решено окончательно. <...>

<...> я, как Илья-Богатырь, расту, т.е. полнею не по дням, а по часам, и не знаю, куда деваться с полнокровием; что я каждый вечер в поле — хожу и езжу, лежу и сижу. А если это не любопытно, то вот вам сведение о погоде: тепла до 28° в тени; дни без ночей; грозы восхитительные. С 9 мая мы едим уже свежие огурцы и чудную ботвинью, не говоря уже о салате, который грозит выгнать все остальное из огородов. После таких питательных известий остается только положить перо и пожелать вам покойной ночи.

А что не говори, как не шути, а одиночество — вещь самая преглупая, особенно для того, кто уже испытал счастие семейной жизни. Думаю опять рискнуть моею свободою; но условие, которое я положил для этого, — любовь. Значит, это довольно длинная песня. Есть на примете один цветок, но ему надобно еще две весны, чтобы распуститься в пышную розу. Притом того и жди, что московский ветер унесет этот милый цветок, и мне придется только грустить по том месте, где цвел этот прелестный гость севера. — Будьте здоровы и счастливы, мои милый. Не сердитесь за мои стихотворные грехи.

В. А. ТРЕБОРНУ

9 ноября 1846. Тобольск

Начнем с новостей. Первая, самая свежая, животрепещущая новость касается собственно до меня: это не более, не менее как только два слова, но сколько в этих словах смысла и значения! Но не старайся угадывать: твой изобретательный на выдумки ум потеряется в догадках, а все-таки не откроешь ларчика. Я женат. Слышу все семь знаменитых вопросов: как? что? где? почему? и пр. Но отвечать на них теперь не могу, да и некогда. Объяснюсь вкратце. Лишившись первой жены, я не знал, что мне делать. Одна отрада была ездить на могилу и припоминать прошлое. Минуло полгода. Я стал показываться между людьми, и, что скрываться, искал чем-нибудь наполнить пустоту сердца. Вскоре открыл я сокровище, но, к сожалению, оно

было в руках другого. Началась борьба чувства с совестию; за первое говорило сердце, за вторую вступалась честь и доброе имя. Наконец, Бог сжалился над моим мучением: отъезд любимой мною особы рассек гордиев узел. Я остался один с образом ее в сердце и с именем в устах. Это имя была новая тропа, по которой судьба вела меня и привела под злат венец с другою особой, которая носила то же имя и была свободна, как птичка. Я увидел ее в церкви, и на вопрос у моего знакомого об ее имени с радостию услышал знакомое имя. Я познакомился с ее родственниками, видал ее у них, ездил в поле и кончил тем, что стал просить ее руки. 17-го июля была наша помолвка, а 23 октября свадьба. Биография моей жены очень короткая. Она — дочь одной бедной вдовы, девушка 16 лет с чудесными глазами и самым невинным сердцем. Она жила в другом городе у одной знакомой, которая, как мать, заботилась об ее воспитании. В июне месяце она приехала повидаться с матерью и сестрами, остальное известно. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

5 марта 1847. Тобольск

<...> Сколько не раскидываю своим умом-разумом, никак не могу постигнуть такого долгого твоего молчания. А казалось бы, последнее письмо, по сообщенным в нем известиям, стоило ответа. Я уже начинаю думать, что в Петербурге не стало ни перьев, ни бумаги, а чернила все вымерзли нынешнею зимою. В огорчении от таких бедствий северной столицы я утешаю себя воспоминаниями. Было когда-то счастливое время, в которое на одной из линий знаменитых Песков, в небольшом сереньком домике жил-был один молодой сибиряк с старою своею матерью. У этого сибиряка было до дюжины разных приятелей, которые довольно часто собирались к нему под вечерок потолковать, пошутить, посмеяться. Из этих приятелей особенно двое были расположены к хозяину, а хозяин к ним, так что между ними почти завязался гордиев узел дружбы. Вдруг судьба перемахнула сибиряка в один прекрасный летний месяц из Питера в сибирские тундры, и он, бедняга, там так за-

вяз, что в течение целых десяти лет не мог выбраться из этой топи. Что делать? Покорился он своей участи, утешаемый любовию ближних и дружбою отдаленных своих приятелей. Но этим еще не кончились испытания бедняка. Дальние приятели мало-помалу перестали пересылать к нему привет дружбы, и только двое еще время от времени писали к нему эпистолы (и надобно сказать – немалые). Ну, что ж? Будет с меня и двух, говорил он себе в утешение и довольно весело плавал в сибирских болотах. Но, увы! В 1847 году была жестокая зима, до 38° по Р., все стыло! все мерзло! и дружба двух приятелей не могла отразить напора седой чародейки, стала хладеть, хладеть – и... Продолжение этой элегии в прозе будет впоследствии, смотря по обстоятельствам. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

30 июня 1847. Тобольск

Наконец, после тысячелетнего молчания ты проглаголал. Радуясь разрешению языка и пера твоего, не хочу вспоминать о довольно неприятном известии касательно моего курса словесности, о котором ты меня уведомляешь. Ну, что же делать? Давно уже сказано: хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит. По крайней мере министерство будет знать, что бывший учитель словесности Ершов не бил баклуши, читал словесность и что по силам и возможности старался исполнять свой долг службы. А признаться, много бы можно было сказать о трехлетнем разборе курса и о причине, почему нельзя ввести его в гимназии. Но опять скажу: Бог с ними! – Станем говорить о чем-нибудь поприятнее. Т-борн сообщает мне об окончании твоей трагедии и о лестном отзыве П.А. Плетнева, которому ты отдавал труд свой на предварительную цензуру. Помоги тебе Господь на новом поприще звуков человеческих. А мне все мерещится, что старая болезнь твоя где-нибудь проглянула в новом твоем творении, т. е. есть где-нибудь песенка или что-нибудь в этом роде, которой ты подыскал и мотив, и инструментовку. Не правда ли? Не огорчайся, что любовь к музыке я назвал болезнию: все, что выходит из обыкновенного порядка вещей и

требует работы головы и сердца, все это называется болезнию или, пожалуй, тоскою о нездешнем. Счастлив ты, если в трагедии твоей сохранилась идея древних, разумеется, с переменою бестолковой их судьбы или рока на благой и премудрый Промысл. С этой только точки жизнь человека и назидательна. Иначе самые блестящие представления жизни человека, даже в избранных представителях человечества, будет игра китайских теней, приятная, но бесплодная. Она потешит толпу, заставит грустить юношу, не успокоив его, и встретит холодный взор мудреца, смотрящего на жизнь с той высокой стороны, на которую ставят ее религия и истинная философия. Подумай и согласись. Если б я сделал что-нибудь путное, я назвал бы себя ветераном, которому остается только радоваться подвигами юных героев. А теперь – я похожу на инвалида, который вышел из боевых рядов по неспособности и исполняет мирную, хотя и незавидную должность – стража. Винить ли в этом обстоятельства или самого себя? Скорее – последнее. Человек с характером посильнее моего из самых обстоятельств этих извлек бы для себя выгоду, а я только покорился им и – только. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

Июль 1847. Тобольск

<...> Что ж касается до его [А. Ф. Смирдина] предложения – купить все великие произведения моего пера, то мне надобно, чтоб ты стороною разведал, в каком количестве экземпляров расходятся его классики. Это, знаешь, для того, чтобы назначением цены не пообидеть ни его, ни себя. Во всяком случае я готов уступить на одно издание: *Конька, Суворова* и *Сузге* (повесть в стихах, помещенную в «Современнике»); а мелкие стихотворения надобно прежде всего повымыть, чтобы им не грешно было показаться на Божий свет, а на это надобно время и охоту. Последнее обстоятельство, кажется, ясно говорит, что я отпою им вечную память, как отпели им «Отечественные записки» и – увы! – читающее поколение. – Можешь также предложить Смирдину, не захочет ли он купить одно издание *Конь-*

ка отдельно. Московские книгопродавцы уже давно осаждают меня об этом предмете, но мне не хотелось бы иметь с ними дело. Цена за издание по 1 руб. асс. с экземпляра, т. е. за полный завод 1200 руб. асс., как и прежде у меня покупали. Только с условием, чтобы деньги были высланы все сполна, без рассрочки! Знаю я эти рассрочки! 10 пар сапогов износишь, ходя на поклон к своим же деньгам... За «Современник» поблагодари при случае Петра Александровича... Он, верно, зыбыл о моей просьбе и о своем обещании — приголубить мой курс Словесности. Иначе акадения не отшлепала бы его, как уведомляет меня Ярославцев. — Служба моя — мне не мать, не мачеха. Жду ныне утверждения в чине колл[ежского] советн[ика], и только. Нет, не только; жду еще прибавки 1/4 оклада за 5 лет сибирской службы с 1842 года. Только не знаю, не помажут ли только по усам. — Старший сын первой моей жены кончил курс в Казанском университете и получил степень кандидата. Дочерей можешь видеть, если хочешь, у родственника моего П[ротопопо]ва.

П. А. ПЛЕТНЕВУ

5 октября 1850. Тобольск

Очень понимаю, что частыми моими просьбами я во ело употребляю снисхождение ваше; но я изменил бы тому мнению о вашей снисходительности, которое я привык иметь с тех самых пор, как вы приняли меня под ваше покровительство. Неудача по службе, хотя, смею сказать, вовсе мною не заслуженная, снова поставляет меня в недоумение: оставаться ли здесь, в ожидании лучшего будущего, или искать счастья в другом месте. Умоляю вас, Петр Александрович, научите меня — что мне делать? Каково бы ни было ваше решение, я покорюсь ему безусловно. Чувствую, что много труда будет мне — своими средствами дотащиться до Петербурга; но, допустив всякую жертву с моей стороны, я надеюсь, при вашем великодушном содействии, вознаградить пожертвование мое сторицею. Смею сказать, что холод Сибири не угасил во мне того пламени, которое ваши советы и ваше одобрение зажгли четырнадцать лет тому назад. Пусть это гордость с моей стороны, но я чувствую

в себе еще довольно, и, может быть, очень довольно силы, чтоб оправдать вашу обо мне заботливость. Четырнадцатилетнее одиночество мое в глуши, где судьба предоставила меня собственно самому себе, имело по крайней мере ту выгоду, что я сохранил прежнюю свежесть чувств и чистую любовь к поэзии. Я все еще современник той прекрасной эпохи нашей литературы, когда даже едва заметный талант находил одобрение, когда люди, заслужившие уже известность (я вспоминаю А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и вас), не считали для себя унизительным подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли с такою честию. И кто знает, может быть, неудачи мои по службе – наказание за измену моему назначению. Во всяком случае, я несомненно верю, что вы назначены быть моею судьбою. Снова повторяю, что ваш совет будет для меня законом. Не затруднитесь дать его, по неизвестности о настоящем моем положении. Ваше исполненное любви сердце угадает – где ждать мне лучшего. Я с этою же почтою хотел беспокоить Василия Андреевича, который, как известно, переселяется в Дерпт; но, подумав, решился прежде услышать ваше мнение. Буду ждать его даже полгода и не предприму ничего решительного, пока не получу хотя двух строк вашей руки. Может быть, слишком смело с моей стороны надеяться, что, при вашем содействии, министерство даст мне средства приехать в Петербург, хотя бы учителем словесности в которую-нибудь из тамошних гимназий; но на милость нет образца. Другой же должности (инспекторской или директорской) я не хотел бы принять на себя: во-первых, потому что она отняла бы у меня много времени, которое я желал бы посвятить литературе; а во-вторых, не желая лишить этих мест тех, которые более меня имеют на них право. Я нынче сам испытал, как тяжко лишиться того, что по всем правам считал мне принадлежащим. Гражданская служба отдалила бы меня от возможности чрез пять лет получить полную пенсию и быть свободным – предаться любимому моему занятию, к которому, надеюсь, не лишен призвания. Но я охотно соглашусь служить при Императорской публичной библиотеке, если только есть надежда получить достаточное содержание. – Правда, нынешний наш директор не один раз мне говорил, что он искал директорского места в Тобольске только для того, чтобы при случае про-

сить перевода к подобной же должности на своей родине — в Малороссии; но это такая слабая надежда на будущее, что я никак не могу на нее рассчитывать. — Теперь пред вами, Петр Александрович, все данные, по которым вы можете сделать ваше заключение. Но, ради Бога, не оскорбитесь моим многословием: я должен был высказать все, чтобы вы имели возможность дать мне совет, который должен решить мою будущность. — Буду с нетерпением ожидать вашего ответа. В июне будущего года исполнится 15 лет моей службы в Сибири, и я должен буду или ехать в этом месяце в Петербург, или, заглушив всякую надежду на счастие и известность, дослуживать остальные 5 лет в Тобольске, в ожидании 500 руб. сер. пенсии, на убогое содержание меня и моего семейства. <...>

П. А. ПЛЕТНЕВУ

20 апреля 1851. Тобольск

<...> Ваше мнение о моих *рассказах* превзошло мое ожидание. Припоминая себе цель, для которой они писаны (испытать — не разучился ли я писать), и время, посвященное им (пять *рассказов* написаны в течение десяти дней), я не смел ожидать подобного успеха. Вот и причина, почему я не мог лучше обрисовать характеры и развить более замечательные сцены. Притом я хотел остаться верным принятой мною форме *рассказа*, где подробности анализа могут казаться лишними и повредить естественности. Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему мнению, рассказ имеет разные условия — говорит ли рассказчик о себе или о другом лице, и притом — рассказывает ли он происшествие, которое он видел случайно, или сам был действующим лицом. — Остальные рассказы я пересмотрю и отдам переписать. Нисколько не печалюсь, что простые мои повести не придутся по вкусу журналистов. Одобрение подобных Вам людей дороже всех журнальных похвал. Не могу скрыть от Вас, что еще до отправления к Вам рассказов, не доверяя себе, я читал их в одном образованном семействе, и они сказали мне то же самое, что я имел удовольствие прочесть в Вашем письме; по их мнению, лучше было бы издать рассказы особою книж-

кою, именно в том же предположении, что вряд ли они понравятся журналистам. – Совет Ваш – обратиться к генералу Анненкову – я постараюсь привести в исполнение, если только генерал на обратном пути из Омска заедет опять в Тобольск. Теперь скажу только, что при осмотре нашей гимназии он остался очень доволен найденным в ней порядком и обещал об этом довести до сведения г. министра народного просвещения. Но, разумеется, вся честь падет на г. директора как на начальника заведения, мне же останется одна отрадная мысль, что служу не по-пустому. – Удостойте, Петр Александрович, ответом Вашим на мое письмо, для успокоения моих надежд. <...>

П. А. ПЛЕТНЕВУ

<Июнь> 1851. Тобольскъ

<...> Исполняя ваше желание, имею честь препроводить при сем вторую часть «Сибирских вечеров». В них первые два рассказа те самые, о которых я упоминал в последнем моем письме, а третий и четвертый написаны вновь. Буду с нетерпением ожидать Вашего отзыва, хотя наперед догадываюсь о нем. Когда-нибудь, в рассказе Таз-баши, я изложу свою теорию повести и надеюсь, что шутка, если только она удастся, лучше покажет крайности нынешнего рода рассказчиков, чем серьезный разговор о них. Я не враг анализа, но не люблю анатомии. Конечно, знать жилы и мускулы, при известном положении страсти, необходимо и для скульптора, и для живописца; но обнажать всю внутренность – дело не совсем поэтическое. А повесть разве не та же картина и пластика, только с особенными условиями? Притом же подробный анализ впадает в школьную манеру и старается учить читателя там, где бы следовало заботиться об одном эстетическом удовольствии. Я допущу еще подробности в таких вопросах, как *быть или не быть*, но в такой мелочи – как идти или ехать, спать или проснуться, право, безбожно рассчитывать на терпение читателей. А жизнь героев повестей больше, чем на $^9/_{10}$ слагается из подобных мелочей. – Простите меня, Петр Александрович, за резкие, может быть, выражения,

но я говорю, как понимаю. Для меня – одна глава «Капитанской дочери» дороже всех новейших повестей так называемой натуральной или, лучше, школы мелочей. <...>

Вы напоминаете мне о труде, более достойном литературы и того мнения, которое Вы по благосклонности своей имеете обо мне. Не скрою от Вас, что мысль о *русской эпопее* не выходит у меня из головы. Но, живя в глуши, я не имею нужных к тому материалов. Это обстоятельство преимущественно влекло меня искать места при Императорской публичной библиотеке, где я мог бы пользоваться всеми старинными сказаниями. Предоставляю Богу устроить мою судьбу. Если же Ему угодно оставить меня навсегда в Сибири, я не буду роптать на это, но мысль о *русской эпопее* переменю на *сибирский роман.* Купер послужит моим руководителем. А между тем на мелких рассказах я приучу перо свое слушаться мысли и чувства. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

28 февраля 1852. Тобольск

<...> Немножко затруднительно начинать через 4 года прерванную переписку. Но мысль, что Ярославцов есть Ярославцов, а Ершов – Ершов, эта мысль толкает мое перо писать по-прежнему, как бы этих 4 лет не было и как бы мы вчера расстались друг с другом. Итак, давай твою секретарскую руку и слушай, как хрустят составы ее под пожатием дюжего сибиряка. – Ты, может быть, спросишь: что заставило меня писать к тебе? Очень простое обстоятельство – две строки в письме книгопродавца Крашенинникова, который пишет, что «я разговаривал об издании *Конька* с секретарем цензурного комитета Ярославцовым, назвавшимся вашим *коротким приятелем*». А! – подумал я, – коли Ярославцов мой приятель, так надо написать приятелю грамотку. Ответит он на нее – спасибо ему, не ответит – нехай его... Теперь, когда дело объяснено вполне и удовлетворительно, скажу, что давно уже я сбирался черкнуть несколько слов тебе и Т[ре]борну, но лень, проклятая лень, сибирская лень, всегда служила помехою. <...>

Не считай, любезный А. К., этого письма за письмо и не ищи в нем связи. После долгой разлуки сильно накопляется разных вопросов, что не знаешь, с которого начать. Твой ответ, которого я ожидаю ровно через 1½ месяца, подаст сигнал к письменной перестрелке с тобою и со всеми, кто только обо мне вспомнит и черкнет хоть два слова охотно. Поэтому передай мой вызов Т[ре]борну, Г[ригорье]ву, П[ожарско]му, Б[енедик]тову, всем, которые только помнят ерша ершовича. А между прочим, так как в цензуре теперь обретается некая рукопись, называемая *Осенние вечера*, то прошу изложить свое мнение по правилу нелицеприятного судьи, т. е. не ведая ни жалости, ни гнева. П. А. Плетнев отозвался об ней очень лестно, но мне все-таки хочется знать мнение людей, похожих на А. К. Ярославцова. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

6 августа 1852. Тобольск

<...> Твое письмо, без преувеличения, заставило меня помолодеть целыми десятью годами. Те же чувства, тот же привет! Значит, судьба недаром выбрала тебя, чтоб снова затянуть узел дружбы, который от обстоятельств места и времени начинал уже, если не развязываться, по крайней мере, ослабевать. Прекратив переписку с вами, я был точно сирота. И если б не семейный очаг, то, право, мне негде бы было согреться. Что за люди? Что за души? Нет, надо пожить здесь, чтоб вполне постигнуть – что́ значит безлюдье в многолюдстве. Ты спросишь, что же привязывает тебя к этому пустырю? А вот что: через четыре года срок мой на пенсион и я – вольный казак; буду иметь насущный хлеб для себя, жены и трех ребятишек, а это в здешнем мире, право, не безделица. – Душевно благодарю тебя за ласковый отзыв об *Осенних вечерах* и за дружеский вызов устроить их печатную судьбу. Отдаю их тебе в полное распоряжение. Печатай их – как и где тебе угодно. Всего лучше условиться с каким-нибудь книгопродавцем, чтоб он напечатал их на свой счет и издержки печатания выручил из продажи первых эк-

земпляров. От этого ни я, ни издатель в накладе не будем. Цену за два томика можно бы назначить 2 р. сер. Я думаю – это недорого. – Только, пожалуста, пощади моего Таз-башика. Он хоть немножко и сален, но, право, не глупый малый и, может быть, найдет своих любителей. – Но имени моего я не буду выставлять на показ почтеннейшей публике; впрочем, не потому, чтобы я стыдился своего детища, а просто потому, что я слишком берегу свое имя, чтобы, при всяком случае, делать из него, по словам покойного Пушкина, мишень для камней и грязи гг. журналистов. Хорошо – так будет хорошо и без имени, а плохо – так никакое имя не поможет. Притом прохождение *Осенних вечеров* таково, что неуспех их не может слишком огорчить меня, разве только посетует карман – и только. Видишь ли, в прошлом году, наскучив неудачами по службе, я задумал было переселиться в Питер – с мыслию, что если и там не повезет служба, так, может быть, вывезет перо. Поэтому нужно было попробовать – не разучился ли я писать. Вот я и придумал несколько самых простых сюжетов и стал рассказывать их на разные манеры. В две недели *Вечера* были написаны и переписаны и даже прочитаны в одном образованном доме (фон Визиных). Отзыв их решил меня послать *Вечера* к Плетневу, которого отзыв был так же лестен для меня, как и твой, и почти одного с твоим содержания. Купец Крашенинников взялся было издать их, но, не знаю, почему-то раздумал. Вот пока вся история моего творения или, лучше, печения. Не знаю, была ли рукопись у вас в переборке, т. е. в цензуре, и в каком виде она воротилась оттуда. – Но, ради Бога, скажи мне: за что такая немилость к *Коньку*? Что в нем такого, что могло бы оскорбить кого бы то ни было?.. Нельзя ли, по крайней мере, напечатать *Конька* в прежнем виде. Похлопочи, А. К., и если успеешь, то уполномочиваю тебя заключить с Крашенинниковым те же условия, какие я предложил ему, т. е. за право издания 300 р. с.; 200 руб. – при отдаче в типографию и 100 руб. – по истечении года, да сверх того 25 экземпляров издания. – Письмо оканчивается, а я не написал еще и половины того, что думал. Поспешу другим письмом, не дожидаясь ответа. Поцелуй Т[ре]борна. Поклон всем знакомым, если только они еще есть у меня.

В. А. ТРЕБОРНУ

14 июня 1856. Тобольск

<...> *Конек* мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь! Крестный батюшка его, Крашенинников, одел его очень чисто и хвалит крестника напропалую. Журнальные церберы пока еще молчат: или оттого, что не обращают на него ни малейшего внимания, или собирая громы для атаки. Но ведь конек и сам не прост. Заслышав, тому уже 22 года, похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав в это время во всю долготу и широту русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы и тешит люд честной, старых и малых, и сидней, и бывалых, и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века. <...>

Желал бы я знать, что́ ты делал или, по крайней мере, что думал в 10-е июня. А я в этот день готов был и молиться, и прыгать. Эти две несоединимые вещи очень легко объясняются тем, что 10 июня твой Петр выслужил полную пенсию и, значит, несколько обеспечил судьбу своих ребятишек. Будь он один, в этот же день он подал бы просьбу об отставке; но так как у него жена и пятеро ребят, то он подал просьбу о пенсии и вместе о позволении послужить еще 5 лет. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

26 декабря 1856. Тобольск

Ну, спасибо, брат Андрюша!
Взвеселил мою ты душу.
И на радости такой
Вот тебе поклон большой.

<...> Если ты разрешил – под рассказами выставить мой вензель, пускай так и будет. Но полное имя я желал бы подписать только тогда, когда публика и журналы встретят рассказы ласково. А то – что за охота выставлять имя свое на потеху журнальных героев. <...>

Служба и семья — вот два предмета моих действий. От общества если я и не совсем отстал, однако же считаюсь заштатным. — Дай Бог успеха моим *рассказам*: это заставит, может быть, еще взяться за перо и написать что-нибудь дельное.

В. А. ТРЕБОРНУ

17 июня 1857. Тобольск

<...> В буквальном смысле я завален работой. По сибирским моим правилам, я службу не считаю одним средством к жизни, а истинным ее элементом. Отстав от литературы, я всего себя посвятил службе не в надежде будущих благ, которых в нашем скромном занятии и не предвидится, а в ясном сознании долга. Не прими эти слова за панегирик моей особе. Я никогда не имел обычая рисоваться перед кем-нибудь, а тем более перед тем человеком, который меня знает с незапамятных времен и, надеюсь, знает не с дурной стороны. Надобно бы исписать полдести бумаги, чтоб объяснить, в каком положении я принял дирекцию и сколько надо усилий и даже пожертвований, чтоб поставить ее на ноги. При личном свидании, которое не замедлит, я расскажу тебе и милому, но немножко строгому Андрею. <...>

Но будет о службе, поговорим о дружбе. С каждым годом я уверяюсь в истине, что время — лучшее средство для познания людей. Когда я оставлял Петербург, друзей моих не поместила бы саженная *Times*. А вот через 20 лет остаются только двое. Зато эти двое дороже для меня втрое... Желал бы я узнать толки об одном *дивном* произведении. Журналисты молчат, потому что не нашлось ни одного, который бы имел столько самобытности, чтобы высказать первому свое мнение о рассказах, никоим образом не подходящих под рамки текущей литературы. <...> Нынче я получил приглашение участвовать в юбилее А. Ф. Смирдина. Охотно бы принял это приглашение, если бы имел хоть немного свободного времени. Из старого нет ничего; нового скоро не предвидится. Сказал бы тебе большое спасибо, если б при свидании с А. А. Смирдиным (сыном) ты извинил бы меня перед ним. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ

28 августа 1857. Тобольск

<...> Я, помнится, писал тебе, что дел у меня порядочная куча. Помощником пока один Бог да истинно достойный начальник наш Тобольский губернатор Виктор Антонович Арцимович. Поверь мне, что если б Россия была так счастлива, что хотя б в половине своих губерний имела Арцимовича, то Щедрину пришлось бы голодать, не имея поживы для своих *Губернских очерков.* Когда-нибудь, на досуге, я расскажу тебе об этой замечательной личности, а теперь порекомендую только заглянуть в наши «Тобольские ведомости». Тут ты увидишь, что можно сделать в самое короткое время при умном, благонамеренном и деятельном начальнике. <...>

Что же ты ни слова о моих *Осенних вечерах.* Журналисты молчат, потому что не знают — хвалить ли их или бранить. Скажу на ушко: у меня была надежда, что П. А. Плетнев, с известною откровенностию, скажет об них хотя немного из того, что было писано им ко мне. Но, не знаю, воротился ли он из-за границы. А, признаюсь, одобрение их развязало бы у меня руки — написать что-нибудь получше. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

28 января 1858. Тобольск

С новым годом, друзья мои, В. А. и А. К.! — С нынешним царствованием как-то особенно отрадно встречаешь новый год, в полной надежде, что он ознаменуется новыми милостями, новыми льготами, новым счастием для всего русского мира. Не знаю, как вы, а я в этот новый год пожелал одного — быть в Петербурге, взглянуть на возлюбленного Царя, обнять вас, мои неизменные. С этою мыслию, с этим желанием снова кричу: с новым годом, друзья мои, с новым годом! — А впрочем — невесело я встретил новый год. Исколесив или, вернее, *исползив* 2000 верст, я вернулся домой за два дня до праздника Рождества Христова, при морозе не более, не менее как в 37 граду-

сов. И хотя нос и губы мои украшены были *бисером зимы* (не знаю, право, как сказать яснее), я все-таки благословил Бога, нашедши всю семью свою здоровою. Но радость моя продолжалась только сутки. На другой день приезда я захворал лихорадкой, которая засадила меня на все праздники. На третий день заболела жена флюсом. А в самый день праздника сынишка мой, которому нет еще двух лет, встревожил нас страшным припадком. Призванный доктор объявил, что у него воспаление в легких. Можете угадать, если не представить, наше положение. Несколько дней жизнь сына колебалась между жизнью и смертью; наконец, искусство восторжествовало; он отлежался, но до сих пор еще не совсем оправился. <...>

Насчет портрета для Тимма я скажу только одно: здесь нет возможности снять портрет. И потому, миллион раз поблагодарив знаменитого художника за внимание к забытому литератору, оставляю это дело до приезда в Петербург. <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

12 февраля 1858. Тобольск

Милые друзья мои, В. А. и А. К., наконец слухи оправдались, ожидания исполнились. Министр народного просвещения вызывает меня в Петербург, и я еду... На пятой или на шестой неделе поста, Бог даст, буду в Питере и обниму вас, мои неизменные. 16 февраля думаю выехать на Омск для получения приказаний от генерал-губернатора, а потом прямо на матушку на Неву-реку, на Васильевский славный остров. – Да устроит Господь на радость свидание мое с вами.

Е. Н. ЕРШОВОЙ

19 апреля 1858. Петербург

Сегодня я имел честь беседовать с обоими министрами: старым и новым. В 10 часов отправился я в дом министра, для объяснений с новым министром, по его назначению. Вхожу в

приемную комнату и вижу вдали какого-то человека, который занимался подле одного библиотечного шкафа. Я принял его за библиотекаря и подошел к нему. Он оглянулся. «Кого вам угодно? — спросил он. — Меня или министра?». Я отвечаю: «Министра». «Его здесь нет, — продолжал он. — А позвольте, откуда вы?». — «Из Тобольска». — «Так поэтому вас я вызывал сюда», — сказал живо незнакомец и встал. По этому вопросу и по деревяшке, которую я теперь только приметил, я сейчас догадался, что это был прежний министр Абрам Сергеевич Норов. Я поспешил извиниться. Норов подал мне руку: «Очень рад вас видеть. Пойдемте в то отделение». Я последовал за ним. Норов сел на стул и пригласил меня сесть. Спрашивал о Сибири, об училищах, сказал, что у него составлено довольно проектов для Сибири, которые он передал Евграфу Петровичу (новому министру). «Теперь, хотя я и не управляю министерством, но как член Государственного совета могу иметь голос в делах и, без сомнения, подам его в пользу Сибири. Для меня по-прежнему чиновники университета и гимназии — мои товарищи, а студенты и гимназисты — дети». Я высказал сожаление, что он оставил министерство, и просил его покровительства, если поступит какой-либо проект в Государственный совет. Абрам Сергеевич отвечал очень обязательно. — После расспросов о состоянии образованности в Сибири он сказал: «Я надеюсь многого от Сибири. Много обещает ей будущее, особенно когда облегчатся способы сообщения. Если б я мог остаться еще год министром, я навестил бы ваш Тобольск и проехал бы до Иркутска. — Хотелось бы еще побольше поговорить с вами, но мне надо ехать на открытие женской гимназии, где будет сама императрица». При этих словах он встал и крепко пожал мне руку. Я не встречал еще человека, который бы говорил так увлекательно, как Норов. Каждую фразу его можно печатать без поправки. После свидания с Абрамом Сергеевичем я ждал часа два нового министра (который был также при открытии женской гимназии) и хотел даже отправиться домой. Но хорошо, что не ушел, потому что вскоре пришел Ковалевский. Попросив меня немного подождать, он пошел к Норову и пробыл у него с полчаса, потом позвал меня в залу присутствия. Это приглашение меня первого было тем замечательнее, что в приемной дожидались директор департамента, правитель канцелярии и другие звездоносные люди. Я вошел. Министр был один

и сидел у стола. Пригласив меня сесть, он стал довольно подробно спрашивать меня о гимназии, о пансионе, об училищах, также о посещении мною петербургских гимназий. «Здешние гимназии я мало знаю, но советую вам остаться на несколько времени в Москве и осмотреть 1 и 2 гимназии. В первой же увидите удивительный порядок, а во второй — прекрасный способ преподавания». Я, разумеется, обещал исполнить приказание его высокопревосходительства. Потом спросил он о надобностях гимназии и училищ. Я хотел было воспользоваться этим случаем и намекнуть о скудности содержания при недостатке других средств, но министр прервал меня, хотя ласково: «Ну, этому в настоящее время помочь нельзя. Финансы наши не в блестящем состоянии. Надо потерпеть». В заключение он дал мне довольно наставлений по управлению и относительно учителей и учеников. Но об них я расскажу при свидании. Довольно здесь объяснить, что они серьезного содержания. Это можно вы-весть из последующих слов, которыми министр заключил свои наставления: «Я даю вам позволение во всех нужных случаях, оставив обыкновенные официальные порядки по начальству, писать прямо ко мне, с надписью: в собственные руки». Прощаясь со мною, Евграф Петрович крепко пожал мне руку и сказал: «Ничего более не желаю, как чтоб вы продолжали служить так же, как служили до сих пор, по засвидетельствованию вашего начальника. Я обещаю и для вас, и для ваших служащих сделать все возможное, смотря по заслугам. Прощайте». Сделав несколько шагов к дверям, министр воротился к столу, а я вышел и с радостию за обязательный прием и с раздумьем — исполнить достойно его поручения. Но утешаюсь надеждою на помощь Божию. — Итак, благодаря Бога, главное в путешествии моем кончено. Через неделю — в Москву! <...>

В. А. ТРЕБОРНУ и А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

8 июля 1858. Тобольск

Не удивляйтесь, что после такого долгого молчания с моей стороны вы получаете такое коротенькое письмо. Судьбе угодно было наградить мою разлуку с семьей потерею моей дочери.

Малютка, кажется, ждала только моего приезда, чтоб пролепетать несколько милых слов, столь дорогих каждому отцу, а потом самой отправиться в путь безвозвратный. Грусть о потере дочери, болезнь жены, сильно потрясенной новым лишением, все это очень действовало на меня, и вы поверите, что мне было вовсе не до писем. Теперь мы немножко поспокойнее и стараемся утешать друг друга. — Обращаюсь к 1 мая, когда паровоз уносил меня от Петербурга и от всего, что было там для меня дорого. В Москве я прожил неделю, осмотрел три гимназии, хотя время было не совсем благоприятное для осмотра — классы уже кончились, в аудиториях занималось только несколько человек, готовящихся к экзаменам. Но и малое, что я мог заметить, будет не лишнее для устройства нашей гимназии. Два дня проведены были в поездке в Троицко-Сергиевскую лавру, и еще два дня посвящены обозрению Москвы. В других городах я нигде не останавливался: вещун-сердце тянуло поскорее в Тобольск, куда я и приехал 24 мая. — Теперь смейтесь, сколько хотите, а я снова повторю, что мой родной Тобольск в тысячу раз милее, — по крайней мере для меня, — вашего великолепного Петербурга. <...>

Е. Н. ЕРШОВОЙ

23 ноября 1858. Ялуторовск

Милая Елена. Вот я и в Ялуторовске. Это последний город настоящего моего маршрута, и потом к вам, обнять тебя и милых детей. Из Ишима я выехал в субботу, в 5 часов. Обедал у смотрителя вместе с П. И., который приехал проводить меня. В 6 часов мы были уже с смотрителем в Безруковой, месте моего рождения, и пили чай. Тут явилось несколько крестьян с сельским головой, с просьбами о моем содействии — соорудить в Безруковой церковь. Они хотят составить приговор — в течение трех лет вносить по 1 р. сер. с человека (а их — душ примерно до 800), что в 3 года составит до 2500 р. с. Мое дело будет — испросить разрешения на постройку церкви, доставить план и помочь по возможности. Смотритель сказал, что церковь надобно соорудить во имя преподобного Петра, и кресть-

яне согласились. Место для церкви они сами выбрали то самое, где был комиссарский дом, т. е. именно там, где я родился. Признаюсь, я целую ночь не спал, раздумывая о том – неужели Господь будет так милостив, что исполнится давнишнее мое желание и освятится место моего рождения и восхвалится имя моего Святого. Недаром же в нынешнем году в календаре в первый раз упомянуто имя его. Сближение, как ни суди, пророческое. А как приятно мне было слышать от старых крестьян нелицемерные похвалы моему отцу! Все это составило для меня 22 число (припомни – 22-е, а не другое) одним из приятнейших дней моей жизни. – В Ялуторовск я приехал в 7 часов вечера 23 числа и остановился в училищном доме. Смотритель был так обязателен, что заранее все приготовил к моему помещению. Сейчас только кончили мы ужин, и я, узнав, что завтра отходит почта в Тобольск, спешу написать это письмо. Завтра утром намерен начать ревизию, но среду, по крайней мере утро, я останусь еще в Ялуторовске, в ожидании присылки из Кургана и Тюмени твоих писем, а там – в возок и в Тобольск. <...>

Е. Н. ЕРШОВОЙ

Март 1859. Туринск

<...> В самый день приезда моего в Тюмень, т. е. в воскресенье, приехал ко мне окружной начальник Стефановский и обедал вместе со мной у смотрителя. Вечером с семейством смотрителя я был у Стефановского, который отправлял жену свою в Екатеринбург. Я очень рад, что застал жену его, потому что имел к ней предложение принять на себя звание попечительницы открываемого в Тюмени женского училища. Надеюсь, что она согласится. В учительницы рукоделия хотят пригласить Вариньку Себякину, надзирательницами будут жена одного учителя, бывшая гувернантка у Корчемкина, и одна сирота дочь священника. Положено открыть школу 22 июля, в день тезоименитства Государыни. К этому же дню постараюсь открыть женскую школу в Ишиме; и того, кроме Тобольска, будет в Тобольской губернии 4 женских школы, а с Омским приютом – 5. Ведь не дурное начало. – В понедельник, т. е. сегод-

ня, утром, я съездил к купцу Шешукову поблагодарить его за пожертвование в пользу гимназии книг и приглашен завтрашний день на имянинный пирог, но вряд ли я поеду: надо скорее ехать в Туринск, да притом, слышно, хозяин любит угощать на славу, а мне надо пожалеть свою голову. Заеду, может быть, утром его поздравить, потом на экзамен в училище, а там закусить и в дорогу... Во вторник, в 4 часа после обеда, я отправился из Тюмени. До Туринска было 160 верст; следовало бы это расстояние сделать каких-нибудь в полсутки, но не тут-то было. Дорога благодаря обозам до такой степени избита, что часто должно было ехать шагом из опасения опрокинуться. Но, слава Богу, отделался только сломанной оглоблей да несколькими тычками, хотя и довольно чувствительными. В Туринск приехал в среду, в 12 часов утра, и, пересмотрев две квартиры, остановился наконец в третьей, подле самого училища. Вскоре, по приезде моем, были у меня почти все наличные чиновники, но сам я отдыхал от толчков дорожных. Утром в четверг, с половины девятого часа до второго, производил ревизию; потом поехал к игуменье и посидел у нее с час. <...>

Ф. Н. МЕНДЕЛЕЕВОЙ

2 января 1863. Тобольск

Давно я в долгу перед тобою, милая Феозва Никитишна, за два твоих обязательных письма. Но что же мне было делать? К обыкновенной моей неохоте писать прибавилось еще другое обстоятельство, именно холодная квартира, не знаю, как согреть руки, а уж о писания и думать нельзя. Наконец, наступление Нового года и близость твоих именин заставили меня, подувши хорошенько на руки, взять перо и поздравить милую имянинницу.

Положение мое было бы довольно сносно, если бы не медленность в назначении пенсии. 9 марта прошлого года подписана моя отставка, а вот скоро 9 января 1863 года, о пенсии же нет ни слуху. Мне приходит иногда мысль: не затерялось ли в деп[артаменте] нар[одного] пр[освещения] представление о пенсии во время перетруски при апраксинском пожаре? Боюсь

беспокоить уважаемого Дмитрия Ивановича, но он очень обязал бы меня, если бы в свободное время навел справку касательно моей пенсии и посодействовал бы мне в скорейшем ее получении. А то, признаюсь, тяжело человеку с немалым семейством жить одними долгами да надеждами. На беду и Крашенинников ни ответа не дает, ни денег не присылает.

Примите, друзья мои, участие в этих двух пунктах моего существования. В случае же, если Крашен[инников] будет так неблагодарен, что опять всю вину свою слагать будет на [неразборчиво], я просил бы Дмитрия Ивановича научить меня – к кому и куда я должен обратиться с просьбой через какие формальности я должен пройти, чтобы получить свое. Для ясности дела прилагаю коротенькую его историю.

Лето и обстоятельства решат: остаться ли мне в Тобольске или искать какого-нибудь уголка, где бы наличными своими средствами мог бы я воспитать детей и дотянуть свой жизненный срок.

Семья моя здорова и посылает тебе поклон. С своей же стороны прилагаю поклон Дмитрию Ивановичу и прошу не посетовать на меня за мою докучливость.

Преданный Вам П. Ершов.

При свидании передай мой поклон Владимиру Александровичу и Марье Федоровне.

Адрес Ваш не нашел, пишу в университет.

Приложение к письму Ф. Н. Менделеевой от 2 января 1863.

В 1860 г. с.-пет[ербургский] книгопродавец Крашенинников обратился ко мне с просьбой о дозволении ему напечатать Конька-горбунка в числе **пяти тысяч** экз. и желал знать мои условия.

Приняв во внимание количество экземпляров, я согласился взять по 20 к. с экз., с тем чтобы деньги были заплачены немедленно по напечатании и все вдруг. Пользоваться изданием я предоставил ему в течение пятя лет.

В июне того же года г. Крашенинников писал мне, что он согласен на мои условия, но что вместо 5000 экз. он намерен напечатать только 2000.

В том же июне я отвечал ему, что с изменением количества экземпляров я должен возвысить цену, именно вместо 20 коп.

за экз. по 30 коп и право пользования изданием ограничить на три года.

Г. Крашенинников не ответил мне на эти предложения, и я думал, что он оставил намерение печатать сказку.

В октябре того же года г. Вольф сделал мне предложение издать мою сказку с иллюстрациями и тоже желал знать условия.

Я отвечал ему, что извещу его по получении ответа от г. Крашенинникова, к которому немедленно и написал об этом.

5 декабря получил я ответ от Крашенинникова, что он печатает уже сказку в количестве 3000 экз. согласно первому условию, т. е. по 20 коп. за экз. и с правом 5-летнего пользования изданием.

Я тотчас же отвечал ему, что я соглашаюсь не иначе как на последнее условие, т. е. по 30 к. за экз. и с правом издания на 3 года.

С тех пор по сие время от г. Крашенинникова – ни слова, а сказка напечатана и, как писал мне один из книгопродавцев, уже вся распродана.

Письма г. Крашенинникова все у меня, а мои должны быть у него. Впрочем, и у меня, может быть, найдутся черновые отпуски моих писем к нему.

П. Ершов

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВУ

4 мая 1863. Тобольск

Вчера я имел удовольствие получить письмо Ваше, добрейший Дмитрий Иванович, и спешу поздравить Вас, равно и милую Феозву Никитишну с новорожденной. Дай Бог, чтобы она была постоянно Вашею радостью и утешением.

И мне тоже в светлые дни Пасхи послана радость бумагою о столь долго ожидаемой пенсии. Благодарю Вас, Дмитрий Иванович, за содействие Ваше в получении ее мною. Без Вашей справки в департамент, а может, и настояния я бы до сих пор жил ожиданиями.

Вот г. Крашенинников – другое дело: не внимает ни просьбам, ни внушениям. Слова его, что будто бы он отправил ко мне

деньги еще на страстной неделе — новый обман его. Будьте так добры, Дмитрий Иванович, кончите начатое Вами. Словам его можно поверить только тогда, когда он подтвердит их свидетельством почтовой квитанции об отправке денег. Иначе мне придется еще долго мучиться самому и мучить других. Нельзя ли пугнуть его цензурным уставом, так как последнее издание его сильно смахивает на контрафакцию.

Желаю Вам и Феозве Никитишне всего лучшего. Имею честь навсегда быть Вашим.

П. Ершов.

В. Я. СТЕФАНОВСКОМУ

Январь 1865. Тобольск

Благодарю Вас за привет и за ласковое слово. С своей стороны поздравляю и Вас с новым годом с желанием сторицею всего того, что Вы мне пожелали. — На *Коньке-Горбунке* воочью сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. — Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось

от хладных финских скал
до стен недвижного Китая.

Вы желаете, чтоб успех *Конька* (впрочем, ныне вполне принадлежащий Сен-Леону и Муравьевой) снова вызвал меня на литературную арену. Может быть, и вызовет, но только не по этой части. Играть на лире, — выражаясь словами прежних поэтов, — очень хорошо под безоблачным небом, когда над головою сень яблони, с которой яблоки сами падают в рот. А тут до пения ли, когда не знаешь, чем извернуться месяц на скудной пенсии с громадой ребят. Их судьба заставляет меня тянуть другую песню, может быть, и не без смысла, но уж вовсе не гармоничную. Подожду, что дальше будет, а пока примите уверение в неизменной моей к вам преданности.

В. А. ТРЕБОРНУ

23 января 1865. Тобольск

На днях я получил письмо от А. Н. Л[еще]ва, который между прочим пишет, что виделся с некиим В. А. Т[ре]борном и что оный Т. мне кланяется. Немного, кажется, слов, а сколько они возбудили мыслей и воспоминаний! начиная от студенческой скамьи в 1830 году до радушного «прости» в дебаркадере железной дороги в 1857 году. Это почти средневековый увраж in folio, в полторы тысячи страниц с миллионом разных разностей содержания. Не знаю, кто из нас более виноват в молчании, и принимаю всю вину на себя, на свою сибирскую леность. Итак, снова дружескую руку, любезный Владимир Александрович, и хоть раза четыре в год будем перебрасываться несколькими сердечными строками. – Из газет или от Л[еще]ва ты уж, верно, знаешь, что я давно уже сошел с поприща службы и живу теперь на богатом цифрами, но очень скудном по дороговизне всего пенсионе. Один выигрыш отставки – душевный покой, но я его не променяю за тысячи тысяч. Правда, иногда мысль о судьбе детей, которых у меня штук шесть, заставляет меня вздохнуть о своей бескарманности, но вскоре взгляд на Спасителя в минуту облегчает мою грусть. Приходит иногда желание перебраться в Питер или в Москву, чтобы к своей пенсии приложить еще лепту от литературных трудов. Но вспомнив о нынешнем безалаберном направлении, с которым я никак не только не могу сойтись, но даже и примириться, я поневоле остаюсь, как рак на мели, в сибирской трущобе. Но... пока будет об этом... Поздравляю тебя с новым годом. Обними за меня Ярославцова и Д[е]стуниса и всех, кто только меня помнит. Буду ждать с нетерпением твоего ответа и тогда развернусь поподробнее. – Кстати, если ты будешь отвечать, в чем и надеюсь, не откажись сообщить мне подробнее о балете Сен-Леона «Конек-Горбунок». Газетные известия, может быть, удовлетворительны для публики, но не для меня. Родительское сердце хотело бы знать всю подноготную о своем детище. <...>

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

17 июля 1865. Тобольск

Мой добрый Андрей Константинович. Если бы желание сердца можно было обратить в телеграфическую проволоку, то ты давным-давно получил бы от меня тысячу приветов, с целым грузом благодарности. Но, к сожалению, не все возможно, чего хочется. Поэтому довольствуйся лоскутком письма, хотя запоздалого, но тем не менее задушевного. Частая хворость, особенно при нынешнем бестолковом лете – с дождем и холодом, была главною причиною этой запоздалости. Если же прибавить к этому болезнь жены, рождение дочери, то этих причин, полагаю, было бы достаточно для оправдания меня даже перед английским парламентом. Итак – к делу. А трудную ты задал мне задачу с своим Гамлетом. Да еще вызываешь меня на полемику! Нет, любезный А. К., скажу тебе правду истинную: голова моя, может быть, годная для сказок, нисколько не создана для анализа (что мне заметил и душевно уважаемый П. А. Плетнев). Я готов всем изящным любоваться до головокружения, а давать себе отчет, – почему это хорошо, почему это шевелит сердце, – вовсе не мое дело. Прочитав твою брошюру, я прежде всего порадовался за твое сердце, которое и при седых волосах (если, впрочем, таковые есть в наличности) бьется живой струею молодости; порадовался, что ты, при всеобщем – искреннем ли, или подставном – стремлении к утилитарности, принимаемой в самой узкой рамке, остался верен прежнему благородному направлению; порадовался, наконец, и тому, что и мое уже остывающее сердце сохранило еще несколько жизни, по крайней мере настолько, чтоб сочувствовать подобному явлению, как твоя брошюра. Может быть, со временем, когда залучу к себе чей-нибудь перевод Гамлета, я прочту его вместе с твоей брошюрой и напишу что-нибудь подельнее теперешнего; но теперь ставлю точку – и конец. Не мог я не улыбнуться (хотя и не совсем веселою улыбкою), читая твои фантазии о *тайных* моих литературных подвигах. Да, они действительно тайны, и так тайны, что я сам ровно ничего об них не знаю. Разумеется, здесь говорится о созданиях, выраженных в *литерах*; что ж касается до созданий фантазии, которые носятся только хоть в светлых, но все-таки туманных призраках и не облеклись, как говаривал А. В. Никитенко, в плоть и кровь, то их у

меня такая куча, что для воплощения их недостало бы и десятка человеческих жизней. А что же толку в этом? – спросишь ты. А толк тот, что мне с ними весело, что они единственные утешители мои в незавидной моей существенности, что они те золотые нити, которые связывают меня с далеким небом... поэзии. – Обнимаю тебя тысячу раз вместе с светлоголовым Владимиром. Будьте здоровы и на мои лоскутки отплатите целыми листами.

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

5 февраля 1866. Тобольск

<...> Письмо твое утешило меня за балет «Конек-Горбунок». Значит, он не так плох, как выставил его один светлоголовый господин, немножко и тебе известный. Он так отделал его в последнем письме своем, что я готов был заплакать о судьбе своего пасынка. Вероятно, Владимир в час письма был в скверном расположении духа. <...>

У меня лежат несколько пьес, написанных еще в то время, когда у меня не было еще ни одного седого волоса, а у Владимира на голове не сияло солнце. Если условия дирекции покажутся мне выгодными, то я вытащу моих детищ из-под спуда, поумою, поочищу и представлю на суд... Считаю нужным сказать, что пиесы эти – дети веселого досуга, а не серьезной мысли, вроде *Кузнеца Базима*, которого ты можешь прочесть в Сборнике в память Смирдина (не помню тома). – Другое еще. У Осипа Карловича Гунке – кажется, ты его знаешь – есть три или четыре либретто опер, написанных мною по его просьбе. А так как он, вероятно, не расположен писать на них музыку, то не найдется ли какой охотник употребить их в дело. Нынче ведь довольно явилось композиторов; может быть, кому-нибудь и понравчтся либретто. Ты, верно, рассмеешься, читая эти поручения. Но, во-первых, не любовь к детищам заставляет меня поставить их на ноги, а трудность положения, в котором нахожусь я с семейством; а во-вторых, кто знает, может быть, успех (хотя бы и небольшой) стародавних писаний вызовет меня снова на литературный труд, более достойный. – Заключу письмо мое повторением желания еще хоть раз увидеться с вами.

В. А. ТРЕБОРНУ

13 июня 1866. Тобольск

<...> Целую тебя в обе щеки за фотографии из «Конька». Троицкий – это тип Ивана. Удастся ли когда-нибудь увидеть мое детище на сцене? О поездке в Петербург мне нечего и думать; а если бы, по щучьему веленью, это и случилось, вероятно, балет сдан будет уже в архив, где столько его предшественников покоятся сном непробудным. <...>

<...> Что тебе сказать собственно о моей особе? Хоть о моей жизни и нельзя сказать – бочка дегтю да ложка меду, однако все-таки пропорция последнего очень незавидна. Без денег, без здоровья, с порядочной толикой детей и с гомеопатической надеждой на лучшее – вот обстановка моего житья! Если я еще не упал духом, то должен благодарить Бога за мой характер, который умеет ко всему примениться. Одна только мысль тяжко лежит на душе – это воспитание детей. Старшему сыну уже одиннадцать лет, но пока он занимается еще дома. Есть способности, но рассеянность бесконечная. Поэтому ему трудно будет в заведении, где по самому числу учеников нельзя ему быть предметом исключительного внимания учителя. Другим сыновьям – одному четыре года, а другому два. Ну, эти еще на попечении матери – и многого не требуют. Впрочем, что загадывать вперед. Скажу словами гетмана Хмельницкого: «Будет, что будет, будет, что будет, а будет – что Бог велит», аминь. – Поклон Ярославцову, Д[е]стунису и всем, кто только обо мне вспомнит. – Не сердись, что на большие твои письма я отвечаю лоскутками. Ей-Богу, писать для меня такая комиссия, что только желание иметь от тебя весть заставляет меня браться за перо. То ли дело разговор! Может быть, изобретательный ум придумает какой-нибудь далекослышный рупор, и тогда я буду день и ночь разговаривать с вами.

Ф. Н. МЕНДЕЛЕЕВОЙ

9 августа 1866. Тобольск

Милая Феозва Никитишна. Не знаю, кого винить – себя или судьбу, что все мои письма начинаются одной прелюдией – из-

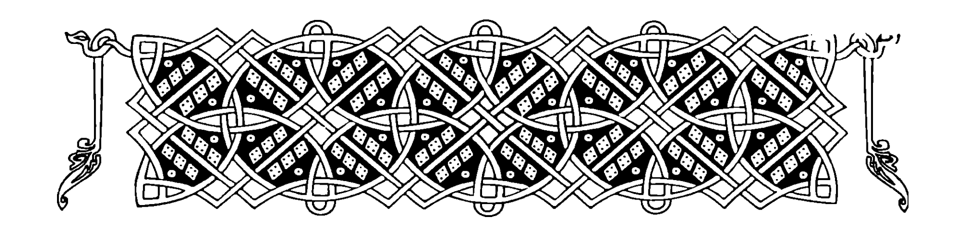
винениями. Но кто бы ни был настоящим виновником неаккуратности, я все-таки, за неимением лучшего, утешаюсь тем, что у меня есть всегда готовое начало письма — самая трудная фраза и по риторике. А если прибавить к этому уверенность, что милая дочка не осердится на старого ленивца, то дело и не потребует переноса в мировой сход, и решится окончательно милая мировая судейшей.

Читая описание твоего летнего Эльдорадо, я чмокал губами, как Петр Петрович Петух при заказе пирога, и если б ум человеческий достиг до того, чтобы можно было ездить по телеграфу, то поверь, я давно бы гулял в твоем армидином саду и рвал бы гесперидские яблоки. Но так как уму, как и всякому человеческому деятелю, положены границы, то и я ограничился только желанием когда-нибудь побывать в Вашем Эдеме, хотя бы в должности виноградаря. А как бы приятно было в какой-нибудь летний день, вскоре по восходу солнца, встретить в саду милую хозяйку и поднести ей корзину только что сорванных плодов. Милая улыбка была бы наградой для седого садовника, а ласковый привет помолодил бы его на несколько годов. Ты, верно, улыбаешься при чтении этих строк, но во всяком случае улыбнуться лучше, чем нахмуриться, и я не виноват, что ты так очаровательно описала свою летнюю дачу.

От идиллий перейдем к прозе. Живу я по-прежнему, т. е. после понедельника встречаю вторник, там среду и т. д. Перспектива будущего освещается только надеждою. Весь медицинский совет, т. е. все наличные тобольские доктора сказали, что болезнь моя неизлечима, и хотя в утешение прибавили, что я могу прожить еще довольно лет при известной обстановке, однако утешение их не много меня порадовало. Одна надежда на Того, Кто дал мне жизнь и Кто до сих пор хранит ее. Без этой надежды давно бы дети мои были сиротами, а жена вдовою. Не удивляйся такому переходу в письме моем: я человек минуты. Чуть мне полегче, я готов ребячиться, как пятилетний шалун, а при перемене — смотрю как факир на кончик своего носа.

Это письмо я отправлю через Николая Никитича, не зная настоящего твоего пребывания. Обними уважаемого Дмитрия Ивановича и расцелуй твою малышку, Весь твой

П. Ершов



ПРИМЕЧАНИЯ

Предлагаемое собрание избранных произведений и писем П. П. Ершова (1815—1869) является наиболее полным по сравнению с ранее вышедшими. Впервые в составе сборника представлены 24 стихотворения, 5 эпиграмм и 26 писем. Все тексты сверены с авторитетными первоисточниками, восстановлены купюры.

При жизни писателя не было издано ни одного собрания его сочинений, хотя в начале 1847 года А. Ф. Смирдин предлагал П. П. Ершову напечатать его стихотворения отдельной книгой, но по неизвестным причинам это предложение так и не было реализовано. Не осуществилось и издание полного собрания стихотворений Ершова, подготовка которого велась с 1910 по 1914 год по инициативе Тобольского губернского музея с участием В. П. Ершова (сына поэта), Н. Н. Лещева (пасынка поэта) и Х. М. Лопарева. По вероятности, причиной незавершения этой работы оказалось отсутствие необходимых материальных средств (См.: *Азадовская Л. В.* К вопросу об издании «Полного собрания сочинений П. П. Ершова» //Сибирские огни. 1962. № 9. С. 168—172).

Впервые собрание сочинений П. П. Ершова вышло отдельной книгой в 1936 году в малой серии «Библиотеки поэта» (*Ершов П.* Стихотворения / Вступит. ст., ред. и примеч. М. К. Азадовского. [М.—Л.]: Советский писатель). В это издание были включены сказка «Конек-Горбунок» и 8 стихотворений.

В 1937 году в Омском государственном издательстве под редакцией Ф. Г. Копытова вышли «Избранные сочинения» П. П. Ершова, дающие более полное представление о творческом наследии поэта, но содержащие множество текстологических погрешностей. В состав избранных произведений были включены «Конек-Горбунок», сибирское предание «Сузге», отрывок из драматической повести «Фома-кузнец» и 31 стихотворение из тобольских рукописных тетрадей поэта.

В 1950 году известный исследователь жизни и творчества писателя В. Г. Утков предпринял крупное издание литературного наследия Ер-

шова, в которое, кроме «Конька-Горбунка», «Сузге», «Фомы-кузнеца» и 32 лирических стихотворений, включил драматический анекдот «Суворов и станционный смотритель», эпиграммы и 4 рассказа из «Осенних вечеров». На основе этого издания был подготовлен для малой серии «Библиотеки поэта» новый сборник стихотворений, вышедший в 1951 году (*Ершов П.* Конек-Горбунок. Стихотворения / [Вступит. ст., примеч. и подготовка текстов В. Г. Уткова]. Л.: Советский писатель).

В 1961 году в малой же серии «Библиотеки поэта» Б. Я. Бухштаб опубликовал рукопись, подготовленную еще в 1949 году М. К. Азадовским и включавшую сказку «Конек-Горбунок», 8 лирических стихотворений и 5 частей из цикла «Моя поездка» (*Ершов П. П.* Конек-Горбунок. Стихотворения / Вступит. ст., подготовка текста и примеч. М. К. Азадовского. Л.: Советский писатель).

В 1976 году в большой серии «Библиотеки поэта» было выпущено собрание стихотворного наследия поэта, в которое впервые было включено 10 ранее не публиковавшихся в печати стихотворений и 16 эпиграмм, а в примечаниях подробно описана судьба литературного наследия П. П. Ершова, указаны архивы, в которых хранятся автографы сочинений, письма поэта и другие рукописные и иконографические материалы, связанные с его творчеством и биографией (см.: *Ершов П. П.* Конек-Горбунок; Стихотворения / Вступит. ст. И. П. Лупановой; Сост., подготовка текста и примеч. Д. М. Климовой. Л.: Советский писатель).

В 1984 году в серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирское книжное издательство (Иркутск) выпустило солидный том сочинений П. П. Ершова «Сузге: Стихотворения, драматические произведения, проза, письма» (Сост., коммент., послесловие В. Г. Уткова). Стихотворный блок по составу и текстологии в основном повторяет издание 1976 года, подготовленное Д. М. Климовой. Включено одно новое стихотворение («Ю. А. К<азанск>ой»), особое место отведено сибирскому преданию «Сузге», расположенному между «Коньком-Горбунком» и разделом «Стихотворения». Представлены рубрики «Драматические сцены. Пьесы. Либретто», «Рассказы» и «Избранные письма». Впервые в собрание сочинений включены 38 писем поэта (многие во фрагментах). В разделе «Рассказы» помещены урезанные атеистической цензурой (или самоцензурой составителя) «Осенние вечера» (исключены фрагменты текста религиозного содержания и полностью «Чудный храм»).

В 1989 году издательство «Советская Россия» напечатало в серии «Поэтическая Россия» сборник стихотворений П. П. Ершова, в котором собрано в основном все лирическое наследие и эпиграммы поэта (*Ершов П. П.* Стихотворения / Сост., автор вступит. ст. и примеч. В. П. Зверев). Впервые стихотворное наследие представлено без «Конька-Горбунка», что дает возможность оценить талант автора вне блеска его сказки-шедевра.

Все произведения П. П. Ершова в предлагаемом издании печатаются по первым публикациям, кроме специально оговоренных в примечаниях случаев. Если отсутствует авторское указание даты написания

сочинения и существует спорность ее определения, то отмечается дата цензурного разрешения на выпуск издания, в котором впервые было опубликовано то или иное произведение Ершова. Выбор иных источников публикации определялся путем текстологического анализа существующих вариантов текста. Для автографов и списков указывается только их местонахождение и разночтения в заголовках, атрибутивная и текстологическая характеристики не приводятся, так как рукописные источники подробно прокомментированы Д. М. Климовой в издании 1976 года.

В примечаниях использованы материалы Д. М. Климовой, В. Г. Уткова, А. К. Ярославцова.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

I изд. — Конек-горбунок. Русская сказка. Соч. *П. Ершова*: В 3 ч. — СПб.: Тип. Х. Гинце, 1834.

V изд. — Конек-горбунок. Русская сказка. Соч. *П. Ершова*: В 3 ч. / С 7 картинками, рис. на дереве Р. А. Жуковским и грав. Л. Серяковым. — 5-е изд., вновь испр. и доп. — СПб.: П. И. Крашенинников, 1861.

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».

БП 1936 — *Ершов П. П.* Стихотворения / Вступит. статья, ред. и примеч. М. К. Азадовского. — [М.–Л.]: Сов. писатель, 1936.

БП 1976 — *Ершов П. П.* Конек-горбунок; Стихотворения / Вступит. статья И. П. Лупановой. Сост., подготовка текста и примеч. Д. М. Климовой. — Л.: Сов. писатель. Ленинградское отд-ние, 1976. — (Б-ка поэта. Большая серия).

Живописный сборник — Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития / Издание А. Плюшара и В. Генкеля. СПб., 1857.

Иркутск 1984 — *Ершов П. П.* Сузге: Стихотворения, драм. произведения, проза / Сост., коммент., послесловие В. Г. Уткова. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — (ЛПС. Литературные памятники Сибири).

НАМ СПГУ — Научный архив Д. И. Менделеева при Санкт-Петербургском государственном университете.

НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Омск 1937 — *Ершов П. П.* Избранные сочинения / Под ред. Ф. Г. Копытова. — Омск: Омгиз, 1937.

Омск 1950 — *Ершов П. П.* Сочинения / Ред., коммент. и вступит. статья В. Г. Уткова. — [Омск]: Омское обл. гос. изд-во, 1950.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

Совр. — журнал «Современник».

СО — журнал «Сибирские огни».

Тт – «Тобольские тетради» – 4 переплетенных вместе тетради, в которых самим Ершовым записаны его стихотворные произведения; хранятся в Омском краеведческом музее.

ц. р. – цензурное разрешение.

Ярославцов – Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его *А. К Ярославцова* / С приложением литографического портрета П. П. Ершова, снимка его почерка и рецензий, являвшихся с изданием его сказки «Конек-Горбунок». – СПб.: Тип. В. Демакова, 1872.

КОНЕК-ГОРБУНОК: РУССКАЯ СКАЗКА В ТРЕХ ЧАСТЯХ

(С. 35). Впервые – БдЧ. 1834. Т. 3. Ч. 2. С. 214–234 (ч. 1 и 18 начальных строк ч. 2) (ц. р. – 31 марта 1834); полностью – I изд. Автограф – РГАЛИ. Списки – РГАЛИ, НИОР РГБ, ПД. Подробная история публикаций – БП 1976. С. 301–306. Об иллюстрациях, инсценировках, переводах, подражаниях см.: Иркутск 1984. С. 421–423. Печатается по V изд. (ц. р. – 17 августа 1860; цензор – А. К. Ярославцов).

Ч. 1. *Сенник* – сеновал. *Малахай* – меховая шапка с ушами. *Черная бабка* – употребляемая в игре в качестве биты кость надкопытного сустава коровы. *Балаган* – сарай. *«Ходил молодец на Пресню»* – популярная в начале XIX века песня из комической оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1779) на слова А. О. Аблесимова. *Жомы* – тиски. *Зельно* – очень. *Седьмица* – неделя. *Буерак* – яма, овраг. *Загреби* – ладони. *Переться* – спорить, пререкаться. *Намеднишний* – недавний. *Петь* – вопросительная частица. *Станичники* – разбойники. *Шайтан* – черт. *Содом* – беспорядок. *Ендова* – большой сосуд для пива или вина. *Суседка* – домовой.

Ч. 2. *Коурко (каурка)* – лошадь рыжеватой масти. *Спальник* – придворный при царской спальне. *Сыта* – медовый взвар. *Нешто* – неужели. *Бесурманин, басурман* – иноверец, иноземец. *Ражий* – крепкий, здоровый. *Прозумент* – шитая золотом тесьма. *Белоярое пшено* – отборный корм для лошадей. *Еруслан* Лазаревич – популярный персонаж лубочных изданий, сказочный богатырь. *Таловый* – ивовый. *Ажно* – разве. *Шабалки* – конец, шабаш. *Рядиться* – торговаться. *Правеж* – пытка. *Решетка* – тюрьма. *Тое* – ту. *Стремянной* – придворный, подводивший царю коня. *Немские страны* – зарубежные государства. *Николи* – никогда. *Сиречь* – иначе говоря, то есть. *Ширинка* – широкое расшитое полотенце. *Балясы* – болтовня, пустые разговоры.

Ч. 3. *В почин* – для начала. *Налой (аналой)* –в православном храме стол, на который во время богослужения кладут Евангелие, крест и иконы; при совершении церковного бракосочетания священник обводит вокруг аналоя новобрачных. *Живот* – имущество. *Причет (причт)* – священно- и церковнослужители одного храма. *Плес* – рыбий хвост. *Думный* – заседающий в царской думе (совете). *Принудиться* – пригодиться. *Учиниться* – сделаться. *Болесть злая* – падучая. *Льзя* – можно. *Талан* – счастье, судьба. *Фряжское* – заморское, заграничное.

ПОЭМЫ

Сибирский казак: Старинная быль (с. 109). Впервые — БдЧ. 1835. Т. 8 (ц. р. — 28 декабря 1834). С. 9–18 (Ч. 1); БдЧ. 1835. Т. 10. С. 11–22 (Ч. 2). Автограф — ПД. Списки — РГАЛИ, РГИА.

Стихарь — священная одежда, облачение священнослужителей во время богослужения, длинного прямого покроя с широкими рукавами. *Заклепать* — зазвонить. *Пономарь* — низший служитель в православной церкви, в обязанности которого входят чтение и пение на клиросе и помощь при богослужении. *«Достойно...»* — начало одной из церковных молитв. *Есаульство* — выборный командный состав казачьего войска. *Иерей* — православный священник. *Варить* — оберегать. *Кивер* — военный головной убор. *Хоругвь* — священное знамя, которое выносится во время торжественных церковных процессий вместе с крестом. *«Всемирную славу...»* — начало одного из церковных песнопений. *Перун* — языческий бог. *Рог* — сила, могущество. *Десница* — правая рука. *Клир* — духовенство. *Языцы* — иноплеменники. *Денница* — заря. *Канон* — одна из форм православного богослужебного песнопения во время молебна. *Урядник* — низший офицерский чин в казачьих войсках.

Сузге: Сибирское предание (с. 129). Впервые — Совр. 1838. Т. 12. С. 41–75. Списки — РГАЛИ, РГИА. В основе сюжета народное предание о Сузге — второй жене сибирского хана Кучума.

Искер — название местности, где находилась столица Кучума Кашлык. «Прикажи срубить там судно, / *Снарядить его прибором...*» — всем необходимым для плавания. *Таль* (тал) — ивняк. *Гурия* (хурия) — в мусульманской мифологии райская дева. *Махмет-Кул* (Мамет-Кул) — по Ремезовской летописи, сибирский царевич, сын царя Кучума (иногда называется его братом); у Ершова Махмет-Кул — брат Сузге. *Кольцо, Гроза, Мещеряк, Михайлов, Пан* — сподвижники Ермака, казачьи атаманы. *Сейдяк* Бекбулатов — военачальник Кучума, внук сибирского князя Казыя. *«Славу Дону поминает... И прощение царя».* — Считается, что Ермак был донским казаком, разбойничал на Волге и начал поход на Сибирь, спасаясь от гнева Ивана Грозного. После взятия сибирских городков отправил атамана Кольцо послом в Москву. *Уланы* — члены одной из линий ханской фамилии, служившие в ханской охране. *Пищаль* — старинное русское тяжелое ружье.

ДРАМАТУРГИЯ

Фома-кузнец: Отрывок из драматической повести (с. 159). Впервые — Осенний вечер, изданный В. Лебедевым. СПб., 1835. С. 63–73. (Ц. р. — 28 сентября 1835). Автограф — Тт 2. Список — РГАЛИ.

Святой Егорий — святой Георгий-Победоносец, считается покровителем земледелия и скотоводства. *Притчина* — внезапная неприятность. *Ковы* — злые умыслы, козни. *Азям* — крестьянская верхняя одежда, сермяга.

Суворов и станционный смотритель: Драматический анекдот (с. 165). Впервые — Суворов и станционный смотритель: Драм. анек-

дот. Соч. *П. Ершова.* – СПб.: Гуттенбергова тип., 1836. (Ц. р. – 17 декабря 1835).

Ономнясь –несколько дней назад, недавно. *Сертук* – кафтан нерусского покроя. *Кагульская баталия* – битва 27 июля 1770 года на реке Кагул, во время которой были разгромлены главные силы турецкой армии; в этой битве участвовал Суворов. *Съезжий двор* – полицейский участок. *Паскотина* – выгон для скота. *Гусиная водка* – простая вода. *Загонщик* – едущий впереди важного сановника, генерала и готовящий ему встречу, лошадей. *Служба* – солдат, служивый.

Кузнец Базим, или Изворотливость бедняка: Сцены Таз-баши (с. 205). Впервые – Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина / Издание петербургских книгопродавцев на пользу семейства А. Ф. Смирдина и на сооружение ему памятника. СПб., 1858. Т. III. С. 327–352. (Ц. р. – 19 сентября 1857).

Халиф (калиф) – глава мусульман, объединяющий в своих руках духовную и светскую власть. *Визирь* – титул высшего сановника в мусульманских странах. *Тюмен (туман)* – золотая монета. *Пери* – в восточной мифологии прекрасная крылатая женщина, ангел. *Див* – злой дух, дьявол. *Кейф* – праздность, отдых. *Имам* – у мусульман высший чин духовенства.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ночь на Рождество Христово (с. 235). Впервые – БдЧ. 1834. Т. 7. С. 5–8. Автограф – Тт 2 (заголовок – «Ночь в Рождество Христово»). Списки – РГАЛИ, РГИА.

Риза – верхнее церковное облачение священнослужителей; металлический оклад на иконе. *Хитон* – одежда в Древней Греции и у некоторых народов Востока; льняная или шерстяная рубашка, чаще без рукавов, подпоясывалась с напуском. *Вифлеем* – город в Палестине, место рождения Иисуса Христа. *Ливан* – горный массив в Палестине. *Ключ Элеонский* – поток, отделяющий Иерусалим от Масличной, или Элеонской горы, с которой связаны значительные события земной жизни Иисуса Христа. *Иегова* (Яхве) – одно из священных имен Бога в иудаизме. *Тимпан* – древний ударный музыкальный инструмент. *Сион* – священная гора в Иерусалиме, где был дворец царя Давида, а также Иерусалимский храм. *Криле* – крылья. *Рамена* – плечи. *Моисей* – пророк, предводитель израильских племен, призванный Богом вывести израильтян из египетского рабства; перед бежавшими от фараоновых войск израильтянами расступились воды Красного моря; на горе Синай Бог дал Моисею две каменные плиты (скрижали) с начертанными на них 10 заповедями. *Гавриил* – Архангел, возвестивший Деве Марии, что у Нее родится сын Иисус Христос. *Мессия* (*евр.* спаситель) – по Ветхому завету, будет послан Богом на землю уничтожить зло; в Евангелии (Новом завете) мессианская роль отведена Иисусу Христу. *Вертеп Вифлеемский* – пещера, где родился Иисус Христос.

Монолог Святополка Окаянного (с. 238). Впервые – БП 1976. С. 123–124. Автограф – ПД. Историческая основа – летописные предания из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. *Святополк* (ок 980–1019) – туровский князь; в междоусобной борьбе за киевский престол убил своих братьев – князей Бориса Ростовского, Глеба Муромского и Святослава Древлянского, получил прозвище Окаянный. Потерпев поражение от Ярослава Новгородского, пытался бежать в Польшу, к своему тестю – польскому королю Болеславу, но в пути умер.

Смерть Святослава (с. 239). Впервые – БП 1976. С. 124, 126. Автограф – ПД. *Святослав I* (?–972) – князь киевский, сын князя Игоря, выдающийся полководец; разгромил Хазарский каганат, совершал походы в Волжскую Болгарию и Болгарию. Погиб в сражении с печенегами, союзниками Византии, у днепровских порогов. По легенде, печенеги сделали из черепа Святослава чашу, из которой пили на пирах. *Свенельд* – воевода, служивший нескольким киевским князьям; вместе со Святославом участвовал в походах против болгар и греков. *Бельбог* – в славянской мифологии божество, олицетворяющее светлые силы природы. *Ольга* (?–969) – мать Святослава, киевская княгиня.

Смерть Ермака (с. 240). Впервые – БП 1976. С. 126–127. Автограф – ПД. *Ермак* Тимофеевич (?–1585) – казачий атаман. Походом под его предводительством (ок. 1581) началось освоение Сибири Русским государством. В результате этого похода Сибирское ханство Кучума распалось. Во время сражения с отрядом Кучума Ермак утонул в реке Вагай, притоке Иртыша.

Песня казака (с. 241). Впервые – БП 1976. С. 127. Автограф – ПД.

Русский штык (с. 242). Впервые – БП 1976. С. 128–129. Автограф – ПД. *«И с Суворовым штыками / Окрестили мы Рымник».* – Русские и австрийские войска под командованием А. В. Суворова 11 сентября 1789 года одержали победу над турками при речке Рымник. *Ретирада* – отступление. *«И на Альпах всю дорогу / Враг обставил лесом пик...».* – Речь идет об Итальянском походе А. В. Суворова 1799 года.

Молодой орел (с. 243). Впервые – БдЧ. 1834. Т. 7. С. 12–14. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА.

Желание (с. 245). Впервые – БдЧ. 1835. Т. 13. С. 5–6. (Ц. р. – 31 октября 1835). *Пигарг* – вид орла.

Семейство роз (с. 246). Впервые – Летопись факультетов на 1835 год, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксиным. СПб., 1835. Кн. 1. С. 4–8. (Ц. р. – 30 апреля 1835). Автограф – Тт 2. Списки – РГАЛИ, РГИА. Печатается по: БдЧ. 1835. Т. 13. С. 163–168. (Ц. р. – 31 октября 1835). *Борей* – холодный северный ветер. *Перун* – гром.

Русская песня (с. 251). Впервые – БдЧ. 1835. Т. 10. С. 171–172. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА. В начале 1840-х годов была положена на музыку, по предположению Н. Н. Лещева, музыкантом Константином Широковым, другом детей поэта.

Первая любовь (с. 252). Впервые – БдЧ. 1835. Т. 11. С. 5–7. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА. Посвящено сестре писателя

К. П. Масальского, университетского товарища Ершова. В семье Масальских поэт бывал в 1834—1835 годах. *Удольный* — земной.

Молитва (с. 254). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 59—60.

Прощание с Петербургом (с. 255). Впервые — БдЧ. 1835. Т. 9. С. 117—120. Автограф — Тт 1. Списки — РГАЛИ, РГИА. Связано с ожиданием отъезда в Тобольск после окончания университета. *«И клик победный огласил / Поля пустынные Полтавы...»*. — Речь идет о битве со шведами под Полтавой в 1709 году, переломном сражении в Северной войне 1700—1721 годов. Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. *Дерзкий галл* — французский император Наполеон Бонапарт (1769—1821). *Прометей* — в греческой мифологии титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям.

Тимковскому (На отъезд его в Америку) (с. 258). Впервые — Ярославцов. С. 25 (без начальных 8 строчек). Автограф — Тт 1. Списки — РГАЛИ, РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 160—162. *Тимковский* Константин Иванович — университетский товарищ Ершова, сын цензора пушкинских времен и дочери известного восточносибирского промышленника и мореплавателя Г. И. Шелехова. Окончив университет, поступил во флот и был откомандирован в качестве юнкера на службу в основанную Г. И. Шелеховым Российско-американскую компанию. 5 августа 1835 года Тимковский отплыл из Кронштадта на корабле «Елена» в Америку. Это послужило поводом для послания Ершова. В 1837 году Тимковский вернулся в Петербург, занимался литературной деятельностью, с 1848 года — активный участник кружка М. В. Петрашевского, участвовал в знаменитых «пятницах». Вместе с Ф. М. Достоевским и другими петрашевцами пережил ожидание смертной казни на площади. В 1849—1857 годах отбывал наказание в арестанских ротах. Последние годы жил в Петербурге, умер в 1881 году. В послании Ершова отражены юношеские мечты и напоминание другу о клятве, которую они дали друг другу «на жизнь и смерть» — посвятить себя изучению Сибири.

Туча (с. 260). Впервые — БдЧ. 1835. Т. 12. С. 17—18. Автограф — Тт 1. Списки — РГАЛИ, РГИА.

Дуб (с. 261). Впервые — БдЧ. 1840. Т. 39. С. 14—15. Автограф — Тт 2. Списки — РГАЛИ, РГИА. *Феникс* — символ вечной жизни; по египетской мифологии, священная птица, погибающая в пламени и возрождающаяся из пепла.

Ночь (с. 263). Впервые — Осенний вечер, изданный В. Лебедевым. СПб., 1835. С. 19—20. Автограф — Тт 2. Список — РГАЛИ. *Холнуть* — остудить, нанести холод.

<В альбом В. А. Треборну> (с. 263). Впервые — Ярославцов. С. 14—15. Списки — РГАЛИ, РГИА. *Треборн* Владимир Александрович — университетский друг Ершова, с которым он до конца жизни поддерживал переписку (см. раздел «Письма»); писал шуточные стихотворения, переводил с немецкого, печатался в журнале «Сын отечества».

25-е декабря (с. 264). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 21—23. 25 декабря по старому стилю пра-

вославные празднуют Рождество Христово, в этот же день на Руси в 1830-е годы еще торжественно отмечалось важное событие Отечественной войны 1812 года — изгнание армией М. И. Кутузова с русских земель войск Наполеона. *Эдем* — земной рай, где обитали Адам и Ева до грехопадения; благодатный уголок земли.

Послание к другу (с. 265). Впервые — БдЧ. 1836. Т. 16. С. 155—160. Автограф — Тт 1. Печатается по: БП 1976. С. 171—175. Рассматривалось как программное произведение самим автором и многими критиками. Посвящено К. И. Тимковскому, находившемуся в Русской Америке. *«Делил я с братом пополам...»*. — П. П. Ершов очень любил своего старшего брата Николая (1814—1834), они были неразлучны, вместе учились в гимназии, а затем в Петербургском университете (Николай — на математическом факультете, ему прочили блестящее будущее ученого). *«Он улетал на берег дальний...»*. — Имеется в виду остров Святой Елены, куда был сослан Наполеон.

Кольцо с бирюзою (с. 270). Впервые — Совр. 1837. Т. 7. С. 293—294. Список — РГАЛИ.

Зеленый цвет (с. 271). Впервые — Совр. 1837. Т. 7. С. 291—292. Список — РГИА. *Зеленый цвет* — символ надежды. *Кашемир* (Кашмир) — область в Индии, славящаяся долинами роз.

Государю Наследнику на приезд Его в Тобольск (с. 272). Впервые —*Замахаев С. Н., Цветаев Г. А.* Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789—1889. Тобольск, 1889. С. 111—113 (без заголовка). Печатается по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (II). Л. 113—119. В конце списка отмечено: «Поднесено Государю Наследнику чрез В. А. Жуковского 3 июня 1837» (Л. 119). *Государь Наследник* — цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II). Во время поездки цесаревича по Сибири в сопровождавшей его свите был В. А. Жуковский. 2 июня 1837 года Наследник престола Александр Николаевич посетил Тобольскую гимназию. Стихи в честь высокого гостя были заказаны Ершову генерал-губернатором Тобольска. За это сочинение, поднесенное Наследнику, поэт был награжден «золотыми с цепочкою часами». *Рифейский* — уральский; Рифейские горы — древнее название Уральских гор. *Бельт* — Большой и Малый Бельты — важнейшие проливы, соединяющие Балтийское море с Северным морем и Атлантическим океаном. Границы Российской империи в XIX веке простирались до этих проливов.

Час тайны (с. 274). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 5—6.

Видение (с. 275). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 57—61. *Чалма такшкинца* — *чалма* — мужской головной убор мусульман; *такшкинец* — житель древнего города Такшашила на Индостанском полуострове, на севере современного Пакистана; у Ершова — собирательный образ правоверного мусульманина.

Кто он? (с. 279). Впервые — Совр. 1837. Т. 6. С. 95—96. Это был специальный номер журнала, посвященный памяти погибшего А. С. Пушкина. *Илья* — былинный богатырь Илья Муромец.

Вопрос (с. 280). Впервые – БдЧ. 1838. Т. 30. С. 92–94. Автограф – Тт 1. *Хартия* – старинная рукопись.

Музыка (с. 282). Впервые – БдЧ. 1840. Т. 40. С. 7–9. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА. Описано впечатление от первой оперы, поставленной с русскими певцами на петербургской казенной сцене, – «Роберт-Дьявол» Дж. Мейербера (премьера – 14 декабря 1834). Видимо, Ершов был на одном из первых премьерных представлений.

К друзьям («Други, други! Не корите...») (с. 284). Впервые – Альманах на 1838 год, изданный В. Владиславлевым. СПб., 1838. С. 303–304. (Ц. р. – 17 декабря 1837). Автограф – Тт 1 (заголовок – «Друзьям»). Список – РГАЛИ. Ответ петербургским друзьям В. А. Треборну и А. К. Ярославцову, упрекавшим Ершова в творческой бездеятельности.

К музе (с. 285). Впервые – Утренняя заря: Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым. СПб., 1839. С. 312–316. (Ц. р. – 15 ноября 1838). Автограф – Тт 1. Список – РГАЛИ. Этим стихотворением открывается цикл лирических произведений, посвященных первой жене поэта – Серафиме Александровне Лещевой, урожденной Протопоповой, вдове полевого инженера-полковника Н. Лещева. *«Явились горькие утраты...».* – Имеется в виду смерть родных поэта: отца – П. И. Ершова (лето 1833), брата Николая (1834) и матери – Е. В. Ершовой, урожденной Пиленковой (1838). *Цевница* – старинный музыкальный инструмент.

Праздник сердца (с. 288). Впервые – Утренняя заря: Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым. СПб., 1839. С. 377–378. Автограф – Тт 1. Список – РГАЛИ. Посвящено С. А. Лещевой.

Две музы (с. 289). Впервые – БдЧ. 1840. Т. 39. С. 128–131. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА.

Шатер (с. 292). Впервые – Утренняя заря: Альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым. Второй год. СПб., 1840. С. 122. (Ц. р. – 14 октября 1839). Автограф – Тт 1 (заголовок – «Шатер природы»). Список – РГАЛИ (заголовок – «Шатер природы»).

Желание любви (с. 292). Впервые – Омск 1937. С. 102. Автограф – Тт 1. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 221.

Слезы (с. 293). Впервые – БдЧ. 1840. Т. 40. С. 88. Автограф – Тт 2 (без заголовка). Списки – РГАЛИ (заголовок – «Осьмистишия, 2»), РГИА. Второй из девяти акростихов на имя Серафима, посвященных С. А. Лещевой.

Сон (с. 294). Впервые – БдЧ. 1840. Т. 38. С. 161–163. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА.

Решимость (с. 295). Впервые – *Утков В. (В. Бурмин).* Тетради П. П. Ершова // СО. 1946. № 4. С. 108. Автограф – Тт 1. Список – РГАЛИ. Печатается по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 56.

Перемена (с. 296). Впервые – БдЧ. 1840. Т. 39. С. 16. Автограф – Тт 1. Списки – РГАЛИ, РГИА.

Первый весенний цветок (с. 296). Впервые – Ярославцов. С. 61–62. По словам А. К. Ярославцова, это стихотворение было написано на листе с рисунком, на котором изображены «вправо, на высоком бере-

гу реки — замок с башнями; на противоположном низменном берегу — могила, на ней крест, под елью, за нею, влево — береза, начало леса. Из-за высокого берега подымается солнце. Стихотворение, поверх рисунка, озаглавлено: *Перв. весен. цветок*» (с. 61). Возможно, этот заголовок не относился к стихотворению. Однако Ярославцов пытается пояснить смысл заголовка следующим образом: «Это первый весенний цветок, первая песнь, первая мечта, вылетевшая из груди молодого поэта, так охваченной, казалось, любовью и вожделенною будущностью! <...> Но отчего ж среди упоения готовящегося блаженства вдруг неожиданно первым цветком, первою песнию являются глубоко грустные мысли, предметы печальной думы? Что навело поэта на представление и разрушающегося замка и унылой недеятельности в виде могильного тления?..» (с. 62).

Друзьям («Друзья! Оставьте утешенья!..») (с. 297). Впервые — БдЧ. 1840. Т. 40. С. 11–14. Автограф — Тт 1. Списки — РГАЛИ, РГИА.

Зимний вечер (с. 300). Впервые — БдЧ. 1841. Т. 44. С. 10. Автограф — РГАЛИ (заголовок — «Зимняя фантазия»). Список — РГИА.

Моя молитва (с. 300). Впервые — БдЧ. 1840. Т. 38. С. 168–171. Стихотворение, вероятно, связано с болезнью С. А. Лещевой.

Клад души (с. 303). Впервые — БдЧ. 1841. Т. 44. С. 5–8. Автограф — Тт 2. Списки — РГАЛИ, РГИА.

Моя поездка (с. 306). Впервые — 1–5: Омск 1950. С. 198–202; 8: БП 1976. С. 236–237. Автограф — Тт 2. Список — РГАЛИ. Цикл состоит из 10 стихотворений. 1–5, 8 печатаются по: БП 1976. С. 231–237. 6, 7, 9, 10 («Сердце», «Межугорский монастырь», «Вечернее пение», «Вечер») публикуются впервые по списку РГАЛИ: Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 44–48, 51–55. Цикл написан под впечатлением от поездок в одно из живописных мест под Тобольском — Ивановское. Хотя «Моя поездка» Ершова в XIX веке не была опубликована, современная исследовательница отмечает: «<...> выбранный автором путь циклизации оказался наиболее перспективным для дальнейшего развития традиции «путевых» циклов (ср. более поздние и совершенные циклы: «Крымские очерки» А. К. Толстого, «Закавказье» Я. Полонского, «Очерки Рима» А. Майкова, «Путевые заметки и впечатления (в Крыму)» В. Бенедиктова, «Фантасмагории» К. Павловой и т.д.). Этот факт <...> служит свидетельством чуткости поэта к тенденциям и возможностям литературной эпохи <...>» (*Лапина Л. Е.* «Моя поездка» П. Ершова и традиции путевых циклов // Петр Павлович Ершов — писатель и педагог. Ишим, 1989. С. 42). *Протей* — в греческой мифологии божество, способное принимать любой облик. *Бить* — тонкая металлическая лента для вышивания и золотошвейных работ.

Отрывки (с. 317). Впервые — 1: БП 1976. С. 237–238; 2: Омск 1950. С. 214 (под заголовком «Отрывок»); 4: БП 1936. С. 141–142. Автограф — Тт 3. Список — РГАЛИ. 1, 2, 4 печатаются по: БП 1976. С. 237–239. 3, 5–8 печатаются впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 22–23 (вторая пагинация) («Блеща жаркими лучами...»); ед. хр. 15 (II). Л. 74–81 («Чудесный храм», «Панихида», «Благовеще-

ние»). Характеризуя «Тобольские тетради», В. Г. Утков отмечал: «В третьей тетради имеется ряд неоконченных стихотворений и поэм. Дат они не имеют. Но, судя по тону отрывков и содержанию их — это произведения последних лет. Часть из них — начало поэм на религиозные сюжеты («Чудесный храм», «Была пора...», «Панихида», «Благовещение»), другие рисуют картины природы и тоску поэта по несбывшимся надеждам. Отрывок, озаглавленный «Чудесный храм», является, вероятно, попыткой развернуть сюжет одноименного рассказа из «Осенних вечеров» в поэму. Дальше нескольких строк эта попытка не пошла» (*Утков В. (В. Бурмин).* Тетради П. П. Ершова // СО. 1946. № 4. С. 110). Однако можно предположить, что 8 своеобразных «отрывков», объединенных в цикл, тесно связаны по замыслу с «Моей поездкой». Вряд ли есть основания считать некоторые из этих стихотворений «началом поэм на религиозные темы»: «отрывки» в основном тематически определенны, композиционно завершены и окрашены вполне конкретным лирическим переживанием автора. Что касается «Чудесного храма», то он действительно перекликается с рассказом «Чудный храм» из «Осенних вечеров» и представляет собой стихотворное переложение его начала, однако жанровое русло поэтического потока в нем трудно определить. М. К. Азадовский, например, считал, что стихотворение «Палы» (1840) «относится даже к циклу лирических пьес, объединенных под заглавием «Моя поездка»» (цит. по: БП 1936. С. 151). *Палы* — сжигание весной прошлогодней травы на полях. *Ольга* (в крещении Елена, ?—969) — жена киевского князя Игоря. Предполагают, что приняла крещение в Константинополе в 955 году, однако своего сына Святослава обратить в новую веру не смогла. Канонизирована Русской православной церковью как равноапостольная святая. <...> *апостол наш Андрей* — святой Андрей Первозванный, один из 12 апостолов. По преданию, он проповедовал в Скифии и доходил даже до возвышенной местности, где теперь расположен Киев. На гористом берегу Днепра он водрузил крест с пророческим предсказанием: «Видите ли горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия». *Ольги внук* — Владимир I Святославич (?—1115), великий князь киевский, в 988 году принял крещение, в 988—989 годах провозгласил христианство государственной религией Киевской Руси. *Велиал* — часто встречаемое в Ветхом Завете слово, обозначающее ничтожное, негодное, прилагается ко всем развратным, нечестивым и злым людям; этим словом называют и сатану. *Дева Назарета* — Пресвятая Дева Мария, дочь праведных Богоотец Иоакима и Анны; они жили в небольшом галилейском городке Назарете. *Предстал Архангел Гавриил* — по евангельскому преданию, Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о чудесном зачатии и рождении от Нее Спасителя мира (Лк. 1, 26—38).

29 июля 1840 года (с. 323). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 56—57. Написано ко дню рождения С. А. Лещевой.

Экспромт («Чуждый бального веселья...») (с. 324). Впервые — Омск 1950. С. 204. Автограф — Тт 2. Список — РГАЛИ. Печатается по:

БП 1976. С. 230–231. Посвящено С. А. Лещевой. *Каданс* – музыкальный ритм, ритмическая последовательность звуков.

На отъезд А. П. и С. П. Ж<илиных> (с. 325). Впервые – БП 1976. С. 240. Список – НИОР РГБ (письмо Н. Д. Фонвизиной к И. И. Пущину от 9 июля 1841). *Анна Петровна и Софья Петровна Жилины* – дочери тобольского чиновника П. Д. Жилина; в июне 1841 года выехали в Москву.

Грусть (с. 326). Впервые – Ярославцов. С. 102 (в письме П. П. Ершова к В. А. Треборну от 13 ноября 1843; без заголовка). Автограф – Тт 2. Списки – РГАЛИ, РГИА (заголовок – «Из сборника стихотворений «Грусть»»). Печатается по: БП 1976. С. 240–241.

«Не тот любил, любви кто сведал сладость...» (с. 327). Впервые – Ярославцов. С. 33. Автограф – Тт 2. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 241.

Ответ (с. 327). Впервые – Совр. 1846. Т. 43. С. 212–214. (Ц. р. – 1 июля 1846). 26 января 1846 года П. П. Ершов отправил А. К. Ярославцову и В. А. Треборну в Петербург несколько своих произведений и просил пристроить их в «Библиотеку для чтения», а в случае неудачи передать в «Современник» П. А. Плетневу, редактировавшему журнал с 1838 года (Ярославцов. С. 115). Не дождавшись ответа, поэт 21 апреля 1846 года отправил сам издателю «Современника» несколько стихотворений (среди которых «Ответ», «Призыв», «Воспоминание», «A ma femme», «Оправдание», «Храм сердца», «Три взгляда») с сопроводительным письмом: «Если из посланных стихотворений какие-нибудь удостоятся чести быть помещенными в ваш журнал, то прошу напечатать их без имени» (цит. по: БП 1976. С. 319). Редактор решил напечатать присланные бывшим его студентом стихотворения, но при этом «украшать ими журнал понемногу» (Ярославцов. С. 118). Была исполнена и воля автора: указанные произведения опубликованы в 43 и 44 томах «Современника» за 1846 год анонимно. Неизвестно, все ли отправленные Плетневу стихотворения были напечатаны, так как с 1847 года «Современник» издавался уже И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым (до т. 9 за 1848 год под редакцией А. В. Никитенко), которые до минимума свели в нем публикацию произведений поэзии.

Воспоминаниие (с. 329). Впервые – Совр. 1846. Т. 44. С. 228–229. Автограф – Тт 2. Список – РГАЛИ.

Мгновение (с. 330). Печатается впервые по списку РГАЛИ: Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 66–67.

Оправдание (с. 331). Впервые – Совр. 1846. Т. 43. С. 355–358. Автограф – Тт 2. Список – РГАЛИ. Посвящено О. В. Кузьминой, впоследствии второй жене поэта. *Героподобная жена* – подобная богине Гере, в греческой мифологии супруге Зевса.

Храм сердца (с. 333). Впервые – Совр. 1846. Т. 43. С. 352–353. Автограф – Тт 2. Факсимиле более раннего автографа – Ярославцов. С. 201–202. Списки – РГАЛИ, РГИА. Посвящено О. В. Кузьминой.

Три взгляда (с. 334). Впервые – Совр. 1846. Т. 44. С. 233. Автограф – Тт 2. Список – РГАЛИ. Посвящено О. В. Кузьминой.

Моя звезда (с. 335). Впервые – Омск 1950. С. 206–. Автограф – Тт 2. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 247–248. Посвящено О. В. Кузьминой.

A ma femme (с. 336). Впервые – Совр. 1846. Т. 44. С. 232. *A ma femme* –моей женщине (жене) (*фр.*). Использование иностранных выражений в произведениях П. П. Ершова – редкий случай. По-французски обозначено, например, еще название цикла эпиграмм, посвященных тобольскому городскому архитектору Степанову: это заголовок, смысл которого связан с игрой слов во французском языке. Допустимость двоякого перевода на русский язык французского слова *la femme* (женщина, жена) открывает тоже определенную игру смыслов и позволяет предположить, что адресатом этого стихотворения была «дочь бедной вдовы» Олимпиада Васильевна Кузьмина (1830–1852), на которой поэт женился в 1846 году. Вероятно, к моменту написания сочинения поэт мог ее считать и *своей женщиной*, а в душе называть уже и *своей женой.*

Призыв (с. 337). Впервые – Совр. 1846. Т. 44. С. 362–363. (Ц. р. – 1 октября 1846). *Иззуй себя от тленья страха* <...> – употреблявшееся в старославянской Библии и вышедшее в XIX веке из употребления слово *иззуй* использовано поэтом в переносном значении и в этой строке обозначает: избавь, освободи. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (Вып. 6 (Зипунъ – Иянуарий). М.: Наука, 1979. С. 211) глагол «изути» толкуется как «разуть; снять обувь». В «Словаре русского языка XVIII века» (Вып. 9 (Из – Каста). СПб.: Наука, 1977. С. 36) глагол «иззути» дается с пометой как «слово, выпавшее из употребления» и приводится с пояснением: «снять с ног (обувь)».

«Печальны были наши дни...» (с. 339). Впервые – БП 1976. С. 248, 250 (без последней строфы). Автограф – Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Список – РГАЛИ. Печатается по: Иркутск 1984. С. 160. Адресовано А. В. Энгельке – жене тобольского гражданского губернатора. В автографе рукой поэта приписано: «Поднесено по окончании концерта в пользу бедных».

В альбом Ю. А. К<азанск>ой (с. 339). Впервые – Иркутск 1984. С. 160. Печатается по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 14–15 (второй пагинации). *Казанская* Юлия Александровна – жена учителя русского языка и географии Тобольской гимназии Г. П. Казанского, сестра В. А. Андронникова. Стихи написаны поэтом в связи с отъездом Казанских из Тобольска.

В. А. Андронникову (с. 340). Впервые – СО. 1940. № 4–5. С. 238 (отрывок); СО. 1946. № 4. С. 110. Автограф – Тт 3. Печатается по: БП 1976. С. 250. *Андронников Василий Александрович* – близкий знакомый Ершова, с ноября 1861 года служил в Тобольском суде. Поэт часто бывал в доме Андронниковых, там он познакомился с О. В. Кузьминой.

В. М. Жемчужникову (с. 340). Печатается впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 19–20 (второй пагинации). *Жемчужников* Владимир Михайлович (1830–1884) – сын сенатора М. Н. Жемчужникова, учился в Петербургском университете, но курса не окончил. Был богато одаренным, трудолюбивым, но в то же время пылким и увлекающимся человеком. В 1854 году отправился в То-

больск в качестве чиновника при губернаторе В. А. Арцимовиче. Когда в конце 1854 – начале 1855 года формировался Стрелковый полк Императорской фамилии, вступил в него прапорщиком и в сентябре 1855 года отправился с полком в Крым. Однако в военных действиях ему участвовать не удалось, так как в начале 1856 года в Одессе тяжело заболел тифом и в ноябре 1857 года вышел в отставку.

Одиночество (с. 341). Впервые – Омск 1950. С. 215. Списки – РГАЛИ, РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 250.

Его Императорскому Высочеству великому князю Владимиру Александровичу на случай прибытия Его в Западную Сибирь (с. 341). Впервые – Ярославцов. С. 193–194 (без заголовка). Печатается по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (I). Л. 75–76. В конце списка помета: «Стихи поднесены в г. Омске». *Владимир Александрович* (1847–1909) – великий князь, третий сын императора Александра II. Во время пребывания в Западной Сибири в июле 1868 года посетил Тобольскую гимназию: «Здесь же представлен был великому князю г. генерал-губернатором бывший директор Тобольской гимназии Ершов, которого Его Высочество благодарил за поднесенное Ему в г. Омске стихотворение, сказавши, что читал его с наслаждением, причем выразил сожаление, что в настоящее время известной его сказки «Конек-Горбунок» нет в продаже, на что г. Ершов объяснил, что готовится новое издание ее» (Тобольск 23–26 июля 1868 года // Тобольские губернские ведомости. Неофициальная часть. 1868. 27 июля. № 30). *Шесть люстр прошло* <...> – Люстр (люстра) (*лат.* lustrum) – пятилетие; речь идет о событии 30-летней давности: о посещении отцом Владимира Александровича, тогда еще цесаревичем Александром Николаевичем, в начале июня 1837 года Тобольской гимназии. *Державный Твой Отец* – император Александр II. *Клио* – в античной мифологии одна из девяти муз; первоначально была музой героической песни, затем – музой истории.

ЭПИГРАММЫ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Parbleu ou pour le bleu (с. 345). Впервые – 3, 8: Омский альманах. Омск, 1945. Кн. 5. С. 129; «Исполняя обещанье...», 1, 2, 4, 5, 7: БП 1976. С. 256–257. Автограф – Тт 3. Список – РГАЛИ. «Исполняя обещанье...», 1–5, 7–8 печатаются по: БП 1976. С. 256–258; 6, 9–12 впервые по списку: РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (II). Л. 60, 63–68. Цикл из 12 эпиграмм посвящен городскому архитектору Тобольска Степанову, вместе с которым Ершов в начале 1840-х годов участвовал в создании любительских спектаклей. Объектом эпиграмм Ершова стали любовные похождения, «донжуанство» архитектора, который был заметной фигурой в тобольском обществе. В «Содержании», которое предваряет эпиграммы, раскрывается смысл каждой из них: «№ 1, где очень удовлетворительно объясняется успех Дон Жуана у девиц; № 2, где полагается мудрая метода Дон Жуана в зодчестве и любви; № 3 – показывается тонкий переход действий Дон Жуана в архитектуре и волокитстве; № 4 – раскрывается настоящая причина непостоянства Дон Жу-

ана; № 5 – представляется печальное следствие идти вопреки своему назначению; № 6 – объясняется, почему Дон Жуан не жалует голубого цвета; № 7 – раскрываются пред светом разнообразные таланты Дон Жуана и острота 3-го класса, понятная только для посвященных; № 8 – выставляется на вид резкая противоположность донжуановых действий; № 9 – исчисляется ряд причин любви Дон Жуана к белому цвету с окончательным решением; № 10 – подает утешение прекрасному полу касательно намерений Дон Жуана жениться; № 11 – предлагает Дон Жуану предпочесть для своего концерта духовой инструмент струнному; № 12 – объясняет заблуждения всему и настоящие причины временного удаления Дон Жуана от света» (РГАЛИ. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 15 (II). Л. 51–52). В настоящем издании цикл эпиграмм публикуется впервые полностью. Цикл был известен В. М. Жемчужникову и послужил источником для эпиграммы Козьмы Пруткова «Раз архитектор с птичницей спознался...». *Parbleu ou pour le bleu.* – Ей-Богу! или ради небес (*фр.*, игра слов). *Уж эти мне друзья, друзья!* – из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 4, XVIII). *Honni soit qui mal y pense.* – Пусть стыдится тот, кто об этом плохо думает (*фр.*). *Протей* – в античной мифологии морской бог, супруг богини морского песка Псамафы, многодетный старец, который мог принимать любой образ. Имя Протея употребляется в переносном значении для обозначения многоликости и неуловимости. *Аполлон* – один из главных олимпийских богов, изображался красивым, стройным юношей, бог солнца; его имя употребляется как нарицательное для обозначения идеальной мужской красоты и молодости. *Протектор* – покровитель. *Соломон* – по Библии, иудейский царь, славившийся необыкновенной мудростью. *Строить cour'ы* (*фр.*: faire la cour) – ухаживать. *Киприда* – одно из прозвищ Афродиты, богини любви и красоты; связано с названием места ее культа – островом Кипр. <...> *оркестр de danse* – танцевальный оркестр (*фр.*)

М. Знаменскому («Судьбою данный капитал...») (с. 349). Впервые – Омск 1950. С. 212. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 258. *Знаменский* Михаил Степанович (1833–1892) – близкий знакомый Ершова, тобольский общественный деятель, художник-карикатурист, сотрудник журнала «Искра». Известны выполненные Знаменским дружеский шарж Ершова, карандашный портрет поэта, иллюстрации к «Сузге».

А. И. Деспот-Зеновичу («Тебя я умным признавал...») (с. 350). Впервые – Омск 1950. С. 212. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 258. *Деспот-Зенович* Александр Иванович (1828–1895) – тобольский гражданский губернатор в 1862–1867 годах.

Старые и новые порядки (с. 350). Впервые – БП 1976. С. 258. Список – РГАЛИ, РГИА. *Приказ* – в допетровскую эпоху орган центрального управления и судопроизводства. *Мировой* – вид суда с упрощенным судопроизводством, учрежденный уставом 1864 года.

Поклонникам латыни (с. 350). Впервые – Омск 1950. С. 211. Список – РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 259. В «Мыслях о гимназическом курсе» Ершов писал, что латинский язык «без причины постав-

лен краеугольным камнем образования» и «виной этому только схоластика подражательная». *Asin* — осел (*лат.*).

Экспромт (с. 350). Впервые — Омск 1950. С. 211. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 259. *Эврика!* — Нашел! (*греч.*). *Vir doctus* — ученый муж (*лат.*).

Проект нового устава (с. 351). Впервые — Ярославцов. С. 37. Списки — РГАЛИ, РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 259.

По прочтении одной газетной статьи (с. 351). Впервые — Омск 1950. С. 212. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 259.

Купцу Плеханову («Сибирский наш Кащей...») (с. 351). Впервые — Омск 1950. С. 212. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 260. *Плехановы* — одна из известнейших в Сибири купеческих фамилий. *П. О. Плеханов* нажил крупное состояние на эксплуатации народов Севера; во второй половине 1860 года пожертвовал большую сумму денег на Владимирскую мещанскую богадельню в Тобольске.

К одной филантропке (с. 351). Впервые — Омск 1950. С. 213. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 260. *Филантроп* — человек, занимающийся благотворительностью, помогающий бедным, социально незащищенным.

«Превосходительство и превосходство...» (с. 351). Впервые — Омск 1950. С. 213. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 260. *Превосходительство* (ваше превосходительство) — обращение в XIX веке к чиновникам 4–3-х классов (тайным советникам и действительным статским советникам), генерал-майорам, генерал-лейтенантам, контр-адмиралам и вице-адмиралам.

«Чему завидовать, что некий господин...» (с. 352). Впервые — Омск 1950. С. 213. Список — РГАЛИ. Печатается по: БП 1976. С. 260. *Превосходительный* <...> *чин* — см. предыдущее примечание.

Нигилисту-естественнику (с. 352). Впервые — Ярославцов. С. 38. Список — РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 260– 261.

«Палестину нашу...» (с. 352). Впервые — Ярославцов. С. 148–149. Списки — РГАЛИ, РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 261. *Палестина* — здесь: отчий дом, родные места.

«Такой народ здесь хлебосол...» (с. 352). Впервые — БП 1976. С. 261. Списки — РГАЛИ, РГИА (вариант первой строки: «Такой народ здесь хлебосольный...»).

«Его со спичами в устах...» (с. 353). Впервые — БП 1976. С. 261. Списки — РГАЛИ, РГИА. *Спич* — краткая торжественная речь, произносимая на банкете, званом обеде.

Некоему прогрессисту (с. 353). Впервые — БП 1976. С. 262. Списки — РГАЛИ, РГИА. *Дресва* — мелкий щебень или крупный песок.

Публицисту-педагогу (с. 353). Впервые — БП 1976. С. 262. Список — РГИА.

«Двум тощим выходцам наш город-худотел...» (с. 353). Впервые — БП 1976. С. 262. Списки — РГАЛИ, РГИА.

«Мои приятели Федулы...» (с. 353). Впервые — БП 1976. С. 262. Списки — РГАЛИ, РГИА. После выхода в отставку Ершов больше года не получал пенсию и испытывал материальные затруднения.

«До сих бы пор я отвергал...» (с. 354). Впервые – БП 1976. С. 262. Список – РГИА. По свидетельству Н. Н. Лещева (пасынка поэта), эпиграмма посвящена тобольскому врачу А. Черемшанскому.

«Осел останется ослом...» (с. 354). Впервые – БП 1976. С. 263. Списки – РГАЛИ, РГИА. Первая строка эпиграммы – цитата из оды Г. Р. Державина «Вельможа».

«Не забыта мать Россия...» (с. 354). Впервые – БП 1976. С. 263. Списки – РГАЛИ, РГИА.

Любительницам военных (с. 354). Впервые – Омск 1950. С. 213–214. Списки – РГАЛИ (с пометой: «У Лидии Николаевны Знаменской»), РГИА. Печатается по: БП 1976. С. 255.

Нос (с. 355). Впервые – Весельчак. 1858. № 6. 12 марта. С. 41–42. Автограф – Тт 3.

ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА

Полный цикл рассказов Ершова из *Живописного сборника* А. Плюшара и В. Генкеля перепечатывается впервые. В омском издании 1950 года были опубликованы «Вместо предисловия», «Страшный лес», «Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин» и «Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел». В иркутском издании 1984 года наряду с этими рассказами были напечатаны «Дедушкин колпак», «Панин бугор» и «Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым министром, вкусил романеи и как три купца ходили по городу». К сожалению, обе эти перепечатки из *Живописного сборника* сделаны с купюрами (цензорскими, редакторскими или составительскими) и по качеству публикации не отвечают должным текстологическим требованиям: содержат нарушения исторической орфографии и опечатки, во многих местах исправлена пунктуация, что приводило иногда к нарушению смысла. Рассказ «Чудный храм» не воспроизводился ни в омском, ни в иркутском изданиях.

Вместо предисловия (с. 361). Впервые – Живописный сборник. С. 35–39.

Страшный лес (с. 370). Впервые – Живописный сборник. С. 60–74. *Эполеты без звездочек* – носили капитаны, а в казачьих войсках есаулы. *Тектонское дело* – производство художественных изображений из дерева или камня. *Стрибог* – в славянской мифологии бог ветра. *Олимп* – в античной мифологии место обитания богов, гора в Греции. *Амброзия* – пища древнегреческих богов, придающая им бессмертие. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский автор популярного трактата по физиогномике.

Дедушкин колпак (с. 394). Впервые – Живописный сборник. С. 107–122. *Сиделец* – нанятый хозяином торговец в лавке. *Сикер* – хмельной напиток. *Ирбит* – знаменитый город на Урале, в котором с первой половины XVII до 30-х годов XX века проходили большие ярмарки.

Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин (с. 419). Впервые – Живописный сборник. С. 167–172. *Пилав* – плов, популярное блюдо восточных народов. *Байрам* – мусульманский праздник. *Муфтий* – духовное лицо в мусульманских странах. *Азраэль* – ангел смерти.

Чудный храм (с. 429). Впервые – Живописный сборник. С. 198–207. *Les harmonies du ciel* – гармонии небес (*франц.*). *Страстная седмица* – последняя неделя перед Пасхой, название связано с воспоминанием последних дней земной жизни Иисуса Христа: Его страданий, крестной смерти и погребения. *Жертвенник примирения* – Святая Чаша причащения. *Трогательный обряд умовения* – в Великий Четверг (в четверг перед Пасхой) церковная служба посвящена воспоминанию умовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной Вечери, молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду и преданию Его Иудою. *Великий Пяток* – Великая Пятница, в этот день служба в православной церкви посвящена воспоминаниям крестных страданий Иисуса Христа, Его смерти и погребения. *Заполевать зверя* – добыть охотой, поймать на охоте, затравить зверя. *Плюмаж* – украшение из перьев на головном уборе; у Ершова употреблено в переносном, поэтическом значении. *Веселый поезд* – имеется в виду свадебный поезд, вереница экипажей с участниками свадебного обряда. *Остяцкая верста* – расстояние, преодолеваемое с большими препятствиями; остяками называли северные народы ханты. *Встретить Воскресение Спасителя* – встретить праздник Пасхи. *Великая Суббота* – связана с воспоминанием пребывания Иисуса Христа «во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в Раи жа с разбойником и на престоле со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный» и, наконец, воскресения Спасителя из гроба. *Голгофа* – горная возвышенность к северо-западу от Иерусалима, на которой был распят Иисус Христос. *Наступление праздника* – перед самой полночью (двенадцатью часами) торжественный благовест возвещает о наступлении праздника Пасхи. *Благовест* – мерные удары в один большой колокол, этим звоном верующие созываются в храм Божий к богослужению. *«Христос воскресе!»* – в конце пасхальной утрени все верующие начинают приветствовать друг друга, произнося: «Христос воскресе!» и отвечая: «Воистину воскресе!». Это приветствие они запечатлевают целованием и дарением пасхальных яиц. *Придверник* – сторож у входа. *Дым фимиама* – фимиам – благовонная смола для воскурения при каждении во время богослужения в христианском храме. *Столп израильтян в пустыне* – когда евреи начали свое странствование по пустыне, сам Бог шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном (Исх. 13, 21); облако служило для израильтян знаком для дальнейшего шествия по пустыне и их остановки (Числ. 9, 17–23). *Общий канон* – канон, который поется во время богослужения Пасхальной заутрени, составлен святым Иоанном Дамаскиным; песни этого канона разделяются многократным «Христос воскресе из мертвых!». Во время пения канона священнослужители радостно приветствуют всех словами «Христос воскресе!», на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!».

Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел (с. 445). Впервые — Живописный сборник. С. 293–305. *Трапезник* — церковный сторож, живущий рядом с храмом. *Перун* — в славянской мифологии бог грозы. *Даждьбог* — в славянской мифологии бог солнца и небесного огня. *Меркурий* — в древнеримской мифологии покровитель торговли. *Волос* (Велес) — в славянской мифологии бог богатства, покровитель домашних животных. *Тиун* — слуга, управляющий княжеским хозяйством. *Пул* — старинная мелкая монета.

Панин бугор (с. 466). Впервые — Живописный сборник. С. 419–444. *Лазарев напев* — просьба о подаянии; нищие, прося милостыню, часто пели «стих о бедном Лазаре», связанный с евангельским сюжетом. *Пифагорейские шаги* — неспешная, размеренная ходьба. *Тантал* — царь древнегреческой Лидии, обреченный богами на вечный голод и жажду; отсюда выражение «танталовы муки». *Шампальон* Жан Франсуа (1790–1832) — французский египтолог, положивший начало расшифровке древнего иероглифо-пиктографического (рисуночного) письма. *Столоначальник* — начальник отдела канцелярии. *Чин 8-го класса* — по табели о рангах коллежский асессор, чин, дававший право на потомственное дворянство. *Нанковый халат* — одежда из дешевой, но прочной хлопчатобумажной ткани нанки.

Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца ходили по городу (с. 502). Впервые — Живописный сборник. С. 520–531. В заголовке, напечатанном в *Живописном сборнике*, герой рассказа ошибочно обозначен «первым министром», хотя в повествовании он выступает как первый муфтий при царе Кучуме. Еще в одном месте текста первой публикации, видимо, по недосмотру редактора употребляется обозначение его должности как министра, а не муфтия. Эти курьезы в настоящем издании исправлены. Рассказ в сборнике проиллюстрирован известным художником М.О. Микешиным (1835–1896). *Романея* — сладкая винная настойка. *Рифейский камень* — *Рифей* — древнее название Урала. *Гяуры* — у мусульман все, кто не исповедует ислам.

ПИСЬМА

А. В. Никитенко. 23 января 1835 (с. 519). Впервые — Русская старина. 1898. № 5. С. 335. *Никитенко Александр Васильевич* (1803–1877) — профессор русской словесности Петербургского университета (1834–1864), цензор; известный мемуарист и литературовед.

А. В. Никитенко. 26 марта 1835 (с. 520). Впервые — Русская старина. 1898. № 5. С. 335–336.

В. А. Треборну. 16 октября 1836 (с. 520). Впервые — Ярославцов. С. 13, 14, 43, 45. *<...> в доме моего дяди.* — Н. С. Пиленков — родственник Ершова по матери, коммерции советник, крупный тобольский купец. *<...> явился <...> к директору, потом к губернатору, потом к князю.* — В 1835 году на посту директора Тобольской гимназии И. П. Менделеева сменил В. О. Грибовский; гражданским губернатором был Х. Х. По-

вало-Швыйковский, генерал-губернатором Западной Сибири (с 1836 по 1851) – князь П. Д. Горчаков. *Б-баловским* – видимо, опечатка; речь идет о К. Бобановском, который был учителем логики и словесности в Тобольской гимназии, а в начале сентября 1836 года переведен в Иркутскую гимназию. *М-ский* – К. П. Масальский. *В-лицкого* – Констанций Волицкий сослан в Сибирь в 1833 году, в Тобольске дирижировал оркестром казачьей музыки, вместе с Ершовым и декабристом Н. А. Чижовым участвовал в подготовке гимназических спектаклей. *Ч-жова* – Чижов Николай Алексеевич (1799 или 1800–1848), лейтенант 2-го флотского экипажа, участник восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года; сослан в Сибирь на вечное поселение, с 1833 по 1843 год жил в Тобольске. *Д.С.Ч.* – Д. С. Чижов, двоюродный дядя Н. А. Чижова, профессор Петербургского университета, у которого учился брат П. П. Ершова Николай. <...> *учеников Алябьева* <...> – А. А. Алябьев (1787–1851), известный композитор, родился в Тобольске в семье правителя Тобольского наместничества А. В. Алябьева; в детстве дружил с Ершовым, в 1828 году сослан в Тобольск по уголовному делу.

В. А. Треборну. 12 декабря 1836 (с. 522). Впервые – Ярославцов. С. 46–48.

В. А. Треборну. 5 марта 1837 (с. 523). Впервые – Ярославцов. С. 48, 49. *Ч-жов* – Н. А. Чижов. *Черепослов* – отрывок из водевиля опубликован в БП 1976. С. 263–266; куплеты из него, направленные против увлечения френологией (в буквальном переводе на русский язык – черепословие), вошли в состав комедии Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог. Оперетта в трех картинах». *Галю* – Ф. И. Галль (1758–1828) развивал учение о распознавании психических свойств человека по форме черепа (френологию).

Е. П. Гребенке. 5 марта 1837 (с. 524). Впервые – Доманицький В. Материалы до биографии Е. П. Гребенки // Записки наукова товариства им. Шевченка. <Львов>, 1909. Т. XC. Кн. 4. С. 167–168. Печатается по: Иркутск 1984. С. 377–378. *Гребенка Евгений Павлович* (1812–1848) – украинский писатель, с 1834 года жил в Петербурге, писал на украинском и русском языках. Почти каждую неделю у Гребенки собирались друзья-литераторы: В. Г. Бенедиктов, В. И. Даль, П. П. Ершов и другие. *И. Пожарский* – петербургский приятель Ершова, поэт, печатался в альманахах, в «Современнике». *Е. В. Гудима* (1812–1870) – друг Гребенки и знакомый Ершова, чиновник канцелярии духовных училищ в Петербурге. *Четверица* – дружеский круг, в который входили Ершов, Гребенка и учившиеся вместе с Ершовым в университете будущие востоковеды В. В. Григорьев (1816–1881) и П. С. Савельев (1814–1859). *Гришка* – В. В. Григорьев. *А. Н. Мокрицкий* (1810–1870) – художник, близкий друг Гребенки. В 1836 году нарисовал ныне утерянный портрет Ершова. *Дело идет о таком человеке* <...> – о В. В. Григорьеве, который перевел с персидского «Историю монголов с древнейших времен до Тамерлана» (СПб., 1834); комментарии Григорьева к переводу получили высокую оценку специалистов. *Савка* – прозвище П. С. Савельева. *И. Т. Калашников* (1797–1863) – автор повести «Камчадалка» и

романа «Дочь купца Жолобова. Из иркутских преданий», о которых положительно отзывался А. С. Пушкин. *П. А. Словцов* (1767—1843) — автор «Исторического обозрения Сибири» (1-е издание вышло в 1838—1844). *I ex W* — видимо, опечатка; W напечатано по ошибке вместо IV (I ex IV — один из четырех)

В. А. Треборну. 2 июля 1837 (с. 526). Впервые — Ярославцов. С. 51—52. *Еще за два месяца до прибытия Его Высочества.* — Сын Николая I, наследник престола Александр в 1837 году совершал путешествие по России, Тобольск был его крайним восточным пунктом. *В. А. Жуковский* был в свите цесаревича. *«Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири».* — Вероятно, Жуковский не знал или забыл, что Ершов вернулся в Тобольск по собственной доброй воле.

В. А. Треборну. 26 ноября 1837 (с. 527). Впервые — Ярославцов. С. 54—55. <...> *садился за зеленое поле* <...> — садился играть в карты за стол, покрытый зеленым сукном.

В. А. Треборну. 14 февраля 1838 (с. 527). Впервые — Ярославцов. С. 55—57. *Серафима* — речь идет о будущей жене Ершова Серафиме Александровне Лещевой, урожденной Протопоповой, дочери бывшего директора (1805—1808) Тобольской гимназии.

В. А. Треборну. 4 октября 1838 (с. 529). Впервые — Ярославцов. С. 57—58. *С 16 апреля этого года* <...> — в этот день скончалась мать Ершова — Евфимия Васильевна. <...> *идя на Охту, – помянуть с братом и меня* <...> — умерший 15 августа 1834 года Н. П. Ершов похоронен на кладбище Большой Охты.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 12 сентября 1839 (с. 530). Впервые — СО. 1964. № 7. С. 174—175. *Протопопов Владимир Александрович* — брат жены Ершова С. А. Лещевой (Протопоповой); *Протопопова Мария Федоровна* — жена В. А. Протопопова. <...> *скромная наша свадьба* <...> — речь идет о женитьбе на С. А. Лещевой. <...> *живу в вашем доме* <...> — Вернувшись в Тобольск из Петербурга, Ершов вместе с матерью поселился у родственника Н. С. Пиленкова, потом жил, видимо, у другого своего родственника («против генерал-губернаторского дома»). Женившись на С. А. Лещевой, Ершов переехал в дом Протопоповых, где она жила с детьми и матерью. *Петро Дмитриевич* — П. Д. Жилин, близкий знакомый Ершовых и Менделеевых. *Иван Васильевич* — И. В. Пиленков, брат матери Ершова. *Николай Степанович* — Н. С. Пиленков.

В. А. Треборну. 26 октября 1839 (с. 531). Впервые — Ярославцов. С. 64—66. <...> *каков я с директором?* — Директором гимназии в то время был Е. М. Качурин. <...> *поступить по-александровски* <...> — Согласно легенде, Александр Македонский рассек мечом необыкновенно запутанный узел, который следовало развязать, чтобы стать правителем всей Азии. <...> *с Александром Васильевичем* <...> — А. В. Никитенко. <...> *с Петром Александровичем* <...> — П. А. Плетневым.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 27 октября 1839 (с. 533). Впервые — СО. 1964. № 7. С. 175. Автограф — НАМ СПГУ. <...> *к дому Романовых* <...> — Семья учителей Романовых, с которой Ершов подружился, вернувшись из Петербурга; в этом доме он часто бывал, участвовал в до-

машних спектаклях (исполнял роль Якова, жениха дочери станционного смотрителя в своем «драматическом анекдоте» «Суворов и станционный смотритель»). *Милой Физочке* – Феозва Никитична Лещева, старшая дочь жены Ершова от первого брака, жила в Петербурге у Протопоповых.

В. А. Треборну. 28 декабря 1839 (с. 534). Впервые – Ярославцов. С. 67–69. *П. А.* – П. А. Плетнев.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 12 февраля 1840 (с. 536). Впервые – СО. 1964. № 7. С. 176. Автограф – НАМ СПГУ.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 20 августа 1840 (с. 537). Впервые – Иркутск 1984. С. 388. Автограф – НАМ СПГУ. Сирота *Константин Широков*, ученик второго класса гимназии, во время посещения гимназии наследником престола Александром Николаевичем показал отличные способности. Великий князь назначил на его воспитание по 300 рублей в год вплоть до окончания курса гимназии. Однако директор Е. М. Качурин нарушил это положение, и сироту взяли на воспитание Ершовы. *Дело об опеке* – речь идет о разделе имущества умершего первого мужа С. А. Лещевой.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 5 сентября 1840 (с. 537). Впервые – СО. 1964. № 7. С. 176–177. Автограф – НАМ СПГУ. Декабрист *М. А. Фонвизин* жил в Тобольске с августа 1838 по апрель 1853 года, был в дружеских отношениях с Ершовым. <…> *у князя* <…> – у П. Д. Горчакова, генерал-губернатора Западной Сибири, жена которого была родственницей жены Фонвизина. *Саша* – Александр Никитич Лещев, сын жены Ершова С. А. Лещевой от первого брака, учился в Тобольской гимназии. <…> *к новому губернатору* <…> – М. В. Ладыженскому, тобольскому гражданскому губернатору.

В. А. Треборну. 2 мая 1841 (с. 539). Впервые – Ярославцов. С. 76, 77. *Э. И. Губер* (1814–1847) – близкий петербургский знакомый Ершова, поэт и переводчик; с 1840 по 1842 год работал помощником О. И. Сенковского в «Библиотеке для чтения».

В. А. Треборну. 25 сентября 1841 (с. 538). Впервые – Ярославцов. С. 80–84. *О. И.* – О. И. Сенковский. *Вакация* – в учебных заведениях свободное от занятий время, каникулы – для учащихся, отпуск – для преподавателей. *Кейф* (кайф) – приятное безделье, отдых. *Влад[имиром] Алек[сандровичем]* – В. А. Треборном. <…> *задушевный приятель Пушкина* <…> – И. И. Пущин. *Поездку мою отдай П. А.* <…> – Цикл стихотворений «Моя поездка» так и не был передан П. А. Плетневу; «недовольный» А. К. Ярославцов «остановил Треборна отдавать это стихотворение в печать» (Ярославцов. С. 84).

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 1 января 1842 (с. 541). Впервые – Ярославцов. С. 85, 86. *За обязательную вашу посылку* <…> – Ярославцов прислал Ершову свои музыкальные произведения – вальс и два романса: «Путешественник» (слова Ф. Шиллера в переводе В. А. Жуковского) с посвящением Ершову и «Венецианская ночь» (слова И. И. Козлова) с посвящением С. А. Лещевой, жене поэта. *Особенно «Путешественник» прекрасен.* – По поводу такой оценки Ярославцов в снос-

ке пишет: «Конечно, только по содержанию прекрасного стихотворения, в котором Ершов-поэт мог видеть себя как в зеркале. — Мы не решаемся изменять в письме Ершова некоторых выражений, хотя они и могут возбуждать недоумение в ином читателе» (Ярославцов. С. 85).

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 7 марта 1842 (с. 542). Впервые — Ярославцов. С. 86–88. *La douloureuse passion de N. S. Jesus Christ.* — (N. S. — Notre Saveur — Наш Спаситель) — Страдания Нашего Спасителя Иисуса Христа (*франц.*). *Брентано* Клеменс (1778–1842) — представитель так называемой младшей романтической школы в Германии. <…> *твою повесть.* — Имеется в виду роман Ярославцова «Любовь музыканта» (1842). *22 февраля* — день рождения Ершова. <…> *день курения пятнадцати трубок.* — Ярославцов в сноске поясняет: «Напоминание студенческих шуток: в этот день иной из молодых товарищей брался выкурить в честь именинника пятнадцать трубок» (Ярославцов. С. 88). <…> *сыграли моего «Суворова».* — Речь идет о пьесе Ершова «Суворов и станционный смотритель».

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 30 марта 1842 (с. 544). Впервые — Ярославцов. С. 88.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 14 июля 1842 (с. 544). Впервые — Ярославцов. С. 89–90. <…> *день смерти нашего Николая* — брата П. П. Ершова. <…> *залиговской жизни* — жизни, связанной с местом, расположенным в Петербурге за рекой Лига. *Талисман М. V.* — вероятно, связан с крылатым латинским выражением *memento vivere* (помни о жизни), являющимся парафразой известного изречения *memento mori* (помни о смерти).

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 25 февраля 1843 (с. 545). Впервые — Ярославцов. С. 97–98. <…> *комплимент моей жене* — С. А. Лещевой.

В. А. и М. Ф. Протопоповым. 6 июля 1843 (с. 546). Впервые — СО. 1964. № 7. С. 177. Автограф — НАМ СПГУ. <…> *об отправке его в Казань.* — А. Н. Лещев после окончания Тобольской гимназии был отправлен учиться на казенный счет в Казанский университет. *Отец Стефан* — Степан Яковлевич Знаменский, тобольский священник, с 1840 года ялуторовский соборный протоиерей; его сын художник М. С. Знаменский (1833–1892) был близким другом Ершова.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 22 июля 1843 (с. 546). Впервые — Ярославцов. С. 99–101. <…> *представят меня в надворные.* — Надворный советник — по Табели о рангах, гражданский чин 7 класса, соответствующий чину подполковника. *Компонист* — композитор.

В. А. Треборну. 13 ноября 1843 (с. 548). Впервые — Ярославцов. С. 101, 102.

В. А. Треборну. 17 декабря 1843 (с. 548). Впервые — Ярославцов. С. 103.

В. А. Треборну. 16 января 1844 (с. 549). Впервые — Ярославцов. С. 103.

А. К. Ярославцову. 14 апреля 1844 (с. 549). Впервые — Ярославцов. С. 104, 105. <…> *вспомни своего Платона.* — Ершов был прообразом героя романа А. К. Ярославцова «Любовь музыканта» (1842).

В. А. Треборну. 26 сентября 1844 (с. 550). Впервые — Ярославцов. С. 105, 106. *Адам Фишер* (1799—1861) — преподаватель логики, психологии, нравственной философии и метафизики во время обучения Ершова в университете. <...> *держась за своего Иоанна.* — А. К. Ярославцов в это время писал трагедию «Царь Иван IV Васильевич Грозный» (опубликована под заголовком «Князь Владимир Андреевич Старицкий»).

А. К. Ярославцову. 12 октября 1844 (с. 551). Впервые — Ярославцов. С. 107—108. <...> *северных Афин* — Петербурга. *Amen!* — Аминь! <...> *я жду той сцены вполне, где идет речь о Сибири.* — Имеется в виду готовящаяся к печати трагедия Ярославцова об эпохе царствования Ивана Грозного «Князь Владимир Андреевич Старицкий». *Sic transit gloria mundi!* — Так проходит мирская слава! (*лат.*). *Влад. Ал.* — Владимир Александрович Треборн. <...> *в заповедных кладовых Смирдина.* — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), известный книгопродавец-издатель. <...> *гомерическая природа* — древняя, величественная.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 7 января 1845 (с. 553). Впервые — Ярославцов. С. 109, 110. *Сочельник* — день накануне Рождества Христова и Крещения, когда православные особо строго соблюдают пост. *Четь* — четвертая часть чего-либо.

В. А. Треборну. 12 апреля 1845 (с. 554). Впервые — Ярославцов. С. 110—111. *Андрей Константинович* — А. К. Ярославцов.

В. А. Треборну. 9 июля 1845 (с. 554). Впервые — Ярославцов. С. 111—112. <...> *жены моей* <...> — С. А. Лещевой. <...> *своему papa* — своему папаше (*фр., разг.:* le papa — папаша).

В. А. Треборну. 30 октября 1845 (с. 555). Впервые — Ярославцов. С. 113, 114. <...> *после потери любимой мною жены* <...> — С. А. Лещева скончалась после родов 25 апреля 1845 года. *Г. Ф. Мертлич* работал учителем искусств в Тобольской гимназии с апреля 1838 по 1846 год. <...> *вместе с «Галереей»* — речь идет о литографических картинах из собрания Эрмитажа.

Ф. Н. Лещевой. 7 декабря 1845 (с. 556). Впервые — СО. 1964. № 7. С. 177—178. Автограф — НАМ СПГУ. <...> *экзамены Ваши* <...> — Ф. Н. Лещева в это время училась в Екатерининском институте. *Саша* — Александра Никитична Лещева, падчерица поэта, жила в Тобольске в семье Ершовых. <...> *получу со своих крестьян поболе оброку* <...> — ироническое иносказание: Ершов имеет в виду гонорар за свои литературные сочинения.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 24 января 1846 (с. 557). Впервые — Ярославцов. С. 115. *О. И.* — Сенковский Осип Иванович (1800—1858), редактор журнала «Библиотека для чтения», печатался под псевдонимом *Барон Брамбеус.* В письме приводятся названия стихотворений, отправленных Ершовым для напечатания в «Библиотеке для чтения» и переданных потом в журнал «Современник» П. А. Плетневу. *Красавица* — под таким заголовком среди опубликованных в «Современнике» не встречается; возможно, это было первоначальное название стихотворения «Мгновение». <...> *около могилы незабвенной* -- умершей в апреле 1845 года С. А. Лещевой, первой жены поэта.

В. А. Треборну. 26 февраля 1846 (с. 558). Впервые – Ярославцов. С. 116.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 30 мая 1846 (с. 558). Впервые – Ярославцов. С. 117–118.

В. А. Треборну. 9 ноября 1846 (с. 559). Впервые – Ярославцов. С. 119. *Я женат.* – 23 октября 1846 года Ершов женился на Олимпиаде Васильевне Кузьминой. *Гордиев узел* – трудно разрешимое, запутанное дело.

В. А. Треборну. 5 марта 1847 (с. 560). Впервые – Ярославцов. С. 120–121. <...> *на одной из линий знаменитых Песков* – место в Петербурге. *Эпистола* – письмо, послание (*лат.*). <...> *до 38° по Р.* – по Реомюру, старая температурная шкала (1° по Реомюру = 1, 25° по Цельсию).

А. К. Ярославцову. 30 июня 1847 (с. 561). Впервые – Ярославцов. С. 122–123. <...> *о довольно неприятном известии касательно моего курса словесности.* – 24 мая 1847 года Ярославцов писал Ершову: «Я думаю, ты и забыл уже про свой *курс словесности*, как мы забываем все, что нам не было слишком дорого; а ведь, конечно, у тебя было иное и милее для тебя курса словесности: потому-то и не тяжко будет тебе узнать, что участь твоего сочинения решена. Курс этот был передан на рассмотрение сначала академику Лобанову, а по смерти его – академику Давыдову. Последний возвратил его ныне с отзывом, который гласит, что книга твоя не может быть введена в гимназии, потому что она, между прочим, не вполне отвечает понятиям воспитанников. Дальнейшее о ней заключение Давыдова ты, верно, скоро узнаешь официально; мне хотелось только приготовить тебя немножко к этому известию. Впрочем, еще ли ты не привык, хоть сколько-нибудь, быть готовым к суждению *людей*» (Ярославцов. С. 122).

В. А. Треборну. Июль 1847 (с. 562). Впервые – Ярославцов. С. 124–125. *Старший сын первой моей жены* <...> – А. Н. Лещев. *Дочерей моих* <...> – летом 1847 года падчерица Ершова Александра Лещева приехала из Тобольска в Петербург.

П. А. Плетневу. 5 октября 1850 (с. 563). Впервые – Ярославцов. С. 131–133. *Неудача по службе* <...> – В 1849 году после ухода в отставку Е. М. Качурина несомненным кандидатом на пост директора гимназии был Ершов (с июня 1849 года он фактически исполнял эту должность), его назначение было согласовано с губернскими властями и министром, но неожиданно в конце 1849 года директором Тобольской гимназии был назначен не имевший никакого отношения к делам просвещения советник пограничного правления П. М. Чигиринцев. *Василия Андреевича* – В. А. Жуковского. <...> *нынешний наш директор* <...> – П. М. Чигиринцев.

П. А. Плетневу. 20 апреля 1851 (с. 565). Впервые – Ярославцов. С. 138–139. *Ваше мнение о моих рассказах* <...> – Ершов отправил П. А. Плетневу на отзыв три рассказа из цикла «Сибирские вечера», который впоследствии получил название «Осенние вечера» и был опубликован в 1857 году в «Живописном сборнике» А. Плюшара и В. Генкеля. Вероятно, это были рассказы, которые объединены в раздел

«Вечер I». <...> *я читал их в одном образованном семействе* <...> — у М. А. Фонвизина. <...> *к генералу Анненкову* <...> — генерал-адъютант, член Государственного совета Николай Николаевич Анненков (1800—1865); после его ревизии Западной Сибири генерал-губернатор П. Д. Горчаков был уволен с должности.

П. А. Плетневу. <Июнь> 1851 (с. 566). Впервые — Ярославцов. С. 140—141. Письмо Ершова опубликовано А. К. Ярославцовым по черновику, который не имел даты; но по некоторым содержащимся в нем фактам можно отнести его к июню 1851 года. <...> *вторую часть «Сибирских вечеров».* — Четыре рассказа, составившие в «Осенних вечерах» раздел «Вечер II».

А. К. Ярославцову. 28 февраля 1852 (с. 567). Впервые — Ярославцов. С. 142—143.

А. К. Ярославцову. 6 августа 1852 (с. 568). Впервые — Ярославцов. С. 145—146.

В. А. Треборну. 14 июня 1856 (с. 570). Впервые — Ярославцов. С. 155. *Конек мой снова поскакал* <...> — Хлопоты П. И. Крашенинникова об издании «Конька-Горбунка» наконец завершились успехом: в 1855 году, после смерти Николая I, министр народного просвещения А. С. Норов дал разрешение на публикацию сказки Ершова.

А. К. Ярославцову. 26 декабря 1856 (с. 570). Впервые — Ярославцов. С. 156. *Ну, спасибо, брат Анрюша!* — Ершов благодарит Ярославцова за содействие в том, что «Осенние вечера» будут помещены в «Живописном сборнике» А. Плюшара и В. Генкеля за условленную плату — 500 рублей серебром автору.

В. А. Треборну. 17 июня 1857 (с. 571). Впервые — Ярославцов. С. 157—158. <...> *я принял дирекцию* <...> — по представлению гражданского губернатора В. А. Арцимовича в январе 1857 года Ершов был назначен директором Тобольской гимназии и училищ губернии. *При личном свидании* <...> — в связи с новым назначением Ершову предстояла служебная поездка в Петербург.

В. А. Треборну. 28 августа 1857 (с. 572). Впервые — Ярославцов. С. 158—159.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 28 января 1858 (с. 572). Впервые — Ярославцов. С. 161—162. *В. А. и А. К.!* — Владимир Александрович и Андрей Константинович! <...> *взглянуть на возлюбленного Царя* — на Александра II. *Насчет портрета для Тимма* <...> — Тимм Василий Федорович (Вильгельм Фридрихович) (1820—1893), живописец, издатель «Русского художественного листка» (1851—1863).

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 12 февраля 1858 (с. 573). Впервые — Ярославцов. С. 162—163.

Е. Н. Ершовой. 19 апреля 1858 (с. 573). Впервые — Ярославцов. С. 171—173. *Елена Николаевна Ершова*, урожденная Черкасская — третья жена П. П. Ершова. Поэт свои письма из Петербурга в Тобольск не посылал, а записывал их для жены в своем дневнике, который послужил источником публикации для А. К. Ярославцова. <...> *с новым министром* <...> — с министром народного просвещения Е. П. Кова-

левским (1790–1886), сменившим на этом посту А. С. Норова (1795–1869). <...> *по деревяшке* <...> – по протезу: Норов лишился ноги в Бородинском сражении.

В. А. Треборну и А. К. Ярославцову. 8 июля 1858 (с. 575). Впервые – Ярославцов. С. 177–178. <...> *два дня посвящены обозрению Москвы.* – В мае Ершов писал своей жене из Москвы: «4-го осматривал Кремль и Большой театр. В этот же день был в театре (Малом) на представлении *Русской свадьбы*» (цит. по: Ярославцов. С. 177).

Е. Н. Ершовой. 23 ноября 1858 (с. 576). Впервые – Ярославцов. С. 179–180. *Вот я и в Ялуторовске.* – В конце 1858 года Ершов совершил большую инспекторскую поездку по училищам Тобольской губернии. *Место для церкви* <...> – церковь на месте, где раньше стоял дом, в котором родился поэт, была построена уже после смерти Ершова; просуществовала до 1950-х годов.

Е. Н. Ершовой. Март 1859 (с. 577). Впервые – Ярославцов. С. 181–182.

Ф. Н. Менделеевой. 2 января 1863 (с. 578). Впервые – СО. 1964. № 7. С. 178–179. Автограф – НАМ СПГУ. Ф. Н. Лещева в апреле 1862 года вышла замуж за Д. И. Менделеева, который часто бывал в доме Протопоповых. <...> *холодная квартира* <...> – уйдя в отставку, Ершов лишился казенной квартиры, а так как собственного дома никогда не имел, вынужден был снимать для жилья дом тобольского богача Токарева на углу Почтовой и Рождественской улиц. В этом доме он и скончался. По свидетельству В. Г. Уткова, «дом сохранился до наших дней» (ныне это угол улиц Семакова и Ершова) (Иркутск 1984. С. 444). *Дмитрий Иванович* – Д. И. Менделеев. <...> *ни денег не присылает* <...> – имеется в виду гонорар за 5-е издание «Конька-Горбунка», вышедшее в 1861 году.

Д. И. Менделееву. 4 мая 1863 (с. 580). Впервые – СО. 1964. № 7. С. 179–180. Автограф – НАМ СПГУ. <...> *спешу поздравить Вас* <...> *с новорожденной* <... > – У Менделеевых родилась дочь Мария, которая осенью того же года умерла. <...> *последнее издание его сильно смахивает на контрафакцию.* – Контрафакция обозначает перепечатку или переиздание чужого литературного произведения без согласия автора. Так как Крашенинников задерживал выплату гонорара, то ситуация с публикацией 5-го издания «Конька-Горбунка» походила именно на контрафакцию, почему Ершов и рассматривал возможность «пугнуть его цензурным уставом». Версия В. Г. Уткова об употреблении Ершовым слова «контрафакция» в связи с тем, что «изменения по сравнению с четвертым изданием, внесенные в текст сказки, не были согласованы с автором» (Иркутск 1984. С. 445), представляется не убедительной.

В. Я. Стефановскому. Январь 1865 (с. 581). Впервые – Ярославцов. С. 184–185. *В. Я. Стефановский* – тюменский окружной начальник. <...> *успех Конька* <...> *принадлежащий Сен-Леону и Муравьевой* <...> – В 1864 году на сцене Мариинского театра был поставлен балет «Конек-Горбунок» (первое представление – 3 декабря; музыка Ц. Пуни (Ч. Пуньи), хореография А. Сен-Леона; партию Царь-девицы танцевала

М. Н. Муравьева). *Сен-Леон* Шарль Виктор Артюр (1821—1870) — в 1859—1869 годах работал музыкантом и хореографом при петербургских Императорских театрах. *Муравьева* Марфа Николаевна (1838—1879) — артистка балетной труппы петербургского Большого театра.

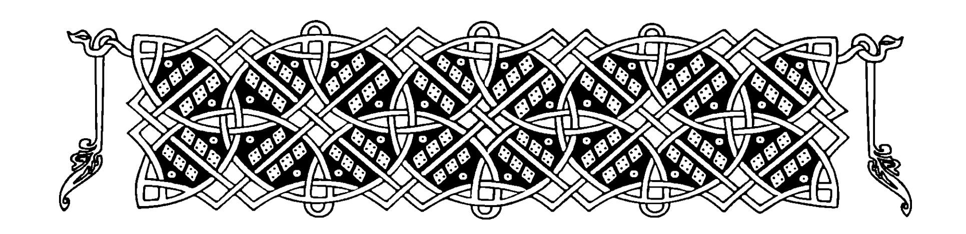
В. А. Треборну. 23 января 1865 (с. 582). Впервые — Ярославцов. С. 185—186. *А. Н. Лещев* в эти годы занимал должность управляющего 1-м отделением Главного управления Западной Сибири, по служебным делам выезжал в Петербург. *Г. С. Дестинус* — университетский знакомый Ершова, с 1867 года профессор Петербургского университета.

А. К. Ярославцову. 17 июля 1865 (с. 583). Впервые — Ярославцов. С. 187—188. *А трудную ты задал мне задачу с своим Гамлетом.* — А. К. Ярославцов издал брошюру «О личности Гамлета в шекспировской трагедии» и просил Ершова дать на нее отзыв.

А. К. Ярославцову. 5 февраля 1866 (с. 584). Впервые — Ярославцов. С. 190. <...> *один светлоголовый господин, немножко и тебе известный* <...> — В. А. Треборн.

В. А. Треборну. 13 июля 1866 (с. 585). Впервые — Ярославцов. С. 191—192. *Троицкий - это тип Ивана.* — Николай Петрович Троицкий (1838—1903) — артист балета, с 1857 года в труппе Мариинского театра. В 1864 году исполнил роль Иванушки в балете А. Сен-Леона «Конек-Горбунок» и проявил большое пантомимическое дарование. *Старшему сыну уже одиннадцать лет.* — Сын Ершова Владимир родился 6 февраля 1856 года (умер 2 августа 1917 года в городе Анапа). Средний сын Ершова Николай родился 23 июля 1861 года (умер в 1880-х годах в Петербурге), младший Александр — 30 июля 1863 года (умер в 1911 году в селе Сгибнево Амурской области).

Ф. Н. Менделеевой. 9 августа 1866 (с. 585). Впервые — Иркутск 1984. С. 417—418. Автограф — Личный архив В. Г. Уткова. <...> *очаровательно описала свою летнюю дачу.* — Ф. Н. Менделеева приглашала Ершова в имение своего мужа Боблово. <...> *болезнь моя неизлечима* <...> — Ершов был болен водянкой. *Николай Никитич* — Н. Н. Лещев, пасынок Ершова.



БИБЛИОГРАФИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Сочинения П. П. Ершова

Конек-Горбунок. Русская сказка. Соч. *П. Ершова*: В 3 ч. – СПб.: Тип. Х. Гинце, 1834. – 122 с.

Суворов и станционный смотритель: Драм. анекдот. Соч. *П. Ершова*. – СПб.: Гуттенбергова тип., 1836. – 55 с.

Конек-Горбунок. Русская сказка. Соч. *П. Ершова*: В 3 ч. / С 7 картинками, рис. на дереве Р. А. Жуковским и грав. Л. Серяковым. – 5-е изд., вновь испр. и доп. – СПб.: П. И. Крашенинников, 1861. – 130 с. с илл.

Ершов П. П. Стихотворения / Вступит. статья, ред. и примеч. М. К. Азадовского. – [М.-Л.]: Сов. писатель, 1936. – 160 с. – (Б-ка поэта. Малая серия).

Ершов П. П. Избранные сочинения / Под ред. Ф. Г. Копытова. – Омск: Омгиз, 1937. – 123 с.

Ершов П. П. Сочинения / Ред., коммент. и вступит. статья В. Г. Уткова. – [Омск]: Омское обл. гос. изд-во, 1950. – 296 с. с илл.

Ершов П. П. Конек-Горбунок. – Стихотворения / [Вступит. статья, примеч. и подготовка текстов В. Г. Уткова]. – Л.: Сов. писатель, 1951. – 216 с. – (Б-ка поэта. Малая серия).

Ершов П. П. Конек-Горбунок. Стихотворения / Вступит. статья, подготовка текста и примеч. М. К. Азадовского. – Л.: Сов. писатель, 1961. – 214 с. – (Б-ка поэта. Малая серия).

Ершов П. П. Конек-Горбунок; Стихотворения / Вступит. статья И. П. Лупановой. Сост., подготовка текста и примеч. Д. М. Климовой. – Л.: Сов. писатель. Ленинградское отд-ние, 1976. – 334 с. – (Б-ка поэта. Большая серия).

Ершов П. П. Сузге: Стихотворения, драм. произведения, проза / Сост., коммент., послесловие В. Г. Уткова. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн.

изд-во, 1984. – 464 с. с илл. – (ЛПС. Литературные памятники Сибири).

Ершов П. П. Стихотворения / Сост., автор вступит. статьи и примеч. В. П. Зверев. – М.: Сов. Россия, 1989. – 223 с. – (Поэтическая Россия).

О жизни и творчестве П. П. Ершова

Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его *А. К. Ярославцова* / С приложением литографического портрета П. П. Ершова, снимка его почерка и рецензий, являвшихся с изданием его сказки «Конек-Горбунок». – СПб.: Тип. В. Демакова, 1872. – 200, XII с.

Белова А. Ершов и его жизнь: Для детей старшего возраста. – СПб.: Тип. П. П. Меркульева, 1874. – 19 с.

Островинская А. О. П. П. Ершов: Биографический очерк. – СПб.: Ф. Павленков, 1885. – 26 с.

Языков Д. Д. Петр Павлович Ершов. – М.: Университетская тип., 1894. – 21 с. – (Жизнь русских деятелей).

Утков В. Г. Рожденный в недрах непогоды. – Новосибирск: [Зап.-Сиб. кн. изд-во], 1966. – 499 с. с илл.

Богданова А. А. Поэты пушкинской плеяды (П. П. Ершов) // Научные труды Новосибирского гос. пед. ин-та. – Вып. 59. – Новосибирск, 1970. – С. 52–80.

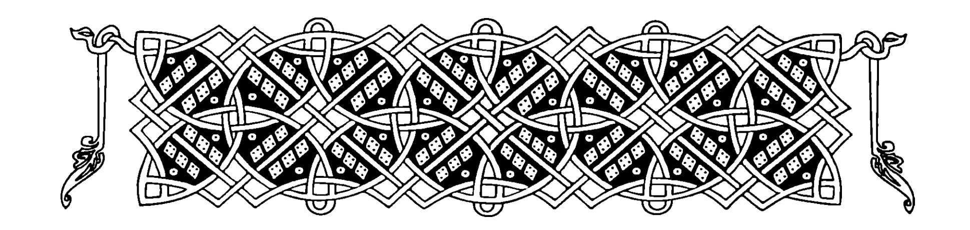
Утков В. Г. Дороги «Конька-Горбунка». – М.: Книга, 1970. – 112 с. с илл. – (Серия «Судьбы книг»).

Утков В. Г. Гражданин Тобольска. О жизни и творчестве П. П. Ершова, автора сказки «Конек-Горбунок». – Свердловск: Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 147 с.; 2-е изд., доп. – Свердловск: Средне-Уральск. кн. изд-во, 1979. – 144 с.

Петр Павлович Ершов – писатель и педагог: Тезисы докладов и сообщений Всероссийской научно-практической конференции, 22–24 ноября 1989 года / Редкол.: проф. В. И. Кодухов (науч. ред.) и др. – Ишим, 1989. – 75 с.

Гаврилова Г. П., Гудилова Л. Б. Ершов Петр Павлович: Библиографический указатель / Под ред. и с биографическим очерком проф. В. И. Кодухова; Ишим. гос. пед. ин-т. – Ишим, 1989. – 69 с.

Утков В. Г., Чудаков А. П. Ершов Петр Павлович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. – Т. 2: Г–К. – М.: Большая Российская энциклопедия; ФИАНИТ, 1992. – С. 239–240.



СОДЕРЖАНИЕ

ЭПИГРАММЫ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА

Вечер I

Вечер II

ПИСЬМА

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПАРАД»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕК «БИБКОМ»

Серия «Новая библиотека русской классики: Обязательный экземпляр»

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Собрания произведений

Н. С. ЛЕСКОВА
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
В. М. ГАРШИНА
Б. А. ПИЛЬНЯКА
АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XXI ВЕКА: ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Петр Павлович Ершов
КОНЕК-ГОРБУНОК
Избранные произведения и письма

Редактор *А. Н. Панкова*
Художественный редактор *Т. С. Прокуратова*
Технический редактор *А. Н. Филиппов*
Корректор *Л. Н. Мельникова*

Подписано в печать 05.05.2005. Формат 60 × 90/16.
Печ. л. 39. Тираж 2 000 экз. Заказ № 194.

ЗАО "Издательский дом "Парад"
125993, Москва, ул. Правды, 24, офис 811.
Факс (095) 257-43-85
e-mail: info.parad@mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Одна безумная мечта храня
И сладких чувств благоуханье
Куприн сердца [illegible].
Надежды чистого слова
Лампада дней была полна
И все отрадней, все светлее
Горела счастием она.
Но вот она опустевшая
Но мне [illegible] что осталось.
И день и ночь оно с тоской
Чего-то ищет [illegible] гробами
И роет пепел гробовой
И плачет горькими слезами.

293

Шуми, Дунай, шуми во мраке [illegible]
Приятенъ для меня сей страшный шумъ
Люблю смотреть твои [illegible]
И слышать стонъ глухой угрюмый [illegible]
При блеске молний - душа моя светлеет
И месть кровавая - при треске грома [illegible]
Кипенье страсти въ душе моей [illegible]
А властолюбие, - сей идолъ мой - [illegible]
Волненье бурное обманчивой стихии
Дунай! шумнаго величественный шумъ, -
Мне ясно говоритъ о славе мне России
О славномъ Киеве - мне говоритъ.
И вдругъ предъ собой Славянъ непобедимыхъ
Съ ихъ дикой храбростью, съ ихъ твердою [illegible]
Я слышу голоса [illegible] родимыхъ
И теремъ княжеский стоитъ передо мной
Но что мне слышится... Кому дают обет [illegible]
До гроба верности своей не измените!
Да будутъ прокляты презренные изменники
Да будетъ проклятъ тотъ, кто могъ